

Владимир Архангельский Фрунзе



Аннотация

В книге рассказывается о жизни и деятельности Михаила Васильевича Фрунзе — революционера, советского государственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, военного теоретика.



Владимир Архангельский Фрунзе

Прощай, Семиречье!

Я родился в 1885 г. в г. Пишпек Семиреченской области Туркестанского края. Отец мой — по происхождению крестьянин Захарьевской волости Тираспольского уезда Херсонской губернии. По национальности — молдаванин. При поступлении на военную службу был отправлен в состав Туркестанских войск. По окончании военной службы остался в Семиречье, где служил фельдшером. Мать моя — из крестьян Воронежской губернии, переселившихся в 70-х годах в Семиречье.

Получивши начальное образование в школе, я поступил в гимназию в г. Верном, которую и окончил в 1904 году.

М. Фрунзе

На рубеже XX века мало кто знал, что есть на свете Пишпек — саманный и пыльный городишко на дальней юго-восточной окраине Российской империи. Немного больше знали о его ближайшем соседе — городе Верном. И то лишь по той причине, что бывали там землетрясения, о которых губернатор фон Таубе давал подробные интервью в столичных газетах.

И вот из Пишпека три недели кряду — на перекладных и в поезде — добирался до белокаменной столицы вчерашний абитуриент Верненской гимназии, почти уже студент Санкт-Петербургского политехнического института Михаил Фрунзе¹.

Он не сомневался, что его примут: прошение на имя директора института было послано своевременно — два месяца назад. А в вещевой корзине среди белья хранилась у него очень хорошая бумага. В ней четко было писано, что гимназию он окончил «с золотой медалью, имея в аттестате при отличном поведении и прилежании круглые пять по всем предметам».

В свои девятнадцать лет он был завидно здоров: ладно скроена коренастая фигура, литые мышцы, девически нежный румянец на загорелом чистом лице. И высокий открытый лоб, а над ним — задорный ежик. И глаза — такие серые, ясные, добрые, что иногда казались голубыми.

Золотая медаль открывала ему дорогу в любое высшее учебное заведение страны: царские чиновники почитали медалистов людьми благонадежными. Михаил определил свое призвание еще год назад: только Санкт-Петербург, политехникум, экономическое отделение.

Здоровый и жизнерадостный, он и смеялся раскатисто, хотя временами и подступала боль к сердцу. Старший брат Константин уехал врачом на фронт, и с весны не было от него писем. Что с Костей? Жив ли он — товарищ и друг, наставник и кормилец, заменивший ему отца в суровую годину. И память об отце обжигала: умер он как-то нелепо, вдруг, когда ему едва минуло сорок пять. И похоронен далеко от семьи, в захолустном Мерке, который даже с Пишпекем сравнить нельзя: так он мрачен и глух. И мама! Каково-то будет ей с тремя девочками, коль добывает она пропитание тяжким трудом то портнихи, то прачки...

Но юности несвойственно думать о том, что было, она стремится к тому, что будет. И Михаил не составлял исключения.

— Все обойдется, все обойдется! — успокаивал он себя. — Я не буду обузой для семьи. И Костя наверняка объявится, и маму с сестренками мы не оставим!

Он мечтал о будущем. Но и прикидывал в уме, как сложится на первых порах жизнь в Питере: институт, новые товарищи и, конечно, жаркие споры о призвании. Разумеется, не исключены и уроки для всяких отстающих шалопаев, как это было в Верном, когда он обучался в шестом-восьмом классах гимназии. И тревожился: ведь и до Пишпека доносились вести, что Питер бурлил в эти дни войны. И по всей огромной империи разносились из таинственной Северной Пальмиры какие-то искры гнева, крамольные призывы, смутные, но

¹ Сам Михаил Васильевич, вплоть до 1919 года, предпочитал писать свою фамилию именно так — Фрунзе.

обжигающие лозунги. Как все это постичь? И как найти передовых людей, зовущих к новой правде?

В вещевой корзине, рядом с аттестатом, лежало у него рекомендательное письмо от старого верненского ссыльного — провизора Иосифа Сенчиковского — писателю Николаю Федоровичу Анненскому, одному из редакторов популярного журнала «Русское богатство». Сенчиковский знал его по Нижнему Новгороду, где они вместе отбывали административную ссылку. Анненский в те годы усиленно занимался статистикой и считался хорошим знатоком крестьянской жизни.

— Он друг Короленко, очень близок Горькому, и тебе надо познакомиться с ним непременно, — напутствовал Михаила Сенчиковский.

Михаил нет-нет да вспоминал об этом письме, и тревога от предстоящей встречи с Питером приглушалась...

Шел август 1904 года. И почти все три недели неистово палило солнце. Правда, жара для уроженца Семиречья была привычной. Но там хоть можно было найти прохладу в саманном домике под камышовой крышей или в тени карагача возле арыка, куда сестренки Люда, Клава и Лида бегали по воду. А в долгом пути солнце просто убивало. И, по старому обычаю кочевых киргизов, казахов и узбеков, он спасался тем, что накидывал на голову и на плечи выдавшую виды шинелишку. Все было мокрым: и китель, и брюки, и рубаха. Но поднимался ветерок, и дышать становилось легче.

Так продолжалось почти десять дней, пока добирался он от Пишпека до Арыси по почтовому тракту на тряской узбекской арбе. Раз уж выдался случай, хотелось бы завернуть в Ташкент, но туда поезда не ходили: пока еще насыпалось полотно, и тысячи грабарей на высоких двухколесных арбах бесконечной вереницей доставляли к железке песок из Голодной степи.

Не поубавилась жара и после Арыси, где Михаил занял место в ветхом, скрипучем, тряском и вонючем вагоне четвертого класса. Над головой были нары из верхних полок. И от этих нар, от стен вагона, от крыши, от поручней и от людей полыхало жаром.

До Аральского моря движение было налажено из рук вон плохо, и этот перегон тащились от понедельника до четверга, долго дожидаясь на каждом полустанке встречного поезда. Домашний харч, собранный в дорогу мамой, давно улетучился. Пришлось пробиваться кумысом, благо, его подвозили к поезду в больших бурдюках черные как черти, белозубые чабаны. И заедать его чуреком, выпеченным казашками в глиняных тандырах. А у моря навалился Михаил на копченую и вяленую рыбу. А потом два дня — до Оренбурга — просто умирал от жажды, поминутно бегая к бачку с теплой, тухловатой водой.

В Оренбурге была пересадка. Подали поезд шикарный: с вагонами первого и второго класса, с красной и голубой бархатной обивкой на мягких сиденьях. И публика была там такой, что вызывала не то раздражение, не то неосознанный еще протест. Ее картинность и показной блеск привлекали глаза, а сердце к ней не лежало. Больше того, вся эта мишура уводила на какой-то миг от главного и очень интересного, на чем хотелось бы сосредоточиться. Так бывает в минуту грустных раздумий, вдруг нарушенных каким-то оболтусом с его беспричинным смехом или пустым, пошлым анекдотом.

Михаил пробрался сквозь нарядную толпу и раз и другой, когда покупал газету, и слышал обрывки разговоров о Порт-Артуре и Ляодунском полуострове, где разгорелись ожесточенные бои. Но держался ближе к своему вагону третьего класса, у самой дальней кромки перрона. Там тоже была публика почище, чем на перегоне Арысь–Оренбург. И поживее и поразговорчивее.

Весь вечер проговорил Михаил со старым сухоньким человеком в форме акцизного чиновника, с пенсне на орлином носу, с бородкой «дяди Сэма». Не заметил, как рассказал новому знакомому, отрекомендовавшемуся Алексеем Ивановичем Стратилатовым, о детстве, о родном Пишпеке, о том, как семиреченский губернатор господин фон Таубе залетел к ним в Пишпек на лихой тройке, и казаки с ним. Шуму понаделал пропасть. И отца его погубил и семью разрушил.

Зашел фон Таубе в больницу — отец работал фельдшером, увидел на койках киргизов и впал в ярость: «Превратили больницу в зверинец! Кто додумался помещать сюда инородцев?..» Пришлось отцу покинуть место, и все у нас пошло кувырком...

Ночью Михаил долго не спал: разволновал его разговор со старичком. Да и воспоминания о генерал-губернаторе фон Таубе не располагали ко сну: они тащили из тайников памяти другие воспоминания, в которых радость уступала место грусти.

Конечно, детство здорового смышленного мальчугана, выросшего в дружной семье, будь оно босоногим и даже голодным, почти всегда веселый праздник жизни. В нем стремительное открытие мира, ощущение бесконечности его оттенков. И каждый миг полон до краев таким узнаванием, которое переполняет душу и несет вперед на крыльях счастья. А Миша к тому же был любознательный и шустрый. Он старался вникать во все дела взрослых и измерять их своим житейским аршином, никогда не скрывая симпатий и антипатий. Вот и доставались ему не только «пирог», но и «шишки».

Один раз страшно разозлился, что не взяли на охоту, спалил стог сена на задворках, едва не пустил в хату красного петуха. Священник Янковский — законоучитель — гневно говорил о нем на педагогическом совете:

— Этот мальчишка портит весь класс! Он задает мне ужасные вопросы, будто не признает сотворение мира отцом-вседержителем. Не избавиться ли нам от него?

Еле удержался тогда в гимназии. Отца уже не было, к благоразумию долго взывал старший брат Константин. Не очень-то помогло: под горячую руку обозвал Хлестаковым инспектора гимназии надворного советника Бенько. Из-за товарища, из-за Кости Суконкина, к которому Бенько обратился с издевкой: «А ну-ка, душа Тряпичкин, то бишь Суконкин, проспрядай нам глагол «fero». К счастью, даже на выпускных экзаменах Михаил не дрогнул, держался мужественно, латинисту Бенько отвечал, как песню пел. А то не видать бы ни золотой медали, ни Питера.

Детство не было босоногим, и не помнил Михаил черных, голодных дней. Когда был жив отец, особой нужды не знали. К скудному жалованью всегда была прибавка: из аулов и кишлаков что-то приносили и привозили те самые «иноверцы», с которыми Василий Михайлович водил дружбу. И отказаться от их скромного приношения в семье не могли: это кровная обида — отвергнуть подарок кунака. И дичь никогда не переводилась: из своей старинной шомполки отец стрелял без охулки. И Мишу пристрастил к охоте, правда, годов с десяти. А до этих лет приходилось хитрить на все лады, чтобы не уехали в степь или в горы без него.

Обновами его не жаловали: одежонку перешивали из того, что уже не годилось Константину. Но это не вызывало обиды: так было заведено во всех маломощных семьях — не господа ведь! Важно было не слыть неряшливым. И Миша старался: все у него было пригнано, как у хорошего солдата, и никто никогда не видел, чтоб болтались у него пуговицы на длинной нитке или зияли прорехи на локтях. С детства его приучили к чистоте и порядку. И мама говорила, что он «дружит с иглой», следит за собой и бережет вещи. Его даже ставили о пример другим — и в городском Пишпекском училище, и в Верненской гимназии, и во всех домах, где он был репетитором. И озорничал не часто.

Умер отец неожиданно — словно кряж упал от неистовой бури: его нашли мертвым в комнате при больнице.

В «Памятной книжке Семиреченской области» за 1901 год напечатали о нем хорошие воспоминания. Был он человек всегда отзывчивый к нуждам ближних и всегда, во всякое время, шел на помощь и помогал, как умел и как мог, словом и делом; он оставил по себе добрую память среди крестьян и киргизов. «По своему природному уму и знаниям он стоял выше многих из окружающих его и занимавших более высокое, чем он, общественное и служебное положение. Благодаря своему трудолюбию и занятию хозяйством он достиг было некоторой обеспеченности, так что мог дать детям своим, для которых жил и трудился, образование в гимназии. Но времена и люди меняются... Прежние друзья и приятели,

раньше заискивавшие в нем, а теперь дослужившиеся всякими правдами и неправдами до титулярного и даже надворного советника, отвернулись...

Разбитый нравственно и материально разоренный, переживая страшные душевные мучения, он умер...»

Со смертью кормильца семье стало худо. У мамы осталось немного денег за проданный отцом дом, и она переехала с девочками в Верный, чтобы быть ближе к сыновьям. Но не прижилась там и вскоре возвратилась в Пишпек. Константин кое-как держался уроками для отстающих учеников, но этих средств явно не хватало, чтобы содержать себя и младшего братишку. И уже пошли в семье разговоры, что Мишу придется из гимназии взять.

Выручил крестный, Илья Терентьев, пишпекский столяр-мебельщик, души не чаявший в своем нареченном сыне. Он присоветовал маме просить помощи у городского собрания старшин-уполномоченных.

Мама в таких делах весьма щепетильна, и без колебаний не обошлось. Ее сдерживало еще и то, что однажды просила пособие у директора гимназии Вахрушева. Тот выдал на бедность тридцать рублей и освободил Мишу от уплаты за обучение, но потребовал, чтобы он и впредь занимался отлично.

Старшины заслушали прошение, и начались у них споры: дать бы надо — это ясно, да как поглядит начальство: фельдшер-де на дурном счету был у генерал-губернатора, как бы в грязь не шлепнуться!

Но решила дело спокойная и почти торжественная речь Константина Фроловича Свирчевского. Он напомнил, что вся Россия отмечает столетие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В городах учреждаются стипендии для бедных учащихся в его честь. А мы чем хуже? А если уж кому давать стипендию, то и спора быть не может: только своему уроженцу Мише Фрунзе.

Словом, окончил Михаил гимназию на деньги отцов города Пишпека: положили ему в тот день пенсия — сто двадцать рублей в год до окончания курса.

А поглядеть, так Михаилу вообще везло на людей хороших.

Какой прекрасный человек и педагог был Михаил Андреевич Стратилатов! Ему обязан Михаил любовью к литературе. От него тайно узнали гимназисты о запрещенных писателях — Чернышевском, Добролюбове, Максиме Горьком.

А товарищи?

Костя Суконкин, давно прозванный им Куле, — паренек весьма симпатичный и товарищ отменный, хоть и приходилось тащить его по латыни и по математике. Как жаль, что из-за этого противного Бенько перевелся он в Семипалатинск, и живое общение с ним стала заменять переписка. И Боря Вахрушев, и Эдик Поярков? Чем не друзья? И чего только вместе не выделявали?

И Коля Сенчиковский? С ним и с Эдиком, когда еще были в шестом, здорово победили на шахматном турнире восьмиклассников! Выиграли бочонок вина и в воскресный день распили его в шумной компании гимназистов на берегу хрустальной Алма-Атинки, в отрогах первой гористой «пластины», под синими елями.

Все друзья были на диво цельными: они не терпели хулиганских выходок, и на каждого из них убийственное впечатление производила площадная брань, развязность в манерах и легкое, пошлое отношение к женщинам.

А девушки? Их оберегали рыцарски. И они не скрывали своих симпатий к передовым гимназистам. И не боялись встречать с ними рассветы в благоухающих — белых и розовых от буйного цветения — обширных и прекрасных садах Верного. Вот уж недаром казахи зовут свое главное поселение Ал-мат — «город яблок»... И поцелуй? Конечно! Но никто не пережил обмана и не ощутил душевной травмы!..

И была какая-то закономерность в этих встречах с хорошими людьми: чем больше он подрастал, тем больше подваливало их в Пишпек и в Верный. Только появлялись они не по своей доброй воле, а с предписанием раз в неделю наведываться в полицейское управление для отметки в журнале.

И удивительное дело: царское правительство одной рукой душило революционную мысль, а другой рассеивало ее по необъятным просторам страны. Каждый ссыльный вскоре обрстал в глухомани своей «школой» или группой, создавая кружки, и молодежь жадно пила воду из его чистого родника. Более того: чем опаснее был для царя политический деятель, тем дальше угоняли его от двух столиц империи и крупных фабричных городов. И вчерашняя глухомань под влиянием пропаганды такого деятеля рождала революционную смену куда активнее, чем многие тихие, заплесневелые губернские города центральной части России.

Таким деятелем был в Верном социал-демократ Геннадий Михайлович Тихомиров, студент историко-филологического факультета Петербургского университета. Появился он отбывать ссылку в 1902 году и вскоре сумел придать гимназическому кружку самообразования, где кипели горячие «вечные» споры о судьбах литературы, истории, философии и естествознания, революционную окраску и боевой характер.

Он привез несколько номеров «Искры», только что вышедшую книгу Н. Ленина «Что делать?», брошюру Г. Плеханова «Социализм и политическая борьба». И тайные занятия в кружке, призывавшие к действию, к подвигу, тотчас же сказались на укладе жизни в гимназии. Начались довольно бурные протесты против казарменного режима в классах, против шпионских налетов инспектора Бенько на квартиры учащихся.

Инспектор негодовал:

— Кто-то возбуждает умы гимназистов! Кто-то внушает им мысль о неповиновении! Крамола, господа!

Но кружковцы, уже знакомые с азами конспирации, держались стойко и Тихомирова не называли. Больше того: они и Бенько сделали шелковым: надели маски, прижали его в глухом саду и — отдубасили. И Михаил написал своему Куле:

«С Бенько произошла громадная перемена, теперь ты бы его и не узнал, такой ласковый и любезный...»

Когда же надо было собираться в Питер, он высказал брату Константину все, что думал о выборе жизненного пути:

«Ты спрашиваешь, почему на экономическое отделение? Милый Костя, экономика — это основа всего. Мы будем с тобой лечить больного, а через год или через месяц он погибнет от голода, от грязи, от холода в своем убогом жилье! Лечить надо глубже — изменить всю жизнь, чтобы не было бедности и лишений ни у кого, никогда... Я не ищу в жизни легкого. Я не хочу сказать себе на склоне лет: «Вот и прожита моя жизнь, а к чему? Что стало лучше в мире в результате моей жизни? Ничего? Или почти ничего?..»

Нет, глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в действительность, слиться с самым передовым классом современного общества — с рабочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в корне переделать все — такова цель моей жизни...»

Утром показалась Самара — купеческая столица, огромная деревня, густо застроенная лабазами, складами, лавчонками, кабаками и церквушками. А за ней широкая, чистая, быстрая, овеванная легендами, воспетая русским людом красавица Волга в высоких берегах.

Второй раз в жизни видел Михаил большую воду. В прошлом году он прошел с друзьями по Тянь-Шаню. Они добрались вместе до «Теплого моря» — до озера Иссык-Куль. Им устроил эту поездку отец Эдика, доктор Федор Владимирович Поярков, через Географическое общество и предложил собрать в пути коллекции трав и бабочек и занести в дневник свои впечатления.

Это была сказочная экскурсия! Шли в облаках, где парили орлы и сидели по отрогам ущелий белоголовые грифы. Пробирались к подножию многоглавой Хан-Тенгри, утопая в сплошном разнотравье.

Костя Суконкин прищелкивал языком, когда читал восторженное письмо из Верного:

«...что за веселое время-то было! Мы объехали, во-первых, громадное пространство, были в Пржевальске, объехали озеро Иссык-Куль, затем перевалили Тянь-Шань, спустились к китайской границе, оттуда воротились в Нарын, из Нарына поехали на Сункуль — тоже озеро... а с Иссык-Куля — в долину Джунгал. С Джунгала — на Сусамырь, с Сусамыря — в Фергану к Андижану. Не доехав немного до Андижана, повернули в обратный путь. Ты, может быть, удивляешься тому, что я пишу «все объехали», между тем, как мы отправились пешком. Но мы именно ехали, так как возле Костяка, по предписанию, нам дали лошадей, и мы с тех пор постоянно ехали верхом на переменных. В заключение — несколько цифр. Мы проехали около 3-х тысяч верст; ехали 68 дней; сделали 16 перевалов, в том числе 9 снеговых; из снеговых самый большой Тодор в Тянь-Шане, затем Ойчаны, Качены и Устор в Александровском хребте... Экспедиция наша увенчалась полным успехом. Мы собрали 1200 листов растений, 3000 насекомых; при этом заметь, что растения собирал я один... Коллекции мы уже отправили в Императорское географическое общество и Ботанический сад. А что за местности-то мы видели! Одна прелесть.

Куле, вот где охота-то! Дичи гибель! Видал много волков, кабанов и всяких козлов. Вообще я очень доволен тем, как провел каникулы...

Твой друг М. Фрунзе».

Вскоре он рассказал своему Куле, что его коллекция оказалась весьма ценной, и ее включили в Ботанический фонд университета и академии. И пожелали ему работать и впредь «по этой линии».

Но у него уже определилась иная «линия». И он поймал себя на мысли, что даже красавица Волга ассоциировалась у него с буйной вольницей Стеньки Разина...

А в вагоне было шумно, как в базарный день на кошпекском пустыре, и все разговоры шли о войне. То была злоба дня: кого-то взяли на фронт, кто-то лежал в госпитале, кто-то уже получил три аршина.

Война была и национальным позором: никто не скрывал в вагоне, что у него сильно ущемлено национальное самолюбие: на позициях — провал за провалом, и никакой надежды на победу русского оружия.

И уже никто не вспоминал про шапку, которой можно сразить японца. Больше того, все вольно или невольно выражали недовольство. Но почти все сходились на том, что из рук вон плохо командуют генералы. И куда только глядит государь?

И еще не успела остыть потрясающая новость последних дней: 15 июля эсер Егор Сазонов прикончил министра внутренних дел и шефа жандармов господина Плеве. И надо думать, неспроста: тот был рьяным сторонником войны на Дальнем Востоке.

Алексей Иванович Стратилатов высказал предположение, что эсеры убрали его по двум статьям: злобствовал против всякой крамолы не за страх, а за совесть, и очень умно толкал Сергея Васильевича Зубатова действовать среди рабочих против революции. Правда, Зубатова убрали, но остался поп Гапон. Он отправляет службу в пересыльной тюрьме, в «Крестах», а всякий свободный час его видят среди рабочих то на Выборгской стороне, то за Нарвской заставой. Этот тюремный священник полгода назад беспрепятственно утвердил в полиции устав своей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга». И теперь твердит мастеровым, как Зубатов, что царь, безусловно, на их стороне..

— А что за фамилия у него? Какая-то странная!

— Из Малороссии, с Полтавщины, хохол, стало быть. Но из крепких мужиков, которые всегда служили опорой престолу... Да и у вас фамилия, батенька, весьма необычная, скажу откровенно, никогда не встречал такой.

— Отец мой из молдаван. У них эта фамилия обычная. Перевести на русский, так будет «лист», вот как на том дереве, за окном. В Бессарабии много народных песен, где есть слова «фрунзе верди» — лист зеленый. А ведь лист — символ жизни. Так что я на свою фамилию не в обиде!

В мыслях давно манила Михаила Москва — грибоедовская и пушкинская, чеховская и поленовская.

Но побыть в белокаменной пришлось один летний день: слишком долгим оказался путь до нее, да и серьезные дела срочно призывали в Питер.

Москва ошеломила и — разочаровала. Вся она была перерыта: отцы города дружными усилиями бельгийских и французских акционеров укладывали по всем главным улицам стальные нитки рельсов для трамвая. Старинная конка — с унылой парой чахлых лошадей, а иногда и с шестеркой рослых битюгов (на передней паре сидел верхом молодец, смахивающий на берейтора!) — уступала место вагончику с электрической тягой.

Москва воспринималась суматошным городом с кричащими контрастами. Неопишуемая красота Кремля и Красной площади много теряла от того, что рядом с ними — у Иверских ворот — тучей толпились юродивые, клянча грош или копейку.

Против Большого театра, у фонтана, превращенного в водопои, стояли сотни телег с задранными в небо оглоблями. А по всему Охотному ряду и по Манежной площади людское море кипело, как при шторме, воздух же был пропитан неистребимой вонью от протухшего мяса, залежалой рыбы, сельдей и воблы. За зеркальными стеклами трактира Егорова шустро бегали прилизанные половые в длинных белых рубахах и красных сапожках. И подавали стакан чаю «с алимоном» или в двух чайниках — «с полотенцем», с бубликом, конечно, сахар вприкуску.

Пить чай до седьмого пота умели и в Семиречье, и Михаил отвел душу в трактире.

Из трактира он пошел по Петровке. Там публика была почище, словно Большой театр служил водоразделом; и городской — спокойно и без хамства — отсеивал лапотников, когда они пытались подойти к магазину «Мюр и Мерилиз».

Чуть дальше по Петровке, в доме № 13/15, за витриной белокафельного молочного заведения Чичкина, в траурной раме стоял портрет Антона Павловича Чехова, а перед ним — белая роза на черном бархате.

В этом доме часто останавливался и месяцы жилал великий писатель, который, по понятиям передовой интеллигенции, был совестью России. Умер он больше месяца назад, и тело его захоронили на кладбище Новодевичьего монастыря 9 июля 1904 года.

Михаил долго не мог оторваться от фотографии, такой знакомой по газетам и журналам.

Вспоминались Михаилу тихие вечера в Пишпекке: мама читала девочкам о беспросветной судьбе Ваньки Жукова, а Михаил в каждой строке улавливал жгучую скорбь от несправедливости, уродующей человека, и сердцем ощущал призыв к борьбе.

Можно понять, что не в характере Антона Павловича были гневные слова: «Долой царя!» Но ведь он проклял обывателя, убил мещанина, осмеял держиморду, поднял высоко человека труда и поклонился ему до пояса.

А как он писал о Николае Михайловиче Пржевальском, на могиле которого в Караколе Михаил был прошлым летом: «В наше больное время... когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце».

Городская художественная галерея братьев Третьяковых в тот день не открывалась, и долгожданных картин увидеть не удалось.

И только в книжном развале у Китайской стены, на Варварской площади, выпала удача купить по дешевке две книги: «Историю политической экономии» Чупрова и «Положение рабочего класса в России» Пажитнова. С ними он и отправился на вокзал, безумно устав от московского суматошного дня.

В ожидании поезда взял он в камере хранения свою корзину, уселся на нее неподалеку от входа в вокзал и, пока не сгустились сумерки, стал листать книгу Пажитнова.

Рядом устроился парень лет двадцати пяти, с длинными русыми усами, по виду мастеровой — в картузе, потрепанной синей паре, брюки заправлены в сапоги, и свежая ластиковая косоворотка в цвет костюма.

Дмитрий Павлов — так звали молодого мастерового — ехал искать работу по металлу; в Сормове он был токарем, строил паровозы, попал «под надзор». Пообещались встретиться, если позволят обстоятельства. А на прощанье Митяй словно ежа пустил под череп будущему студенту;

— Помни каждый час: вся наша сила в боевом товариществе. Хочешь быть человеком, равняйся на большевиков: вся правда у них. А большевики там, где Ленин. Слышал про него?

Михаил кивнул.

— Пробивай свою стежку к нему... Прощай, жму руку, товарищ...

Школа революционной борьбы

По окончании гимназии поступил в Петербургский политехнический институт. Первое знакомство с революционными идеями получил еще в бытность в гимназии, где участвовал в кружках самообразования. С первого же года университетской жизни вступил в социал-демократическую партийную организацию. В первоначальном студенчестве сразу же примкнул к большевистскому (движению) течению.

С конца 1904 г. стал принимать активное участие в деятельности различных большевистских организаций.

М. Фрунзе

Добрая неделя ушла на устройство самых неотложных студенческих дел.

В институт он был зачислен, но без стипендии. Выручил брат Константин: почти одновременно с письмом поступили от него деньги. Но их хватило на то, чтобы приобрести форменный костюм.

К счастью, в общежитии института он получил комнату на двоих и поселился со своим товарищем из Верного — с Матвеевым. Правда, и Матвеев, как и верненский Ромадин, был далек от духовных интересов молодого Фрунзе, но жить с ним под одной крышей было не так уж плохо: у него всегда водился лишний рубль.

Новые приятели, догадываясь о финансовых затруднениях Михаила, подыскали ему два урока. И это выручило: в одном доме платили наличными, в другом три раза в неделю кормили обедами.

Два-три дня ушло на то, чтобы прописать в полицейском участке свидетельство на право жительства в российской столице.

Словом, дней десять не было нужды вылезать из Лесного, с дальней западной окраины города, где размещался институт. И Михаил еще не видел всей архитектурной красоты Северной Пальмиры.

По дороге в Лесное от Николаевского вокзала глазеть было некогда: вскоре промелькнул мост над величавой Невой, а потом паровичок потащил старый вагончик вдоль бесконечного Сампсониевского проспекта, где вперемежку с фабричными корпусами ютились кирпичные рабочие казармы и деревянные домишки столичных обывателей. И только в одном из кварталов привлек внимание миниатюрный особнячок в стиле нуворишей — весь облицованный кафелем, сверкающий зеркальными окнами сквозь густую зелень палисадника: это было семейное гнездышко нефтяного короля Нобеля.

Институт был новый, свежий — с грандиозным подъездом и мраморным полукружием парадной лестницы. Стараниями Дмитрия Ивановича Менделеева и его ученых коллег он открылся всего два года назад, и все студенты были молоды: в 1904 году производился третий набор. Публика на всех курсах считалась демократической, да так оно и было на самом деле: в списках редко мелькали звонкие дворянские фамилии.

Мало-помалу все неотложные студенческие дела утряслись, вошли в норму. Но забот не поубавилось: так хотелось не отстать от других, всюду поспеть, все ухватить жадно! Ведь в Пишпекке по крохам собирали деньги на его обучение. И тем дороже были занятия в институте, и тем строже относился он к ним.

Однако даже самая скромная жизнь студента требовала наличности, и вскоре начались нелады с кошельком: где достать семь копеек на почтовую марку, чтобы поделиться впечатлениями с Костей, с мамой или с Куле Суконкиным не в открытке, а в большом, обстоятельном письме; и как подкрепиться до занятий французской булкой, если нет в кармане свободного пятака?

Но он не сдавался, не унывал. И это его настроение раскрывалось в переписке с Костей Суконкиным.

«На днях получил твое письмо, которое меня страшно обрадовало. Спасибо тебе, что не забываешь меня... Прости, что пишу на открытке, нет ни копейки денег, а открытки есть у Матвеева — поклон от него... Своим выбором я очень доволен. На политэкономическом отделении нужно только читать, что и делаю. Профессора у нас прекрасные, среди них есть такие знаменитости, как Кареев, Менделеев, Иванюк и др. Из наук мне особенно нравятся: химия, политическая экономия и история. По экономии и истории пишу сейчас рефераты, которые буду защищать на диспуте. Очень нравится мне тоже энциклопедия права, это в высшей степени интересная наука. Читать приходится массу по всем отраслям знаний. Советую тебе заняться чтением, но только не пустяков, а серьезных книг, это тебе потом очень и очень пригодится... Еще раз повторяю: читай, читай и читай. Здесь без чтения никуда. Хорошо разве тебе будет потом в университете, когда сразу же придется применять к делу свои познания, а у тебя их нет. Ну, пока довольно. Отвечай скорее. Когда получу от тебя письмо, напишу обстоятельно про мою жизнь, институт и студенчество...»

В сентябре и в начале октября лекций в институте он не пропускал. И слушал всех профессоров — и хороших и средних. И радовался тому, что каждый из них считал своим долгом стряхнуть классическую пыль гимназии и призвать их к поискам истины в науке, которой он посвятил свою жизнь.

Богом был белобородый и опальный патриарх русской науки, любовно прозванный политехниками «Михаилом Ломоносовым из Тобольска» — Дмитрий Иванович Менделеев. Полгода назад ему минуло семьдесят, но он сохранил удивительную живость ума и читал любые тексты без очков.

К сожалению, курса он не вел и ограничился лишь вступительной речью, которая привлекла студентов всех курсов и почти поголовно всех профессоров.

Кто умел смотреть, тот видел терновый венец подвижника и мученика на массивной голове Менделеева. Пятнадцатый год он был без кафедры: в 1890 году он демонстративно оставил Петербургский университет из-за конфликта с министром народного просвещения Деляновым: во время студенческих волнений тот отказался принять от Дмитрия Ивановича петицию студентов.

Встретили Дмитрия Ивановича у подъезда бурей аплодисментов, грохотом оваций проводили в зал до кафедры и долго не давали говорить. И умолкли лишь после первых слов Менделеева:

— Не будем раздражать институтского пристава! А то он лишит меня слова!

Дмитрий Иванович в тот год писал свои «Заветные мысли», которым суждено было стать его завещанием новому поколению. И посвятил свою речь народному образованию. Нельзя вырвать Россию из мрака патриархальщины, если мы не раскроем двери наших учебных заведений перед рабочим и крестьянином и не подадим руку нашим девушкам, которым давно уготовано историей место рядом с нами в университетах и в практической деятельности на производстве!..

Под статью маститому Менделееву говорили и его младшие товарищи: ученые и практики одновременно, презиравшие кабинетную науку. Молодой Александр Александрович Байков с успехом применял на заводах свои блестящие выводы о

превращениях в металлах и свою теорию металлургических процессов. Михаил Александрович Павлов был прекрасным знатоком доменных печей и недавно применил в них горячее дутье. А у Михаила Андреевича Шателена в электротехнической лаборатории можно было работать как на действующем предприятии, а сверх того проектировать первые в России гидроэлектрические станции.

Но любому вдумчивому студенту бросалась в глаза институтская неправда. У Шателена бережно хранились десятки проектов, составленных крупными учеными и инженерами. Он показывал первые наброски Ф. А. Пироцкого, который еще тридцать лет назад выдвинул проект преобразования водной энергии в электрическую. И рассказывал о заманчивом плане Н. Н. Бенардоса — построить гидростанцию на Неве, у Ивановских порогов. И раскрывал удивительно смелый проект В. Ф. Добротворского, по которому можно было строить мощные станции на водопаде Большая Иматра и на Волхове.

Но проекты лежали в шкафах Шателена, и к ним добавлялись студенческие наброски. А в России действовали две маленькие гидростанции: одна на реке Охте в Петербурге, другая на реке Подкумок, она называлась «Белый Уголь» и подавала свет курортам на Минеральных Водах.

Только что объявил о своих лекциях Николай Иванович Кареев, и первокурсники с нетерпением ждали, когда он появится на кафедре.

Об этом профессоре много говорили, и Михаил уже знал о нем кое-что: ему пятьдесят четыре года, сединой и осанкой он похож на своего покойного друга Ивана Сергеевича Тургенева. Но человек живой и экспансивный, с хорошо поставленным баритоном и виртуозной ораторской манерой.

Он был в фаворе у самых передовых студентов института. Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали его сочинения о французских крестьянах конца XVIII столетия превосходными, исполненными блеска, по методике исследования и по фактам, мало знакомым даже парижским академикам. Правда, другую его книгу, «Основные вопросы философии истории», не так давно раскритиковал Георгий Плеханов за неумение провести резкую грань между марксизмом и экономическим материализмом. Однако это почти не уменьшило сияния его ореола: он считался оригинальным мыслителем, не развращенным верноподданническими чувствами. И конечно, никто не знал, что этот «молодой» и блестящий старец через два-три года станет одним из идеологов новой кадетской партии.

Вроде бы все шло удачно. Нет-нет да и появлялись в институте новые профессора с огромными заслугами в отечественной и в мировой науке. У металлургов произнес вступительную лекцию корифей русского металловедения, основоположник термической обработки стали Дмитрий Константинович Чернов — отец булатной стали. Шателен пригласил к электротехникам изобретателя радио Александра Степановича Попова. После лекции пошли вместе с ним в соседний Лесной институт, на метеорологическую станцию. Там наблюдали действие грозоотметчика: он записывал сигналы на ленту телеграфного аппарата Морзе.

— Это, господа, моя живая модель регистрирующей приемной радиостанции!

Александр Степанович был знаменитым ученым и выдающимся инженером. И странно было слышать в его устах жалобы на бездушное отношение начальства к его опытам и открытиям...

Каждый свободный час Михаил уединялся в библиотеке. И чудеснейшее на белом свете занятие — рыться в книгах — доставляло ему радость: он успел узнать многое из истории и философии права, из политической экономии и статистики. Но покоя в душе не было: все писатели толковали предмет осторожнее, чем профессора в институте. А что-то очень важное в жизни проходило мимо, уносилось легкокрылой птицей в дальнюю даль от питерских холодов, в неизведанные края — к теплу, к свету, как вот эта запоздавшая стая скворцов за окном.

И в одну из бессонных ночей он вдруг понял, что над чужими фолиантами, следя за мыслью чужих людей, можно погрязнуть в чужих цитатах и постареть душой!

А это крах, *taedium vitae* — отвращение к жизни! Это позорный выстрел по горьковскому Буревестнику, чтоб не звучал над Россией набатный клич: «Пусть сильнее грянет буря!..»

На время были отставлены книги, Михаил жадно набросился на газеты. В них все бурлило и пенилось. Кто-то кидался на Горького и, как шавка из подворотни, гавкал на всю империю: «Где он увидел бурю, этот литературный отец босяков?» Кто-то читал отходную российской социал-демократии, смакуя подробности драки между большевиками и меньшевиками. Но больше всего газеты вопили о войне. Между строк угадывалось, что репортеры озабочены волной антивоенных демонстраций в Двинске, Варшаве, Кутаиси, Риге и Ченстохове. Сборища пораженцев разогнаны, и на улицах кое-где пролилась кровь. Но поднимают голову противники войны в Москве и в Санкт-Петербурге.

В больших статьях военных обозревателей уже не было речи о безусловной победе над японцами. Порт-Артур находился в осаде, с недели на неделю он мог пасть. И среди туманных формулировок о героизме и доблести русского войска все чаще проскальзывала мысль о том, как важен для великой империи почетный выход из войны...

Михаил когда-то мечтал быть генералом. Что-то и сейчас осталось от того давнего детского желания: студент Фрунзе с огромным интересом листал книги по истории войн и пытался представить себя в роли того или иного полководца в решающий момент сражения.

Но быть генералом в этой войне не хотелось. Даже таким, как Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура, готовый вместе с матросами и солдатами сложить голову на поле брани, но не сдать крепость.

То ли дело битва при Вальми, о которой недавно напомнил Кареев. Революционная Франция бросила тогда в бой против кадровых немецких войск необученные свои батальоны. И они с «Марсельезой» на устах, под знаменами Свободы, штурмом смяли врага!..

В эту пору раздумий Михаил решил все-таки пойти с рекомендательным письмом к Анненскому.

Хозяин встретил его в огромном кабинете просто и радушно. Усадил в глубокое кожаное кресло, быстро прочитал письмо Сенчиковского.

— Итак, мы с вами коллеги по профессии. У нас — у народников — многие мечтали о таком пути... Кстати, вы уже определили его окончательно или еще мучаетесь, блуждая в потемках?

— Нет, не блуждаю: будущее за социал-демократами. В институт пошел по велению сердца. А вот на общественном поприще своих сил не испробовал. И потому мучаюсь, если говорить вашими словами.

— Хвалю за откровенность! Мы тоже были такими в своей юности: прямота, смелость, жажда подвига и жизнелюбие. Но мы тогда ничего не знали о Марксе и по этой причине не могли даже спорить с ним.

— А зачем же спорить? Маркс — человек земной. Все его аргументы подкреплены фактами. А из фактов жизни им разработана стройная, научная система исторического материализма. И эта наука Маркса — самый верный путь в будущее...

Разговор мог бы продолжаться и долгий осенний вечер и длинную петербургскую ночь. Но подвалили гости из-за Нарвской заставы — рабочие парни с Путиловского со своим вожаком Николаем Гурьевичем Полетаевым.

Полетаев — худощавый мастеровой в косоворотке, в черной тройке, с серебряной цепочкой от часов на жилете — расправил ладонью длинные русые усы и подал знак товарищам. Парни мигом расселись на стульях, изредка оглядываясь на высокие напольные часы, чтобы не задеть их локтем.

Почти беспрерывно стали распахиваться двери. В сюртуках и визитках шла столичная интеллигенция — врачи, адвокаты, инженеры, журналисты.

Все вдруг закурили, дым повис облаком в светлом пятне над абажуром настольной лампы. И во всех углах начались громкие споры. Там — о войне, там — о Гапоне, там — о везениях революции и «банкетной кампании» либералов, там — об Учредительном собрании.

Постепенно вниманием овладел адвокат с каштановой бородкой. Он говорил о наступлении «общественной весны» с приходом князя Святополк-Мирского в министерство внутренних дел. Ах, князь Петр Данилович! Имя его увековечится в летописях России! Он из ссылки вернул либеральных деятелей, разрешил им объединиться в «Союз освобождения» и даже закрыл глаза на то, что они выпускают ныне свою газету «Наша жизнь». Благодарные либералы провели недавно второй свой съезд и поддержали широкую кампанию земцев в защиту важнейших реформ сверху, чтобы не было в стране никакой «внутренней смуты». Царь пойдет либералам навстречу!

— Бог ты мой, ну и понес! — не удержался Полетаев. — Вы лучше скажите, что делать: кончать войну или вести ее до победы?

Адвокат развел руками.

В дверях показался Кареев, который широким жестом приглашал в кабинет Максима Горького.

Ничего парадного или броского не было в облике знаменитого писателя. Покашливая и расправляя соломенные усы, шел в наступившей тишине застенчивый и смущенный, высокий и словно изможденный мастерской с большим широким носом на крупном, угловатом лице, с острыми светлыми глазами, глубокими морщинами между лохматых бровей, подстриженный скобкой. И на фоне вечерней одежды интеллигентов по-домашнему выглядели его синяя куртка со стоячим воротником и брюки в тот же тон, гармошкой набегавшие на яловичные сапоги, давно обмятые по ноге.

— Доброго здравия! — глуховатым баском сказал Горький. — И — господа, и — товарищи! — и добродушно похлопал по плечу Полетаева.

Фрунзе ждал этой минуты. И бесконечно был благодарен доброму Сенчиковскому, который ввел его в этот дом. Горький — живой властитель дум самой передовой молодежи, сегодня ей более близкий, чем нежный и тонкий Чехов, чем суровый, дерзкий старец из Ясной Поляны.

Все хотелось разглядеть и отметить в Горьком: и его манеру исподлобья оглядывать незнакомые лица, и приглушенно смеяться, опустив на грудь подбородок, и манеру громко дуть в мундштук для папиросы и держать ее далеко от себя большим и указательным пальцами левой руки.

Горький продул мундштук, закурил и пристально оглядел всех.

— Революция не за горами: ее поступь слышна в тревожном биении пульса страны. Сделают революцию не сверхчеловеки, а простые рабочие люди, и, будем надеяться, так же добротнo, как они собирают машины и ткут полотно. В нашей мужицкой России крестьянин подопрет плечом пролетария. В этом союзе огромных масс — залог успеха.

Папироса догорела, Алексей Максимович не спеша достал другую.

— Опасное это дело — революция, тем более — первая в многострадальной истории государства Российского. Не обойтись без крови, — она ведь и сейчас льется на городских улицах, где князь Святополк-Мирский усмиряет противников войны... Опасное дело! Но и радостное: повернуть всю жизнь народа на путь к свету и добру. За такое и умереть не грех: яркой кометой сверкнуть перед сомкнутым строем живых товарищей...

Горький закашлялся, спрятал мундштук в карман. Видно было, что говорить он не мастак: слова подбирал медленно, словно распутывал тугой узел, и речь строил шершаво. Но чем труднее давалась ему фраза, тем сильнее она впечатляла.

Именно в эти дни окончательно переломилась привычная жизнь студента Фрунзе.

Он начал пропускать отдельные лекции, а вскоре и по два-три дня не появлялся в аудиториях, потому что искал правду жизни в общении с людьми, воплощавшими наиболее

острые лозунги дня. Его теперь часто видели на митингах рабочих Выборгской стороны и на гапоновских «бдениях».

Повидал он и Георгия Гапона. Смуглолицый священник пересыльной тюрьмы был красив. Грудной, глуховатый баритон его был приятен, но речи отталкивали: всю надежду он полагал на доброго государя.

Плел он страшную чушь. А многие слушали его с восторгом и верили его словам. Видимо, их сбивало с толку то, что на высоком помосте стоял священник, а не горячий студент-агитатор или свой брат рабочий, неумело, но искренне призывавший их скинуть царя с престола.

Метали молнии против Гапона неугомонные большевики: обзывали этого красивого попа царским холуем, полицейским кумом. Их слушали и иногда выражали поддержку. Но начинал говорить Гапон — тихо, спокойно, никого не оскорбляя, и все замирали.

На одном из митингов на Выборгской стороне, на заводе «Промет» в Тихвинской улице, Михаил Фрунзе попросил слова после Гапона и сказал:

— Я — студент. Ни в какой партии не состою. Имя моё Михаил, а фамилию не скажу. Как говорит отец Георгий, господь бог знает мою фамилию, а полиция пускай останется в неведении: мне еще учиться надо!

Одобрительный смешок прокатился по залу, и Михаил качал свою первую публичную речь:

— Добрых царей я не знаю. Римский император Нерон забавлялся тем, что кидал на растерзание львам первых последователей Иисуса Христа. Королева прекрасной Франции Екатерина Медичи, правившая за своего сына Карла Девятого, не шевельнула рукой в ту короткую августовскую ночь святого Варфоломея, когда ее католики очень ловко вырезали тридцать тысяч гугенотов. Русский император Николай Первый без содрогания повесил на валу Петропавловской крепости декабристов: Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Миротворец Александр Третий казнил Перовскую, Желябова, Кибальчича, Ульянова. Николай Второй каждодневно ссылает передовых людей в места отдаленные: у нас, в Семирежье, на каждой улице по ссыльному. А виноваты они только в том, что желали вам добра. Господин Гапон забивает нам голову детскими сказками. Царь не потому зол на революционеров, что он вампир. Он главный помещик России, и всякое потрясение основ империи касается лично его, а потом уж его сановников. Богатые никогда по доброй воле не делятся благами с бедными — не мне вас учить! Отнять у них все добытое вашими руками — это иное дело! А кланяться да плакать, ей-богу, это удел побирушек, а не рабочего класса!..

Гапон уехал с митинга обескураженный. А Фрунзе добирался до паровичка в прекрасном настроении.

По дороге догнала его девушка, с виду курсистка: на слабо освещенной улице он разглядел лишь контуры круглого лица, меховую шапочку, шубку и муфту.

— Подождите, товарищ Михаил! Я восхищена вашим выступлением. Но почему-то никогда не встречала вас раньше, хотя знаю почти всех способных агитаторов в городе. Меня зовут Оля. Я бывшая студентка женского медицинского института, исключена за неблагонадежность. Теперь я организатор Выборгского района.

— Ну, Оля, сам бог послал мне вас! А то я блуждаю в потемках и никого толком не знаю в питерской организации.

— Зовите меня Соней: это моя кличка. А фамилию узнаете со временем — за мной следят. Вы не торопитесь?

— Нет.

Соня подхватила его под руку, и они шли и шли по заснеженным тихим улицам к Петербургской стороне. Против Петропавловской крепости завернули на Каменноостровский проспект — прямой и бесконечный и очень светлый от электрических фонарей.

Поговорили о Гапоне: почему его «Собрание» успешно вербует сторонников? Сборища его проходят легально и дают какую-то отдушину общественной жизни. Кроме того, в Питере очень мало большевистских агитаторов, да и тех почти каждый день отправляют за решетку. И вместо того чтобы дезавуировать Гапона на рабочих собраниях, они вынуждены безмолвно слушать его проповеди в тюремной церкви. Из-за вечных провалов никак не удается сколотить крепкие ядра во всех районах: у выборжцев нет то организатора подрайона, то пропагандистов, то ответственного агитатора. При такой ситуации большое влияние в столице приобрели меньшевики: их полиция почти не трогает. В городе шесть районов, меньшевики главенствуют в трех: Петербургском, за Нарвской заставой и на Васильевском острове. Самое их засилье на Петербургской стороне: там большевикам не дают и рта раскрыть на гапоновских сборищах. Меньшевики против массовых политических стачек и демонстраций, они «банкетчики». А на Выборгской стороне, где им дают афронт, недавно прокатилась могучая стачка на Ново-Сампсониевской мануфактуре. Самые крикливые меньшевики — Дан и Троцкий — выдвинули для своей партии лозунг: «Мир во что бы то ни стало!» А это чистая разновидность оборончества: господа мартовцы пытаются спасти от поражения отечество помещиков и капиталистов и ничего не говорят о революционной борьбе с самодержавием. Очень обтекаемые господа Мартов и Ко, и с ними дело идет к полному разрыву. Двадцать два большевика во главе с Лениным опубликовали в августе обращение к партии: они требуют созыва III съезда РСДРП. А меньшевики противятся этому. Сейчас Ленин готовит в Женеве выпуск новой газеты: «Искру» захватили меньшевики, и она уже не отражает воли всей партии.

— А вы, Михаил, хотели бы работать в нашем большевистском районе?

— Безусловно!

— Я вам передам литературу. Только берегите ее так же крепко, как и себя. В доме у меня встречаться нельзя: я вам дам явку на Сампсониевском проспекте. Приходите завтра вечером, получите адреса, где надо выступать на летучках... Эх, я разговорилась! Расскажите что-либо о себе...

Михаил нарисовал портреты профессоров, затем перешел к Анненскому, у которого слушал Горького. Стал ворошить верненские воспоминания, всякий раз возвращаясь к веселым и опасным проделкам, непременно связанным с Костей Суконкиным — сыном бедного отставного солдата, неутомимым на всякие выдумки.

— Ходили мы с Костей на охоту, даже на кабанов, а в таком деле нужны и смелость и выдержка. А один раз решили устроить дуэль — на ружьях, заряженных дробью. Влепил мне Костя шесть дробинок в лицо, вот остались следы, как от оспы.

Были и другие озорные забавы. Однажды темной ночью сделали в городе ералаш: вывеску «Трактир» навесили над крыльцом в доме полицмейстера, а трактир превратили в модную галантерейную лавку... Но случались дела и поважнее: за реферат о Максиме Горьком в кружке самообразования чуть не вылетел из гимназии. Успел, правда, и прочитать кое-что из серьезных книг, к примеру, «Капитал» Маркса. Жил у нас один здешний ссыльный студент, он помог нам разобраться в политике.

— Кто?

— Тихомиров.

— Геннадий? Бог ты мой: мы совсем потеряли его из виду. Он и сейчас в Верном?

— В августе был там. Когда прощались, он назвал мне двух товарищей: Жарновецкого и Крыленко.

— Знаю их.

Соня задумалась. И какое-то время они шли молча, только снег звонко хрустел под ногами. На углу Большого проспекта и Широкой улицы закончилась их встреча — у освещенной витрины хлебной лавки, под огромным золоченым кренделем, служившим вывеской. Только теперь Михаил разглядел лицо своей спутницы: круглое, курносое, с большими жгучими глазами, похожими на два спелых каштана. Его нельзя было назвать

красивым, броским, запоминающимся с первого взгляда. Но глаза манили и притягивали: они горели молодостью, жизнью.

А возле них, на висках, выбивались из-под шапочки два черных локона, слегка припорошенные инеем.

— Дом мой рядом. До встречи завтра, Михаил!.. Да, кстати: в институте у вас есть Асатур Арбекян. Передайте ему, что вы говорили со мной. Он введет вас в студенческую организацию социал-демократов. Там вы будете в своей стихии. И уж конечно, встретитесь с Крыленко и Жарновецким...

Почти до полуночи добирался Михаил в Лесное... И в холодном вагончике сидел он как на раскаленных углях: не один он теперь, не один; определилось его важное и опасное дело; и он будет смело выполнять его, чувствуя рядом локоть товарищей!

Есть такие чудодейственные повороты в человеческой судьбе, когда месяц равен году, год равен долгой жизни. И Фрунзе вдруг приблизился к такому крутому повороту. На всю свою жизнь оглянулся он с новой высоты, и смешными показались ему юношеские потуги выразить себя в озорных шалостях: и эта «темная» в городском саду, когда насмерть перепугался Павел Герасимович Бенько; и эта трактирная вывеска, перенесенная к дому полицмейстера; и подпольная листовка, выписанная печатными буквами: «Обращение партии Вольных Соколов в городе Верном ко всем гимназистам и гимназисткам. Долой царя! Да здравствует республика!»

Куда там! Все это неосознанное буйство молодой крови. А если глянуть в корень, так все это шло по старой пословице: «Лучше слыть озорником, чем дураком».

Теперь-то он хорошо знал, что и «Долой царя!» и «Да здравствует республика!» — программные требования подпольной партии, самой передовой и организованной, и что за достижение этих лозунгов можно заплатить жизнью, если нести их с оружием в руках и драться на баррикадах при вооруженном восстании.

И всякие юношеские иллюзии, связанные с Питером, развеивались, как снежинки на ветру. В Верном он рисовал себе Северную Пальмиру, как и всякий провинциал, отправляющийся из своей глухомани в резиденцию царя, его министров и великосветской знати. В мечтах это был город-сказка, чудесное «Петра творенье». Фрунзе знал теперь этот город неплохо: его столичную чопорность и безудержную, показную пышность, которая внешне подчеркивала величие и могущество империи; и хмурую красоту дворцов, особняков, набережных и каналов; и простую, ясную географию прямолинейных проспектов и улиц. Но знал он и гнетущую нищету работах кварталов.

А в столовой, где проходил митинг, удушливо пахло кислыми щами и махоркой. И рыжая тощая кошка, мурлыча, терлась боком о валенок Гапона...

— В бой, Михаил, в бой! — говорил себе Фрунзе, шагая от станции к своему общежитию.

Еще одно письмо было отправлено в Семипалатинск Косте Суконкину 15 ноября 1904 года. Все уже было покончено с юношескими иллюзиями. И Фрунзе определился в сложном водовороте событий, захлестнувших столицу.

«Извини, Костя, что я долго не отвечал тебе. Но ты не поверишь, что у меня положительно нет времени писать письма; сейчас у нас идет сильное брожение, да и не только у нас, но и во всех слоях общества; в печати теперь пишут так, как никогда не писали; везде предъявляются к правительству требования конституции, отмены самодержавия; движение очень сильно. Не нынче так завтра конституция будет дана; не дадут в этом году, дадут в следующем. 6-го ноября в Петербурге было назначено заседание представителей от всех земств; это заседание, хотя и не было разрешено правительством, все-таки состоялось и выработало программу, исполнения которой потребует у правительства. Между прочим, § 1 этой программы включает требование созыва учредительного собрания для выработки им конституции. Сейчас среди студенчества и рабочих, а также среди частных лиц идут приготовления к грандиозной манифестации; ряд частичных демонстраций уже был как у

нас в Питере, так и в других городах, но это только не что иное, как прелюдия к самому главному, которое имеет быть в начале декабря.

Вчера был устроен вечер в здании Инст(итута), была масса народу, профессоров, студентов, курсисток и вообще всякой публики; после вечера собралась сходка, на которой присутствовало свыше 2 тысяч человек. В этой сходке было решеноверить руководство главному комитету социал-демократ(ической) партии. От него в нужный момент и пойдут приказания. Я принялся за устройство Семиреченского землячества; дело идет на лад.

Через неделю у нас соберутся все верненцы, которые только находятся в Питере, курсистки и студенты. Тогда окончательно обсудим и вырешим все. В это землячество должны вступить не одни петербуржцы, но и вообще все верненцы, находящиеся в универс(итетах) России, так что землячество обещает быть грандиозным. Сейчас написал письма в Москву, Одессу и Казань, чтобы узнать отношение тамошних наших студентов к этому вопросу, думаю, что их отношение будет безусловно благоприятно. Землячество первой целью будет иметь взаимную поддержку, для чего будет образована касса взаимопомощи; эта цель самая главная, но, конечно, не она одна имеется в виду...

...Я тебе вкратце намечу, что было бы для тебя особенно полезно: возьми и прочитай прежде всего какое-нибудь введение в философию, например, Иерузалема или Кюльпе, Вундт будет слишком труден; затем познакомясь с историей философии... Дальше познакомясь с развитием социализма, так как первенствующая сейчас партия социал-демократов вся основана на социализме.

Ну, до свидания. Пиши чаще, не обижайся, если иногда не получишь ответа, сам видишь, что я занят».

В письме было много намеков, а кое-что и нарочито упрощено, чтобы далекий друг из Семипалатинска легче ухватил главные мысли об общественном брожении в Питере. И ничего не сказано ни о большевиках, ни о Горьком, ни о Короленко.

При очередном визите к Анненскому Фрунзе познакомился с Владимиром Галактионовичем Короленко, и тот долго расспрашивал его о Семиречье.

Человек удивительно мягкий, очень добрый в обращении, он был куда острее и решительнее в своих общественных поступках, в рассказах и очерках, полюбившихся передовой русской интеллигенции.

И в разговоре с Фрунзе Владимир Галактионович пытался выяснить роль колонизаторов в Семиреченском крае и судьбу забытых «иностранцев».

Михаил рассказал об отце: как он заявил разгневанному генерал-губернатору, что киргизы, как и русские, равны перед болезнью и что больница ни перед кем не закрыта, когда люди нуждаются в ней.

— Ваш отец был достойный человек, — заметил Короленко. — Как только интеллигенция становится на запятки в карете вот таких фон Таубе — она обречена.

Жизнь пока устроена так: либо будь человеком и служи роду, либо обращайся в блюдолиза и подлеца.

Встреча была непродолжительной. Но она надолго запомнилась и Фрунзе и Короленко. И этот большой писатель, человек трудной судьбы, вспомнил о своем собеседнике через пять лет, когда нужно было спасти его от смертной казни...

Не рассказал Михаил в письме своему другу Куле, как он попал на митинг студентов в университете.

После второй встречи с Соней он стал выступать на рабочих «летучках» — то на «Новом Лесснере», то на фабрике Трошилова. А 1 ноября поехал на Васильевский остров. У него был благовидный предлог — поглядеть на свою коллекцию трав и цветов, собранную на Тянь-Шане. Он зашел к университетским ботаникам. Но коллекцию Недавно перевели в Ботанический сад Академии наук.

— Мы рады вам, коллега, — сказали ему новые товарищи. — Коль уж вы связаны с нами добрым научным почином, погостите, путь до вашего института не близкий. Покажем

вам университет — бывшие двенадцать коллегий Петра Первого. А потом отправимся на сходку...

В актовом зале произносил последние фразы своей лекции Евгений Викторович Тарле — коренастый профессор с тонким орлиным носом. Он, видимо, говорил о войне, о возможном падении Порт-Артура.

— Императора крепко ударили по голове, когда он путешествовал в качестве наследника по японским островам. Будем надеяться, что русский народ, идущий к революции, нанесет ему удар более решительный!

Тарле сошел с кафедры, отгремела овация, и сейчас же зазвонил в колокол лобастый крепыш с черными бровями и мягким пушком под носом.

— Кто это? — спросил Фрунзе.

— Товарищ Абрам. Но это его кличка, — толковый парень, с юридического.

Абрам объявил, что сходка проводится по инициативе Коалиционного совета петербургских студентов социал-демократов. Спросил, считает ли возможным собрание пригласить в президиум членов совета? Никто не возражал, и он назвал четверых: Дорошенко, Бокия, Жарновецкого и Мануильского. Все они поднялись на сцену и разместились обочь Абрама. А он уже кричал вахтенным студентам при входных дверях:

— Пристава не пускать, товарищи, даже если придется применить силу! — И тотчас же объявил повестку дня: — «О войне», «О «новом курсе» правительственной политики» и «Об Учредительном собрании».

Но никто этой повестки не придерживался. Жарновецкий начал с отповеди Струве, который в заграничном журнале «Освобождение» обратился к студенчеству России с призывом «не спорить, а дружно работать на благо отечества, во имя общенародного дела».

— Нет, война не является тем «общенародным делом», о котором хлопочет господин Струве. Войну ведет царское правительство и буржуазия. И чтобы быстрее свергнуть самодержавие и строй угнетателей, у нас выход один: поражение царизма в позорной войне, свержение династии Романовых, победоносная революция!

Кто-то ринулся к трибуне и начал кричать, что поражение — это позор. И надо искать другой путь в революцию.

Ему не дали закончить речь.

— Слыхали! Долой! — заревел зал.

Жарновецкого поддержал Глеб Бокий:

— «Новый курс» правительства и «банкетную кампанию» либералов вкупе с меньшевиками мы отвергаем единодушно. Революция начинается: ее надо развертывать, а не свертывать. Наш курс — на Временное правительство рабочих и крестьян. Только оно способно довести революцию до победного конца!

Почти все ораторы были единодушны. И Абрам толково суммировал мнение сходки:

— Тот, кто не хочет стареть душой, должен немедленно идти на заводы и фабрики. Мы — совесть науки, мы — совесть класса, мы — огромная молодая сила. Так поможем отсталым рабочим понять основные лозунги социал-демократии. И приблизим день падения самодержавия, оказав поддержку великому и могучему народу на этом историческом рубеже. Вперед, навстречу светлому будущему, когда люди смогут свободно жить, трудиться, мыслить!

Долго пересчитывали вскинутые вверх руки. Их оказалось девятьсот двадцать шесть. Только десять голосовали против. Их освистали так, как не снилось и Соловью-разбойнику.

Фрунзе познакомился с Абрамом — Николаем Крыленко. Тот торопился к рабочим на завод «Сименс и Гальске» и был весьма лаконичен;

— У вас в институте сходка четырнадцатого. Надо готовить ее по нашему образцу: меньше пустых слов, больше смелых ораторов из большевиков. И два решающих лозунга: против войны и против «земской кампании» меньшевиков. Соне передайте, что я буду привлекать вас — в агитационно-пропагандистскую группу Петербургского комитета. И еще одно чрезвычайно важное дело: намечается грандиозная демонстрация во второй половине

ноября. Выводите своих студентов вместе с рабочими Выборгского района. Столичный комитет дает демонстрации три лозунга: «Долой самодержавие!», «Долой войну!», «Да здравствует социализм!» Хотя бы одно кумачовое полотнище подготовьте с Арбекиным... Извините, очень спешу. Будете писать Тихомирову, скажите, что мы в жюль-верновской ракете летим к революции.

Михаил не отметил в письме и еще одно обстоятельство. В эти дни он познакомился с интересным человеком, который держал в своих руках и связных, и явочные квартиры, и сложные пути добывания денежных средств для партии.

Это был лохматый, весь заросший кудрявой шевелюрой, баками, бородой и усами, больной туберкулезом студент, недавно вышибленный из Академии художеств. Звали его Эдуард Эссен. Аристократ по происхождению, он и носил кличку Барон. И своими манерами, и грациозной речью, и знанием языков, и связями с широким кругом передовых художников, актеров и писателей он был очень хорош на месте главного столичного конспиратора и хранителя партийной техники. Именно он сказал Михаилу, что днями питерские большевики ждут из Женевы, от Ленина, известного партии Сергея Лебедева, который должен сформировать в Питере предсъездовский «Комитет большинства» и возглавить его.

— Интереснейший человек! С Лениным хорошо знаком еще по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Ему уже грозили смертной казнью за ростовскую стачку позапрошлого года, когда рабочие здорово разделались с отрядом донских казаков. Нашел ему квартиру. И познакомлю вас с ним при случае.

Они шли по набережной Васильевского острова на сходку в Горном институте. Барон говорил, как важно революционеру знать проходные дворы в городе, чтобы не попасть в лапы филеров или полиции.

На подступах к Николаевскому мосту Барон остановился возле темно-серого мрачного здания, издали похожего на огромный гранитный куб. Перед зданием мирно лежали два сфинкса из далеких Фив, с лицом египетского фараона Аменхотепа.

— А это моя *alma mater*, захлопнувшая двери перед неблагонадежным Эссеном, — он обернулся лицом к мрачному зданию. — Но я верю, что еще вернусь сюда!

Эдуард, конечно, и не догадывался, что говорит вещие слова: он закончил свои дни в 1931 году на посту ректора этой академии.

Все так закрутилось у Фрунзе, что он потерял счет суткам.

Для книг остались редкие поздние вечера и часть ночи, пока бирюк Матвеев не гасил лампу. Для лекций — часов пять в неделю, да и то, если не было «летучки» или митинга. Про уроки своим репетишкам и не думал. Деньги кончились, обеды тоже. И Барон с превеликим трудом заставил его взять первую партийную десятку.

— Привыкайте, Миша! И не воспринимайте это как жалованье, мой друг. Просто без такой помощи товарищей вы не сможете жить.

Сходка в Политехническом прошла отлично: меньшевикам дали бой. Асатур Арбекин написал на кумачовом полотнище главный лозунг дня: «Долой самодержавие!» И теперь все было подчинено демонстрации, намеченной на 17 ноября.

Демонстрацию между тем передвинули на 28-е, и Петербургский комитет посоветовал студенческой социал-демократической организации дожидаться этой даты, чтобы ударить вместе с рабочими.

Меньшевицкая часть комитета повела себя вероломно. Она сожгла 12 тысяч листовок, призывавших рабочих на улицу, и 25 ноября, когда на заседание ПК не смогли явиться три большевика, добилась решения об отмене демонстрации. На другой день, 26-го, ПК отверг линию меньшевиков. Но было уже поздно: слишком мало оставалось времени для подготовки — одна суббота, день неполный. Да и в ночь на 27-е охранка сделала налет и увезла в тюрьму тридцать студентов-активистов, в том числе Н. Дорошенко, А. Каплана и Е. Суслову.

Все это помешало ПК вывести весь питерский пролетариат. В демонстрации 28 ноября сотни студентов и курсисток составляли костяк, а рабочих, не оповещенных за время, было очень мало.

Пешая полиция и конная жандармерия уподобились разъяренному быку на кровавом испанском ристалище матадоров. Они ринулись в бой на углу Невского проспекта и Михайловской улицы, как только над рядами вспыхнули два алых флага и кто-то громко, дерзко запел «Марсельезу».

Рыкающая орда на гнедых конях с аллюра врезалась к шеренги и начала стегать нагайками и дубасить шашками в ножнах. За ней кинулась полиция, дробя кулаками и шашками скулы и плечи, выворачивая руки. Вопли проклятий заглушались истощенным матом царских холуев. Четверо были забиты насмерть в первые же минуты, товарищи не успевали оттащить раненых, отбиваясь кулаками и галошами. Из окна кто-то бросил полено, дюжий студент подхватил его, уложил трех стражников, но его сбили с ног и задавили.

Фрунзе — со своим институтом и с малочисленной группой рабочих Выборгской стороны — появился на углу Литейного и Невского, когда демонстранты с криками и с воплями наступали к Фонтанке и дальше — Гостиному двору и Казанскому собору.

— Наша берет! Наша берет! — кричал Фрунзе, ловко орудуя кулаками. Но лавиной навалилась конница, и пришлось отступить за Фонтанку. Группа прорвалась сквозь синий кордон полиции на набережной, у Аничкова дворца. Кто-то взобрался под вздыбленного бронзового коня и, размахивая руками, кричал с ожесточением: «Бей гадов! Бей гадов!» Но голос оборвался под мостом, куда оратора скинули держиморды. Закрывая лицо и голову руками, демонстранты пятились и пятились, с остервенением отбиваясь ногами от пешей полиции.

Михаил кинулся к подворотне, стал выбивать каблуком вмерзший в землю булыжник. Но упал почти без сознания от удара рукояткой револьвера в правую лопатку. Превозмогая боль, он пополз в первый переулок. Но и там был заслон. Не помня себя от боли, обиды и унижения, он, угнув голову по-бычьему, сшиб ударом в живот ближайшего стражника. Накинулись другие: один схватил за горло, двое привычно связали руки. И, подталкивая коленом, повели по переулку до Манежа и пихнули в сани, где уже лежали и охали пятеро.

В Казанской полицейской части Фрунзе продержали до вечера. Какой-то стражник нагло оговорил его: будто видел своими глазами, как этот студент кидался с камнем на полицейского. Михаил отрицал, что бил камнем, и говорил, что вышел на демонстрацию лишь потому, что шли все, а товарищей бросать негоже.

Более опытные студенты успели намекнуть, что за этот злополучный камень можно и полететь из столицы. И лучше назваться чужим именем, чтобы не закрывать себе путь в институт.

Он и назвался Борисом Константиновичем Точайским, из города Петровска Саратовской губернии. И пояснил, что к нему приехала погостить матушка, но занедужила с дороги, и он должен быть возле нее.

Нарушитель подлежал высылке в административном порядке по месту постоянного жительства. Что и было сделано. Но выезд отсрочили на пятнадцать суток по семейным обстоятельствам. 12 декабря 1904 года Борис Точайский должен был отметиться в полиции и в тот же день покинуть столицу.

Точайский выдал подписку. И, нарушая конспиративный запрет, оказался на Широкой улице, в квартире у Сони. Она не решилась чинить ему разнос.

За чаем проговорили до позднего часа. Соня одобрила его действия.

— Можно бы и не уезжать, если бы не форма политехника. А то начнут искать в институте, не найдут Точайского, начнется слежка. И тогда наказание будет суровее. Только не отчаивайтесь: недели через три вы вернетесь и попадете в самое пекло.

Абрам был разъярен. И, к удивлению Фрунзе, проклинал он не усмирителей, которые с особым варварством преследовали и истязали студентов.

— От этих держиморд мы другого и не ждали. Жуткая расправа произошла по вине меньшевиков. Это из-за их хитрости и подлога мы не смогли вывести рабочих, которые своей массой обезоружили бы департамент полиции. Правильно говорит Ленин: с этими господами надо идти на полный разрыв! Страшно сказать, какие потери! Сто восемнадцать человек арестованы, из них больше половины — студенты. Костя Жарновецкий и Дима Мануильский в больнице: они тяжело ранены. Пятеро умерли, семь человек — при смерти... Ну, лизоблюды, ну, прихлебатели! — поносил он меньшевиков.

Барон внимательно выслушал Фрунзе и сказал спокойно, как о деле самом обыденном:

— Документы зашейте в китель и лишний раз не ощупывайте: это вызывает подозрение даже у детей и старух. Не падайте духом и держите голову выше. Вы испортили отношение с начальством, так черт с ним! А товарищи вас ценят. И их уважение куда дороже кислой мины господ полицейских. Денег я вам на дорогу дам. Бегите из Петровска как можно быстрее!..

10 декабря 1904 года, чтобы не вызвать подозрения у декана и у дотошных однокашников, Фрунзе подал прошение директору института: он просил дать ему месячный отпуск в Москву. 11-го получил увольнительный билет, а на другой день сел в поезд, нагрузив корзину листовками, брошюрами и книгами.

Все вышло ладно: в институте не догадывались о высылке, часть отпуска падала на зимние каникулы, он мог быть в законной отлучке до 10 января 1905 года...

Но вернулся он раньше: очень стал им интересоваться петровский исправник.

Фрунзе скупой рассказывал о своей первой самостоятельной вылазке в провинцию. Однако нетрудно было догадаться, что в тихом уездном городке на берегу реки Медведицы начался переполох.

В сочельник и в праздничную неделю рождества Христова, когда петровские мастеровые обычно гуляли так, что море разлитое захлестывало их хибары, не было пьяных драк и несусветного ора. Трактирщики божились, что их бьют по карману: люди не пьянствуют, как заведено, а трезвые слушают какого-то молодого заезжего оратора, от речей которого больше, чем от водки, хмелеет голова.

Михаил не отказывался от приглашений и ходил всюду, где хотели его послушать. И говорил он просто, доступно о самом наболевшем. Погиб герой обороны Порт-Артура генерал Кондратенко: бездарные командующие генерал Куропаткин и вице-адмирал Рожественский позорно запятнали честь русского оружия. Но это лишь на пользу революции: царизм понес поражение в несправедливой войне на Дальнем Востоке, и его теперь легче свергнуть.

Рассказывал Михаил о Гапоне и его «бдениях» в столице и о кровавой расправе с демонстрантами 28 ноября.

Опальный столичный студент так развернулся, что полиция всполошилась.

Исправник вызвал Точайского на откровенный разговор 3 января 1905 года. Но тот не стал дожидаться дополнительных репрессий и встретил Новый год в поезде. 2-го он уже был в Санкт-Петербурге и вечером узнал, что генералы-предатели Стессель и Фок сдали японцам Порт-Артур, хотя он еще мог активно противостоять врагу.

И других новостей было много. Только что закончилась всеобщая забастовка 50 тысяч нефтяников в Баку. Большевики сумели превратить ее в крупную классовую битву труда с капиталом: впервые в России был подписан коллективный договор рабочих с предпринимателем.

Питерские большевики написали хорошее письмо своим бакинским товарищам: «В вашем новом выступлении мы видим начало того революционного движения широких масс, которое окончательно свалит ненавистное нам самодержавие. Пусть же ширится и растет наша пролетарская борьба, пусть она охватит всю Россию и пусть всеобщая стачка бакинских рабочих послужит оживляющим примером для всего рабочего класса России». И

она послужила таким примером в первых же числах января 1905 года. Только из-за Гапона и его компании события приняли неожиданный характер.

Георгий Гапон стал в Питере центральной фигурой большого движения. Его «Собрание фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга» основало в столице одиннадцать отделений, которые объединили более 9000 человек. Гапон уже не появлялся на собраниях один, по пятам за ним следовал его телохранитель, адъютант и советник эсер Рутенберг. Влияние гапоновского «Собрания» росло, пока дело ограничивалось всякими прекрасноречивыми словами о добром батюшке-царе — защитнике народа от сонма русских бар: вельмож и сановников. Но наступил момент, когда нужно было действовать, и гапоновщина рассыпалась в прах: все решила одна-единственная неделя!

На Путиловском заводе уволили, как смутьянов, четырех рабочих. Рядовые гапоновцы, уверовав в силу своей организации, потребовали от отца Георгия возвращения уволенных к станкам.

Случай был серьезный, и он поставил Гапона в пикантное положение: не удастся выручить эту четверку, затрещит по швам вся организация.

Гапон вмешался, чтобы найти мирный путь для решения конфликта. Но что-то отказало в хорошо задуманном механизме: то ли заремизились власти и не надавили вовремя на хозяев завода; то ли Гапон побоялся намекать им о своих душевных отношениях с департаментом полиции. Только путиловская дирекция не пошла на попятную. И 3 января 13 тысяч путиловцев бросили работу по призыву большевиков.

Забастовка началась организованно: рабочие выдворили из цехов всякую администрацию и оставили своих дежурных для охраны машин. Затем они кликнули по городу клич с призывом поддержать их стачку. И предъявили хозяевам широкие требования: вернуть на завод уволенных; повысить жалованье чернорабочим и впредь устанавливать расценки с участием мастеровых; создать постоянную выборную комиссию по вопросам найма и увольнения и оказывать бесплатную медицинскую помощь. И немедленно ввести восьмичасовой рабочий день.

Полетаев и Буянов отправились поднимать народ на других предприятиях. 4 января началась стачка на Франко-Русском заводе; 5-го забастовали рабочие Невского судостроительного завода, Невской бумагопрядильни и Екатерингофской мануфактуры.

Большевиков эта волна не застала врасплох. Они только что закончили в Колпине свою областную конференцию с участием делегатов от Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Риги и Северного комитета. Конференция призвала к разрыву с меньшевиками в оценке грядущей революции, поддержала августовское обращение «22-х» и завершила оформление накануне III съезда РСДРП «Бюро комитетов большинства». В него были избраны: В. Ленин, Р. Землячка, А. Богданов, М. Лядов, С. Гусев, М. Литвинов и П. Румянцев.

Руководитель столичных большевиков Яков Дабкин, он же Сергей Гусев, Харитон, Лебедев, Нация и Эдуард Даннемарк, работал без сна. Близкие товарищи поражались его энергии. Они встречали его повсюду, но чаще всего в подпольных типографиях: Петербургский комитет его стараниями забросал город снежной лавиной листовок и прокламаций. И с каждым часом они становились острее и ярче.

К путиловцам присоединилась почти вся армия столичных металлистов, текстильщиков и кожевников: к вечеру 7 января в Питере бастовало свыше 130 тысяч рабочих. Город погрузился в кромешную темень и замолк: ни фабричных гудков, ни крикливых газетчиков на улицах — печатники включились в стачку.

Царь был перепуган шальным выстрелом с Петропавловской крепости 6 января. В день крещения, при водосвятии на Неве возле Зимнего дворца, шарахнули картечью по его свите, задели помост около его павильона и повредили фасад дворца. И он покинул столицу.

А в рабочих районах непрерывно шли многолюдные митинги. И Гапон метался по ним в панике и кричал осипшим голосом:

— Листков не читать! Разбрасывателей гнать в шею!

А большевики в своих прокламациях неустанно будоражили забастовщиков: восьмичасовой рабочий день и повышение заработной платы! Свобода стачек, собраний, печати! Созыв Учредительного собрания! Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует РСДРП!

Такого взрыва Россия еще не знала: стачка вырвалась из рамок гапоновщины и возвестила революционную бурю.

Гапон кинулся на крайнюю меру: идти к Зимнему дворцу, вручать царю петицию народа. И сейчас же началось обсуждение ее пунктов на заводах и фабриках.

Даннемарк-Гусев собрал студенческих агитаторов. И Фрунзе впервые увидел и услышал этого таинственного главного большевика в российской столице, который в таком количестве поставлял огненные прокламации, словно была у него не одна пара рук.

Ему было тридцать. И ничто не выделяло его на фоне пресловутых «вечных» студентов, с которыми Фрунзе сталкивался уже не раз: редкие клочья по щекам и подбородку, но с открытым «пространством» под тяжелой нижней губой. Малые очки в металлической оправе, знакомые русским интеллигентам еще со времен Добролюбова и Чернышевского. И длинные волосы нигилиста, с напуском на уши, и какой-то потертый кителек, похожий на тужурку технологов.

Но у него был покоряющий баритон: сочный и чистый. И говорил он, печатая каждую фразу:

— Идите без промедления на гапоновские митинги. Говорите хоть десять раз в день, но берегите голос — охрипшему агитатору цена грош. Все наши силы бросим на развал гапоновской затеи. Такой дешевой ценой, как одна петиция, хотя бы и поданная попом от имени рабочих, свободу не покупают. Она завоевывается кровью, в жестоком бою с оружием в руках... Будем противиться шествию изо всех сил. А если оно состоится, пойдем вместе с рабочими!..

Фрунзе, как и все другие его товарищи, резво бегал по городу от завода к заводу: конка не работала, извозчики были не по карману. И почти на каждом митинге встречался он со старшими большевиками, которые подпирали его плечом в трудную минуту. Однажды это был Василий Шелгунов — старейший рабочий-революционер. Во второй — Константин Жарновецкий, еще с завязанной головой после ранения. На патронном заводе после него выступал сам Даннемарк и похвалил его за простоту и образность речи. На Васильевском острове вслед за Фрунзе взял слово Емельян Ярославский и очень резко навалился на Гапона.

На Петербургской стороне Фрунзе едва не освистали: там у Гапона было самое крепкое ядро. И вера в царя была сильнее, чем в других районах. И многим рабочим мелких предприятий хотелось добиться своей цели мирным путем. Однако и там прислушивались к лозунгам большевиков и постепенно вносили в петицию политические требования. Так появились в гапоновском документе — свобода слова и печати, свобода рабочих союзов, ответственность министров перед народом, восьмичасовой рабочий день, равенство всех перед законом, созыв Учредительного собрания, прекращение войны и передача земли крестьянам.

Меньшевики же активно скатывались вправо. Они не верили, что пролетариат может быть гегемоном в революции, и уступали в ней руководящую роль либеральной буржуазии. В новой «Искре» промелькнула чудовищная мысль: меньшевики будут рады, если русская революция обогатится священником, генералом или чиновником в роли вожака! И поэтому они 7 января обсуждали с Георгием Гапоном порядок шествия рабочих к Зимнему дворцу.

8-го петиция была готова. В ней намечались меры борьбы с невежеством и несправием, меры против нищеты и меры против угнетения труда капиталом. В этих трех ее разделах была удивительная смесь патриархальных иллюзий с растущими революционными настроениями. Главенствовал лейтмотив, привнесенный отсталыми рабочими: «Государь! Мы, рабочие Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы родители, пришли к тебе,

Государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам...»

Но и эта безысходность оборачивалась скрытой угрозой: «Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение непосильных мук. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...»

8 января уже никто не сомневался, что шествие состоится. И каждый определил свое место в этом событии.

Правящая клика решила устроить расправу над мирной манифестацией, пока движение в столице не вылилось в революцию. Город был разбит на боевые участки, специальный штаб — во главе с дядей царя великим князем Владимиром — определил диспозицию войск. Ударной силой объявили гвардию, ее усилили сорока батальонами пехоты и кавалерийскими эскадронами. Да еще полиция и жандармы. Это сорок тысяч штыков и сабель!

Петербургский комитет большевиков собрался в эту ночь на 9-е и принял срочное решение: шествие остановить нельзя; идти с массами, использовать ситуацию для политического просвещения рабочих, а если удастся — повернуть это выступление против самодержавия; во всех районах создать малые отряды: знаменосец, агитатор и ядро для их защиты; на рассвете всем большевикам быть в гуще рабочих на сборных пунктах.

Фрунзе не спал в эту ночь: вместе с агитаторами Выборгской стороны он ждал возвращения Сони из комитета. Она пришла на исходе третьего часа и начала действовать: разослала всех по адресам, как только был намечен список знаменосцев и защищающих их активистов. Фрунзе успел побывать в пяти семьях. И несколько не удивился, что в хибарах, квартирах и общежитиях люди не знали сна. Они и радовались, что наконец-то идут к царю всем миром, и не скрывали тревоги: повсюду войско, а оно — под присягой и может выполнить любой приказ начальников.

Питерское зимнее утро подступало нехотя. Земля была накрыта чистой порошей, и не освещенный огнями город не казался темным до жути. Но сплошные низкие облака давили так, что отодвигали рассвет, и раньше девяти часов не было смысла начинать движение по проспекту в сторону Литейного моста.

Народ собирался помалу: пожевываясь и позевывая, приглушенно приветствуя знакомых. И все теснее жался в своей улице, не выбираясь на проспект.

Только ребятишки, не удрученные мрачной тишиной толпы, сопя и вскрикивая, бегали и толкались, чтоб не зазбнуть, и принимались лепить снежки, но снег был суховат от морозца.

Фрунзе чувствовал себя одиноким в этой массе. И, переходя от одной кучки людей к другой, пытался понять — почему же так?

Конечно, эти люди ничем не напоминали боевых демонстрантов 28 ноября: тогда все жили одной мыслью. А тут была еще толпа, и она не имела ни малейшего представления о стойкости и сплоченности народа на улицах. Людей угнетала разобщенность. И почти каждый, сомневаясь или опасаясь, так был погружен в свои мысли, что еще не слился с другими, как это случается в минуту общего ликования или большого народного горя. Да и многие не скрывали растерянности: что-то ждет их впереди? И как поведет себя войско и что скажет государь?

Наконец появилась Соня — Оля Генкина — с большой группой знаменосцев. Молодые парни внесли оживление, говор стал громче. Послышалась команда:

— Разберитесь по шесть человек, братцы! Кучей не надо, пойдём в шеренгах!

Толпа зашевелилась, разбираясь по рядам. Один из парней — лихой и решительный — выхватил из-за пазухи полотнище. Еще никто не понял, что оно кумачовое, — оно казалось почти черным в этот час густых сумерек, но так не вязалось с хоругвями, на которых белыми пятнами выделялись божественные лики, что какой-то дед заорал истошно:

— Не балуй, башку оторву!

Соня встала перед толпой, резко вскинула руку.

— Есть еще время, товарищи: не одумаемся ли? На мосту войско, оно нас не пощадит!

Дед сказал громко:

— Не пужай, барышня! Боисся — не ходи, а нам душу не трави. Народ решился! — Он размашисто осенил себя крестным знаменем и затянул басом: — Спаси, господи, люди твоя!..

И старухи подхватили дребезжащими голосами:

— И благослови достояние твое!..

У последнего сборного пункта долго поджидали запоздавших: они десятками и сотнями стягивались из переулков — от Финляндского вокзала.

Часам к десяти собралось тысяч тридцать. Часть колонны завернула к Троицкому мосту. А главным потоком выборжцы двинулись к мосту Литейному — навстречу страшной своей судьбе...

До полудня Михаил шел рядом с Олей Генкиной, но и думать не смел, что видит ее в последний раз: она была арестована на углу Невского с красным знаменем в руках и доставлена в «Кресты».

Но сейчас она была рядом — озабоченная, строгая, бледная, сильно похудевшая в напряженные дни гапоновщины. Казалось, что она зябла в шубке из черной мерлушки и в теплом платке, под которым короной были уложены две каштановых косы.

Показался мост, и шеренги солдат поперек него, с винтовками у ноги.

— Держитесь, Михаил! — Оля сжала ему локоть. — При первом же залпе начинайте «Марсельезу». Я побегу поднимать знамена!

Михаил не слышал команды офицера. Но догадался о ней: солдаты вскинули винтовки, нацелясь штыками в грудь колонны.

Был залп: словно с ожесточением разорвали брезент. Рухнул дед с хоругвью. И солдаты отшатнулись, когда к их ногам упал Христос ликом к земле. Поползли раненые, оставляя на тающем снегу капли крови. Кто-то завопил так, что у многих затряслись руки и сквозняком прохватило по коже:

— Бога убили, ироды!

Завопили женщины и дети. Михаил запел «Марсельезу». Но никто не успел подхватить: парни — сотни четыре — угнувшись, как от огня на пожаре, с топотом, будто неся табун рысаков, со страшной силой навалились на цепь ошалевших солдат и смяли ее перед вторым залпом. И все до единого, кто держался в этот миг на ногах, сплошным потоком во всю ширину моста, с проклятьями офицеру и солдатам, ринулись к Литейному проспекту.

Фрунзе только на углу Кирочной вдруг ощутил боль в правой руке и увидел розовую от крови, намокшую варежку. И стоило лишь подумать о ране, как боль сделалась нестерпимой.

До угла Невского он бежал, старательно прижимая правую руку к груди. Проспект был заполнен людьми теснее, чем в тот день ноября. И он, изредка перебегая от шеренги к шеренге, в которых двигались люди с Невской заставы, догнал выборжцев лишь у Большой Морской.

Подтягивался народ и по Малой Морской. Но главные силы лавиной надвигались от Исаакиевского собора, где сомкнулись две колонны — из-за Нарвской заставы и с Васильевского острова. Только с Петербургской стороны люди не подошли: они не прорвались через Троицкий мост, оставили трупы на площади у Петропавловской крепости, отступили и митинговали на углу двух проспектов — Кронверкского и Каменноостровского.

Фрунзе не видел, что произошло вскоре у Дворцовой площади: как офицер в желтом башлыке на плечах выдернул саблю из ножен, как горнист протрубил в рожок и как серая изгородь солдат послала пули над головами манифестантов. И как народ не дрогнул, и вторым залпом ударили ему в грудь. И — еще, и — еще!

Сейчас же послышался тысячеголосый дикий вой, и у всех оборвалось сердце.

— Измена, товарищи! Гапон нас предал! На виселицу попа! Царь встретил пулями! Долой царя! Смерть карателям! Шапки долой перед трупами павших.

И десятки красных знамен вспыхнули над обнаженными головами.

— Отходите без паники! Не ставьте себя под сабли пьяных казаков! В районах собирайте людей на митинги! К оружию, товарищи! На баррикады! Царь умер, да здравствует революция!

На углу Садовой эскадрон казаков, рубя людей и топча их, разорвал колонну, усыпав торцовую мостовую убитыми и ранеными. А у Фонтанки и на углу Литейного снова выступали ораторы:

— Свое возьмем силой, товарищи! Захватывайте арсеналы, оружейные склады и магазины! Смерть царизму!

Стайкой налетели мальчишки, начали совать в руки сырые еще листовки: их только что отпечатал неутомимый Даннемарк, не покидавший подпольную типографию после ночного заседания Петербургского комитета.

— «Разносите тюрьмы, освобождайте борцов за свободу, — читал Михаил. — Громите жандармские и полицейские управления! К вооруженному восстанию, товарищи! Свергнем царское правительство, поставим свое!..»

Кровавым воскресеньем назвал народ этот день. Да, он был кровавым: 140 тысяч человек мирно шли в колоннах к Зимнему дворцу; убито свыше тысячи, ранено в пять раз больше! Победа царя над безоружным народом стоила не меньше жертв, чем крупные сражения в Маньчжурии...

Но он был и «воскресеньем». Ленин писал о нем: «Рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни».

И для Михаила Фрунзе день этот был кровавым. Но закончился он рано, в сумерках, когда раненому политехнику удалось доплестись до общежития в Лесном. Не исключено, что день продолжался бы до полуночи, знай Михаил, как развернутся события вечером.

Во всех районах города шли волнения и стычки. На Петербургской стороне, где большевиков все дни глушили гапоновцы, состоялся грандиозный митинг в Народном доме, возле зверинца, и молодежь на глазах у всех сожгла портрет царя. На Шлиссельбургском тракте, у Нарвской заставы, на Троицком мосту, у Александровского сада, у скверов на Невском рабочие воздвигли баррикады с проволочными заграждениями, с красными флагами. Из окон соседних домов бросали камни и стреляли в войско. Толпа отнимала у полицейских оружие.

На Васильевском острове развернулись ожесточенные бои на баррикадах. Студент университета Давыдов с боевыми товарищами захватил оружейную мастерскую Шаффа и частную типографию, где отпечатал призыв к восстанию. Рабочие Васильевского острова соорудили двенадцать баррикад, повалив телеграфные столбы. И на Малом проспекте бились с войсками и с полицией до поздней ночи...

Фрунзе не знал об этом, когда добирался до института, боясь упасть без сил по дороге.

Он засветил коптилку и подумал: «Прежде всего надо заштопать рубашку, китель и шинель». Но едва успел раздеться, как... наступил вечер 10 января. Спал он ровно сутки...

Но кровавый день был и для него «воскресеньем»: он решил отдать революции все свои силы.

И 10-го вечером вышел на улицу, чтобы отправить в Пишпек письмо матери, ставшее для него клятвой:

«Милая мама, у тебя есть сын Костя, есть и дочери. Надеюсь, что они тебя не оставят, позаботятся о тебе в трудную минуту, а на мне ты, пожалуй, должна поставить крест... Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен, Рубикон перейден, дорога определена. Отдаю всего себя революции. Не удивляйся никаким вестям обо мне. Путь, выбранный мною, не гладкий...»

Большевик в «Русском Манчестере»

В начале 1905 г. стал работать в Иваново-Вознесенском промышленном районе. Был одним из организаторов и руководителей известной стачки текстильщиков в 1905 г. охватившей весь промышленный Иваново-Вознесенский район... Был организатором Иваново-Вознесенской окружной организации и затем Иваново-Вознесенского союза РСДРП, охватывавшего как городскую... организацию, так и весь... промышленный район (Иваново-Вознесенск, Шуя, Кинешма, Тейково, Родники, Юрьево, Южа и пр.).

М. Фрунзе

После Кровавого воскресенья Михаил Фрунзе пробыл в Санкт-Петербурге не больше двух месяцев. С 12 февраля он уже не посещал институт — сохранилось его прошение на имя директора об отпуске до 1 сентября 1905 года. Он еще надеялся, что с осени удастся сочетать занятия с беспокойной и опасной деятельностью профессионального революционера. Но мечты сбылись не полностью...

Узнав, что Оля Генкина в «Крестах», он не выходил в город всю неделю и долечивал рану до 17 января: в этот день закончилась забастовка питерских рабочих, в городе дали свет и воду, пошла конка, и в аудиториях помалу стали собираться студенты, хотя регулярные занятия еще не начинались.

Лозунг питерских рабочих «Смерть или свобода» пошел по всей стране. 10 января началась всеобщая стачка в Москве, через неделю ею были охвачены Рига, Варшава, Тифлис. Почти полмиллиона бастовало по стране к 18 января. А в Санкт-Петербурге события пошли на убыль.

До института докатывались слухи о всяких эксцессах и об арестах. Северная Пальмира напоминала город, только что захваченный неприятелем: казацкие патрули на улицах, тучи дворников, охраняющих особняки князей, графов и баронов. Часто горели газетные киоски и театральные тумбы; народ толпился и волновался на улицах, осаждая больницы, забитые ранеными. Полиция взяла под охрану оружейные мастерские и магазины, чтобы не дать рабочим вооружаться. Многие чиновники, боясь поджогов и взрывов, под всяким благовидным предлогом удирали из столицы.

Колпинские рабочие — тысяч до тридцати — 11 января повторили заход к царю, на этот раз в Царское Село, где отсиживался от народного гнева перетрусивший венценосец. Навстречу рабочим выдвинули полк пехоты и полевую артиллерию. В пяти верстах от Колпина произошло кровавое столкновение, и демонстранты отступили, не подобрав всех убитых и раненых. Обозленные этой расправой, колпинцы дважды нападали на Царскосельскую железную дорогу и успели разобрать рельсы на протяжении семи верст.

По ночам полиция, дворники и всякие верноподданные хоронили тайком от народа убитых в Кровавое воскресенье: на Преображенское кладбище штабелями доставляли в вагонах окоченевшие трупы.

На Большом проспекте Петербургской стороны казаки остановили конку: она была переполнена рабочими, возвращавшимися с заводов. Карателей встретили криками: «Палачи! Вон из столицы!» — но они сделали свое черное дело: всех вытряхнули из вагончика и избili шашками в ножнах. Даже питерские обыватели были потрясены этой расправой: они открывали форточки и кричали: «Убийцы! Разбойники!»

18-го Фрунзе поехал в город. Почти целый день искал Абрама, Жарновецкого и Даннемарка. Но старая явка сохранилась только у Барона. У него остался Михаил на ночь, и проговорили они до рассвета.

— Что делать, Эдуард? — спросил Фрунзе.

— Каждое поколение ставит перед собой такой вопрос, мой дорогой друг! И я уже ставил его однажды: пять лет назад. Выпьем кофе, чтоб яснее работала голова, и давайте разберемся досконально!..

Кофе выпили Барон запустил тонкие пальцы в густую курчавую шевелюру: в такой позе он любил думать.

— Главное, не утратить перспективу и не постареть душой. Момент сложный: один день решил все: от веры в царскую милость рабочие перешли к баррикадным боям. В провинцию надо устремлять силы. А с Питером дела плохи: говорю вам это с горечью. Мы победили морально девятого января и, если хотите, политически.

Только мы шли вместе с рабочими, не оставив их на произвол судьбы в страшный час. И только мы похоронили своих активистов: Волкова, Ханцева, Бердичевскую и Казанцева. Но энергия масс пошла на спад. Не будем закрывать глаза: социал-демократия оказалась не на высоте. Оружия мы не достали и не смогли организовать всеобщего восстания. Не помогли рабочим развить революционное сознание, чтоб они поняли, как важно восстание. И в войсках и в деревне наша агитация не развернута. Горько все это, Михаил! — Барон заходил по комнате. — Но еще горше, что меньшевики нас предали. Заняты они сейчас не революцией, а борьбой за влияние в ЦК, и непрерывно нападают на Ленина, требующего немедленного созыва съезда.

— Я догадываюсь об этом. Но ведь нельзя же сидеть сложа руки?

— Разумеется! Я вам дам три номера газеты «Вперед». Четвертый выйдет днями, и вы получите его, как только он придет из Женевы. Газета отличная — это новый вариант ленинской «Искры», и вы разберетесь в насущных делах партии. А у вас на Выборгской стороне пока две задачи: в заводские комитеты партии смелее выдвигать рабочих. И — снова кружки, летучки, митинги. — Соню временно заменит знакомый вам Абрам. Сейчас в Питерской организации большевиков в три раза больше, чем до 9 января, можно подобрать хороших агитаторов. И не порывайте связи со студенческой организацией. У молодежи много своих задач: создавать в районах партийные библиотеки, добывать деньги на нужды партии, держать явочные квартиры...

Барон плюхнулся на колченогий венский стул, пристально поглядел на Михаила.

— Не удивляйтесь, если я скажу ересь. Вы решились стать профессионалом, это похвально. Но с Питером придется распрощаться.

Даннемарк собирается разослать толковых людей по стране: агитировать за съезд, рассказывать о кровавом девятом января, поднимать обширную периферию России: почин Питера надо перебросить на всю страну.

Мой совет вам: урегулируйте как-нибудь отношения с институтом. Я выдам вам документы в любой пункт. Перебазируйтесь на Москву, там и получите направление в новый район...

В конце февраля или в первых числах марта 1905 года началось агитационное турне по югу и центру страны самого молодого доверенного Петербургского комитета большевиков Михаила Фрунзе: ему недавно минуло двадцать.

Барон помог ему перевоплотиться в мастерового: пальтецо из черного бобрика, сапоги и мерлушковая шапка, из тех, что в юбилей великого поэта получила название «Пушкин». И дополняла внешний облик фамильная вещевая корзина из Пишпека.

К сожалению, не сохранилось никаких точных свидетельств об этих поездках Фрунзе. Он побывал в Екатеринославе, и тамошний комитет большевиков высказался за немедленный созыв III съезда РСДРП. Видели его в Ливнах Орловской губернии: и там социал-демократы сплотились под съездовским знаменем. Был он и во Владимире, и старый большевик Самохвалов вспоминал позднее, как он слушал зажигательные речи не в меру юного, но очень зрелого агитатора весной 1905 года.

Когда же делегаты стали собираться в неблизкий путь — в Англию, в Лондон, — Фрунзе на время обосновался в Москве. Барон как в воду глядел: в Питере свирепствовали

каратели. Там был учрежден новый пост Санкт-Петербургского генерал-губернатора. И этот пост занял обер-полицмейстер Москвы — царский служака из самых верных и на расправу очень скорый — генерал Трепов. «Доброго» князя Святополк-Мирского, одного из «героев» 9 января, отстранили от должности, и Трепов сделался диктатором столицы. Он посадил по январскому делу без малого семьсот человек, больше тысячи выслал в провинцию. Четыре большевика из Петербургского комитета и много активистов попали в «Кресты».

В Москве тоже прошла «чистка» после январской стачки. Но еще были на свободе ведущие ораторы большевиков Михаил Покровский и Иван Скворцов-Степанов, и держалось ядро городского комитета во главе с Виргилием Шанцером. И активно действовала группа врачей — Михаил Владимирский, Сергей Мицкевич, Владимир Обух, Дмитрий Ульянов и Николай Семашко.

Фрунзе случайно встретился с Мицкевичем в казарме Прохоровской мануфактуры: они друг за другом выступали на рабочей «летучке». И Сергей Иванович пригласил своего нового товарища на съезд Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова.

Съезд был большим событием: полторы тысячи врачей со всех концов России и столько же публики — либеральная интеллигенция, студенты и рабочие. И — огромный накал страстей!

Большевики оказались заводилами на Пироговском съезде, и ораторы не столько говорили о борьбе с холерой, сколько о борьбе с самодержавием.

Сергей Иванович Мицкевич предложил принять резолюцию большевиков: свергнуть самодержавие, повсеместно развернуть агитацию за демократическую республику. Резолюцию приняли. Да еще потребовали прекратить преследование Максима Горького: он был болен после сорокадневной отсидки в Трубецком бастионе Петропавловской крепости и находился под домашним арестом.

Мицкевич вызвался проводить Фрунзе в редакцию большевистской газеты «Голос труда». Там Михаил рассказал о своих наблюдениях в Питере и повидался с двумя людьми, которые и решили его дальнейшую судьбу.

Иван Иванович Скворцов-Степанов — молодой, с жиденькой бородкой и удивительно добрыми глазами — пожелал ему успехов на литературном поприще.

— Рассказывали вы отлично — есть в вас способность оттенить весомую деталь. Большевики — да еще жгучие агитаторы — потенциальные деятели письменности. Вы даже не представляете, в каком количестве придется вам завтра сочинять листовки, воззвания, прокламации. Верное, меткое слово — это пуля, это меч. Разумеется, юношам нравится завернуть по красивее, чтоб был звон, как на колокольне Ивана Великого. А вы избегайте этого: нужна только суть, выраженная предельно просто, точно, ясно. Вот вам два ориентира: «Капитанская дочка» Пушкина и «Что делать?» Ленина. В них ключ к душе, сердцу и разуму любого читателя. Тут все как надо — и художественно и страстно! А вот поглядите, как пишут рабочие агитаторы в Иваново-Вознесенске...

Фрунзе глянул: листовка показалась ему многословной.

— В Иваново-Вознесенске начинаются большие события. Туда недавно поехал Отец — Федор Афанасьевич Афанасьев. Чудеснейший человек и старый партийный работник. Он все перевернет в этом русском Манчестере. Но у него нет вот таких, как вы, ораторов и хороших помощников, умеющих писать листовки. Ну как бы вам сказать, нет горячих интеллигентных голов... Подумайте, поглядите нашу газету, сейчас придет Марат, и вы с ним все решите в два счета. Наш московский Марат. Правда, по матери он француз, по отцу — поляк. По имени — почти римский поэт эпохи императора Октавиана, написавший бессмертную «Энеиду». Словом, это Виргилий Леонович Шанцер — главный наш редактор и ответственный организатор московских большевиков.

У Ивана Ивановича был голос протодьякона, и гудел он так густо, что Фрунзе даже не слышал, как появился Марат. Он стремительно бросил пальто на пачку газет, шапку — на стол, настороженно оглядел незнакомца, но поклонился издали, пожал руку Ивану Ивановичу.

— Неофит? — спросил он, ни к кому не обращаясь и протирая запотевшие маленькие очки в металлической тонкой оправе, как у Даннемарка. Потом как-то нескладно взбил непослушный кок над широким лбом и ловко юркнул в кресло. И борода у него была разбросанная, и косоворотка — от мастерового. Но лицо и особенно глаза выдавали в нем человека интеллигентного, не удрученного мелкими заботами обывателя.

— Это уже в прошлом, Виргилий Леонович, — пробасил Скворцов-Степанов. — Юношу крестили пулей в Питере девятого января. Он только что удачно сделал круг по стране — от Гусева и Барона. И конечно, просится в пекло. У нас есть пока люди. Не послать ли его на добрую выучку к Отцу — Афанасию?

— Мысль хорошая. Там из студентов пока один Химик... Садитесь поближе: я не умею говорить так громко, как Иван Иванович. Да и сейчас лишь закончил драчку с меньшевиками, где кричать пришлось во все горло, — Марат достал платок и откашлялся.

Разговор был недолгий, но для Фрунзе важный.

Марат нарисовал обстановку в Москве: она оставалась сложной. 4 февраля эсер-боевик Иван Каляев убил дядю царя — Сергея Александровича. И не просто дядю, а московского генерал-губернатора. Начались репрессии. Однако в тот же день вспыхнула забастовка телеграфистов Московско-Казанской железной дороги. Их поддержали служащие, машинисты и рабочие мастерских на других дорогах. И отмщение за смерть царственного дяди прошло не так, как задумали власти. А все же город наводнен шпиками, и никакая неосторожность недопустима.

— Вас здесь не знают. Но будьте осторожны. Иначе вместо Иваново-Вознесенска увидите нашу Бутырку.

С меньшевиками необъявленная война. Они недавно выделились в отдельную группу в Питере, теперь пошли на раскол в Москве: параллельно с МК крикливо действует меньшевистская группа РСДРП. Но белокаменная твердо высказалась за съезд.

— Учитесь распознавать меньшевиков по всем их повадкам: недомолвка, зигзаг, уклончик и, разумеется, красивое слово вместо действия. Нужна ленинская острота восприятия их словесно-политических вывертов. Бейте их на любом митинге: это чудовищно изворотливая, липкая братия.

Иван Иванович оторвался от бумаг.

— Тут приезжал недавно доверенный меньшевистского центра. Послушали мы его с Маратом — златоуст, апостол оппортунизма, черт побери! И сочинили про него маленькую сказочку. «Что делать?» — спрашивает апостола начинающий меньшевик — такой себе кудрявый и наивный мальчик в коротких штанах. Тот вещает первый универсальный завет Мартова — Дана — Троцкого: «Верь нам, дитя, не думай!» — «А потом?» — пристает мальчишка. «Подумал — молчи!» — «А потом?» — «Сказал — не печатай!» — «А потом?» — «Напечатал — отрекайся!» — «А вдруг не отрекусь?» — «Тогда катись к большевикам, нам таких не надо!..» Вот и вся краткая история меньшевизма!..

— Это все Иван Иванович придумывает: в нем — и Крылов и Салтыков-Щедрин! — рассмеялся Марат. — У нас заветы иные. Я вам дам «Докладную записку директора департамента полиции Лопухина». Ее только что напечатал в Женеве Ленин со своим предисловием. Хорошенько вдумайтесь в то, что подчеркивает Владимир Ильич. Правительство изверилось в традиционных приемах борьбы с революционным движением масс. Оно объявляет гражданскую войну своему народу; оно призывает разжигать национальную, расовую вражду, создавать «черные сотни» из отсталых городских и сельских мелких буржуа... Была уже резня в Баку, надо ждать погромов в любом углу России. Приедете в Иваново-Вознесенск, начинайте создавать боевые дружины: они смогут дать отпор любой «черной сотне».

Марат перелистал несколько страниц в записной книжке, глядел на текст в очках и без очков, почти касаясь строчек носом. Что-то написал на маленькой бумажке и вздохнул удовлетворенно.

— Представитесь Федору Афанасьеву, передайте ему вот эти шесть слов: «Прими нашего сына, Отец! Твой Марат»... Когда можете ехать?

— Да хоть завтра. Утром схожу в галерею братьев Третьяковых, а вечером — на вокзал.

— Похвально! Возьмите литературу. И пистолетов с десяток. Вам выдаст Литвин-Седой... И подберите себе кличку...

Казанский вокзал был неказист: архитектор Щусев еще вынашивал проект его перестройки в духе живописного Коломенского дворца Алексея Михайловича Романова. И здание напоминало рабочую казарму — один этаж, деревянные пристройки на торцах, кассовый зал — как просторные деревенские сени.

Фрунзе прошел к дальнему багажному складу Казанской дороги, где хранились вещи, не востребованные пассажирами. Место было глухое: с одной стороны, — обмелевший Красный пруд, с другой — оптовая лесная биржа. В конторке сидел крепкий парень в длиннополой размахайке, с потертым кожаным фартуком и большой, как кленовый лист, медной кокардой на черном форменном картузе. Видной приметой парня была бархатистая родинка на левой щеке, похожая на туфельку для куклы. Звали парня Степан, но в делах конспиративных шел он под кличкой Борода, хотя на лице у него рос лишь негустой пух.

— Я за багажом, от Седого, — сказал Фрунзе.

Степан молча ушел с его корзиной за груды ящиков, в полутьме долго шуршал вощеной бумагой. Потом на свету вытер замасленные руки концом фартука:

— С какого вокзала едешь-то?

— С вашего, вечером, на Иваново-Вознесенск.

— Неча с корзиной блукать по городу. Зайдешь перед посадкой, я провожу. Чтоб сподручней было, я тебе легоньких положил — одни браунинги. Бьют, между прочим, хорошо...

В галерею братьев Третьяковых шел Михаил по Красной площади. И от Иверских ворот не отрывал глаз от Покровского собора, нелепо прозванного храмом Василия Блаженного — в честь придворного ясновидца-юродивого.

Все тут было как в сказке: и то, что собор стоял на косогоре, острой гранью к площади, и над девятью его куполами голубело весеннее небо Замоскворечья; и то, что длинная, густая тень от Спасской башни падала на храм и приглушала удивительное буйство его красок. И то, наконец, что из-за этой русской каменной красоты вдруг выбежал вагончик без коня, попал в тень башни и, вызванивая, промчался по рельсам вдоль Верхних торговых рядов к Историческому музею.

Бедная и убогая Русь! Больше трехсот лет украшает ее этот собор, а она по старинке хлебает щи лаптем! Когда же она избавится от этих лаптей и каждому россиянину даст не только щи с кашей? И какая же нужна революция, чтобы вымести всю патриархальщину и поставить Россию впереди всех народов?

Конечно, пусть хоть церкви останутся знаком нашей высокой архитектурной культуры: без золотой, синей или зеленой маковки с крестом нет истинного русского пейзажа. А уж дворцы, заводы и очаги культуры возведет свободный народ!..

С этими мыслями вошел он в Третьяковскую галерею. И в первом же зале понял, что не хватит дня даже для самого беглого знакомства с картинами: это просто чудо, сколько великолепных полотен написали русские художники. И сколько собрали их братья Третьяковы!

Начал он осмотр с портрета Павла Михайловича Третьякова, написанного Крамским. Был у этого купца отличный вкус: собирал он с братом только лучшие вещи, реально отображавшие историю России и ее сегодняшний день.

Но странное дело: шел Фрунзе по залам музея, а думал, что читает длинный, потрясающий роман, в котором все корифеи русской литературы написали по две-три главы. Пейзажи — пушкинские, тургеневские, гончаровские; сатирические сцены — гоголевские,

лесковские, щедринские; бытовые картинки — от Помяловского, Решетникова, Слепцова; суровые психологические этюды — это Достоевский, а временами — Толстой или Чехов; тема ссыльных — от Некрасова; море — лучшие страницы Станюковича. И не тем ли объясняется это, что во второй половине прошлого века русская литература главенствовала в культуре и вела за собой живопись? И художники создавали оригинальные вещи, равняясь по литературному маяку?

Да, они любили Россию! Суриков, Иванов, Шишкин, Перов, Саврасов, Левитан, Поленов, Верещагин — в их красках великая, бедная, буйная Русь, о которой так необычно сказал Федор Тютчев:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Близко к полуночи Борода усадил Фрунзе в поезд. Корзина с литературой и пистолетами оттягивала руку. Но, приловчившись, можно было нести ее, не вызывая подозрения у полицейских и осведомителей.

— Кланяйся там ребятам! — Степан на прощание помахал рукой.

Федор Афанасьевич Афанасьев — в тесном кругу своих товарищей Отец, а в полицейских протоколах Иванов, Осецкий и Вашков — был ярким человеком необычной судьбы.

По плечу ему разве был только Иван Бабушкин. Ни тому, ни другому не пришлось примыкать к рабочему движению со стороны, как это делали интеллигенты. Оба они стояли у истоков движения, как самые передовые рабочие России.

Бабушкин начинал путь профессионального революционера в кружке у Ленина, Афанасьев — у Бруснева. Бабушкин активно участвовал в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Афанасьев начал раньше: первая маевка в России в 1891 году связана с его именем. И молодой Ленин с волнением читал его пламенную речь на этой маевке еще до того, как приехал в Санкт-Петербург в 1893 году.

Родился Афанасьев в 1859 году неподалеку от Питера — в деревне Язвищи Ямбургского уезда. Двенадцати лет его отдали в фабричную школу Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Стал он ткачом и работал до призыва в армию. Затем вернулся в деревню, где мужики избрали его сельским старостой. Был он молод, горяч, частенько давал поблажки бедноте и скоро попал под подозрение. Не стал дожидаться, чем закончится следствие, выправил паспорт на имя Осецкого и ушел из дому: поскитаться по Руси, поглядеть, как в других местах живут люди. Работал в одесском порту, бродил по югу, занимался всякой работой: лудил, паял, плел сети для рыбаков и ходил с их артелью в море.

Любознательный, по характеру беспокойный и на слово острый, был он всюду ходатаем за людей обиженных и попал в сети к полиции: его отправили на родину за «смутьянство и бродяжничество». Дома он получил паспорт на свое имя и уехал в Петербург, где определился ткачом на фабрику Воронина. С этого времени и началась его активная революционная деятельность.

Он создал кружок ткачей, где читал и толковал издания плехановской группы «Освобождение труда». Вскоре установил связь с другими такими же кружками, и все они объединились в один центральный кружок рабочих Питера. Его ядро составляли Ф. Афанасьев, Е. Климанов, П. Евграфов, В. Прошин, Н. Богданов, В. Буянов и В. Фомин.

В 1888 году инженер Михаил Бруснев познакомился с Ф. Афанасьевым и его товарищами. И вскоре они объединили рабочие кружки с «Социал-демократическим сообществом студентов», во главе которого стояли братья Красины, В. Голубев, В. Иванов и

В Балдин. А позднее к ним присоединились Г. Кржижановский, В. Старков, В. Малченко и Н. Крупская.

Образовалась «Социал-демократическая группа» М. Бруснева. Она создала в столице до двадцати кружков, где готовили пропагандистов из рабочих; поставляла нелегальную литературу, создавала библиотеки для самообразования, провела крупные стачки на заводе Торнтон и в порту.

В 1891 году ярко обнаружился политический характер брусневского движения: 5 мая на лесной поляне за Путиловским заводом рабочие Питера собрались на первую в России маевку. Федор Афанасьев, Николай Богданов и Владимир Прошин были ее организаторами. Они и произнесли речи, в которых был призыв: вооружать себя самым сильным оружием — знанием исторических законов развития человечества! И, опираясь на это знание, твердо верить в победу и — победить врага!

Брусневцы пытались объединить социал-демократические группы в главных промышленных центрах России — в Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, Екатеринославе и Варшаве. Но полиция напала на их след.

Они успели лишь осуществить одну открытую политическую акцию. В 1891 году заболел и вскоре умер замечательный революционер-демократ Николай Васильевич Шелгунов — философ-материалист, публицист и литературный критик. Когда он был болен, Федор Афанасьев вручил ему благодарственный адрес питерских рабочих. А когда Шелгунов скончался, Отец шел за гробом во главе большой группы рабочих и нес венок.

Вскоре начались аресты. Отец успел уехать в Москву: он работал там то на фабрике Филонова, то на Прохоровской мануфактуре. И конечно, зажигал души рабочих. Говорил он лихо — смело, ярко, образно.

Но Отец уже был затравлен. Он заметил слежку, поехал в Тулу предупредить товарищей об аресте Бруснева, оттуда уехал в Питер. Его арестовали и доставили в Москву: десять месяцев он отсидел в Таганской тюрьме.

Надвинулись годы мытарств: ссылка на родину, одиночка в «Крестах», снова высылка в Язвищи; Иваново-Вознесенск, Рига, Санкт-Петербург, еще раз Язвищи, Павлов Посад, Шуя, Владимирский централ.

Наконец, недавняя встреча с Маратом и — глухое подполье в Иваново-Вознесенске, где он руководил комитетом РСДРП.

Через много лет Фрунзе написал о нем хорошие строки: «Афанасьев, или Отец, как его называли товарищи, был чрезвычайно яркой и интересной фигурой в Иваново-Вознесенской организации. Петроградский рабочий, по профессии ткач, принадлежавший еще к кружку народовольцев-восьмидесятников, Федор Афанасьев всю свою жизнь посвятил делу служения рабочему классу. Вероятно, многие из товарищей Шуи, Кохмы и Иваново помнят худую, сгорбленную от старости и от долголетних скитаний по тюрьмам России, в очках фигуру Отца, тихо плетущуюся с костылем в руках. Невзирая на болезнь, на лишения, так бродил он из города в город, из села в село, поступая для добывания куска хлеба на фабрики, и всюду немедленно же принимался за создание партийных кружков. Мир праху твоему, незабвенный товарищ!»

Но сейчас Фрунзе ехал к этому товарищу «на выучку». На самом же деле — в качестве ответственного агитатора Московской городской и окружной организации большевиков.

Отец считался стариком, хотя не достиг и пятидесяти: его доконали царские холоуи. В тюрьмах он потерял зрение и ничего не видел без сильных очков. А приобрел почти все, что раздавали узникам в казематах: туберкулез и астму, острый ревматизм, язву желудка и удручающую бессонницу.

Ранним утром 6 мая 1905 года Фрунзе вышел на площадь перед вокзалом в Иваново-Вознесенске и отправился на первую встречу с Отцом.

Федор Афанасьев не ждал доброго друга в этот час. И не вдруг вышел в сени на стук. И явился перед Фрунзе в самом будничном, затрапезном виде: пестрядинная косоворотка

почти до колен, без пояса, старые валенки с обрезанными голенищами. И круглые очки с обломанными дужками на кончике носа: их заменял жгутик из ниток, полукругом охватывая волосы на затылке.

Видать, была у него думка, что гость не к добру. И для маскировки раскинул он на столе затрепанную толстую библию с рисунками Густава Доре. На правой странице излагалась семейная история «богоборца» Иакова, хорошо знакомая Михаилу еще с уроков законоучителя Янковского. Шутили тогда гимназисты об очередном библейском чуде: лишь одну ночь провел Иаков в постели с Лией, а она ухитрилась родить ему Рувима, Симеона, Левия и Иуду. А потом две жены Иакова — Лия и Рахиль — отдали ему в жены своих служанок Баллу и Зелфу, и Зелфа — служанка Лии — родила ему сына. «И сказала Лия: прибавилось. И нарекла ему имя: Гад». Фрунзе не удержался от улыбки: с большим смыслом подобрал старик библейский текст для встречи с ним!

А Отец с недоверием и не в меру строго оглядел ладную фигуру круглолицего студента и жестом указал ему на лавку.

— Ну, как звать будем, сынок? — Отец уже прочитал записку Марата.

— Трифоныч.

— Неплохо. Фамилию пока никому не говори, даже я не спрошу до времени, будешь чистый нелегал. Жить устроим у товарищей: где — ночь, где — две. Сейчас пойдешь к Черникову, отдашь записку. В ней два слова: «Одень Трифоныча». Понимаешь: студенты у нас наперечет, негоже сверкать пуговицами и дразнить полицию. Привез чего?

— Да. Литературу и десять браунингов.

— Выложь, я спрячу, вечером заберут ребята. А корзину унеси: с ней пришел, с ней и ушел. Народ кругом зоркий, никому глаз не закроешь. А сейчас чайком побалуемся. Уважаешь?

— С удовольствием!

Отец взогрел самоварчик, чинно сели под божницей и хорошо поговорили, чтоб сблизиться.

Федор Афанасьевич спрашивал дотошно: где был да кого видел, давно ли в институте и откуда родом?

Оказалось, знал Отец Барона и его свояченицу Мусю Эссен, по кличке Зверь, и боевую подругу Абсолют (ласково назвал ее Леночкой Стасовой: «В Таганке сидит. Но она железная — выдюжит!»), и Литвина — Седого, что дал записку Фрунзе на Казанский вокзал Степе — Бороде, и доктора Мицкевича («Он с Лядовым и Шатерниковым прятал в Москве Михаила Ивановича Бруснева, но ищейки все же его взяли»). Трижды видел он Марата и один раз встречался с Лениным, когда тот был еще Ульяновым, лет десять назад.

— Я его не видел, — признался Фрунзе. — А спросить о нем стеснялся.

— Вот голова! Так про товарища спросить никогда не грех. С ним, бог даст, и повидаетесь: только взойдет революция на гребень, он и пожалует. Точно говорю, без него партия неполная, он ей голова! Какой теперь Владимир Ильич — не знаю, а в те годы был малость тебя постарше, но с бородкой, и от лысины делалось на темени просветление. Живой, непоседливый, и говорил быстро, будто ему всегда недосуг. Как он меня про Шелгунова спрашивал, про Николая Васильевича, словно ему дружок был, хоть ни разу с ним и не свиделся! Все знал, даже про то, как Шелгунов с женой подавались в Сибирь выручать из крепости своего дружка Михайлу Ларионыча Михайлова. И про Михайлова все знал. И, будто к случаю, спросил, не знакома ли мне его песня: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою, родину-мать вы спасайте, честь и свободу свою».

Потом еще и про Николая Федосеева спрашивал: не видался ли я с ним в «Крестах» в девяносто третьем году? «Нет, — говорю, — я там после него сидел. А видел его на воле в Орехово-Зуеве, он тогда читал нам свои письма о программе действий рабочих». — «Я к тому говорю, — сказал Ленин, — что сам мечтал у него заниматься в кружке, в Казани. Ездил во Владимир повидаться с ним, да не пришлось — угнали его в Сибирь...»

Я жалею, а уж про Ленина и говорить нечего: семь годов назад наложил на себя руки Николай Евграфович в ссылке. И побыл-то на свете всего двадцать шесть лет, а рабочие никогда его не забудут!

Чай пить кончили, завели разговор о делах ивановских. После Кровавого воскресенья рабочие начали стачку, но ее быстро ликвидировали: похватили многих подпольщиков, разгромили типографию. Однако митинги шли с неделю, люди говорили гневно. И Отец всякий раз предлагал почтить минутой молчания память погибших 9 января. Стариков и старух посылали с кружкой: денег собрали и перевели питерским товарищам, у кого не стало кормильца.

— А недавно написали листовку. — Отец откинул половицу возле печки, достал бумагу из жестяной коробки от табака, показал Фрунзе.

— Я ее знаю, в Москве читал.

— Посылали мы в «Голос труда», дошла, стало быть... Скажем так: первая наша цель — работать восемь часов. Сейчас по России полный раскардаш: кой у кого работают восемь, у некоторых — десять часов. Там народ подымался, ну и добился. А у нас гнут спину одиннадцать часов с половиной, получают до пятнадцати целковых в месяц. И нищета кругом, потому что у большинства семьи — старики, дети. Фабриканты наши пошли на хитрый маневр: раз у ихних дружков делается рабочим поблажка, им бы тоже не отстать, пока заваруха не вышла. Собрались они на совет и скумекали: полчаса скинуть, а у рабочих взять подписку — довольны, мол, они этой милостью и душевно благодарят хозяев за одиннадцать часов.

— Вряд ли такие найдутся, — усомнился Фрунзе.

— И не говори, Трифоныч. Деревенщина! Это тебе не металлисты или печатники. Есть даже такие, что агитируют за подписку. И хозяева не сомневаются, что дело у них выгорит. Только мало кто видит, как они хитрят и свое наверстывают: шестеренки меняют и приводы, чтоб машины ходили быстрее. И так-то немоготу, а при быстром ходе возле нее и не выстоишь. А Бакулин еще дальше шагнул и расценки уже снизил: на один сорт — три копейки, на другой — пятачок. Мы и говорим людям: «благодетелей» не щадить, работать только восемь часов, получать не меньше двадцати рублей. Заартачатся хозяева — стоп машина!

— А все ли сделано? Готовы люди идти на стачку?

— Это же, Трифоныч, как снежный ком на вершине бугра. Не толкнешь — не покатится. А чтоб хороший толчок дать, надо сплотить людей вокруг партии. Вот мы и ставим в листовке вторую, главную цель: «Долой самодержавие!» Конечно, хозяева в дугу пойдут, но на восемь часов не согласятся. Стачки не миновать. А наше дело — дружно толкнуть ком с горы. Для этого собираем девятого мая партийную конференцию.

Отец спрятал листовку в подпол, туда же сложил литературу и оружие. И уже не присел на лавку, а прошаркал валенками по комнате из угла в угол.

— Паспорт есть? — Он снял очки и протер платком слезящиеся глаза.

— Сделали. Мещанин города Коврова Семен Антонович Безрученков, — Фрунзе похлопал рукой по нагрудному карману.

— Ну, это для полиции. А пока ты смени одежду и оглядись: городок наш невелик, за день-то трижды успеешь вдоль и поперек. По темному приходи к Евлампии Дудаеву, я ему дам знать о тебе. Пистолет возьмешь, когда снадобится... Ну, а в смысле денег — есть чего? Или по пословице: хватать в карман, а дыра в горсти?

— Марат положил мне двенадцать рублей в месяц. И эти деньги выдал.

— Эх, с души скинуло! Я ведь каждую копейку берегу, касса моя оскудела. Да и для стачки надо приберечь...

Одели Трифоныча по обычной ивановской моде: черная пара и в тон ей картуз с лакированным козырьком. И синяя косоворотка с белыми пуговицами. А сапоги сошли свои — за десять недель хорошей носки они уже не казались новыми.

Трифоныч вышел на улицу и поначалу ощутил неудобство: вид был непривычный, и ему подумалось, что весь этот маскарад невольно будет бросаться в глаза. Ведь последние десять лет он почти не расставался с формой, а она обязывала к внутренней дисциплине и к порядку. И только летом, в самом раннем детстве, бегал он босиком по пишпекской жаре и начисто забывал о тужурке и штанах гимназиста.

Но это ощущение неудобства скоро прошло. Прохожие не обращали внимания на молодого «мастерового», который был им под стать. Позже он узнал, что такие вот парни, как он, нередко болтались по улицам, потеряв работу за самую малую провинность. А им на смену толпой шли из деревень покладистые, покорные мужики, которых гнали к машинам нужда, беда, горе.

После нарядного Питера, после огромной и старинной Москвы «русский Манчестер», как его хвастливо называли ивановские фабриканты, оказался большой деревней, в которую воткнули десятка два особняков и одну поместительную площадь — с городской управой, полицейским управлением и пожарной каланчой.

Главная улица вела от вокзала. Но и она была из мрачных зданий, едва ли не тюремного вида. Весь центр занимали фабрики с зарешеченными окнами, и из них несли такой грохот, что деревянные тротуары дрожали, как от проходящего рядом поезда.

Красный кирпич давно побурел от непогоды, копоты и пара. Дым валил из частокола высоких труб, а по желобам бежала ручьями из каждого здания грязная горячая вода — синяя, мыльная, бордовая — в речку Уводь.

На фабричные здания глядели дома хозяев. У одних они были без претензий и, видать, стояли с тех давних пор, когда вместо города обозначались на географической карте два поселка ткачей-кустарей — Иваново и Вознесенское: внизу — каменная лавчонка, наверху — комнаты для семейства. У других новые особняки, с лепными украшениями, зеркальными и разноцветными стеклами, в два огромных этажа — комнат на двадцать-тридцать, часто с верандами, цветником и солидным швейцаром в галунах. И, словно напоказ, выставлена вся эта кричащая роскошь рядом с грязной улицей, на которой в пыли валяются нитки, обрывки лоскута и ленты бязи.

На каждом перекрестке либо питейное заведение — кабачок, трактир, пивная, монополька, либо чайная.

Вокруг фабричного центра, где предприятия, особняки, церкви, кабаки и заезжие дома составляли невиданный и очень странный архитектурный ансамбль, лепились деревушки, одна унылее другой по названию: Ямы, Рылиха, Завертяиха, Голодаиха, Посикуша и Продирки.

На фоне леса, чуть тронутого нежной зеленью, текла в низких берегах речка Талка, но и она была отравлена фабричными отходами из Уводи. Однако вода в ней казалась чище. И, как писал в рассказе ивановский ткач Павел Постышев, журчала весело, словно выражала свою радость, что убегала от грязной, вонючей Уводи.

Через Талку лежали лавы: это был путь от фабричной духоты к свежему воздуху соснового бора и березовой рощи. Но этим воздухом больше пользовались хозяева, которые понастроили себе летние дачи в лесу.

В центре города попадались еще деревья, хоть и с загрязненной листвой. А на окраинах лишь кое-где были устроены палисадники с кустами сирени или цветущей черемухой. А где не было загоронок, бродячие козы добирали последние листья на кустиках.

В серый фон деревенских построек — приземистых, со слепыми окошками и соломенными крышами — кой-где были вкраплены домики понаряднее: еловые, сосновые, рубленные в лапу, с железным петушком на коньке, синими или белыми наличниками и даже с мальвами перед тремя оконцами по фасаду.

В таких домиках жили мастера, подмастера и те из рабочих, которые всей семьей из поколения в поколение тянули ляжку для Гарелина, Бакулина, Дербенева или Зубкова и пытались отгородиться от голытьбы и подчинить свою жизнь одной цели — выйти в люди.

Ведь в городке не было пришлых фабрикантов, с фамилиями, резавшими ухо русскому мужику, — из немцев, французов и англичан. Все были свои, тутошние, из окрестных уездов, как, к примеру, Мефодий Гарелин — один из самых богатых. Старики знали его с детских лет, кличка ему была Мефодка: мужик полуграмотный, с противной ехидной рожей и гундосый. И был он как бельмо на глазу: гляди, куда вылез, рукой не достанешь! А мы чем хуже? Копи грош, к нему — целковый, по рублику, и — сотня! А там, бог даст, и свое заведение пустим в ход!

И, рассуждая так, иной раз начисто забывали старую поговорку: «От трудов праведных не наживешь палат каменных!» И далеко не каждый скопидом мог так хитрить, изворачиваться и грабить, как проклятый Мефодка!..

Бездомные ткачи ютились в фабричных «спальнях».

Так назывались рабочие казармы, обычно расположенные в одном из углов фабричного двора. Были «спальни» для холостых и для семейных. И трудно сказать, где хуже. У семейных и совсем без просвета. Вся жизнь и постылая нудьга соседа рядом, на глазах, за грязной пестрой ситцевой занавеской. Одно утешение, что у них есть отдельный бокс, как вагонное купе. И хоть спят семейные на двух этажах, иной раз навалом, если детей куча, зато своя лампа, свой рундучок, свои три стены из филенки и мутное от копоти окошко.

А у холостых — сарай на сотню голов; все нары, что тянутся по стенам и посередине, видны от края до края, как в огромной тюремной камере. И есть у тебя только одно место, где можно лежать после смены, в тесноте, обычно на боку, чтобы ненароком не приспать тщедушного соседа. Койкой это место не назовешь: вонючий соломенный матрас, подушка, набитая сеном, и всякое тряпье, хуже, чем у цыгана в полотняной хибаре. И отоспаться можно только в праздники, когда ткачи и прядильщики разбегаются по родне в ближайшие деревни.

Непривычный человек просто чумел в «спальне» от жуткого ералаша: в одном углу балалайка, в другом — тульская или саратовская гармонь; где-то горланят песню во весь голос; кто-то плетет байки или сказки.

За порядком наблюдал «хожалый», обычно из отставных унтеров, он глядел, чтоб не было поножовщины или кулачной драки.

Когда же она возникала, он щедро раздавал оплеухи и той и другой стороне, и порядок восстанавливался. А в иные дни смотрел, чтобы не шастали мастеровые по чужим койкам, не шептались по углам, в матерной брани не касались Христа с богородицей и спать ложились после дневной смены в десять вечера: после этого часа на улицу выходить не полагалось.

Но на Руси было давно заведено — драть с живого и с мертвого! И хожалый — ночь не в ночь — открывал дверь из «спальни» за гривенник. Этим и пользовались гуляки и... подпольщики. А уж кому тут было невоготу, те отрывали от своей «дачки» два-три рубля в месяц и снимали угол у хозяйки в Голодаихе, Яме, Рылихе или Посикуше...

Поздним вечером городок преобразился. Над ним нависло зарево. Мрачные фабрики, залитые яркими огнями, превратились в сказочные дворцы. Из каждой трубы, как из пушки, валил седой и розовый дым. Над Уводью клубился туман. Гул и грохот стали еще громче.

Близко к полуночи Фрунзе пришел к Дунаеву. Евлампий Александрович уже слышал с нем. Но встретил сухо. И только по мягкой интонации резкого голоса можно было судить, что он рад приезду нового агитатора. Вообще-то он был даже суров по внешности — с неулыбчивым, острыми глазами на рябоватом лице, побитом оспой. Глаза к тому же прятались за очками, плотно прилежавшими к надбровным дугам. Был он ростом не выше Фрунзе и худ, с тонкой длинной шеей, в движениях беспокойный и угловатый. И слова бросал, словно в раздражении. Через неделю-другую Трифоныч понял, что на Дунаева — товарища доброго и преданного — наложили такой отпечаток трудная жизнь подпольщика и гнетущий быт тюрем.

Для фабрикантов он был признанным вожаком ивановских рабочих. И хозяева за его прямоту и неслыханную резкость дали ему удивительно меткое прозвище — Бешеный ткач.

Не успел Евлампий разговориться, как стали подходить товарищи — один за другим. Пришел Федор Самойлов, чем-то похожий на Дунаева, но мягкий и застенчивый. Потом появился на пороге главный здешний боевик Иван Уткин: его знали подпольщики по кличке Станко. Следом за ним вошли в дом веселый и озорной Михаил Лакин, именуемый Громобоем. Затем Семен Балашов, с прозвищем Странник. Наконец появился и Федор Афанасьев. Он немного угнул голову на пороге, потому что был высоковат для Дунаевской двери. Молча отвесил поклон каждому и прошел под божницу.

Балашов и Самойлов помогли Дунаеву выставить самовар с чашками, бутылку водки, хлеб и картошку с селедкой. Станко перетасовал и раскинул на подоконнике затрепанную колоду карт. И, ни к чему не притрагиваясь, Отец открыл заседание комитетчиков.

Трифоныч молчал и слушал. Впервой он был на таком ответственном ночном заседании единомышленников, которые сегодня-завтра могли поднять многотысячную армию ивановских рабочих. Они и не спорили ни о чем, понимая друг друга с любого намека. Только поначалу не вдруг согласно высказались, в какой день начинать стачку. Дунаев и Балашов думали начать дня через три, другие советовали подождать неделю, чтобы подготовиться вернее. Разговор прикончил Отец:

— Дачка будет десятого и одиннадцатого. Начнем двенадцатого. Хорошо, что не выступили сразу после пасхи: народ за неделю поиздержался, не было бы у него запала. В прошлом-то году у Бакулина бастовали трижды, а все не ко времени — перед самой получкой, когда люди пояса затягивали. Теперь научены: выступаем двенадцатого.

И уже по тому, что никто не возражал, видно было, как товарищи прислушиваются к Афанасьеву. Перед хозяевами коноводом рабочих был Бешеный ткач: он жил открыто. А в подпольном комитете решающее слово принадлежало Федору Афанасьевичу.

До стачки надо было собраться на партийную конференцию. И Отец хотел выяснить: хватит ли трех дней для раскачки в цехах?

— Куда больше, Федор Афанасьевич, народ готов! — за всех ответил Дунаев.

Согласились собрать большевиков на конференцию 9 мая в лесу, неподалеку от села Пановского.

— У тебя, Иван, дружинники готовы? — Отец обратился к Уткину.

— Головой отвечаю, Федор Афанасьевич!

— Люблю порядок!.. Ну, с этим кончили. Теперь подумаем насчет Трифоныча: когда его пускать в дело?

— Вот девятого он и скажет — где, что и как? И народ его послушает. До того дня мы с ним посидим вечеров, набросаем на бумагу наши требования со всех фабрик, он и войдет в курс. А двенадцатого направим его с Семеном останавливать работу у Бакулина, — предложил Евлампий.

— Ну, братцы, по домам, пока никого на след не навели, — Отец поднялся с лавки. — А бутылку, Евлампий, побереги: будет и на нашей улице праздник!

— Пошли, Трифоныч, — предложил Семен. — Нам по пути.

Болтая по дороге о всякой всячине, минут через тридцать добрались до избы Черникова, и Фрунзе, как было условлено, тихонечко поскреб пальцем по окну.

Три дня пролетели незаметно: с утра до вечера Михаил читал, не выходя из дому, два вечера провел с Дунаевым.

Читать пришлось много: только что прислали из Москвы первые материалы о III съезде РСДРП. Этот съезд прошел под знаком идейной победы большевиков и определил политику и тактику партии в революции.

Основой всего была идея о гегемонии пролетариата. Компасом к ней — политическая стачка: лишь она может втянуть массы в борьбу и довести ее до всенародного вооруженного восстания. Надо не только пропагандировать идею восстания, но и готовить его военно-технические средства — боевиков, оружие. Главная цель восстания — свержение самодержавия и создание Временного революционного правительства, которому суждено быть органом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Пути

к ней — поднимать рабочих на политическую стачку, ни на минуту не забывая о крестьянском движении. Призывать крестьян отказываться от подчинения царским властям, создавать в деревнях революционные комитеты. Только они смогут конфисковать земли помещиков, государства, церкви, монастырей и поднять руку на земли удельного ведомства, то есть дома Романовых.

С Дунаевым спорили до хрипоты. Трифоныч предлагал внести в требования ивановцев эти главные решения съезда. Евлампий Александрович его осаживал:

— Пойми, мы же самая отсталая часть пролетариата. И к тому же живем не в столице, где много передовых рабочих по металлу. И нельзя нашим ткачам предлагать все лозунги съезда — будет и недоумение и даже испуг. Начнем с требований, понятных любому рабочему, а потом поведем народ дальше. Этап за этапом: агитация, военная подготовка. А прыгать не надо, особенно через себя.

Дунаев ерошил черные волосы над высоким лбом, беспокойно ходил из угла в угол.

— Мы тебе дадим самых грамотных рабочих: собирайся с ними, учи их всякой премудрости, готовь агитаторов. Они нам помогут перевести стачку на новый этап. А сейчас говори о том, что наболело. Вот так, — он достал из кармана две тонкие потрепанные книжечки, поднял их над головой. — Вот эта — расчетная, а это — заборная. В расчетной — получка и штрафы. А вот заборная: пуд муки в Москве семьдесят шесть копеек, а у нас — рубль тридцать пять. Бутылка керосину — на шесть копеек дороже. И так по каждому товару! В лавке дерут, в конторе путают. Куда деваться бедному человеку?.. Вот так, Трифоныч! А когда народ поймет, что дело не в мастере и даже не в хозяине, а во всем строе — с царем в голове, тогда он и примет решения съезда как свои...

Трифоныч уступил в этот раз. Записали все, что уже предъявили ткачи фабриканта Бакулина, рабочие типографии Соколова и собирались выставить 10 мая ткачи Дербенева.

— Кстати, дербеневские сынки были вчера в большом загуле: пропили с дружками в трактире и продули на бильярде не одну сотню рублей. Вот тебе и живая агитация! А наши дети ползают в пыли при дороге, а жены не знают, чем затыкать дыры в хозяйстве!

— Хорошо, Евлампий Александрович, вам виднее. Но и своего я не упущу, — сказал Трифоныч, старательно записывая требования ивановских рабочих.

Прежде всего: рабочий день — восемь часов, а перед праздниками — шесть. Затем отмена ночных и сверхурочных работ, и заработок — не ниже двадцати рублей в месяц. Потом — полная оплата за время болезни, отпуска роженицам с сохранением полного заработка, ясли для детей и пенсия потерявшим трудоспособность. Наконец, улучшение жилищных условий и медицинской помощи.

— Вот это главное! Народ добавит, если мы пропустим чего. Но еще надо обращение написать к рабочим, чтоб до сердца дошло!

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — начал писать Трифоныч.

— В точку! — сказал Дунаев. — А теперь пиши по-рабочему: «Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни. Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора принятаться добывать себе лучшую жизнь!..»

9 мая на партийной конференции единогласно утвердили требования с острой запевкой Евлампия Дунаева. И Фрунзе впервые выступил от лица комитета с речью.

— Революция шагает по стране, товарищи! Царь показал девятого января, что ничего нам не уступит без боя. Его и фабрикантов просьбами и слезой не прошибешь. Мало бросить работу и предъявить требования. С этого только начнем бой с капиталом, но не остановимся на полпути: Ленин призывает нас готовиться к вооруженной борьбе. У нас пока мало вот таких товарищей, — он показал на дружинников Ивана Уткина, которые окружили тайное собрание большевиков, в черных ластиковых рубашках с широкими кожаными поясами. — Мы создадим новые отряды и найдем для них пистолеты и винтовки. Без этого не обойтись, товарищи! Сейчас власти тайно вербуют против нас «черную сотню» из лавочников, дворников, кулаков и уголовных преступников. А против этой чертовой «сотни» с голыми руками не попрешь. И полиция, жандармы и казаки не сдадутся нам по доброму уговору.

Признают они только силу оружия. Мы ответим им пролетарской сплоченностью. А уж коль дело дойдет до открытого боя, охулки на руку не положим. С волками жить — по-волчьи выть! И хорошо стреляет тот, кто стреляет последним!

И закончил Фрунзе свою речь под одобрительный гул собрания:

— Я тут всего три дня, а хорошо вижу, что умеете вы читать, писать и считать по законам революции. Читаете запрещенную литературу, пишете требования, зовущие в бой. Считаете — какой барыш от вас кладут в карман хозяева. Теперь пройдем рабочий «университет» на сходках, и каждый из вас понесет слово нашей правды ко всем рабочим города и округи!

— С почином, Трифоныч, хорошо сказал! — Семен Балашов крепко пожал ему руку.

Забастовка в «Ситцевом крае» началась 12 мая 1905 года и продолжалась семьдесят два дня. Такого еще не знало рабочее движение России!

В те годы очень любили исторические параллели, и ивановские большевики гордились, что они смогли продержаться на один день больше Парижской коммуны.

Двенадцатого Дунаев вышел по гудку в утреннюю смену на фабрику Бакулина, где работал ткачом. По дороге он прихватил Семена Балашова с Трифонычем и, в шумной суতোлке у входных ворот, провел их в цехи.

Народ уже мельтешил возле машин, негромко переговариваясь о наболевшем. Не скажет ли чего дирекция ныне, ей требования вручили еще пять дней назад? И какого лешего тянет?

Очень многие не оставляли надежды на мир между хозяевами и рабочими. Ведь куда добр и наивен русский человек! Как и в дни «гапоновщины»: терпел он и не терял веру в доброго царя, пока не попал под его пули. Так и нынче: все еще теплил надежду, словно лампаду жег перед киотом, чтоб заслужить любовь всевышнего.

Но таких простачков осаживали люди трезвые, уже утратившие беспочвенные иллюзии.

Между тем первая смена встала к станкам. Заурчали трансмиссии, вздрогнули, пошли в ход машины. Пулей замелькали челноки, побежали поровну и вверх нити основы.

А в трех больших пролетах, перекрывая шум машин, в голос закричали Дунаев, Балашов и Фрунзе:

— Кон-чай ра-бо-ту!

— На ули-цу, това-ри-щи!

— Митинг на площади!..

Осекшись, встали и замолкли машины. Налегая друг на друга, люди кинулись в широкий проем двери: «Миром! — С богом! — С товарищами! — Навалом!»

Лавиной вынеслись во двор, сбили с ног перепуганных охранников у ворот. И, строясь рядами, зашагали по булыжнику к городской площади.

Комитетчики не смогли одновременно остановить работу на всех предприятиях. И первыми вышли на митинг рабочие четырех фабрик: Бакулина, Маракушева, Никиты Дербенева и Бурылина. Но вскоре забастовка полыхнула, как пожар, по всему городу, и площадь едва вместила людское море.

Полицмейстер Кожеловский оторопел. Но быстро сообразил, что надо требовать подмогу. И пока не включились в стачку телефонисты, передал владимирскому губернатору Леонтьеву, что у него под окнами великое сборище — тысяч сорок! — и он не может его побороть. Губернатор приказал немедленно собираться в путь.

А на площади уже сгородили трибуну из старых ящиков, и Бешеный ткач с глазами-молнией, сбросив картуз, звонкоголосо стал читать требования рабочих к фабрикантам. Федор Афанасьев стоял рядом, светясь лицом, как в самый большой праздник.

В задних рядах люди напряженно тянули шею, чтобы не проронить слово оратора, и цыкали на ребятишек, которые ошалели от радости: они шныряли в толпе, передавая друг другу новости, или громко перекликались, сидя на деревьях.

А людское море грохотало.

— Восемь часов!.. — разлетелся над головами голос Евлампия Дунаева.

— Правильно! — отвечали тысячи.

— Штрафы долой!..

— Долой!

— Отмена ночных работ!..

— Верно!

— Зарботки повесить!..

— Точно!..

Словно клятву давали рабочие. А народ подваливал и подваливал: после полудня замерла вся фабричная жизнь в городе.

Говорил Федор Афанасьев, почти не скрывая слез радости. Вспомнил он о первой маевке и жестоком уроке в день Кровавого воскресенья. Вспомнил, как за последние тринадцать лет — не по своей воле — почти каждый год навещал царские тюрьмы.

— Но не оскудела моя вера в долгожданную победу рабочего класса. Сколько раз подбивал я людей на стачку, и они дружно выступали против хозяев. И с вами восемь лет назад держались мы три недели, пока не отбили у фабрикантов полтора часа. Помните ли, с какой радостью перешли тогда с тринадцати часов на одиннадцать с половиной?

— Помним, Отец, помним! — согласно ответили люди.

— А вот такой мощи мы тогда не показывали. Нынче светлый день нашей борьбы, и он принесет нам заветные восемь часов. Только брать свое придется силой: зажирело у хозяев сердце. И не скинут они нам три часа без боя. Но нет среди нас трусов: бой так бой! А коль придется — и жизнь отдадим. Но стоя, с гордой головой. И это лучше, друзья, чем жить на коленях!..

К Федору Афанасьевичу протискивались в толпе старые его товарищи по стачке девяносто седьмого года, трясли ему руку, говорили сердечно:

— Верим тебе, Отец! Веди! Добьемся!

А на трибуне уже стоял Трифоныч, комкая картуз в правой руке. И пересохло у него в горле, и непривычно дрожали колени: ведь полтора ста тысяч глаз с надеждой глядели ему в лицо. Он опасался, что сорвется голос от волнения. И даже сам удивился, до чего же четко и смело зазвучали его слова на этом первом грандиозном митинге.

— Товарищи! Отец верно сказал: на нас работает время. Утром вышли из цехов тридцать тысяч, сейчас нас — семьдесят пять. Кому же по плечу свалить такую силу? Никому! Но не будем обольщаться: мы сильны единством, пролетарской сплоченностью. Не давайте дробить наши усилия, не опускайтесь до мелких сделок с хозяевами: один за всех, и все за одного! Выстоим сообща, и вся пролетарская Россия устремится за нами! И да здравствует Всероссийская стачка!..

Его проводили одобрительным гулом — в те годы на рабочих собраниях не знали аплодисментов. Он был самым молодым среди ораторов и говорил с юношеским задором, но в речи его не было пустых слов, а открытое, смелое лицо так зримо подчеркивало его искренность.

Митинг в тот день длился до вечера, и многие опьянели от речей. Это понял Михаил Лакин — озорной, красивый парень с кустистыми соболиными бровями. Он успел сбегать домой, чтобы переодеться, и вышел к трибуне как артист: в хорошей синей паре и белой рубашке с черной шелковой бабочкой. Сотни стихов держал он в голове и начал читать Некрасова.

Очень к месту были эти стихи: они падали на благодатную почву. И иногда у слушателей набегали на глазах слезы. А он поддавал и поддавал, словно великий поэт передал ему эстафету.

Над притихшей толпой летели из края в край стихи о печальной жизни многострадальной русской крестьянки.

Потом Лакин читал «Колыбельную песню» — о будущем чиновнике:

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом —
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю

И били в цель строки о страшном барине, который так напоминал лиходеев фабрикантов:

И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил.

Лакин мог бы читать и до ночи. Но со стороны вокзала подкатила к площади коляска, а в ней — владимирский губернатор Леонтьев.

По живому коридору, едва не задевая людей крыльями коляски, проследовал щедушный старичок в белом мундире, прикрытом серой накидкой от пыли, в картузе с генеральским околышем. Он опирался на трость с набалдашником, зажав ее между колен, и с недоумением поглядывал по сторонам, словно ожидая подвоха.

Люди угрюмо молчали, и никто не собирался огреть его булыжником по генеральскому картузу. Но у многих закралась мысль: «Не к добру явился в Иваново этот властный старик!»

Полицмейстер проводил губернатора в канцелярию, вскоре показался на балконе и крикнул начальственно:

— Господа! Их превосходительство приказывают вам немедленно очистить площадь и завтра всем возвратиться к работе. Для переговоров с начальником губернии сообразуйте выбрать депутацию.

Недобрый гул прокатился по площади.

Евлампий Дунаев, не желая заводить препирательства с Кожеловским, сказал громко, чтоб слышали все:

— Губернатор устал с дороги — дадим ему отдохнуть. Да и нам пора по домам. Только, товарищи, у нас свой порядок: работу бросили и к машинам не вернемся, пока не сдадутся хозяева! Что скажем начальнику губернии — наше дело. И на то есть новый день. И говорить будем без свидетелей. Завтра с утра — митинг на Талке, товарищи!

Утром 13 мая городское собрание рабочих было продолжено в широкой зеленой излуине реки Талки, на опушке соснового бора, неподалеку от железной дороги.

Большевики подсказали решение: всей массой не обсуждать каждый вопрос стачки, избрать для этого боевой штаб — Совет уполномоченных, чтоб он сводил воедино все пожелания рабочих и повседневно руководил стачкой. И по вечерам давал бы отчет собранию, какие меры им приняты.

Люди разбились на группы — от каждой фабрики. Да и от каждого городского предприятия, потому что стачка стала всеобщей: в нее включились заводы, типографии Соколова и Ильинского, железнодорожное депо, ремесленные мастерские, землекопы и крупные магазины. А все питейные заведения были закрыты Советом на другой день. И со стороны Талки необычно выглядел город: умолкли гудки, не дымились фабричные трубы, опустели улицы. А с городских колоколен удивительным казалось пространство в несколько десятин на зеленой лужайке у реки, где живописными группами сидели и стояли тысячи людей, все разодетые как в праздник: яркие сборчатые юбки, цветастые платки — из ситца и драдедама; темные картузы, красные, синие и голубые косоворотки, у многих с белыми

горошинами, жилетки, пиджаки. И тот, кто подходил сюда позднее, вдруг попадал в ярмарочную атмосферу криков, споров, возгласов. А над всей излучиной стоял такой гул, словно носились растревоженные пчелы из тысячи ульев.

И ребятишки летали от группы к группе, разнося новости. И сновали по поляне лоточники, предлагая крендельки, ландрин, семечки, орехи, сладкие грецкие стручки. И досужие мужички с городских окраин толкали тележки с квасом, разлитым в четверти или «гусыни», укутанные от весеннего жаркого солнца в старое ватное одеяло.

После полудня Совет уполномоченных был избран: 151 человек. Нелегалы Федор Афанасьев и Михаил Фрунзе в него не вошли: они руководили им из подполья. Первым председателем Совета выбрали местного поэта, гравера по профессии — Авенира Ноздрина. Евлампий Дунаев взял на себя политическое просвещение стачечников. И полиция вскоре доносила по своим каналам, что на Талке создан «вольный социологический университет», где интеллигенты изо дня в день читают лекции и проводят беседы. И что «ректором» состоит Бешеный ткач. Только долго не могли узнать полицейские чины, что главным «ректором» в этом народном «университете» признан петербургский политехник Фрунзе, а вдохновляет всю эту учебу Владимир Ленин. Ведь стачечники знали только большевиков: в Иваново-Вознесенске не давали хода соглашательским партиям — эсерам и меньшевикам.

На первом же заседании Совета были окончательно сформулированы требования всех рабочих Иваново-Вознесенска. И к тому, что записали Дунаев и Трифоныч, прибавились требования, рожденные в ходе двух первых митингов: ликвидировать тюрьмы при фабриках и убрать фабричную полицию; не допускать вмешательства властей в дела рабочих во время стачки, не арестовывать забастовщиков в эти дни и не увольнять их с работы.

Как и предполагал Евлампий Дунаев, уже с первых дней появились четкие политические требования: свобода стачек, союзов и собраний. И это уже был шаг к лозунгу о созыве Учредительного собрания.

Одновременно Совет решил ввести «сухой закон» в дни забастовки и создать свою милицию, чтобы в городе не наблюдалось безобразия, хулиганства и грабежей.

Совет уполномоченных вскоре стал реальной властью рабочих в городе: без его разрешения не делалось ни шагу. И когда губернатор Леонтьев переселился на время из Владимира в Иваново-Вознесенск, он на себе ощутил власть Совета. Приказав Кожеловскому отпечатать и расклеить объявление о запрещении сборищ, он получил неожиданный ответ:

— Не имею возможности, ваше превосходительство! Типографии закрыты по решению Совета. А он не разрешит печатать бумагу против себя. Так что придется в другом городе.

— Невероятно! До какой степени вы распустили людей, полицмейстер! Партийцы ходят на свободе, баламутят народ. Но я найду управу: всех вожаков — в кутузку, и чернь встанет на колени!

— Прошу прощения, ваше превосходительство, но взять бунтовщиков нельзя: у них своя милиция, чуть тронем — начнутся эксцессы.

Губернатор ограничился тем, что написал письмо министру внутренних дел:

«12-го сего мая в городе Иваново-Вознесенске забастовали рабочие на всех фабриках. Рабочие держат себя беспокойно, вследствие чего мною сего числа выслан один батальон нижних чинов от квартирующих во Владимире войск...»

Но до 3 июня и этот батальон и астраханские казаки, приданные ему в помощь, не были пущены в дело. Губернатор Леонтьев несколько раз принимал депутатов Совета — Дунаева, Лакина и Самойлова, уговаривал их пойти на уступки, но они не сдавали позиций. Он вернулся во Владимир, вскоре снова приехал в Иваново-Вознесенск. И сейчас же информировал своего министра:

«...Сам я должен напрягать все свои силы для достижения однообразного хода дела, но при всем моем старании достигается мною с большим трудом. Первый раз я просидел в Иванове восемь дней. Ныне уже прошло девять дней моего вторичного здесь пребывания, а

пока не предвидится его конец. У меня развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства...»

Конечно, потрясенный до такой степени начальник губернии — лучшее свидетельство реальной силы Совета! Да и как было не расстроиться старому служаке, если единственным способом расправы с рабочими могло быть только открытое объявление гражданской войны всему народу края. Но в стране было так беспокойно, что повторение Кровавого воскресенья исключалось.

А люди не работали у станков, фабриканты соглашались лишь на мелкие уступки. Губернатор пока накладывал искусные повязки от мигрени. И огорчался страшно: «вольный университет» день за днем готовил агитаторов и рассылал их по округе. А в минуты, свободные от занятий, дерзкие молодые парни на Талке распевали открыто:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной!

И сотни голосов подхватывали песню:

Нагайкой не убита
Живая мысль у нас.
Уж скоро паразитам
Придет последний час!

И уже не только всероссийскую, но и мировую гласность получила ивановская стачка. И живое воплощение лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — подтверждалось присылкой денежной помощи бастующим из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Иркутска, Риги, Варшавы, Екатеринослава; из Женевы, Гамбурга, Берлина, Бремена, Нью-Йорка.

Отец вел учет каждой копейке из стачечного фонда, понимая, что не смогут до бесконечности держаться люди, у которых давно кончилась последняя «дачка» и никаких запасов нет. И может подойти время, когда каждый пятак, выданный голодной семье, будет дороже рубля в праздник. «Я был свидетелем сцены, — вспоминал один из стачечников, — как Отец — казначей комитета выдавал Трифону (Фрунзе) деньги на железнодорожный билет в Шую, куда тот ехал для проведения массовки, требовал с него три копейки сдачи, и когда у Трифона сдачи не оказалось, то Отец не поленился сходить в лавочку, чтобы поменять пятиалтынный, и вручил ровно сорок две копейки...»

Фабриканты отсиживались в городе, неся большие убытки. Некоторые из них намекали, что пойдут на маленькие поблажки, но Совет требовал выполнения всех пунктов наказа.

Эту позицию отразил в письме к родственнику фабрикант Бурьлин:

«То, что произошло за три дня, не поддается описанию. Невиданная картина событий, рабочие — как звери. Я лишен кучера, сам кипячу чай, с фабрики последнего сторожа сняли, сам охраняю фабрику. Начальство растерялось. У наших нет единого мнения. Мое честное убеждение — надо поскорей идти на небольшие уступки рабочим требованиям. Нам угрожают колоссальные убытки. Две партии непромытого вареного товара преют в котлах. В красильне — мокрые ролики. Мне известно из недостоверных источников, что руководители забастовки — люди приезжие, с образованием. Руководят хлестко. Чувствуется в городе двоевластие. Рабочие не хотят договариваться на своих фабриках, выставляют общие требования».

Городская дума прекратила работу. Совет заседал с утра до ночи, но и ему не хватало опытных агитаторов и деловых руководителей.

Семнадцать лет спустя Михаил Васильевич Фрунзе дал очень верную оценку забастовки и ее исторической роли для рабочего движения России:

«Идейное и организационное влияние Иваново-Вознесенской группы РСДРП было очень велико. Во всем объеме оно сказалось на всеобщей стачке, начавшейся, кажется, 12-го мая. С первых же шагов стачечное движение, охватившее около 60 000 рабочих различных городских предприятий, приняло удивительно стройный и организованный вид. После первого грандиозного митинга перед Думой, приведшего в неопишуемый страх как местную буржуазию, так и всю полицию, происходит общее собрание бастующих за городом у речки Талки, где рабочие по предложению социал-демократов разбились на фабрики и создали Совет Рабочих Депутатов.

Я бы очень хотел привлечь внимание к этому обстоятельству. Оно важно по двум причинам: первое — по той естественной необходимости, жизненности и соответствию запросам и интересам трудящихся, представляемых советской формой организации, и второе — по той роли, которую в создании и развитии советской формы организаций сыграл иваново-вознесенский пролетариат.

Нет никакого сомнения, что иваново-вознесенская летняя стачка дала богатейший политический и организационный материал, который после и был надлежащим образом использован при создании Петроградского, а затем Московского и других советов. Вот, стало быть, к какому времени относятся еще корни нынешней Советской организации в Иваново-Вознесенске. Работа, проделанная партией в смысле политического воспитания рабочей массы, за время стачки была колоссальна. Надо сказать, общий культурный уровень иваново-вознесенского пролетариата был чрезвычайно низок. Несмотря на колоссальные богатства, скапливающиеся в руках фабрикантов от эксплуатации труда рабочих, город по постановке народного образования занимал во всей России одно из последних мест, ибо буржуазная городская дума не уделяла ему никакого внимания... В результате, партии приходилось иметь дело с массой, совершенно неподготовленной к восприятию социально-политических идей. Я помню, как первое время стачки волнение охватывало аудиторию при попытках ораторов затрагивать чисто политические темы; помню, как испуганно и порою враждебно встречалась массой критика самодержавной царской власти. Но все это было только вначале. Работа организации свое дело делала. И надо было видеть, как оно делалось! Во всякой кучке рабочих и просто обывателей, обсуждавших злободневные вопросы, обязательно, как из-под земли появлялся доморощенный оратор в лице рядового члена организации и властвовал вниманием и сочувствием слушателей. Во время этой знаменательной стачки, сыгравшей в истории всего рабочего движения России такую крупную роль, во всем блеске выявились основные черты организации РСДРП (большевиков): партийная дисциплина, колоссальная энергия и безграничное самоотвержение».

В своих воспоминаниях 1922 года Фрунзе не сказал о себе ни слова, а ему принадлежала исключительная роль в дни этой знаменитой стачки иваново-вознесенских текстильщиков...

В этих воспоминаниях между строк угадывается и сам Трифоныч — застенчивый и скромный, незаметный для многих, волевой и удивительно ласковый в подходе к любому стачечнику. Сам он о себе никогда не говорил, о своих делах той поры никому не писал. И только по крупницам — из донесений полицейских чинов, из отдельных воспоминаний его боевых товарищей можно составить образ молодого большевика, волею судеб попавшего в ивановское пекло 1905 года.

В нашем теперешнем понимании был он комиссаром Совета, умным, тактичным и очень деятельным членом партии, который поддерживал в товарищах дисциплину и энергию, немислимую без самоотвержения.

Именно это и подчеркивал в своих воспоминаниях его близкий соратник Федор Самойлов: «Фрунзе стал душой Иваново-Вознесенской партийной организации. Его часто

можно было видеть на заседаниях городского партийного центра, на нелегальных собраниях в лесу и с момента стачки, которой он фактически руководил, — на заседаниях Совета и на митингах бастующих рабочих».

Так получилось, что в Иваново-Вознесенске он был наиболее образованным марксистом, раз и навсегда избравшим большевизм своим жизненным кредо. И отчетливо понимал, что победа рабочего движения невозможна без социалистической теории, без ленинского знамени. В гимназии и в институте он привык читать много и быстро, а цепкая память помогала ему усваивать выводы из прочитанного. По-своему он стоял на уровне ленинских идей того времени и хорошо умел передать своими словами самую трудную теоретическую мысль. И его ценили именно за то, что он не подстраивался под лексикон остальных рабочих, а пытался поднять их до понимания действительно сложных вопросов марксизма.

Конечно, и кроме него были люди образованные, о которых сообщал в письме фабрикант Бурылин. Стойким марксистом был Отец — Федор Афанасьев. И знал он многое из Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина. Но теория не была самой сильной его стороной: он брал рабочего за душу фактами из его же жизни и душевными разговорами о своем тернистом пути старого большевика, одержимого ненавистью к строю насилия. Хорошо был начитан Евлампий Дунаев — человек практической хватки, прирожденный рабочий агитатор, умевший всякое слово повернуть так, чтобы любой рабочий в его страстной речи видел свои невысказанные желания. Образованными людьми были и Самойлов и Жиделев. Но, кроме Фрунзе, интеллигентом — в широком понимании — был еще лишь Андрей Бубнов, по кличке Химик — беглый студент Московского сельскохозяйственного института.

Однако Трифоныч стоял особняком: мастер теории, но отнюдь не сухарь; человек эрудированный в вопросах истории и экономики и вместе с тем ничем не отгороженный даже от неграмотного рабочего. Потому-то и легли на его плечи обязанности «ректора» в «вольном университете» на берегу реки Талки.

Комитетчикам он читал лекции по теории рабочего движения. И они восхищались, что он на память цитировал большие куски из «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса и из книги Ленина «Что делать?».

Семен Балашов спросил его однажды:

— Ну как же можно запомнить такое?

— Мысль понравилась и хорошо отложилась в голове. А раз так, то ее нетрудно передать и словами автора. Да и не стоит подпольщику таскать с собой запрещенные книги. Как говорит Отец: лучше их держать не за пазухой, а в голове! Тогда и в любом споре будешь отлично аргументирован.

Разумеется, попадались мысли, сложные для восприятия, и слушатели становились в тупик. Тогда Трифоныч говорил без обиняков:

— Глубокую мысль нельзя постичь без труда. Надо возвращаться к ней и дважды и трижды и связывать ее со своей практикой. Даже великий Маркс приходил к выводам в итоге беспощадной борьбы с собой. Но всякая умная мысль хороша тем, что ее можно понять в конце концов, а будучи понятой, она толкнет на подвиг!

Иногда он выступал с обзором событий в стране на широких собраниях. И любил такие речи: живо реагировала на них благодатная аудитория. Но товарищи все глубже и глубже загоняли его в подполье: оберегали своего Трифоныча. И он ограничивался где репликой, где кратким словом на летучке агитаторов, где небольшой беседой с малой группой будущих пропагандистов, а где и разговором наедине с рабочим «оратором», у которого дух захватывало от одной мысли, что ему придется выступить в Совете или на многолюдном митинге.

— Не залезай в дебри, — подбадривал он оробевшего ткача или прядильщика. — Смело говори о том, что наболело: расценки, штраф, фабричная тюрьма. И про «спальню» скажи, и про «дачку», от которой нет радости... А выступать надо: мы люди передовые, нам

нужно проявлять себя в общественной деятельности. Она помогает человеку стать смелым, уверенным в правоте своих идеалов!

Тем, кто колебался долго и все отнекивался, Трифоныч составлял «шпаргалку». Но предупреждал дружески:

— Ты не заучивай — я ведь не могу передать твой стиль речи. Сам говори. А моя бумажка пусть будет как вешка на зимней дороге: помни о ней, иди смело и не сбивайся!

И «доморощенный агитатор», испытав счастье на митинге, говорил о Трифоныче с уважением:

— Ну скажи ты, молод до невозможности, ему бы за девками бегать, а он — все для нас и за нас! И так тебе в душу вложит, что страху перед народом нет. Голова!..

23 мая в Иваново-Вознесенске произошли два события. Партийная организация стала выпускать бюллетень о ходе забастовки. Трифоныча сделали редактором, автором и правщиком статей, заметок и предложений стачечников. Он писал по ночам прокламации и призывы, из номера в номер будоража умы бастующих. Полиция сбилась с ног, но ни подпольной типографии, ни редакционного аппарата бюллетеня найти не смогла.

В этот же день стачка отчетливо обнаружила свою политическую окраску. Совет рабочих депутатов провел на городской площади собрание под лозунгом «Работы, хлеба!». Впервые комитетчики выкинули красные флаги и с пением «Марсельезы» и «Варшавянки» направились продолжать митинг к берегам Талки. И эта речка приобрела популярность далеко за пределами города: она стала вровень со славными географическими пунктами земного шара!

Красные знамена стачечников так перепугали фабрикантов, что некоторые из них немедленно покинули город. Трифоныч дал в бюллетене отчет о митинге, о новом проблеске политического сознания масс и призвал их еще активнее разворачивать наступление на капитал.

Одновременно он занялся вооружением дружинников Ивана Уткина. Парни в черных ластиковых рубахах и кожаных поясах почти не имели оружия. На всякий случай они запаслись увесистыми можжевелевыми палками. И пока власти не шли в открытый бой, даже с палками можно было нести охрану Совета, рабочих митингов и даже фабричных ворот, чтобы туда не проникали штрейкбрехеры.

Но губернатор стянул в город войско, и астраханские казаки с желтыми лампасами стали появляться слишком близко от излучины Талки, занятой бастующими.

В майские дни 1905 года постепенно обнаруживается одно из сильнейших призваний Фрунзе: от военного организатора рабочих дружин в Иваново-Вознесенске — к баррикадным боям в Москве, к вооружению народа в Минске, к выдающейся полководческой деятельности в годы гражданской войны.

Давняя детская мечта стать генералом вдруг воплотилась в конкретных делах во время стачки. Трифоныч посылал в Москву ребят Ивана Уткина, и они привозили винтовки в разобранном виде и пистолеты. И учились стрелять в цель и надежно прятать оружие.

Для стрельбища выбрали место в овраге, за лесной дачей фабрикантов Битовых, удравших в столицу. А стрелять старались в те минуты, когда проходил товарный поезд, чтобы его грохот приглушал винтовочный треск.

Сам Трифоныч отлично стрелял из винтовки: сказывалась охотничья сноровка. А из пистолета бил хуже, но вскоре приноровился попадать в «яблочко» с двадцати-тридцати шагов: во всем он хотел быть не хуже других, чтоб наглядно служить примером.

Когда у Станко — Уткина сложилась боевая дружина человек в семьдесят, Фрунзе написал для нее устав. «Боевая дружина формируется прежде всего для того, чтобы служить ядром будущей революционной армии восставшего народа», — сказано было в преамбуле.

— Ну, это ты хватил, Трифоныч! — говорили некоторые дружинники. — Какая ж мы армия? Смех один! А где пулеметы, пушки, генералы? Разве попрешь против войска с такими револьверами? — презрительно поглядывали они на кучку малосильных, устаревших «смит-вессонов».

— Винтовки будут, — спокойно отвечал Трифоныч. — Пулеметы; можно отбить у врага. А до пушек — далеко, может, дело до них и не дойдет: нам не крепости брать! Генералами будем сами: не боги горшки обжигают! Но если народ восстанет, у него должно быть обученное ядро, и из него вырастет армия пролетариата. Так что записано все правильно!..

Популярность Трифоныча росла. Полиция за ним охотилась, но никак не могла расшифровать, кто скрывается за этой как бы стариковской кличкой. Городовые и филеры толкались среди стачечников, спрашивали: «Каков же он? С бородой, што ли?» — «Вот именно: бородачи здоровая, рыжая! И сам дюжий — не чета вашему губернатору!»

Трифоныч менял адреса. В каждом доме оберегали его пуще глаза, хозяйки хотели накормить его чем бог послал, постирать белье. И удивлялись до крайности, что этот молодой большевик просиживает ночи над книгами. «Глаза спортишь, ложился бы», — говорили ему. «Завтра беседа. Скажу людям немного, а самому надо готовиться всю ночь». И подкупала его отрешенность от обыденных дел: еду старался не брать, зная, что в семье с харчами плохо, деликатно отказывался от услуг, даже пуговицу пришивал сам.

Ищейки накрывали его дважды, трижды. Но пока все сходило с рук: товарищи всякий раз разыгрывали толковый «спектакль», а паспорт на имя Семена Безрученкова был сделан отлично и действовал безотказно. Однажды нагрянула полиция, когда Трифоныч ночевал у Семена Балашова. Но их не застали врасплох: Станко обходил поселок со своими ребятами и успел стукнуть в окошко перед самым налетом.

Семен и Трифоныч спрятали в самовар только что подготовленный бюллетень Совета. Хозяин повязал щеку платком и уселся читать бульварный роман графа Салиаса, гость скинул сапоги и завалился под одеяло.

Граф не вызвал подозрения у пожилого унтера, да и Балашов отлично разыграл сцену: болят зубы, спасу нет, вот и решил отвлечься от нудной боли!

Трифоныч предъявил паспорт.

— Прибыл надолго? — спросил унтер.

— Да ведь как придется: на работу хотел, а у вас тут черт знает что творится. Неужто порядок нельзя навести?

— Поговори мне еще! — буркнул унтер. И вышел к стражникам: они переговаривались в сенях.

Ивану Уткину и его ребятам вскоре пришлось показать себя в большом деле. Губернатор Леонтьев, так и не избавившийся от мучительных мигреней на нервной почве, уехал отлеживаться во Владимир. А вице-губернатор Сазонов решил показать когти. 2 июня по его приказанию Кожеловский расклеил приказ, отпечатанный вне Иваново-Вознесенска: рабочим категорически запрещалось собираться на реке Талке. Однако все забастовщики явились на очередное собрание. И чтобы подчеркнуть мирный характер своего митинга, взяли детей, стариков. Да и день выдался чудесный: солнечный, ясный, теплый. Люди спокойно обсуждали дела; где-то заливчато пел баян; дети безмятежно носились по излучине реки.

И вдруг послышался крик дружинника:

— Берегись! Казаки!

Но со стороны города опасности не было. И все подались к лесу, вовсе не ожидая, что именно там встретят их астраханцы, засевшие в бору с ночи.

И началось позорное побоище: пьяная казацкая орда против мирных рабочих. Астраханцы с гиком носились между бронзовыми соснами, хлестали нагайками, били шашками, топтали копытами коней, стараясь оттереть людей к поляне, где удобнее действовать в конном строю.

— Бей пьяную свору! — закричал Фрунзе, выхватывая пистолет.

Дружинники начали ссаживать карателей из седла выстрелами из пистолетов. Но силы были неравные. И Станко, увлекая за собой основную силу астраханцев, дал возможность людям разбежаться по кустам. А Фрунзе тем временем увел в березовую рощу Отца,

Дунаева, Самойлова и других руководителей Совета. Но крики раненых, кровь на их лицах, проклятия взывали к отмщению. Комитетчики и дружинники пытались отбить арестованных, но не смогли. И Кожеловский с казаками угнал в тюрьму человек пятьдесят.

Не успели в Совете принять соответствующее решение, как запыхали пожары: на ткацкой фабрике Гандурина и на лесном складе Ивана Гарелина. Потом вспыхнули дома фабрикантов Фокина, Бурьлина и городского головы Дербенева. Обозленные до крайности, дружинники стреляли в полицию, валили телеграфные и телефонные столбы. Совет осудил поджоги и всякие другие акты диверсии.

На запрещенном собрании в лесу страсти разгорелись до крайности. Горячие головы требовали разнести полицейское управление, арестовать Кожеловского, выжечь дотла все хозяйские «гнезда». Стихия грозила погубить забастовку: у стачечников не было реальной силы для открытого боя на улицах.

— Что ж, по-вашему, кланяться этим живодерам? Или простить им такое злодеяние? Бей псов, вот и весь сказ! — горячились многие.

На этом митинге после кровавой резни взял слово Трифоныч. Страстной была речь большевика. Он заклеил позором палачей, но призывал не поддаваться на призывы экстремистов и не губить силы стачечников поддержкой анархистских и эсеровских приемов политической борьбы. И прочитал написанный им «протест на начальника губернии»:

«Совет рабочих депутатов города Иваново-Вознесенска протестует против вашего запрещения сбора рабочих на Талке, — читал Трифоныч. — Вы потворствуете фабрикантам в стачечной борьбе, оказывая им всякую помощь, чтобы сломить решимость рабочих. До сих пор ни одно законное требование не удовлетворено. Рабочие голодают вот уже месяц. Вы расстреляли рабочих на реке Талке, залили ее берега кровью. Но знайте, кровь рабочих, слезы женщин и детей перенесутся на улицы города, и там все будет поставлено на карту борьбы. Мы заявляем, что от своих требований не отступим. Вот воля рабочих города Иваново-Вознесенска. Ждем немедленного ответа по телеграфу. *Совет рабочих депутатов*».

Приняли протест без поправки. И он возымел действие: собрания на Талке были разрешены, из тюрьмы освободили почти всех арестованных.

Значение Совета возросло: с ним считалась теперь не только городская, но и губернская власть. Полицейстера Кожеловского убрали, казаки перестали гарцевать на улицах. Городскую группу Северного комитета РСДРП преобразовали в Иваново-Вознесенский комитет. В него вошел и Трифоныч.

Между тем стачка достигла апогея. Терпение рабочих пошло на убыль, подкрался и вскоре стал угрожать голод. А хозяева не сдавались. Лишь на ситценабивной фабрике Грязнова удалось повысить заработную плату, уволить ненавистных мастеров и добиться заверения, что против бастующих не будут применены санкции. И Совет разрешил рабочим этой фабрики встать к станкам, но с одним условием, что все они будут вносить отчисления от «дачки» в фонд бастующих.

Кончался июнь. Стачка себя исчерпала. Народ бедствовал, как в лихую годину, но продолжал держаться.

27 июня Совет провел последнее многолюдное собрание на Талке. С горечью было решено прекратить забастовку с 1 июля 1905 года. Политическая оценка этого акта выглядела так: «Мы решили стать на работу, с тем чтобы, подкрепив свои силы, вновь начать борьбу за свои права и те требования, которые нами предъявлены фабрикантам в начале забастовки 12 мая 1905 года».

Но еще не угасла надежда у самых стойких. Они держались больше трех недель. И только 23 июля закончилась героическая борьба стачечников.

Репортеры буржуазных газет поспешили заявить, что «после семидесяти двух дней анархии город начал жить обычной жизнью».

Но это было свидетельство верхоглядов. Старая, обычная жизнь умерла. Стало иным отношение к рабочим: насилие и произвол ушли в небытие. Фабриканты из тех, что

дальновиднее, прекрасно понимали, что рабочего, прошедшего школу на Талке, в фабричную тюрьму не посадишь, в физиономию ему не дашь и даже не крикнешь на него, как на последнее быдло, рабочий человек поднял голову, с ним поневоле приходилось считаться.

И Михаил Васильевич Фрунзе убедительно оценил значение этого факта: «Хотя стачка окончилась лишь частичными экономическими уступками со стороны хозяев, но в итоге ее произошло идейное освобождение рабочего класса, и «властительницей дум» в его районе окончательно становится наша партия...»

И Владимир Ильич Ленин, пристально следивший за деятельностью первого Совета, высоко оценил инициативу ивановцев:

«Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки».

Одним из центров этого брожения стала Шуя и ближайшие к ней рабочие поселки. Туда и предстояло вскоре переселиться Трифонычу.

Арсений на воле и в тюрьме

Был делегатом IV Объединительного съезда РСДРП от Иваново-Вознесенского комитета.

Начиная с 1904 до 1907 г. неоднократно подвергался арестам. В начале 1907 г. был арестован в г. Шуе. Судился по обвинению в принадлежности к РСДРП (большевиков) и приговорен к 4 годам каторжных работ. Во время отбытия наказания был привлечен вновь по делу о вооруженном сопротивлении полиции. Был судим и приговорен к смертной казни. Ввиду полного отсутствия улик, явного нарушения ряда процессуальных форм приговор Главным военным судом был кассирован и назначен новый суд. Судился вторично и вновь был приговорен к смертной казни с заменой каторжными работами. Дали 6 лет каторжных работ с добавлением к прежнему сроку наказания.

М. Фрунзе

Иногда спрашивал себя молодой большевик Михаил Фрунзе: по каким таинственным законам собираются люди в устойчивые коллективы?

Когда это касалось массы стачечников, объяснение находилось без труда: они были боевыми товарищами.

Вековое стремление народа к товариществу понимал Гоголь, и он образно выразил это в повести «Тарас Бульба». В уста Тараса он вложил красивые и умные слова о природе товарищества.

А дружба? Тут дело более деликатное. И видимо, одной идейной близости мало. Тут нужна избирательность, потому что товарищей много, а друзей мало.

Да, в близком общении все идет в оценку: и характер, и выдержка, и уступчивость, и самоограничение. Словом, друга надо любить самоабвенно, прощая ему слабости и мелкие прегрешения, будучи уверен, что во всем самом сокровенном он тебе лучший товарищ.

На дружбу Трифоныч был скуп: Отец, Дунаев, Балашов. И — Андрей Бубнов.

Ни Фрунзе, ни Бубнов в те дни и не догадывались, сколько испытаний выдержит их дружба, где и когда пересекутся их пути. Но симпатию к Андрею Трифоныч обнаружил с первой встречи. Бубнов вспоминал: «Я помню его в первый раз, когда он — студент Политехнического института — 6 мая 1905 года пришел во двор дома, где я жил в Иваново-Вознесенске».

Фрунзе получил адрес Бубнова в Москве и, представившись Федору Афанасьеву, пошел к Андрею.

Тот жил двойной жизнью, как все подпольщики. Но нелегалом был весьма своеобразным: днем отсиживался у родителей в кондовой купеческой семье, а вечерами и ночами исполнял функции партийного агитатора и пропагандиста. И очень долго не бросался в глаза полиции, надежно охраняемый сословными преимуществами. Да и кому из властей могло прийти в голову, что под крылышком купца Сергея Ефимовича Бубнова и его жены Анны Николаевны свил гнездо такой крамольный сын?

Андрей закончил реальное училище в Иваново-Вознесенске, поступил в Московский сельскохозяйственный институт, не так давно преобразованный из земледельческой и лесной академии. Но в 1903 году познакомился с Николаем Бауманом, руководившим тогда Московским комитетом партии, и стал большевиком. Из института вышел. Дома объяснил, что по болезни, а на самом деле — из страстного желания послужить рабочему классу. Был он человек начитанный, боевой, и с лета 1905 года ткачи и красильщики его неизменно выбирали в свои партийные органы.

Михаил и Андрей познакомились в доме купца Бубнова, там и встречались всякий раз, когда хотели побыть вдвоем. Скоро сблизились, и Андрей сообщил родителям, что господин Безрученков — старый его друг.

И позднее жизни их переплетались многократно: и на баррикадах Пресни, и на съезде в Стокгольме, и на Украине, когда добивали банды батьки Махно. И случилось так, что в дни великой партийной драки вокруг Брестского мира на время попали они в один лагерь, пытаясь противоборствовать Ленину. А в год смерти Фрунзе Бубнов был рядом с ним в Реввоенсовете на должности начальника Политического управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Химик крепко полюбил Трифону́ча, был его чичероне на первых порах в Иваново-Вознесенске, потом добрым оруженосцем и преданным другом. И первый раз в ивановскую каталажку угодили они вместе осенью 1905 года.

Правда, случались у Андрея и промахи: мало было выдержки, частенько лез он на рожон, и его приходилось осаживать. Он, к примеру, готов был поджечь дом своих родителей после резни на Талке 3 июня. По ночам умел не спать, однако в эти часы предпочитал ходить с Иваном Уткиным в патрульной группе дружинников. А к лекциям и: беседам готовился мало и брал «на ура», не умел скрупулезно разобраться в обстановке. Но листовки писал лихо и на кратких «летучках» был незаменим: там ценилась очень яркая и звонкая речь.

Трифону́ч упорно прививал ему вкус к теории. И никогда не сомневался, что этот страстный парень — с овсяным чубом и голубыми глазами — пойдет далеко. Химик оправдал надежды друга: написал одну из первых книг по истории большевизма. К пролетарской революции он пришел зрелым революционером, отсидев тринадцать раз в царских тюрьмах. А Великий Октябрь встретил в Петрограде, будучи членом Политбюро и Военно-революционного центра ленинской партии.

Но в короткие летние ночи бурного 1905 года, оставаясь наедине в комнате Андрея, они спорили или предавались «исповеди». Бубнов хорошо запомнил ту ночь, когда жарко решалась одна сложная проблема и Михаил обстоятельно высказал свое кредо: может ли интеллигент перевоплотиться в рабочего, не растворяясь в нем и сохраняя все присущие себе черты?

— Да! — Фрунзе ответил утвердительно. — Только все дело решают три кита: простота и искренность, определенность и ясность стремлений и действительно доброе отношение к рабочим.

Бубнов удивился:

— Но ведь все эти категории внеклассовые?

— А мы их наполним классовым содержанием. Да и придет же время, когда такие понятия станут обычной нормой поведения каждого человека.

— Ох далековатко! — вздохнул Андрей.

— Не спорю. Но — верю. А теперь порассуждаем, — Фрунзе закурил папиросу. И стал медленно ходить по комнате из угла в угол. — Мир ивановского ткача тесен: в нем много заскорузлости, почти нет места высокой культуре. Это прямое следствие подневольного труда на хозяев, и рабочего тут винить не в чем. Но даже представить себе нельзя, как развернется тот же ткач, когда станет работать на себя, на общество!

В тесном и убогом мире все потребности примитивны: как-нибудь отработать смену при плохих харчах, получить «дачку», пропустить хороший стакан водки, чтоб забыться и — уснуть. Или поколобродить под пьяный ор и насладиться гармошкой.

Но не все такие. Есть люди восприимчивые, с проблеском сознания. Однако любая искра может угаснуть в условиях идиотизма жизни в «спальне», и понимание своей исторической роли не пойдет дальше, если искру не раздуть.

Мы с тобой стоим возле кузнечного меха и раздуваем нашу искру. В этом призвание интеллигента, протянувшего руку рабочему...

Но из искры должно возгореться пламя. И наше пламя — теория социалистического переустройства мира. Ее надо привнести в рабочее движение, и она станет руководством к действию, без которого сама теория сера.

Вот тут и начинается самое главное для работника партии, особенно для интеллигента, живущего в рабочей массе. Маркс мог писать «Капитал» в уединенном кабинете: великую теорию нельзя создать в суматохе будней. Но и он был тысячами нитей связан с движением рабочих всего мира. Уединился и Ленин, когда писал «Две тактики социал-демократии в демократической революции», не порывая связи с беспокойной жизнью в редакции газеты «Вперед» и направляя движение рабочих в России. Мы же практики в этом движении. Но тоже обязаны уединяться на ночь, чтобы усвоить написанное Марксом и Лениным: иначе, Андрей, мы будем видеть землю, но позабудем, что есть путеводные звезды!..

И вот с компасом знаний интеллигент приходит к своим товарищам — к рабочим. «Что за человек? — спрашивают они себя, — Верит ли в то, о чем говорит? Пылает ли факелом или чадит, как лучина?» Так проверяется искренность убеждений и их сила. И всякое двоедушие исключено!

Иной священник отпускает грехи, в глубине души не веря ни в бога, ни в черта: он как клещ держится за богатый приход. Иной адвокат изворачивается и топит истину в красивой фразе, чтобы оправдать высокий гонорар за участие в процессе. Да и иной врач лечит больного по скучной обязанности, в тайниках сердца вовсе не расположенный к истинному милосердию. Перед интеллигентом, пришедшим в революцию, стоит жесткая альтернатива: либо все отдай для победы пролетариата, либо убирайся к чертям! Поэтому искренность и стойкая убежденность — первые качества настоящего большевика.

Но и убежденный человек способен утопить в высоких материях живую мысль дня. Чтобы этого не случилось, нужно говорить доступно, просто, очевидно.

Разумеется, партия не призывает к опрощению, она враг всякой вульгаризации. И Ленин подчас пишет так, что даже образованный человек возвращается к некоторым местам его текста не один раз. Интеллигент должен оставаться самим собой, но он лишен права обрушивать на малограмотных рабочих каскад непонятных слов и туманить им голову путаными призывами: всякая интеллигентская исключительность приводит только к глупой игре в теорию.

Чтобы стать своим человеком в тесном товарищеском мире рабочих, надо сродниться с ними: на своей шкуре оценить их ужасные условия жизни, проникнуть в их внутренний мир и так слить свои думы и чувства с их мыслями и стремлениями, чтобы любое «твое» они воспринимали «нашим», «своим».

Я люблю Толстого. Но мне странны его потуги жить «под народ».

Я определил себя жить рабочим. Не по одежде, конечно: это лишь одна из сторон конспирации. А по духу, хотя читаю «Анти-Дюринга» Энгельса и «Феноменологию духа» Гегеля. Словом, я выбрал себе жизненный путь, иного не ищу и не вижу. И тот, кто чинит зло моим товарищам, — кровный мой враг!..

Только по велению сердца надо протягивать руку товарищу, помогая ему подняться ступенькой выше. Завтра он соберет вокруг себя людей, более отсталых, чем сам, и заронит искру в их души. А сам устремится дальше, уже готовый на подвиг во имя своего класса.

Все это непросто, дорогой Андрей! Но еще труднее быть добрым в условиях скотской жизни. А ведь только доброе начало в нас несет людям радость. Мы иногда не видим этой доброты: она застенчива и не криклива. Послушай человека, как самого себя, вникни в его желания, посоветуй, подскажи. Будь прост и доступен любому человеку своим словом, будь добр к товарищам. Тогда оставайся хоть самым эрудированным интеллигентом в рабочей среде, все равно она назовет тебя товарищем и пойдет за тобою!.. А раз уж все эти категории содействуют окончательной победе рабочих, кто усомнится в их революционной, классовой сути?

И Фрунзе и Бубнов любили такие «исповеди»: в них проверяли свой путь, отмечали досадные промахи, ставили новую задачу.

Андрей на всю жизнь сохранил в памяти эти разговоры ночью. И позже не раз убеждался, какой цельной натурой был его друг. И в воспоминаниях о Михаиле Васильевиче написал: «Фрунзе был дисциплинированным солдатом революции, преданнейшим борцом за коммунизм. Это свойство выработалось в нем тем, что он никогда не терял связи с партийной организацией, что он работал не как революционер-одиночка, а как член большевистской партии, организованной, закаленной, боевой. Фрунзе никогда не терял связи с массами. Надо еще добавить, что Фрунзе был образованным политиком и настоящим ленинцем в теории. Он был также революционером, который стоял на фундаменте самой передовой революционной теории нашего времени, какой является ленинизм».

Но до воспоминаний было далеко.

Друзей будоражила молодость. От этих ночных «исповедей» проще, строже, крепче становился Андрей. И жизнь, какой бы стороной она ни поворачивалась, была высшим благом. И хотелось скорее расчистить путь к победе, которой они подчиняли все свои стремления.

Но скоро им предстояло расстаться. Сначала Трифоныч отлучался на короткое время, добираясь поездом или пешком до Шуи, Родников, Тейкова или Кинешмы. А с 15 июля 1905 года и вовсе переселился в Шую по решению Иваново-Вознесенского комитета РСДРП: там нужен был человек, способный дать бой меньшевикам и эсерам — их влияние было нетерпимым в революционном «крае ткачей».

Правда, Фрунзе часто заезжал в Иваново-Вознесенск и с удовлетворением отмечал, что Химик отлично замещает его в кружках, на «летучках» и в боевой дружине.

Передовые рабочие Шуи, особенно партийцы, хорошо знали Трифоныча: он не раз бывал у них и раньше. Но не вдруг привыкли, что он на их глазах превратился в Арсения. Да и сам Фрунзе не один день обвыкался с новой кличкой. Многие же считали ее собственным его именем и переименовывали по-всякому: одни уважительно, и тогда получался Арсентий, другие ласкательно — наш Арсюша.

«Умер» Трифоныч, исчерпал себя и паспорт на имя Семена Безрученкова. По прописке в полиции объявился Иван Яковлевич Корягин, приказчик швейной фирмы «Зингер», прибывший в Шую по торговым делам. Только один человек знал в городе настоящего Фрунзе — его младший товарищ по Верненской гимназии Виктор Броун, недавно переселившийся из знойной Средней Азии в этот край ткачей и прядильщиков. У него, как и у Бубнова в Иваново-Вознесенске, Фрунзе на час-другой «менял шкуру»: вспоминал юность и детство, старых друзей и знакомых, говорил о литературе, музыке, живописи. Когда же у Бруна собирались на словесное ристалище местные говоруны, особенно эсеры, Фрунзе превращался в Арсения.

Уже 15 июля, в день приезда в Шую, где ему удалось продержаться почти два года, Фрунзе выступил с большим докладом на городском партийном собрании. Народу было немного, человек двадцать, но среди них крепкие, стойкие большевики — П. Гусев, А. Котов, Д. Луковкина, О. Смышляков.

Разговор шел о перестройке всей работы шуйских большевиков по решению III съезда РСДРП: Фрунзе рассказал о стратегическом и тактическом плане партии в буржуазно-демократической революции. Нужен союз пролетариата и крестьянства. И — нейтрализация либеральной буржуазии. Основная задача: довести буржуазно-демократическую революцию до полной победы и тем самым расчистить путь для социалистической революции; пролетариат должен быть гегемоном в буржуазно-демократической революции.

Шуйские большевики уже пробовали поднимать рабочих на стачку. Они поддержали ивановцев весной, и 19 мая все 10 тысяч рабочих объявили забастовку. Их требования не расходились с наказом ивановцев. Но в Шуе не было Отца и его товарищей, и фабриканты быстро справились с «крамолой». Это тот случай, когда хозяева сплоченно пошли на локаут, пригрозили увольнением, и стачка захлебнулась на десятый день.

И вообще «отцы города Шуи» — Небурчилов, Терентьев, Павлов и другие, — крепко осевшие в красивых домах на городской площади, оказались хитрее и умнее своих ивановских собратьев. В Иваново-Вознесенске, где у каждого крупного хозяина рабочих было не меньше, чем во всей Шуе, и дурной спеси было через край. А она вносила разброд в фабрикантские дела.

Все эти тузы слабо действовали сообща в дни стачки, порознь искали заступничества в Москве и в Питере и давили на губернатора.

А в Шуе фабриканты жили скромнее и при опасности кидались друг другу в объятия. Да и рабочие у них, еще не разбуженные агитацией большевиков, мало отличались от мужиков из соседних сел и деревень. Надо было раскатать их и вовлечь во всероссийский поток революции. И даже воспользоваться для этого временным соглашением с эсерами, не уступая им ни пяди в своих политических позициях.

Арсений призвал товарищей драться за новую стачку, не повторяя ошибок иваново-вознесенских ткачей. А ошибки и промахи у них были. При огромном размахе движения не удалось подготовить агитаторов из передовых рабочих; в лишние слова на многолюдных собраниях иной раз тонуло дело; туго было с оружием, и боевая дружина росла медленно; губернатор нагнал в город много войска, а агитацию в частях развернуть не удалось; и с крестьянами работа ограничивалась редкими встречами и беседами. И другие обстоятельства тяжело отразились на стачке: денежная помощь со стороны поступала от случая к случаю — поначалу сотни, затем рубли с копейками. Все поиздержались, и Отец выдавал в последнее время по тридцать копеек семейным, по гривеннику — холостым. Голод пришел к стачечникам, пробивались чем бог послал: щавель, крапива, зеленый лук, первые ягоды. А потом стачечники стали собирать милостыню по деревням. Дух упал, многие озлобились, выход остался один: идти к машинам.

Но стачка стала большой политической школой, и Совет уполномоченных показал, что именно такая форма власти всего больше соответствует духу рабочего движения.

Фрунзе рассказал о типичной судьбе рабочего паренька Павлушки Постышева. Сын ткача и сам рабочий с детских лет. До учения жадный, но за партой сидеть недосуг — все время забирает вечная погоня за куском хлеба. Парню всего семнадцать лет. И на Талку ходил сначала из любопытства: потолкаться среди людей, послушать. И помаленьку набрался ума. 3 июня попал в страшный переплет: зверски избили его казаки, вырубili кусок кожи с головы. Мать перевязала ему рану лоскутом нательной рубахи. Но паренек не сдался. Все запомнил: стрельбу, свист нагаек, крики женщин, плач детей; взмах можжевеловых палок дружинников, град камней, которым люди осыпали карателей. И гневные слова матери: «Ну, кровавые псы, придет и к нам час возмездия!» И, прозрев в этот трагический день, стал дружинником и агитатором. Полюбили его товарищи и приставили к подпольной типографии: охранять ее от ищеек, переносить шрифт из тайника в тайник, раскидывать листовки.

— Так что все решают люди: их организованность, смелость! — закончил свое выступление Арсений...

Собрание отметило, что неудача Шуйской стачки весной объясняется слабой связью местных большевиков с широкой массой рабочих. Агитация на фабриках не развернута. В цехах многие не знают о важнейших задачах революции и по этой причине не идут в ряды партии.

Решили всех участников собрания разделить на группы, и каждой из них определить четкое задание на фабрике. А чтобы поднять политический и культурный уровень рабочих, всем взяться за учебу. В кружках самообразования вести беседы по самому широкому кругу вопросов. В политические кружки высшего типа вовлечь актив, в кружках низшего типа срочно готовить агитаторов для фабричных «летучек».

Арсений передал товарищам литературу, привезенную из Иваново-Вознесенска, и попросил выделить несколько надежных квартир, где он мог бы вести занятия в кружке повышенного типа и ежедневно встречаться с рабочими за непринужденной беседой.

Шуйские товарищи активно поддержали план Арсения. И уже недели через две сотни ткачей и прядильщиков украдкой пробирались к местам сбора, где большевики читали им литературу, объясняли политические лозунги дня и давали ответы на самые животрепещущие вопросы.

Позднее Фрунзе с удовлетворением вспоминал об этом шуйском «университете»: «Приходится поражаться той колоссальной энергии и той жажде знания, которые проявлялись передовыми рабочими. Занятые большую часть дня тяжелой работой, живя и питаясь самым невозможным образом, они находили достаточно сил для посещения нелегальных митингов, лекций, пропагандистских кружков, организационных заседаний. И все это происходило в обстановке постоянной опасности быть схваченными, избитыми и даже убитыми. Собирались и в дождь, и в снег, в лесу, в сараях, в овинах и пр... Великое незабвенное время всеобщего энтузиазма и порыва!..»

...Умер Трифоныч, родился Арсений — друг и товарищ шуйских рабочих. И под этим именем был избран организатором Шуйской группы большевиков, оставаясь членом Иваново-Вознесенского комитета РСДРП.

Шуйский исправник Лавров был на хорошем счету у начальства — за острый нюх на всякую крамолу и за быструю расправу с инакомыслящими. Слов нет, умел Лавров подбирать себе в помощники крепких служак. И отличными держимордами числились у него пристав 1-го стана Декаполитов и урядник конной стражи Перлов.

Дружинники и боевики-эсеры не раз грозились укокошить эту троицу. Но исправник и пристав нигде не появлялись без охраны. А Перлов, который кидался на разные хитрости: переодетый шатался по ночам под окнами рабочих, в толпе ткачей толкался, когда она шла со смены, хоронился под железнодорожным мостом, чтоб услышать хоть обрывок крамольной речи, — как на грех, нарывался на людей мирных, без оружия. Они его дубасили за подлость, но всякий раз выпускали из рук живым.

Он быстро разведдал, что в городе повеяло новым духом: народ куда-то торопился после смены, собирался кучками, человек по десяти, но не для пьянства, не для гулянок. И когда урядник делал очередной налет на квартиру, люди чинно сидели за самоваром, играли в карты или в лото. И никого посторонних промеж них не обнаруживалось.

— С ума, што ль, походили? — удивлялся Перлов. Но даже такое на вид безобидное сборище вызывало подозрение, и он старался не ослаблять слежки.

А тут пошла молва среди городских, что кто-то сколачивает в Шуге боевую дружину и будто уже подвезли для нее оружие. И, словно в подтверждение этих слухов, начались ночные эксцессы: три-четыре парня делали налет на постового и в один момент отбирали у него револьвер с патронами и шашку. Перепуганные городские начали отказываться от ночных дежурств. Но Лавров их посылал на пост, а боевые ребята Арсения снова приобретали оружие для дружины. Когда же в комитете узнали, что исправник запросил подкрепление, формирование дружины ускорилось.

Арсений вызвал Уткина с группой товарищей, и они помогли шуйским дружинникам построить работу на основе устава, в свое время составленного Трифоньчем. Сперва было двадцать пять боевиков во главе с Павлом Гусевым. Затем дружина выросла, ее разбили на десятки. В каждый десяток поставили начальника: все его распоряжения выполнялись беспрекословно. Начальники объединялись в штаб, подчиненный Арсению. Во главе одного десятка стоял очень смелый боевик Владимир Башмаков. Но на почве дикого озлобления против вакханалии царских опричников, потопивших в крови первую русскую революцию, он ушел к эсерам, стал террористом и был повешен в 1907 году. Сам Арсений общался с дружинниками часто и проводил с ними контрольные стрельбы в лесу возле деревни Мартемьяновки.

Московские товарищи подсылали оружие от случая к случаю. Пришлось кое-что придумывать самим, чтобы вооружить возросшую дружину. Хороший почин сделали ребята в Кинешме. Они достали партию охотничьих ружей и изготовили для них пули. В театральном реквизите оказалось несколько старых пистолетов, их восстановили и пустили в дело. В механических мастерских начали делать кинжалы и даже патроны. Иван Виноградов и Михаил Тулин занялись «бомбами»-македонками. Нарезали куски газовой трубы, приладили к ним крышки из жести. В старой подпольной листовке — еще времен «Народной воли» — нашли простейший рецепт, как изготовлять взрывчатый порошок. Засыпали его в «бомбу», а к крышке прикрепили стеклянную трубочку с жидкостью. Перебрались на левый берег Волги, кинули «бомбу». Стекло разбилось, жидкость попала на порошок — и грохнуло так, что по кустам закрутило смерчем, и могучее эхо раскатилось по лесу.

Арсений узнал об этом, послал своих дружинников набираться у соседей уму-разуму. И очень был доволен, что македонки удобны для хранения: где кусок трубки, где крышка, где стекляшка. А что к чему — никакой Перлов не догадается!

Оказалось, что и шуйские кудесники не дремали. Еще в дни майской стачки они делали острые наконечники для можжевеловых палок. А теперь перешли на порох и опробовали его в лаборатории земской больницы у врача Домской. И не только резали газовые трубы для македонок, но и вытачивали втулки. И даже приловчились отливать цилиндры на литейном заводе. В часовой мастерской фирмы «Павел Буре» — почти вплоты с канцелярией исправника — два парня помаленьку мастерили капсюли для «бомб».

Полиция знала от филеров, что большевики собираются на массовки в лесу под охраной вооруженных дружинников. И конная стража Перлова не раз выезжала на облаву. Но среди карателей были трезвые головы:

— И на кой черт лезть нам в пекло? Ну поговорят люди и разойдутся. А сунемся туда, боя не миновать. Там же головорезы, с бомбой!

И обычно эта стража объезжала митинг стороной, а Лаврову доносила, что сборище не обнаружено. Только однажды, возле деревни Филино, где в сарае шла дискуссия между Арсением и эсеровским лидером Бердниковым, полиция с группой казаков рискнула сделать налет. Выручила самодельная македонка дружинников: удар — как из пушки, зарево вполнеба, черный дым — как из фабричной трубы. Стража после взрыва взяла коней в шенкеля и раззвонила по всему городу, что большевиков без пушки взять нельзя.

А шуйские мастера тем временем взялись за отливку пуль. С центровкой дело на первых шагах не ладилось, и эти пули летели кувырком, жутко свистя, как ураганный ветер в узкую щель. Какому-то ретивому стражу такая свинцовая штука плашмя угодила в голову, и у него треснул череп. И опять покатила молва: эти черти бьют разрывными пулями!..

Лавров дал команду ловить возмутителей поодиночке, коли нет возможности захватить их в сети скопом. Старательный Перлов стал приглядываться ко всем приезжим людям и на исходе августа столкнулся на улице с Арсением.

Дюжий рыжий урядник подступил к делу нахально:

— Стой! Кто такой? Покажь документы!

Но неожиданно получил афронт:

— Я Корягин, действую от фирмы швейных машин «Зингер». И просил бы вас не тыкать: я, знаете ли, не терплю хамства!

Перлов оторопел. Потом молча оглядел паспорт, сверился с фотографией. Все было в ажуре, и даже следы «оспы» на левой щеке. И с карточки так же смело и спокойно глядели чуть насмешливые глаза.

— Не по прихоти, господин Корягин, — залебезил Перлов. — Служба! Нынче шастанут по городу всякие, вот их и поддеваешь. А ненароком заденешь и солидного человека. Так что — извиняйте!..

Дружина росла и крепла. Надо было расширять базу агитаторов, и Арсений завязал связи с передовыми гимназистами. Виктор Броун отдал ему на время старый свой гимназический костюм. И когда Фрунзе увлекал на прогулку за город группу учащихся, мало кому бросалось в глаза, что у одного из гимназистов заметно разрослись русые усы и что он куда взрослее даже самых старших однокашников.

А Перлов приметил. Он уже вбил себе в башку, что в Шуе действует не то Трифоныч, не то Арсений. И получил от исправника обещание отхватить крупный куш за поимку неуловимого большевика. И ему показалось что-то ирреальное в том, что среди гимназистов вышагивал в форме приказчик фирмы «Зингер». Но побоялся насмешек со стороны языкастых гимназистов и близко к группе не подошел. Потом он казнил себя на все лады и не один день прохаживался под окнами гимназии, пока ему не запустили со второго этажа в физиономию мокрую тряпку от классной доски.

Да и Арсений, не желая рисковать, не ходил уже после этой встречи с урядником в форме гимназиста и дожидался ребят в условленном месте за городом, возле земской больницы.

Сохранились добрые воспоминания дочери врача этой больницы Сусанны Альбертовны Домской. Одной из первых гимназисток она стала пропагандистом в рабочих кружках и помогла создать в больнице удобный опорный пункт для Арсения.

«Первую встречу с Арсением я запомнила так: ...Вторая Мещанская улица, комната гимназиста Страхова. Быстро входит невысокий паренек. Румяный, синеглазый, белозубый. Теплая куртка, синим платочком повязана шея. Молодой рабочий не только по костюму, но и по веселой простоте, по всему... Ловкий, складный, с быстрым говором, с милой усмешкой. Таким был тогда Арсений...»

Сусанна Домская, или Саня, как обращался к ней Арсений, кое-что уже понимала в политике. Год назад впервые она увидела нелегальные издания и даже ленинскую «Искру» — кто-то провез из Иваново-Вознесенска. Запершись, она читала обжигающие слова, задыхаясь от волнения. Потом долетели ужасные слухи о расправе со студентами в Санкт-Петербурге 28 ноября. «Действовать, действовать!» — судорожно работала мысль. Но никто в Шуе не обращал внимания на настрой ее души, а сама она не знала, куда податься, и беспокойно металась, как беспомощный птенец.

Стала выписывать из «Искры» заметки, острые фразы, давала читать знакомым. Конечно, много спорили, жадно ловили слухи. Гимназисты затеяли прошлой зимой издавать на гектографе журнал «Весна». Печатали стихи: «В тюрьмах гниет молодое все, честное!..»

Рисовали «картинки мобилизации» — с осуждением войны с японцами. В маевку 1905 года — после забастовки на Тезинской мануфактуре — собрались маленькой группой в лесу за Муравьевским заводом. Ораторов не было: спели революционные песни, даже прошлись по поляне с красным полотнищем и осторожно разбрелись по домам.

Арсений раскрыл глаза этим сыновьям и дочерям местной интеллигенции. Он помог им связаться с гимназистами Иваново-Вознесенска, перед которыми семьдесят два дня мужественно проходила всеобщая стачка. Потом познакомил с шуйскими рабочими, квартировавшими в Панфиловской слободе. Гимназисты вспомнили о своем гектографе и за две недели отпечатали «Начальный курс политической экономии в вопросах и ответах». Написал эту книгу Александр Богданов — близкий соратник Ленина в те дни, один из руководителей Русского бюро ЦК РСДРП в Петербурге.

Вскоре налачился транспорт литературы из Иваново-Вознесенска. Ее читали в кружках на больничном дворе, а спорили где придется: в общественном саду, на городском валу, на площадке мужской гимназии.

Передовых гимназистов и гимназисток Арсений допускал на свои лекции по историческому материализму в кружке повышенного типа. Оратор он был превосходный, и, по свидетельству Сани Домской, «даже его любимое присловье: «Итак, значить, товарищи», — не портило речи...».

На этих занятиях Арсений долго и сурово приглядывался к некоторым гимназисткам и резко «предостерегал их от всяких романов, от игры в любовь с рабочими».

Но даже самые миловидные девушки, к которым кружковцы благоволили открыто, на него не обижались: он был наставником и героем, и «вся революционная эпоха в Шуе носила отпечаток его личности — мужественной и обаятельной...».

Как только налажилось дело с учащимися, Арсений решил охватить своим влиянием их родителей. Он не рассчитывал найти среди них стойких единомышленников. Но игра стоила свеч: кого-то переманить в лагерь большевиков, кого-то нейтрализовать и лишить их влияния на неустойчивые группы рабочих. Инженер, врач, адвокат, педагог, банковский служащий, бухгалтер, сотрудник земства и даже акцизный чиновник могли при случае обронить слово и на пользу рабочему и во вред ему. Да и надо было подрубить корень под всякими нелепыми слухами о большевиках в среде интеллигенции. И сделать это так, чтобы одновременно дезавуировать их идеологов из меньшевистского и эсеровского лагеря.

Виктор Броун согласился собирать у себя небольшими группами врачей, педагогов и других деятелей интеллигенции. Но почти на каждое собрание являлся Александр Бердников, и местные культурные мужи становились свидетелями словесной драки большевика и эсера.

Броун записал в своем дневнике:

«Арсений говорил удивительно просто и вместе с тем образно, без затруднения находя остроумные сравнения и материалы. Каждой из цитат Бердникова он противопоставлял другие цитаты, в прах разбивавшие те, которые приводились противником. При этом он не пользовался книгами, а цитировал по памяти...»

А события в стране шли своим чередом, и накал революции крепчал день ото дня. В середине июня с оружием в руках выступили против самодержавия рабочие Лодзи. Не успела еще просохнуть их кровь на улицах, восстали матросы на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Ленин выпускал в Женеве газету «Пролетарий» и с каждым номером посылал в страну заряд огромной революционной силы. Марат стал издавать в Москве популярную газету «Рабочий», и она освещала события не только в белокаменной, но и в Иваново-Вознесенске. Лозунгом дня стал бойкот булыгинской думы и широкий курс на вооруженное восстание. И привлечение крестьян к революционной борьбе рабочего класса. Россия Николая Второго позорно проиграла войну японцам: мир на Дальнем Востоке означал новый этап войны внутри страны с прогнившим режимом. В Риге и в Минске состоялись партийные конференции, они поддержали бойкот булыгинской думы и курс на вооруженное восстание. В Казани созывалась большевистская конференция по аграрному вопросу.

Эсеры, анархисты и меньшевики в Шуе пригласили Арсения на первый публичный митинг, любезно разрешенный исправником Лавровым. Арсений дал им ответ:

— Дней через десять. Подготовьтесь, а то будете позорно биты! — И в тот же день выехал в Казань на конференцию от большевиков «Ситцевого края».

Конференция прошла успешно. Был создан Всероссийский крестьянский союз, ясно определились пути работы большевиков в деревне. Арсений сделал отчетный доклад на партийных собраниях в Иваново-Вознесенске и в Шуе. Решения приняли четкие: создать в деревнях партийные группы, послать туда литературу и агитаторов, печатать для крестьян листовки, выезжать с докладами и лекциями в села.

Арсений и здесь оказался на высоте: он убедительно разоблачал эсеров с их равнением на крестьян, особенно на кулацкую верхушку, в отрыве от задач рабочего класса.

— Да кто же этот рабочий? — спрашивал он. — Ваш брат и друг. Не от хорошей жизни — от нужды стал он «ванькой от ворот» у Козлопуховых и Раздваевых. И живет так, что ваша похлебка с солониной и куриное яйцо мерещатся ему в каждом сне... У вас на шее барин и кулак, у него — хозяин. И вкалывает он на этого хозяина от зари до зари за один империал, проще говоря — за пятнадцать целковых в месяц! И лишь одна разница у вас с ним: вы горюете в одиночку, а он — с товарищами. А общая беда сплавливает людей, делает их сильнее... К примеру, сколь земли у ваших мироедов?

— У барина — поболее трех тысяч десятин, у крепких мужиков — по две сотни, а у меня и одной десятинки нет! — ответил крестьянин из молодых, который жадно ловил каждое слово Арсения.

— Вот и соображайте. Полюбовно они вам землю не отдадут. Да у них к тому и пример достойный: у батюшки царя удельных земель сейчас поболее десяти миллионов десятин! Попробуй у него спилить хоть одну сосну, казаки мигом врежут так, что до смертного часа будут болеть и чесаться рубцы на спине от нагайки! В одиночку хорошо лежать с бабой на печи, особенно в голодное зимнее время, а землю надо брать всем миром. И царь и барин с кулаком войной пойдут на нас за каждую делянку. Придется их спихнуть: довольны они попили нашей кровушки! А как их прикончишь без рабочего человека, у которого в руках ключ к революции?.. Вот я и призываю вас: вместе с рабочим классом — на штурм самодержавия!..

Бердников снял самый большой зал в Шуге для публичного митинга. Собралось народу много, человек триста — весь цвет местной интеллигенции. И для порядка пристав Декаполитов — в парадном мундире, при медалях и в белых перчатках — в кресле первого ряда.

Эсер Бердников — человек сутулый, в очках с толстыми стеклами, манеры мягкие, голос вкрадчивый — начал доказывать, что учение Маркса по аграрному вопросу приемлемо для стран Запада, но ни гроша не стоит в условиях России, где кондовая мужицкая стихия идет по своему пути, лелея в мечтах «крестьянский социализм».

Опираясь Бердников на немецкое издание книги Эдуарда Давида «Социализм и сельское хозяйство»: противники Каутского, Бебеля и Цеткин с большим шумом напечатали ее два года назад. Правый лидер германской социал-демократии активно выступал против Маркса, доказывая преимущества и устойчивость мелкокрестьянского уклада жизни. «Россия — это деревня, — вещал Бердников, повторяя зады Николая Анненского и других бывших народников. — Она еще начисто отвергает большевистский социализм, и сторонники Ленина ничего не добьются со своей верой в исторические «предначертания» рабочего класса!»

Даже пристав Декаполитов похлопал в ладоши докладчику. А уж об адептах эсеровской партии и говорить нечего: они разразились громом аплодисментов.

Арсений вышел к трибуне из задних рядов. Без всякой внешней аффектации он напомнил собранию два-три места из Маркса, которые отвергали выводы Давида.

— Вы неправильно поняли автора!.. — крикнул, Бердников, потрясая книгой над головой.

— Что ж, дайте мне вашего апостола, я покажу, как он извращает Маркса, — Арсений взял книгу Давида. И в притихшем зале начал читать по-немецки, быстро переводя на русский. — Даже самые юные наши слушатели, — он показал на группу гимназистов, — прекрасно понимают, как этот оппортунист из Берлина пытается наживать капитал на критике Маркса. Ленин предвидел это и раньше меня доказал, как непогрешим Маркс, как расслаивается деревня на богачей и бедноту и как чужды нам речи о вековой устойчивости мелкокрестьянского уклада. Я только что побывал в деревне: больше трети мужиков ушли из нее за последние пять лет к Небурчилову и Павлову. И каждый день она отдает своих людей на фабрики: пролетаризация идет полным ходом! Больше того, господа: в России происходит

удивительный процесс. Наш капитализм вырывается по концентрации богатств на первое место в мире, и ему беспрерывно поставляет дешевые рабочие руки самая нищая в Европе деревня! Кричащей роскошью бахвалятся фабриканты и помещики; с голода пухнут дети ткачей; деревня, оплакивая своих нищих собратьев, каждодневно провожает их в город. Вот где надо искать истинную причину грядущей революции! Пролетарий берет за оружие, мужик по ночам подпускает «красного петуха» своему барину. А большевики, выражая их мнение, дают лозунг дня: «Долой самодержавие!»

Дальше говорить Арсению не дали. Декаполитов — багровый от возмущения — напролом двинулся к трибуне. Дружинники кинулись выручать своего жоака, и кто-то из них крикнул в зал: «Чего расселись! Не отдадим Арсения!» Интеллигенты повскакивали с мест и окружили пристава, выражая возмущение его грубым вмешательством в диспут. Гимназисты, улюлюкая, бросились оттирать к дверям городских, устремившихся к Декаполитову. Павел Гусев тем временем провел Арсения за сцену и оказался с ним в садике:

— Вот так! В другой раз на буржуйское собрание не пустим!..

Теперь полиция могла вести «прицельный огонь»: исправник Лавров уже не сомневался, что сеет смуту в Шуге некто Арсений: парень образованный, умный, на слово горячий. И — неуловимый!..

В одну из сентябрьских ночей Фрунзе нашел пристанище в квартире рабочего Личаева, на 2-й Нагорной улице. Сам Личаев давно был на примете у полиции, и после первого спаса его уволили с фабрики за слишком дерзкий язык. Арсений, направляясь в Иваново-Вознесенск, взял Личаева с собой и там передал его с рук на руки Евлампии Дунаеву. А тот вскоре устроил его ткачом у Маракушева.

Семья Личаева осталась в Шуге: жена — Александра Михайловна и трое мальчишек — от семи до двенадцати лет. И Арсений бывал у них часто. Александра все пыталась хоть как-нибудь подкормить большого друга своей семьи; от плохих харчей, от беспокойных ночей и беспрерывных скитаний между Шугей, Иваново-Вознесенском и соседними посадами и селами стал сдавать Арсений: провалились щеки, поблек завидный румянец, покраснели и сильно набухли веки. И только глаза горели добрым огнем, и была в них неизбывная детская радость.

В тот сентябрьский вечер долго он сидел с ребятишками Личаевых, рассказывал, чем живут люди на земле, и прочитал басню Крылова «Стрекоза и Муравей». И ребятишки расшалились: бегали по избе, размахивая руками, как крыльшками, прыгали на лавку, садились на порог, на подоконник, картинно изображали, как порхала с цветка на цветок беззаботная стрекоза, пока не подкосила ее холодная и снежная зима.

Потом уселись за стол пить молоко, и самый меньшой спросил:

— А ты, дядя Арсений, тоже стрекоза?

— С чего это ты взял?

— Хаты у тебя нет. Зима придет, где жить будешь? У нас на полу спать холодно.

— Муравьев много, вот и буду жить с ними! Они меня не бросят, мы все для одного дела трудимся. И к тебе приду: ты ведь тоже муравей — избу подметаешь, для печки дрова носишь. Папа с мамой — на фабрике, я — в городе. И вся-то у нас с тобой разница: ты всегда спишь тут, а я — где придется!

Насмешили его ребятишки, и он улегся на лавку, размышляя о том, что, видно, чем-то он действительно похож на стрекозу из крыловской басни, потому что в Шуге для него под каждым листком «был готов и стол и дом». И сколько этих домов и этих столов успел он сменить в маленьком городе дней за пятьдесят? Пять, семь, десять?

И стал перебирать в памяти эти дома, столь похожие друг на друга бедностью обстановки, где давали ему уют добрые и чуткие товарищи и где старались оберегать его от опасности. Старики и старухи иной раз и вовсе не ложились в короткую летнюю ночь, а люди помоложе, умученные за день каторжной работой, припадали к подушке, чутко

улавливая шумы и шорохи на улице, как заяц на лежке. И как все хотели поделиться с ним последним куском, чтобы он остался доволен их искренним гостеприимством. Поистине рабочее товарищество не знало границ!..

Ребятишки долго возились на широком соломенном тюфяке под столом, досказывая друг другу новости дня. То вдруг затихали, как мыши, учуяв кошку, то приглушенно прыскали со смеху, а меньшей заливался колокольчиком. Вот уж кому не занимать беззаботного смеха и радостей! А ведь не все ладно: и голодно, и обновка бывает редко, и беда родителей, и их серьезные разговоры тяжестью ложатся на хрупкие плечи. И три ночи не спали за последний месяц, когда приходила полиция с обыском.

И, словно в подтверждение этих мыслей Арсения, кто-то грубо застучал кольцом у входной двери и крикнул повелительно:

— Открывай, хозяйка!

Александра босая скинулась с печки, сунула ноги в старые валенцы, набросила платок на плечи, еще не соображая толком, как укрыть Арсения от полиции. Выручили ребята.

— Полезай к нам, дядя Арсений! — поманил под стол старшой мальчишка.

Арсений схватил в охапку постель и пиджак с фуражкой, закинул на печь и мигом юркнул к ребятишкам под теплое одеяло из ситцевых лоскутков. Двое высунули из любопытства белобрысые головы, меньшей прижался к Арсению и зашептал в ухо.

Зажатый горячими телами ребят, Арсений услышал тяжелые шаги унтера и его басовитый голос:

— Распорядись-ка, Холодов! Да поживее: нам еще в три избы надо!

Унтер тяжело опустился на лавку, громко стукнув ножами шашки в половицу. Глянул под стол:

— А эти чего не спят?

— Заснешь с вами! — недовольно пробурчал старшой. — Каждую неделю такие гости, и все по ночам!

— Прикуси язык! Вишь, какой вострый!

Холодов бегло пошарил по избе и прислонился к притолоке у входа:

— Как и в прошлый раз, Василий Степанович! Та же картина. И эти сопляки под столом!

— Смотри, Личаева! — шумно поднялся унтер. — Укроешь кого — пеняй на себя. И на твою троицу не поглядим: загремишь по очень важной статье!..

Нравилось Арсению бывать в этой семье. Но он боялся поставить под удар Александру и трех ее сорванцов и переместился в шуйское Заречье, на Малую Ивановскую улицу, в семью ткача небурчиловской фабрики Михаила Закорюкина. Жена его Катерина в те дни не работала у хозяина: сын с невесткой поселили у нее на время свою дочку Ньюшу — веселую и смышленную девочку по четвертому году, и за ней надо было приглядывать.

Пожилая ткачиха оказалась очень хорошим товарищем: она охотно исполняла поручения по связям с комитетчиками и разрешила Арсению проводить сходки в своем дровяном сарае. И определилось секретному квартиранту теплое местечко возле русской печки, на старинном фамильном сундуке, у которого был замок с приятным музыкальным звоном. И когда он щелкал на всю избу, Ньюша скакала на одной ноге и хлопала в ладоши:

— Грамопон, грамопон!

Вскоре Катерина приютила у себя и Павла Гусева. Он жил у брата Николая, но оба они попали под подозрение, и Павел счел за благо отселиться ненадолго на квартиру. Парень он был остроумный, колготной, в душе поэт и очень общительный. Да и Катерина знала его с пеленок: даже на крестинах была у него в деревне Баламутове девятнадцать годов назад. Быстро он договорился с тетей Катюшей, и она взяла обоих своих жильцов на полный пансион. Теперь Арсению не надо было думать о куске хлеба, о миске щей и о вечернем застолье у самовара. И можно было не показываться лишним раз в городе: товарищи приходили сюда сами или по вызову Катерины с Павлом. И тихая изба Закорюкиных на целых четыре месяца стала штабом шуйских большевиков.

Дело было поставлено солидно: запрещенная литература хранилась в сарае, в ящике с двойным дном, под столярными инструментами хозяина; комитетчики, дружинники и агитаторы не собирались большими группами, а приходили поздним вечером по одному; окна были занавешены, а лампу так пристроили в углу, что от нее не падали тени на занавески. Словом, изба самая мирная. Тикали ходики, и кукушка высывалась из маленького оконца, отсчитывая часы. Вкусно пахло печеным хлебом, щами, жареной картошкой. И кустилась в горшках на всех подоконниках пунцовая герань...

После того митинга «у буржуев», где пристав Декаполитов сунулся схватить Арсения, Павел посуровел и повзрослел.

— Я теперь твой телохранитель! — сказал он Арсению и никак не давал ему выходить из дому днем. Был он и за связного и за порученца. И возвращался под вечер с ворохом городских новостей: как идет подготовка к стачке на фабриках, как прошли «летучки» у ворот после смены, кого поймали в полицейские сети, как проходили стрельбы в дружине. И Арсений недели на три пропал для Лаврова. Но исправник догадывался, что этот смутьян в городе, потому что без передыха разлетались по Шуе листовки, на телеграфных столбах расклеивались воззвания, и все острее выступали доморощенные агитаторы.

— Его рука, его! — метался по кабинету Лавров. — А вы только спать, да водку жрать, да взятки брать! — распекал он по утрам свое воинство.

Давно кончилось лето. В покров стянуло землю легким морозцем, на комлистых гривках глубокой колеи, на лысых макушках булыжника, на приступках и на плетне ранним утром ложилась белая крупа. Виднее стало окрест в чистом, остуженном воздухе.

Арсений любил эту пору года. После летних вакаций школа, гимназия, институт. И каждый раз жажда новых знаний и новые ожидания. И друзья-острословы рядом, за партой. И с каждым днем растут крылья, и шаг за шагом в неведомое ярко ощущаешь, как в тебе крепнет духом и наливается живительным соком познаний какой-то новый человек!

Выпадал иногда свободный час днем, и Арсений раскрывал учебники. Мысль работала ясно, и память цепко ухватывала прочитанные страницы. И на какой-то миг уносился он в Питер, в Лесное — к мужам науки: Менделееву, Шателену, Карееву, Попову.

А тут еще пришла Корягину от Ромадина тревожная телеграмма, отправленная 10 октября 1905 года: «Срочно приезжай, ты сегодня исключен из института за неявку на занятия в осеннем полугодии».

Это было обидно. Ведь никому же не мог он рассказать в институте, чем до краев наполнялась его жизнь все эти месяцы со дня Кровавого воскресенья!

Обидно и горько! Но все поправимо, если нагряться в институт и попросить дирекцию не выдворять его за халатность или безделье.

В ту ночь долго они проговорили с Павлом: как быть?

— Да чего там! Начнем стачку без тебя, вернешься в самый разгар. За неделю-то справишься?

— Непременно!

— Двигай к Отцу, все ему объяснишь: он поймет!..

Но из этого плана ничего не вышло. События в стране развернулись так, что дальше Иваново-Вознесенска Арсений уехать не мог: на решающий бой с царизмом вышла пролетарская сила Москвы и увлекла за собой рабочих всей России.

Еще во второй половине сентября объявили стачку рабочие самой крупной в Москве типографии — Ивана Сытина. Больше тысячи печатников бросили работу, и на другой день их поддержали все печатники огромного города. Марат с товарищами из МК написал обжигающую листовку: «От спячки — к стачке, от стачки — к вооруженному восстанию, от восстания — к победе — таков наш путь, путь рабочего класса».

Через неделю восемь тысяч печатников придали своей стачке политический характер. За ними пошли слесари Миусского трамвайного парка, рабочие завода Листа в Бутырском районе, булочники Филиппова и Бартельса, табачники с фабрик «Габай». Чуть позже — металлисты завода Доброва и Набгольца, Гоппера, мебельщики и столяры. Боевой тон стали

задавать рабочие мебельной фабрики Николая Шмита — он сам, единственный среди хозяев, открыто примыкал к большевикам. К концу сентября забастовали рабочие Жако и Ко, табачники с «Дуката» и рабочие Брестских железнодорожных мастерских.

Пригодился опыт рабочих Иваново-Вознесенска: московские столяры, табачники, металлисты и железнодорожники создали Советы рабочих депутатов и их уполномочили руководить стачками в границах своих профессиональных интересов.

Поднялось московское студенчество. Бурные митинги шли в университете, в Высшем техническом училище, в Межевом, Инженерном и Сельскохозяйственном институтах.

3 октября забастовали печатники Санкт-Петербурга, в ночь на 7-е — машинисты Казанской железной дороги, а через сутки — все железнодорожники Московского узла.

В день, когда исключили Фрунзе из института, МК созвал общегородскую конференцию большевиков. Она объявила: всеобщая политическая стачка московских рабочих под лозунгом свержения самодержавия начинается в полдень 11 октября!

Замерла с этого дня привычная жизнь в древней столице: остановились трамваи и конки, прекратилась подача газа и электричества. 15-го и 16-го не было даже торговли во всем городе. А стачка уже перекинулась в Коломну, Мытищи, Ликино, Егорьевск, Орехово-Зуево. К ней подключились все города и поселки вокруг Иваново-Вознесенска.

И уже ни о каком Питере не мечталось: бастовали почти все железные дороги России. И Ленин писал: «Революция идет вперед с поразительной быстротой... Перед нами захватывающие сцены одной из величайших гражданских войн, войн за свободу, которые когда-либо переживало человечество, и надо торопиться жить, чтобы отдать все свои силы этой войне».

На рассвете 14 октября закончил свое первое заседание Петербургский Совет рабочих депутатов. А к полудню столичный генерал-губернатор Трепов приказал карателям: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть!»

Через день произошел уже бой охотничьих черносотенцев со студентами Московского университета. Молодежь успела отгородиться от громил баррикадами и продержалась в осаде целые сутки.

В стране бастовало больше двух миллионов человек. А среди них даже и... присяжные поверенные канцелярии Московского окружного суда. И создалась политическая обстановка, которую Ленин назвал равновесием борющихся сил.

Арсений оказался в Иваново-Вознесенске, когда стачка подошла к городу: перед ней оставалось лишь распахнуть ворота.

— Надо торопиться жить, чтобы отдать все свои силы этой войне с царизмом! — Слова Ленина молниеносно определили деятельность Арсения в те решающие дни.

Обстановка в городе его удручила. Ивановцы сильнее, чем радость победы в дни летней стачки, переживали горечь поражения и продолжали колебаться, когда бушевала почти вся пролетарская Россия.

Отец, Дунаев, Самойлов, Бубнов и другие были взвинчены до предела, но им не доставало хорошего товарищеского плеча, свежей струи, страстного слова и блистательной энергии, не знающей границ. Арсений привнес все это, едва появился в городе.

Уже через час передал он Отцу и Дунаеву прокламацию с призывом немедленно поддержать революционный порыв московских товарищей:

«Наша священная обязанность состоит в том, чтобы присоединиться к ним. Вспомните ваши обещания, данные на Талке! Вспомните ваши клятвы! Вы клялись и обещали, что, как только начнется восстание, вы подниметесь все, как один человек, и вступите в ряды борцов. Теперь это время настало! Наступил час возмездия за все наши муки и страдания! Поддержим же наших героев, товарищи! Поддержим этим самым и наше общее дело, дело освобождения всего рабочего класса от гнета самодержавия!»

Пока печатали текст, он попросил Химику принести карту города и стал расчерчивать на ней стрелами путь отхода и наступления, а кружками — места сосредоточения сил.

— Что у тебя на уме? — спросил Химик.

— Боюсь, что дело дойдет до настоящих баррикадных боев на улице. Весь план города в голове не удержишь. Вот и отмечаю: где изгиб Талки, где линия Уводи, где мосты, где хороший наблюдательный пункт и где быть нашему штабу!..

17 октября 1905 года встали фабрики Иваново-Вознесенска по призыву большевиков. И тысячи людей — как и в памятный майский день — до краев запрудили площадь у городской управы.

Только что был получен по телеграфу текст царского «манифеста», в котором содержались обещания гражданских свобод и созыв законодательной думы. Писал этот «манифест» хитрый дипломат и политик Сергей Юльевич Витте. Он недавно получил графское звание. Царь только что создал пост председателя Совета министров и отдал его Витте.

От этих монарших «милостей» и от выдвижения в премьер-министры человека не из придворного круга, а из камарильи высших чиновников, на версту отдавало тяжелым духом провокации. Да и сам царь никак не мог называться «другом народа»: он, как хороший рыбак, кинул приманку, чтобы поймать простачков на крючок, а сам удрал в Петергоф, в свой помещицкий домик у границы Нижнего сада, и держал под парами яхту, чтобы при крайней опасности бежать морем за рубеж.

Да и с большим ликованием встретили «манифест» политические деятели капитала и либеральная буржуазия с кадетами во главе, потому что у них появилась какая-то возможность урвать большой кусок от царского пирога.

Но даже Отцу — Федору Афанасьеву — почудился в «манифесте» благовест в честь свободы. Правда, это было лишь в тот миг, когда огласили царскую грамоту и какая-то часть толпы, умиленная велеречивым стилем документа, поскидала шапки.

— Нет, не то! — решительно сказал Отец. — Ловит царь воробьев на мякине. Говори, Трифоныч! — показал он рукой на трибуну из ящиков.

В суматохе напряженных дней чуть забылось это имя среди ивановцев. Да и поговаривали про него всякое: то ли в тюрьме сидит, то ли в бегах. А какой-то доброхот пустил слух, что в Москве Трифоныч и живет своим домом с красавицей женой.

С радостным удивлением услышали ткачи звонкий говорок своего любимого оратора:

— Царь нам кинул подачку: авось передерутся темные люди, деля между собой дарованные им «свободы», — начал Арсений. — А мы уже прозрели, мы уже вышли на линию огня, и только дни отделяют нас от вооруженного восстания. Колебаться некогда: подходит наш последний и решительный бой. Он и определит нашу судьбу. Победим — будем жить свободно и счастливо, без царя и хозяев. Проиграем битву — не уйдем от каторжной жизни. К бою, товарищи! Долой самодержавие!

— До-лой! — загремела площадь. — Да здравствует революция!..

Новый митинг и демонстрацию назначили через пять дней, чтобы лучше подготовиться и вывести на улицы всю массу рабочих. Трифоныч был вездесущ: в центре и на окраинах, в «спальнях» и на любой «летучке», куда сбегались люди.

В канун демонстрации, 21 октября, выступал он у приказчиков, перед их клубом: людей собралось столько, что зал не мог их вместить. Выступал, разъяренный нелепой смертью Николая Баумана. И говорил резко, словно вбивал гвозди в голову слушателей:

— Довольно говорить о «манифесте». Об этой подлой уловке перепуганного царского двора! Нашли дураков — совать им пряник, а за спиной у них давать в руки топор «черной сотне»! Чертовой сотне, товарищи, жаждущей крови!.. Вчера пролетарская Москва проводила в последний путь своего вождя — Николая Баумана. Всего десять дней он пробыл на воле, но успел вывести рабочих на манифестацию. Ехал он в открытой пролетке впереди всех с красным знаменем революции в руках. И подлеиший тип, некто Михалин, копеечный филер, фабричный сторож, последний гад из «черной сотни», кинулся наперерез Бауману из подворотни и куском газовой трубы проломил ему голову... Вечная память выдающемуся большевику!.. Шапки долой!.. Смерть палачам! Завтра все на демонстрацию!..

И когда потрясенные люди обнажили головы, он прочитал им слова песни, которую любил Бауман:

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружием в руках
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах
Не нужно ни песен, ни слез мертвецам,
Иной им воздайте почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед

Домой шли вместе с Отцом. Он был нездоров: пунцово горели щеки, сильно слезились глаза; тяжело, с нажимом опускал он палку на морозную землю.

— Что-то день нам принесет? И все ли продумали по-людски? И кровь вижу, и кто, не дай бог, сложит кости на улице, как незабвенный Николай Эрнестович? И «черная сотня» встретит нас под крепким градусом, а хмельной хуже дурака!..

— Не тронут нас, Отец! — уверенно сказал Арсений.

— А я и с другого боку подхожу! — встрепенулся Афанасьев. — Волков бояться — в лес не ходить! На то и живем, чтоб революцию делать. И помереть в бою — дело достойное. Всего жальче молодых, они наша надежда. А голову суют в петлю прежде других... Так что, Трифоньч, где я не успею, ты догляди. И Уткину накажи: пускай без нашей команды в драку не лезут!..

Арсений не поверил вещим словам старика. И не допускал мысли, что завтра на глазах у демонстрантов, у дружинников и у него самого бездыханным распластается на ивановской земле большевик и герой Федор Афанасьевич Афанасьев...

Морозная погода сломалась: всю ночь напролет лил спорый дождь, а с утра он превратился в морозящую пыль.

И хоть хлюпало под ногами, и мутные облака неслись из-за Талки, просеивая дождь сквозь сито, и порывами налетал знобкий сиверко, демонстранты не думали о погоде. Вдоль Большой Ивановской, из соседних улиц и переулков народ двигался смело и уверенно: с песнями, под красными знаменами. Бакулинские перекликались с гарелинскими, маракушевские с гандуринскими. Запоздавшие малыми группами подстраивались к колоннам, точь-в-точь как в то зловещее утро 9 января. И во всю ширь главной улицы двигались к площади.

Семен Балашов был за главного. Он раскинул большое черное полотнище над головами комитетчиков, дал его держать двум дружинникам. И люди прочитали в тишине пять слов: «Слава павшим борцам за свободу!»

— Товарищи! — крикнул Семен. — Прежде чем открыть митинг, почтим память товарищей, расстрелянных в июньские дни казаками на Талке.

Сорвал с головы картуз, резко взмахнул рукой. Люди обнажили головы. И над площадью поплыл «Похоронный марш».

Пока люди пели гневные слова, вспоминая близких и дорогих, у торговых рядов и в переулках Крестовоздвиженских стали подтягиваться торговцы, мясники, огородники. И зацокали по бульжнику казацкие кони, еще не выдвинутые на выход к площади.

Балашов заговорил, печатая каждое слово:

— Люди собрались получить по счету, и довольно с ними играть в кошки-мышки. В священном писании Иисус сказал фарисеям: «Отдайте кесарево — кесарю, а божье — богу». Значит, каждому по заслугам. А мы хотим знать, где же народное, чтоб народ мог взять? Он всему творец. И говорим царю: «Слезай, Микола, с трона, сами будем править! И для себя

работать!..» Попробовали летом, не все вышло как надо. А уж теперь не промахнемся... Долой самодержавие! Вон казаков из города!..

Семен сказал страстно. И если бы крикнул: «Громи полицию!» — горячие головы мигом бы разнесли полицейское управление. Но оружия было мало, и не все на площади согласились бы идти на такой погром. Да и комитет считал, что еще не настал нужный момент для вооруженного восстания.

Однако дружинники подумывали об этом. И их настроение уловил помощник исправника Добротворский. Он вылез на трибуну и заговорил:

— Мы, господа, удивлены неблагодарностью рабочих. По милости царя русскому народу дарованы гражданские свободы, и вы без всяких помех произносите речи. Но мы ждали, что граждане Иваново-Вознесенска выразят благодарность и верноподданнические чувства своему монарху. Однако на ваших флагах мы видим надписи «Долой самодержавие!»... От имени властей предупреждаю и даю срок: если к трем часам не разойдетесь, будут приняты решительные меры!..

Люди выходили к трибуне и говорили разное: кто призывал одуматься и не спешить — дров наломать не хитро, да тяжела будет расплата. Может, требовать пока желанных восемь часов? Хозяева сейчас в испуге, можно у них вырвать! Или добиваться яслей, а то женщины извелись, что их дети без присмотра. Кто говорил, что всякие полумеры подобны поражению. Михаил Лакин напомнил о гибели Николая Баумана. Отец решил, что пора действовать. Он дал команду Уткину расставить дружинников по всем краям колонны, когда народ двинется к тюрьме.

— Говорим о свободе, а товарищи томятся в камерах! Скажи, Трифоныч, об этом.

— Вот так, товарищи! — начал свою краткую речь Арсений. — Полицейский чин дал нам урок: либо благодарите за подачку, либо получайте по шее! И он не врет: у Торговых рядов уже сбивается «черная сотня», за ней двинутся казаки. Нам готовят ловушку. Но мы заявляем карателям от имени революционного народа: за всякое насилие, за каждую каплю пролитой крови падет ответственность на их головы!.. К тюрьме, товарищи, освободим борцов за свободу!..

И тронулась людская лава — мимо Воздвиженской церкви, по Приказному мосту, к городской тюрьме.

Взвод солдат, не получивший приказа стрелять, переминался с ноги на ногу, а перепуганные тюремщики выдали демонстрантам одного большевика — других политических не было.

— На Ямы! В Ямскую тюрьму! — распорядился Отец.

И, развернувшись у Колбасного угла, лавина двинулась по широкой Соковской улице.

Много было свидетельств о трагическом конце этого дня 22 октября 1905 года. Но ярче всех описал его Дмитрий Фурманов, тогда еще мальчишка четырнадцати лет, толкавшийся в народе с утра до ночи и жадно ловивший всякую весть.

На Ямах, куда вышла колонна, — ни асфальта, ни мостовых. «Ямы, как скотное стойло, затонули в смраде, в грязи, в нищете». А ночной ливень превратил в непролазное месиво ямские колеи, нет ходу ни пешему, ни конному.

«Катилась по Соковской митинговая рать. У церкви Александра Невского, на перепутье выскочили казаки:

— Разз-зойдись!

Но жалки и бессильны над головами повисшие нагайки. Взрыкнула толпа, заворочали булыжники, станковские боевики сверкнули оружием.

Подались казаки с пути — лава катилась вниз, на мост. И когда окунулись в аршинное месиво — кучка за кучкой отлипала в пути, жалась к палисадникам, оставалась на мостовой; обернулись грудками митинговые массы, заредели горестные ряды, к тюрьме Ямской подступали не тысячи — сотни.

Сотни вели большевики.

У Ямской тюрьмы — казацкие заслоны. Сотням не взять заслоны с бою. Говорить с казаками пошел Отец.

Что было казаку рабочее слово? Бились в глухую тюремную стену отцовские слова. Из тюрьмы казаки никого не отдали. Уходили рабочие вспять — путь держали на Талку, на речку, где летом бурно собирались бастовавшие фабрики.

Когда миновали Ямы, на Шереметьевской путь пересекла черносотенная гуща. Эту гущу, как ушли рабочие, поили водкой на Управской площади, кадили кадилами попы, купцы натаскали к ней икон и царских портретов, раздобыла черная сотня трехцветные знамена, шла теперь хмельная и буйная, пела: «Боже, царя храни».

Поодаль, мерно колыхаясь, желтели широкими лампасами астраханские казаки, охраняли черную сотню. И лишь завидели с Ям полыхавшие красные знамена, остервенелые мясники, торговцы, огородники, пьяное отребье кинулись с визгом и уханьем, скакнули вперед казаки, в сочном месиве ямских переулков избивали рабочих.

Уцелевшие перебежали Шереметьевское шоссе, с оставшимися знаменами побежали на Талку. Ковылял измученный Отец, ворчал сердито:

— А знамя где?

— Взяли, Отец, — ответил скорбно чей-то голос.

— Взяли? Без бою взяли?

И он сурово глядел через очки сухими печальными глазами.

Уж сумерками наливался октябрьский день, когда прибежали на Талку. Вечерние туманы спадали на тихое пустое поле. Ямские сотни обернулись десятками. В горе стояли у мостика, тихо, словно в покойницкой, говорили о шереметьевской бойне, считали редкие ряды, свертывали знамена. На пустынном лбище приречного луга застыли крошечной кучкой. Струилась Талка жалобными тихими струями. Стоял немой и черной стеной молчаливый бор. Мерно вздрагивали в шелестах густые мохнатые лапы сосен.

В это время издали прояснилось смутное пятно черной сотни — она валила на Талку. Позади, как там на Шереметьевской, вздрагивала казацкая конница.

Решили отойти за мостик — встали около будки, у бора. И когда ревущая пьяная ватага сомкнулась на берегу — заорала к будке:

— Высылай делегатов... Давай переговоры!

Стояли молча большевики. Никто не тронулся с места. И вдруг выступил Отец, за ним Павел Павлыч. Их никто не вздумал удержать — двое через луг ковыляли они на речку. Вот спустились к мостику, перешли, встали на крутом берегу — их в тот же миг окружила гудящая стая. И только видели от будки большевики, как заметались в воздухе кулачища, как сбили обоих на землю и со зверьим ревом заплясали над телами. Выхватил Станко браунинг, Фрунзе кричал чужим голосом:

— Бежим стрелять. Пока не поздно. Товарищи!

Николай Дианов крепко Фрунзе схватил за рукав:

— Куда побежишь, безумный — или не видишь казаков?

Дрожали в бессильном гневе, но все остались у будки. Вот Павел Павлыч вдруг вскочил, прыгнул к речке и через мостик мчится сюда... Его подхватили, стащили в лес...

И видно, как поднял окровавленную голову Отец, но вмиг его сбили наземь и снова бешено замолотили глухими, тупыми ударами...

Когда окончена была расправа — повернулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С черной сотней весело ускакали желтые казаки.

В пустом и тихом поле лежал одиноко кровавый труп Отца.

Тогда подошли товарищи и увидели смятое тело друга. Вкруг по земле студенистой слизью дрожали мозги. Кровью и грязью кровавой было излеплено лицо. В комьях спуталась серебристо-черная шершавая борода; обвисли мокрые тяжелые усы. Переломанные, свернулись в дугу ноги. Сквозь разодранную черную рубаху густела синяя, страшная грудь...»

Арсений не скрывал слез, не стыдился их:

— Никогда мы не простим себе этого! Безоружные, дали завлечь себя в ловушку. Оставили беззащитным лучшего нашего товарища! Кустари! Жалкие кустари!..

— Не трави душу, Трифоныч! — глухо сказал Балашов. — Надо укрыть Отца.

Молча подняли труп, отнесли на руках в лес, спрятали в глухой чаще.

Как удалось, сгородили из кольев носилки, положили на них Павла Павлыча, дотащили до знакомого фельдшера, передали ему товарища в надежные руки.

Поздней ночью двинулись к городу: «черная сотня» с пьяным ревом справляла шабаш.

На другой день были уже известны потери демонстрантов: шестеро умерли от ран, покалечено в десять раз больше. Сложил голову веселый и дерзкий Михаил Лакин: не сдался он карателям без боя.

Пьяная орда «черной сотни» держалась в разгуле.

23 октября монархисты собрали тысячи людей на площади. Попы кропили народ святой водой и заводили молебны в честь победы над супостатами. Те, кто хотел остаться «чистенькими» в эти кровавые дни, щедро раздавали водку всякому отребью и разжигали страсти погромными речами на митинге:

— За государя нашего... Дави врагов, как вшей!.. Жиды бунтуют... Бей жидов, спасай Россию!.. Лови зачинщиков... К ногтю Дунаева, Трифоныча!..

Бешеный ткач сильно примелькался в городе с весны до осени и под номером первым был приговорен «черной сотней» к растерзанию. Комитет приказал ему скрыться в Орехово-Зуеве или Богородске, где он мог затеряться на время в массе ткачей.

Вторым номером «на заклятие» шел Трифоныч, и ему предложили немедленно вернуться в Шую. Но он отказался наотрез.

Удивительную энергию проявил он в эти дни. За одни сутки сделал круг: Иваново — Кохма — Шуя и привел большой отряд дружинников. Вместе с боевиками Станко — Уткина он разделил город на участки и начал осаживать «черную сотню». Она здорово «наследила» на улицах: под ногами хрустели черепки разбитой посуды, стекло от зеркал и окон, в грязь были втоптыаны разорванные одеяла, подушки, белье.

Дружинники, не скрывая ненависти к погромщикам, начали с ними войну: двум-трем проломили голову, кому-то переломали руки и выбили зубы, наставили фонарей на мерзкой роже. Прижали попа, пригрозили, что побреют наголо и спрыснут керосином, чтоб запылал он ярче ладана в кадиле. И «черная сотня» прижала хвост, перестала действовать скопом.

Две яростные листовки отпечатал Трифоныч в подпольной типографии. В первой содержалась политическая оценка момента и были заклеены позором погромщики: «...эти зверства творились именем бога и царя. Священники именем Божиим благословляли разбойников-черносотенцев, а начальство обещало им милость царя. Казаки и полиция сами принимали деятельнейшее участие в кровавой расправе, охраняя толпы громил. Пусть теперь каждый из вас скажет, положив руку на сердце: не правы ли были мы, социал-демократы, когда говорили вам, что царь — это первый грабитель, что он прикрывает своим именем всякое насилие, что он — злейший враг народа?..»

Вторая листовка была обращена к тем отсталым рабочим, которым вскружила голову агитация монархистов. Нашлись такие «товарищи» — не дураки выпить на даровщинку, пойти на митинг громил и замарать руки погромом. Не без их участия был убит рабочий, не пожелавший снять картуз перед портретом царя, избиты ткачи, не целовавшие этот портрет, и был сброшен в пролет лестницы друг Бешеного ткача Константин Куломзин.

Таким бросил в лицо Трифоныч гневные слова: «Товарищи рабочие! Нет, впрочем, не товарищи! После всего происшедшего вы не достойны этого имени. Любовью, а не ненавистью надо окружить большевиков. Их били, а они продолжали кричать: «Долой самодержавие!» И мы, их товарищи, не свернем с пути. Пусть нас бьют, пусть нас пытаются огнем, пусть по тюрьмам сажают, а мы все будем делать свое дело!»...

Едва притихла «черная сотня», решили товарищи похоронить Отца: труп его, прикрытый мхом и валежником, все еще таился от всех в бору.

В ночь на 6 ноября привезли на Талку сосновый гроб, обитый кумачом.

Дмитрий Фурманов рассказывал: «Качались у гроба с концов золотые кисточки, играли в колеблемом зареве факелов. Голову Отца обернули в красное знамя, оправили черный отцовский пиджачок — с него не вытравишь кровавые следы! Пригнули тощие надломленные ноги — втянули в сосновую раму гроба. Шрамами черные полосы расплзлись в чесучовом лице, упали глубоко внутрь пустые широкие глазницы.

В два аршина, неглубоко, взрыли тугую могилу — стояли с заступами на рыхлых бугорках похоронной земли.

Молчала сырая ноябрьская ночь. Пропали звезды в каштановую темень. Плакал сосновый бор похоронным гудом. Плакала тихоструйная Талка, как девочка — робким залихватным звоном. Трещали жестким хрустом оранжевые факелы. Большевики стояли над гробом слов-по в забытьи и глядели в безжизненное лунное лицо Отца.

— Пора, — шепнул кто-то тихо и страшно...

Потом встал над могилой Странник, в зыбком голосе колотились слезы:

— Отец! Прощай, Отец! Прощай, товарищ! Ткачи станут ходить на твою могилу, крепче стесня колонны, пойдут по пути, проторенному тобою. Спи, Отец... Теперь уже прощай навсегда!..»

Трифоныча в ту ночь не было у могилы старшего, верного друга: неделю назад он попал в казацкие сети и досиживал с двумя товарищами срок в Ивановской каталажке...

«Черная сотня» поутихла.

Но не ослабила террора полиция. Просто она теперь не маскировалась «волей народа», а действовала сама, широко используя конные разъезды казаков. Астраханцы нагрели руки в дни погромов и с диким азартом рыскали во хмелю по городским окраинам ночью и днем И вылавливали всех подозрительных, благо, никто из них не оказывал сопротивления. И охота за большевиками превращалась в неопасную прогулку, а иногда и в звериную забаву.

29 октября, близко к полуночи, Трифоныч возвращался со сходки со своим другом Андреем Бубновым и молодым агитатором Петром Волковым.

Полицейский надзиратель в поселке Ямы Лебедев получил об этой сходке донос. В те дни расширился у него круг осведомителей. Вчерашние «товарищи» кинулись лизать царский сапог и, обратясь в мерзкую вошь, услужливо тащили в полицию всякий слух о действиях стачечников. И Лебедев точно знал, что рабочие собирались вечером на сходку в лесу, за фабрикой Битовых, — для обсуждения вопросов «противоправительственного содержания».

Полицейский чин со своими городскими Потаповым, Барышниковым и Косаткиным, прихватив казаков Ленникова, Кожемякина и других, срочно выехал на облаву.

Впереди Фрунзе шла группа из трех рабочих. Она удачно заметила карателей на Дуниловском тракте и рассыпалась по кустам. И сделала это так стремительно, что не успела ни крикнуть, ни свистнуть, чтобы предупредить идущих сзади. Фрунзе, Бубнов и Волков были застигнуты врасплох.

Их задержали и обыскали. У Фрунзе нашли маузер и двадцать пять патронов к нему; у Бубнова — пистолет с пятью пулями; у Волкова — сто десять прокламаций в рукавах пальто.

Лебедев решил, что за главаря в этой группе надо считать Фрунзе, и подал команду казакам:

— Голову оторву, если упустите! Тащите его арканом!

Казак хлестнул Фрунзе нагайкой, набросил ему на шею петлю аркана, притороченного к седлу, и погнал коня рысью: такого издевательства над личностью революционера еще не знала гнуснейшая история русских карателей! Словно возродились в ту ночь страшные приемы расправы времен Батыя и Чингисхана!..

«Я бегу, — вспоминал Фрунзе, — и обеими руками держу петлю веревки, чтобы не задохнуться. Бегу, конечно, не успеваю за лошадью. Казаки кричат на меня, ругают матерно, я спотыкаюсь. Добрались до какой-то изгороди палисадника, и казаки предложили мне

встать на нее. Я думал, мне предлагают сесть на лошадь. Как только я забрался на изгородь, казак стегнул лошадь плеткой. Ноги застряли в решетке, и я не мог их освободить, пока решетка не сломалась. Я потерял сознание и упал...»

При этой чудовищной расправе у Фрунзе была повреждена левая нога. И след увечья остался на всю жизнь: при всяком неосторожном движении соскальзывала коленная чашечка, вызывая страшную боль, и ее приходилось вправлять. А через двадцать лет, в час парада на Красной площади, сбилась чашечка, когда он спрыгнул с коня. Вправить ее он постеснялся и обходил войска, преодолевая нестерпимую боль...

Его притащили в тюрьму полумертвым. Он пришел в сознание на холодном каменном полу камеры. Все тело ныло от побоев, на губах запеклась кровь. Встать с места он не смог — резала боль в колене.

Но издевательства не закончились. И 2 ноября Фрунзе, Бубнов и Волков подали заявление товарищу прокурора Владимирского окружного суда:

«29-го октября с. г. вечером мы, нижеподписавшиеся, были задержаны нарядом полицейских с казаками и приведены на чембурах в Ямскую арестантскую, где и подверглись истязанию со стороны ведших нас казаков и находившихся в арестантской городских (не всех). Нас били перед входной в коридор дверью, в коридоре и в камере, причем били кулаками (всех), нагайками (всех), поленом (Фрунзе и Волкова), таскали за волосы (Бубнова), топтали и били ногами (Волкова и Бубнова).

Доведя все эти факты до вашего сведения, мы заявляем, что никакого сопротивления с нашей стороны не было, что господин надзиратель сидел в то время наверху и не мог не слышать криков истязуемых, но никаких мер для прекращения истязания не предпринял, и требуем расследовать это дело, подвергнуть виновных следуемому по закону наказанию...

Студент Санкт-Петербургского политехнического института Михаил Фрунзе, студент Московского сельскохозяйственного института Андрей Бубнов, мещанин гор. Иваново-Вознесенска Петр Волков».

«С сильным не борись, с богатым не судись!» — эта житейская мудрость обывателя дала знать о себе лишь 9 марта 1906 года, когда губернское полицейское правление сообщило прокурору Владимирского окружного суда, что «избиение арестованных 29-го октября 1905 года на дознании не подтвердилось».

Но Фрунзе не знал этого ответа и вообще не интересовался им: арест и все связанное с ним отступило под натиском более важных дел — он собирался ехать первый раз в жизни на партийный съезд...

Знаменательны некоторые подробности пребывания Фрунзе в Ямской тюрьме.

Он не сказал, что по паспорту зовется Корягиным: по следам этого приказчика швейной фирмы «Зингер» жандармы могли бы развернуть следствие в Шуе, где он был прописан. А это не входило в его планы.

Не назвался он ни Арсением, ни Трифонычем: кому в радость подписывать себе смертный приговор? И появилось уголовное дело на имя студента Фрунзе, случайно оказавшегося в Иваново-Вознесенске. К счастью, ни городовые у Лебедева, ни тюремная стража ни разу не слышали его речей на митингах.

Получалось так: попал в лапы очередной студент с другом студентом и мальчишкой семнадцати лет. Такие мелкие «пташки» почти каждый день залетали в тюремную клетку суток на двое, пока их родители обивали пороги управлений — полицейского или жандармского, и писали слезницы, и давали слово выбить дурь из головы своих сынков. И уже стали просачиваться в газеты разные истории с мордобоем. И либеральные газетчики спрашивали с издевкой: не пора ли прекратить ту синяковую «роспись» на лицах молодой интеллигенции?

Жандармский ротмистр Шлегель и желал бы повернуть дело на легкий путь, чтобы скорей с ним развязаться. Но, по всем его меркам, вылезали на свет божий признаки статей 103 и 129 уголовного уложения. И он уже подумывал, что может получиться громкий

процесс. Но студенты и мальчишка в руки не давались, и он свирепел с каждым новым допросом.

Волков твердил одно:

— Нашел прокламации на дороге, они нынче валяются везде.

— Почему так много?

— Не ведаю. Мне бы и одной хватило, чтоб прочитать. Видно, обронил кто-то. Дай, думаю, подберу. Хотел в полицию сдать, а она сама нагрянула.

Бубнов заявлял, что прокламация не улика:

— Я вам хоть сейчас сорву такую же со столба. Весь город наводнен ими.

— А пистолет?

— Власти не защищают горожан, и ходить без оружия опасно. На каждом шагу бандиты: или черносотенцы, или... пьяные городовые.

— Не забывайте, Бубнов!

— Слушаюсь, господин ротмистр!..

Фрунзе не скрывал возмущения:

— Я возвращался из деревни, где был в гостях. И случайно наткнулся на Волкова с Бубновым: они нашли прокламации и не знали, что с ними делать. Я посоветовал сдать их в полицию. Пистолет взял у знакомого фельдшера, и у вас в деле есть законное свидетельство, выданное ему на право ношения огнестрельного оружия. Я у вас в городе проездом, а вы — надеюсь — лучше меня знаете, как ходить без оружия в Иваново-Вознесенске, где нет никакого порядка.

— Так и убирались бы отсюда!

— Вы же меня держите! Я уехал бы немедленно!

— А вот этот оригинал прокламации «К Иваново-Вознесенским рабочим»? И рукопись «Развитие революционного движения в г. Иваново-Вознесенске»? Они писаны вашей рукой.

— Не отрицаю. Я их переписал. Для студента, изучающего экономику и историю, они представляют интерес. Но подозревать во мне автора — неуместный комплимент.

— Прошу говорить яснее.

— Написать такие вещи мог человек, отлично знающий ивановских рабочих. Я же чистый профан...

«Дело о студенте Фрунзе» дальше не пошло. Губернатор постановил арестовать Фрунзе и Бубнова на 14 суток каждого за ношение оружия. И выслать — в любой город вне столиц.

Фрунзе избрал Казань. И 30 ноября 1905 года при двух городских его доставили по этапу в качестве поднадзорного к казанскому полицмейстеру.

Взяли подписку о неотлучке из Казани, раз в неделю велели являться для отметки.

Кончилась эта история — черт ее дери! — она на месяц вышибла его из седла! Теперь он был свободен и мечтал об одном: как бы скорее вернуться к товарищам.

Фрунзе отыскал явочную квартиру. Казанские большевики дали ему литературу, уговаривали отдохнуть день-другой после изнурительной передряги. Но он через два часа уже был в поезде и приехал в Шую на сутки раньше, чем возвратился в Иваново-Вознесенск сопровождавший его конвой.

И одной из причин поспешного отъезда из Казани была весть о страшной смерти Оли Генкиной...

До костей прохватил его озноб, и он сжал челюсти, чтобы не лязгать губами: в суворинской газете «Новое время» с каким-то жутким смакованием, описывалось убийство Оли на вокзальной площади в Иваново-Вознесенске. Ее растерзали в те дни, когда он сидел в Ямской тюрьме и пикировался со Шлегелем, — 16 ноября.

Не оказалось другой газеты, более правдивой: Суворин монопольно торговал печатными изданиями на железных дорогах и совал читателям литературу, угодную придворным кругам. И от статьи его журналиста отдавало смрадным духом «черной сотни». Тут был и «народ» и «рабочие», возмущенные ее революционной деятельностью; тут и

рыцари-жандармы, которые тщетно пытались спасти ее; тут и еврейский тип ее лица как одна из причин смерти. Словом, самое откровенное оправдание кровавого разгула черносотенцев.

До самой Москвы он думал о погибшем друге. И все вставало перед ним улыбочатое, милое лицо — нос картошкой, с толстой переносицей, ярко очерченные губы, брови вразлет, копна непослушных волос на голове и чуть низкий голос — ясный и задумчивый.

Он потерял ее в то страшное утро — 9 января у Литейного моста. И года не прошло, а будто канула в Лету целая вечность. Где была она, Ольга?

Узнал он об этом в Москве, из газеты «Новая жизнь», которую начал издавать вернувшийся в Россию Ленин.

Оля Генкина отсидела в «Крестах» почти месяц. В мае, когда ивановцы начали свою стачку, перебралась в Нижний Новгород. Там была Марией Петровной. Ее избрали городским организатором большевиков, и она подняла рабочих на демонстрацию 9 июля, когда прошло полгода со дня Кровавого воскресенья. 10 июля товарищи вырвали ее из лап «черной сотни» и укрыли на чердаке Народного дома. В первых числах сентября она оказалась в тюрьме, но 13 октября ее вызволили сормовские рабочие, вышедшие на демонстрацию.

В Москве ей рассказали о погроме в Иваново-Вознесенске:

— Убит Федор Афанасьев, укрыт от погромщиков Евлампий Дунаев, в тюрьме Михаил Фрунзе.

— Пойдите! Это не тот ли питерский студент, который начинал у меня на Выборгской стороне?

— Он самый!

— Отец, Отец! Дайте оружие, я еду туда немедленно!..

Она оставила чемодан с револьверами в камере хранения, отправилась на явочную квартиру. Там узнала, как растерзали Отца, как заарканили Фрунзе. Со своей новой подругой Князевой и с товарищем, который назвался при аресте Семеном Кривым, отправились за чемоданом. Но жандармы уже вскрыли его и с нетерпением поджидали опасную «бунтовщицу». И держали под водочными парами черносотенцев для расправы с нею.

«Черная сотня» подняла страшный крик, едва увидела ее в здании вокзала: «Смерть, смерть жидовке!» Пьяные зверские рожи, сжатые кулаки, дикий рев. И немые официальные лица жандармов, которые вовсе не думали удерживать «народ». Толпа жаждала крови, и кровь пролилась!

Ольга искала спасения в бегстве и бросилась под защиту голубых мундиров. Но те схватили ее и вытолкнули на расправу озверевшей толпе. И перед входом в вокзал ее растерзали, как и Отца.

«Новая жизнь» напечатала некролог в память о своем прекрасном товарище:

«Ольга Генкина отдала делу рабочего класса всю свою молодость, все свои силы и знания; она отдала ему самое ценное и дорогое — свою жизнь. И долго будет помнить русский рабочий прекрасный образ дорогой девушки, убитой за его счастье, его свободу и его великую борьбу. Спи же спокойно, любимый и дорогой товарищ! Твоя смерть совпала с новой зародившейся жизнью — жизнью русского революционного войска, и скорая, неминуемая победа ждет твоих братьев по духу и делу. Уже близится грозное, могучее всероссийское восстание, и оно сумеет отомстить за твою загубленную жизнь. Вся твоя жизнь, энергия, преданность делу и самоотверженность вселяют в нас страстную жажду продолжать работу и вести ее так же неуклонно, как вела ее ты...»

В самом главном правы были товарищи из «Новой жизни»: в Москве вспыхнуло вооруженное восстание.

Информация в Шую доходила урывками. Но Арсений понимал: не все ладно в белокаменной. Московский Совет рабочих депутатов хорошо сделал почин: в среду 7 декабря всеобщая стачка охватила почти все предприятия города. Но восстание началось с промедлением: упустили товарищи важный момент, когда появился разброд в войсках. Им

не воспользовались, а власти молниеносно предприняли демарш: Марат и Васильев-Южин оказались в тюрьме. Дружинников и оружия было недостаточно: 2000 боевиков с примитивным оружием против 15 тысяч пеших и конных солдат и офицеров из регулярных войск.

Правда, Максим Горький видел крепкие бои у Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине. Видел баррикады на Бронных, на Неглинной, Садовой, в районе Грузин. И драгуны здорово бегали от боевых дружин. Но у войск были пушки, и они давали им большой перевес. А восставшие трижды захватывали орудия, но воспользоваться ими не сумели: не нашлось обученных артиллеристов. И руководство восстанием в масштабе всей Москвы наладить не удалось. И начались отдельные бои в Симоновской слободе, в Хамовниках, в Замоскворечье и на Пресне.

11 декабря, когда вступали в дело все главные силы правительства и повстанцев, Арсений сформировал дружину из боевиков Иваново-Вознесенска, Шуи, Кохмы, захватил два вагона с паровозом и въехал в Москву, Николаевский вокзал находился в руках врага, дружинники без успеха штурмовали его третий день. В зоне ожесточенного боя был и соседний с ним Ярославский вокзал. Поезд Арсения туда не приняли, пришлось заворачивать в сторону Перова.

Со станции двинулись к Симоновской слободе. Там люди держались. Но тяжело становилось на Пресне, туда и направились дружинники Арсения. Они миновали занятый врагом центр столицы. По пути подавили и захватили пулемет в районе Кудринской площади и соединились с восставшими возле Зоологического сада: там, на Большом Пресненском мосту, была сооружена самая мощная баррикада — до восьми аршин в высоту.

— Фрунзе! Да еще с пулеметом! — кинулся навстречу Арсению молодой еще человек, но с белой головой и черными усами. — Вот не ожидал! Ты же в тюрьме!

— Вырвался, товарищ Седой. Приехал драться! Кто у вас за главного? И куда ставить отряд?

Зиновий Яковлевич Литвин, которого все товарищи звали Седой, быстро ввел Арсения в курс дел.

Пресня вооружена лучше других районов, и ей придется брать на себя главный бой с войсками генерал-губернатора Дубасова. Но сил в общем-то мало, и пополнение возможно только из тех районов, где бои кончаются. И то, если дружинники смогут добраться оттуда. Хуже всего с оружием: на одну винтовку есть в запасе три-четыре человека; раненого или убитого немедленно замещает очередной дружинник.

На Нижней Трудовой улице сдерживает атаки у Горбатого моста фабрикант-большевик Николай Шмит, со своими дружинниками-мебельщиками. Там герой обороны сотник Николаев. Баррикады стоят у Зоологического сада, на всех улицах, ведущих к Белорусскому вокзалу, вдоль Москвы-реки и у Ваганьковского кладбища.

— Поначалу дело шло хорошо, — рассказывает Седой. — Захватили два полицейских участка из трех. Вся власть в районе у Совета и штаба повстанцев — у моих ребят. Закрыли монополюшки, кормим дружинников на Прохоровской кухне. Хлеб выпекаем сами, лавочникам запретили повышать цены. Есть свой революционный суд: сегодня расстреляли переодетого околоточного надзирателя Сахарова. Сейчас сидит под замком начальник Московского сыскного отделения Войлошников... Вот и все пока! Веди ребят в столовую. Оглядишься и возвращайся с отрядом сюда!..

Штаб Седого располагался на Малой кухне Прохоровской мануфактуры, и охрана его была на высоте: у Арсения потребовали пароль. И всюду на Пресне был революционный порядок: у каждых ворот стоял дежурный от жильцов, на улицах несли патрульную службу дружинники. Народ собирался кучками и оживленно обсуждал события дня. Иногда залетал снаряд, все из ближайших домов устремлялись гасить пожар или дружно перетаскивали в соседние квартиры имущество пострадавшего при обстреле рабочего, наперебой уговаривая его поселиться с семьей у них. Какая-то необычайная общность интересов сделала соседей близкими друзьями, точь-в-точь как в Иванове в дни летней стачки.

Ни мародерства, ни воровства. Через неделю, когда каратели чинили суд на Пресне, даже преданнейший лакей Прохорова — сторож Колобовников — показал на следствии, что «во всю декабрьскую забастовку на фабрике ни из квартир, ни из фабричных помещений пропаж или краж не было. Вообще в это время на фабрике был отличный порядок...».

К вечеру ивановцы приняли первый бой на главной баррикаде возле Зоологического сада. Помогли пресненским дружинникам отбить атаки казаков и пехоты и всю ночь таскали к поврежденной баррикаде дрова, пустые бочки, ворота, телеги, ящики. И воду: было решено залить укрепление, чтобы оно покрылось льдом.

13 декабря Дубасов подавил все очаги восстания в южных районах столицы и бросил силы против Пресни. Но перевеса не получил.

14-го весь день прошел в боях. Ивановцы были обстреляны крепко, особенно на чердаках высоких зданий, откуда они вели меткий прицельный огонь: власти стали бить по крышам из орудий. Часть ивановцев Арсений направил к Ваганьковскому кладбищу, и там они отбили у прислуги пушку. Но повернуть ее против врага не смогли и ограничились тем, что сняли замок. Арсений страшно ругал себя, что не объяснил товарищам, хоть в теории, как надо обращаться с орудием.

15 октября прибыл из Питера главный каратель — полковник Мин со своими семеновцами. Он получил варварский приказ: «Окружить весь Пресненский квартал с Прохоровской мануфактурой и с помощью бомбардировки последней заставить мятежников, предполагавшихся на фабрике и в квартале, искать себе спасения бегством и в это время беспощадно уничтожить их».

Семеновский полк крупными фугасными снарядами поджег десятки деревянных домов, и над Пресней нависло зловещее зарево.

16-го собрался на последнее свое заседание Совет рабочих депутатов и боевой штаб восставшего района. Решили по докладу Седого: держаться еще два дня, потом организованно прекратить стачку и восстание, чтобы сохранить людей и оружие для будущих схваток. Штаб приказал заложить фугасы под баррикады и взорвать их, когда войска пойдут на них штурмом.

В ночь на 17 декабря ивановцы до рассвета дежурили с пресненскими боевиками, чтобы враг не застал их врасплох. И до конца своих дней Арсений вспоминал бивачную обстановку той ночи: яркие костры в переулках, вокруг них нестигаемые люди, для которых восстание уже было проиграно, беззаботный смех молодых, вековая мудрость старших — с юморком, с крепким соленым словом. И эту пресненскую ночь напоминал ему потом любой костер на двух фронтах — против Колчака и против Врангеля. И всплывали в памяти патетические слова Тараса Бульбы: «Нет уз святее товарищества!..»

Днем 17 декабря — с рассветом до прихода ночи — Семеновский полк бил по Пресне из тяжелых орудий. Рабочий район полыхал чудовищным факелом: горели фабрика Николая Павловича Шмита, завод Мамонтова, Бирюковские бани, все деревянные постройки у текстильного короля Прохорова, три рабочие «спальни».

— Прятать оружие в надежном месте, выводить дружинников из района Пресни! — последовал приказ Седого.

Им выдали продовольствие и сказали скупое напутственное слово:

— Голов не вешать! Будет и на нашей улице праздник!

Ивановцы сдали винтовки и поодиночке начали отходить в сторону Ваганькова и Ходынки, по железнодорожным путям Белорусской магистрали. И главным образом по скованной льдом Москве-реке в сторону Филей и Рублева. А потом уже пробирались лесами к Ярославской железной дороге.

Оставшиеся дружинники взорвали главные баррикады, когда к ним ринулись орды семеновцев. И почти все затихло... Только с чердаков, с крыш, из-за поленниц дров и из-под ворот изредка раздавались выстрелы: то вели прицельный огонь по офицерам дружинники, не пожелавшие сдать оружие.

Этих боевиков и вылавливал полковник Мин, расстреливал их без суда и следствия у пресненских стен.

Черная ночь нависла над Красной Пресней: аресты, мордобой, убийства по приказу офицеров.

Но на всех углах висели обрывки последнего воззвания штаба Литвина-Седого: «Мы начали, мы кончаем... Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству...»

На второй день рождества Арсений вернулся в Шую.

Кто-то колобродил на улицах с песнями под тальянку. Кто-то ломился в кабаки. Но многие затаились дома: слезы побежденной Пресни подкатывали к горлу.

У Закорюкиных были пироги по случаю праздника. Но хозяин и хозяйка давились куском, слушая рассказы Арсения.

Ночами он пытался объяснить себе причины поражения в Москве. Конечно, кто-то из московских большевиков наивно ждал команды от ЦК РСДРП или Петербургского Совета рабочих депутатов. Но Питер безмолвствовал, не зная всей обстановки в решающие часы. И сам предполагал, что восстание скорее может начаться на берегах Невы, чем в Москве.

В белокаменной, решившись на восстание, не все постигли даже марксовы азы. А Маркс писал ясно: восстание — это искусство, с ним нельзя играть. Начали — так надо смело идти до конца. Неприятеля нужно брать врасплох, имея решающий перевес на главной позиции, и наступать, а не прикрываться обороной. Москвичи же повторили печальный урок Парижской коммуны: мало думали о наступлении, больше — об обороне. А оборона — конец восстания!

На стенах московских домов и на афишных тумбах пестрели призывы, которые не звали в открытый бой: «При встрече с сильным противником обстреливайте его и скрывайтесь... Не действуйте толпой, не занимайте укрепленных мест, пусть нашими крепостями будут проходные дворы...» Хорошо хоть, что на Пресне не следовали этому примеру и смело выдерживали открытый бой!.. И кучка героев заменяла батальон или роту, когда не топталась на месте и шла на прорыв!..

Но утерянного не вернешь! Что-то надо начинать наново...

Главным был вопрос о росте партийных рядов.

Ядра возникали в цехах, конспирация соблюдалась хорошо. И в начале 1906 года большевики Шуи стали центром окружной Иваново-Вознесенской организации: они объединили ленинцев Кохмы, Лежнева, Тейкова, Середы, Родников и Гаврилова-Посада. Кружки, обучение боевиков, долгие ночные беседы с агитаторами, которым трудно было без совета Арсения выступать на «летучках». Чаше стали шевелиться мужики в селах и деревнях уезда; наезжали туда проводить беседы. А кое-кто призывал жечь поместья и захватывать землю, рубить барский лес на постройки. В Шуйском, Юрьевецком уездах возникли среди крестьян прочные организации большевиков.

— Повзрослел, посуровел Арсений, — говорили товарищи.

И действительно, что-то новое в нем бросалось в глаза при первом взгляде: пролегла строгая морщина на лбу, осунулось, побледнело лицо, заметнее стали следы дробинки на щеке. И серые глаза иной раз сверкали гневом, и появились резкие нотки в голосе, когда он распекал нерадивого исполнителя партийных поручений. Но на поверку он оставался тем же: неутомимым, отзывчивым, добрым.

Сильно допекал его исправник Лавров со своим воинством. Казалось, вот-вот ухватит! Но Шуя была удобной для конспирации: кучи маленьких домиков с узкими проганами и переулками, калитками, палисадниками, сараюшками. И все шло в дело, когда надо было заметать следы. Да почти в каждой семье рабочего Арсений мог найти приют и укрытие: его любили как самого близкого человека.

Бывали случаи: филеры нападали на его след. Но он умел долго кружить, чтоб сбить их с курса. А однажды и припугнул из револьвера такого «доброхота». Дело было в густых сумерках, да в кладбищенских кустах, и пуля не попала в цель. Но филер заячьими прыжками по снегу отмахал шагов двести с перепугу и больше не встречался...

Так прошла зима. С Осиновой горки, которой не раз любовался Арсений, со всех бугров заструились звонкие ручьи в Тезу. Ярко полыхало солнце над рыхлым льдом. Грачи загомонили на голых ветвях ракут и тополей, от зари до зари разносил песню над заснеженным лугом заливчатый жаворонок.

В эту пору получили ивановцы зашифрованное письмо Надежды Крупской о IV съезде РСДРП. И три большевика, избранные на конференции в Иваново-Вознесенске, отправились в дальний путь Арсений, Химик и Бешеный ткач.

До Москвы ехали в разных вагонах и не общались в пути — как чужие. От Москвы двинулись в одном купе и поутру явились в Питере в химическую лабораторию Технологического института, где их радушно встретила Надежда Константиновна Крупская.

Озорной Фрунзе не удержался от шутки.

— Один товарищ у нас давний Химик, — показал он на Бубнова. — И едет на съезд под кличкой Ретортин. Выходит, попал он в самое место! — Михаил окинул взглядом колбы, реторты и перегонные аппараты. — Надежда Константиновна, он у нас самый дальновидный!

Крупская посмеялась. Было ей годов под сорок, но казалась она старше своих лет: стариковские очки, как у покойного Федора Афанасьева, теплая шаль на плечах, тихий глухой голос, первые серебристые нити от висков к затылку, где держались пучком каштановые волосы, небрежно утыканные черными железными шпильками. Она близоруко разглядывала собеседника и, как добрая учительница в преддверии трудных экзаменов, что-то подсказывала, когда он подыскивал слова для ответа.

— Как живет и как работает партийная организация? Кто ее делегат и с какого времени он большевик? Здоров ли и как подготовился к съезду? В чем нуждается? — спрашивала Крупская и быстро записывала ответ. Судя по всему, она осталась довольна.

И доверительно сообщила, что через два дня — в воскресенье 4 апреля — Ленин будет ждать их на даче «Ваза». Добраться туда несложно: по Финляндской дороге до станции Куоккала, затем по бугру двигаться тропой через лес...

У Фрунзе оставалось два свободных дня, и он поехал в свой институт.

Ему разрешили сдать экзамены в зимнюю сессию, если он обратится с заявлением в дни летних вакансий...

Воскресным днем ивановцы сошли с поезда на станции Куоккала. Огляделись, «хвоста» за ними не было. И, словно гуляючи, отправились по указанному адресу: на взлобок, еловым лесом и березовой рощей, по утрамбованной снежной тропе.

Ленин жил на даче «Ваза»: ее снял у шведа его старый друг-врач, большевик Гавриил Давидович Лейтейзен (Линдов).

Домик был двухэтажный, с мезонином, выступавшим в виде башенки, и с просторной летней верандой с узкими разноцветными стеклами. Ленин и Крупская жили внизу. Сюда и явились ивановцы. Но они были не одни: Владимир Ильич пригласил еще трех делегатов с Урала и одного — из Харькова.

Встретил он товарищей в прекрасном расположении духа — оживленно, просто, весело.

Был он лыс. Но рыжеватая бородка и словно бы запущенные усы кустились задорно. И ростом не выделялся. И черный костюм, жилет, галстук, ботинки — все было обычным, не для парада. Правда, говорил он громко, голосом высоким и резким, и как бы заполнял им до отказа небольшую комнату, где расположились гости.

Но трудно было выдержать взгляд его карих, пристальных глаз с хитрой лукавинкой. И обаяние его имени поначалу сковывало. Однако все это скоро отошло на второй план: Ильич быстро ходил по комнате, вперекрест обращаясь то к одному, то к другому. И казался просто

старшим товарищем с железной логикой и на диво подвижным умом: он в два счета помогал любому собеседнику сформулировать его ответ — точно, метко. Вот уж поистине чувство мысли, сила мысли, блеск мысли! И в этом он был не сравним ни с кем!..

Об этом апрельском дне у Ленина оставил воспоминания Н. Н. Накоряков. «Встреча была так сердечна, что мы сразу почувствовали себя давно знакомыми. Разместились в светлой, чисто прибранной и довольно просторной комнате на нескольких простых табуретках и садовой скамейке. Кроме этой скромной мебели, в комнате с обеих сторон стояли аккуратно заправленные железные кровати, похожие на больничные. Обстановку дополнял небольшой столик в простенке, видимо заменяющий письменный.

Владимир Ильич сразу стал душой беседы: он живо интересовался революционным движением на местах, условиями жизни рабочих, нашими биографиями, нашим образованием, даже тем, что мы читали, какие собрания проводили с рабочими перед съездом, какие издавали листовки, как понимаем задачи партии в революции».

Ленин говорил о том, как важно создать на всех крупнейших предприятиях крепкие большевистские организации. И чтоб в них были рабочие от станка, способные руководить самоотверженной борьбой против самодержавия и капитализма.

«В беседе В. И. Лениным особое внимание уделялось 1905 году. Невольно возникли разговоры о событиях на Талке, о Горловском вооруженном восстании (Донбасс)... В. И. Ленин незаметно руководил беседой, приближая ее к основным вопросам идейной борьбы с меньшевиками. Вывод напрашивался сам собой: мы, большевики, не должны позволять меньшевикам принижать роль пролетариата и его партии в развитии революции.

Центром своих направляющих замечаний в этой беседе В. И. Ленин сделал именно защиту большевистской оценки революции 1905 года и перспектив ее дальнейшего развития. Он обращал наше внимание на то, что борьба на съезде должна быть принципиальной.

Его короткие, но яркие высказывания произвели на всех нас неизгладимое впечатление. Мы получили действенную и крепкую зарядку... Едва ли вся литература, прочитанная нами при подготовке к съезду, дала нам столько, сколько эта беседа с Лениным. Мы были буквально очарованы силой революционной убежденности, простотой и доступностью Владимира Ильича.

Мы не замечали времени... Только тогда, когда нас позвали пить чай, мы увидели, что прошло больше трех часов, что наступил вечер.

За чаем было не менее оживленно. Мы сидели в комнате, «меблированной» некрашеным большим кухонным столом, табуретками и садовой скамейкой, но чай, приготовленный тут же на керосинке и поданный с баранками, казался очень вкусным.

За чаем В. И. Ленин, как он сам сказал, «освидетельствовал» каждого из нас, каждому посоветовал, как приодеться, как держать себя в дороге и на улице иностранного города; добродушно посмеялся над некоторыми отечественными деталями нашей одежды: картузиками, часовыми цепочками, вышитыми рубашками-косоворотками, чесучовыми манишками «фантази» под галстук, шнурочками с шариками — сразу же выдающими «русаков». Он посоветовал нам принять обычный вид средних европейских рабочих. А в заключение с теплой улыбкой добавил:

— Берегите себя и теперь и после, вы — «ценнейшее наше партийное имущество»...

С удивлением узнали товарищи, что одеваться надо потеплее, так как придется ехать морем в Стокгольм...

Возвращались в Питер при звездах. И прекрасно разыграли в вагоне молодых «гуляк»: все их разговоры вращались вокруг модных шляп, котелков, крахмальных пикейных манишек и тупоносых штиблет.

Ретортин (Бубнов) заявил, что покупает синюю фетровую шляпу, Стодолин (Накоряков), Артем Артамонов (Сергеев) и Арсений Арсеньев (Фрунзе), заранее потешаясь над своим необычным видом, решили, что импозантнее появиться в шведской столице в черных касторовых котелках.

Еще далеко было до открытия съезда, а уже начались серьезные испытания.

Ивановцы погрузились на товарный пароход в порту Ханко и вместе с другими делегатами отчалили при сумеречной погоде. Дул свежий ветер с Атлантики, на левый борт набегали седые волны, холодок струился за воротник и студил уши, не прикрытые шляпами и котелками.

Минут сорок все было в норме: пароход пробирался между шхер, и уже начались разговоры, как встретит русских революционеров Стокгольм. И вдруг все ощутили сильный удар слева. Пароход застопорил, тревожно загудел и начал давать крен.

Столпотворение на палубе! Крики: — Измена! Нас бросили на камни! Конец! Военный катер заберет всех: мы за пределами финской территории!

Это была тяжелая, драматическая минута! Но никакая военная стража не подошла, капитан и его команда тяжело переживали аварию. Да и дальновидные товарищи успокоили паникеров:

— Мы не верим в вероломство финских друзей! Они хотят нас доставить в Швецию! Красная гвардия финнов обеспечила нам отличную погрузку! Спокойствие, товарищи!

Скоро все удостоверились, что случилось досадное происшествие: оно бывало в этих местах и раньше. И все подчинились капитану: надо срочно разгрузить пароход, чтобы он не перевернулся, снять людей на подошедший спасательный катер. И начался хороший аврал: грузы снимали лебедками; делегатов перевязывали канатами и спускали по веревочной лестнице. Накоряков вспоминал, что ему выпало на долю спускаться вместе с Ю. Лариным, у которого были парализованы руки. Но все обошлось хорошо: пароход остался на камнях, все делегаты были доставлены на берег. Фрунзе с хорошим огоньком работал полдня грузчиком.

«К своему удивлению, — писал Накоряков, — среди встречавших нас вновь увидели Владимира Ильича Ленина.

Зрители этой аварии волновались, пожалуй, даже больше нас, хотя и мы тоже были в тревоге. Что будет дальше?

В этой обстановке бросалось в глаза, что среди собравшихся один Владимир Ильич, несколько замаскированный финской кепкой и морским бушлатом, сохранял полное спокойствие: он деловито расспрашивал нас о происшедшем, о самочувствии, подшучивал над нами — большевиками, которым пришлось «спасать друго-врагов» — меньшевиков, и тут же спокойно вел переговоры с товарищами-финнами, организовавшими нам отъезд.

Он с мягкой иронией упрекнул их за неудачу и настойчиво требовал скорейшей отправки съездовцев или на новом пароходе, или на том же, если он будет быстро снят с камней.

— Надо, чтобы газеты не успели разболтать! — подчеркнуто сказал он друзьям-финнам.

Так оно и вышло: к ночи мы вновь погрузились и благополучно отбыли, сохранив навсегда в памяти внимание Владимира Ильича к нашей судьбе, подбодренные его спокойствием. Ленин уехал последним по направлению к Або, чтобы отправиться в Стокгольм другим путем...»

Шведская столица понравилась Арсению. Своими островами, мостами, обилием воды и зелени, дворцами она была похожа на маленький Петербург, но без его показного великолепия. Не было русских рысаков и множества карет с вензелями, не было на каждом углу франтоватых офицеров — с кирасами и золотой канителью эполет, шпор с малиновым звоном и блестящего лака сапог. И не было кричащего контраста между богатством и бедностью. И даже король, как средний руки буржуа, прогуливался в стандартном черном костюме и в котелке — без свиты и видимой охраны — по старинным улицам острова Стаден, с утра вымытым дворниками пенной мыльной водой.

Делегаты с утра до вечера заседали в Народном доме — опрятном шестиэтажном здании, с квадратными и полукруглыми окнами, с балконами и готическими башенками, с тремя огромными нишами у парадных дверей, с большим залом и множеством кабинетов; после работы сюда приходили шведские металлисты и судостроители — спорить, петь,

танцевать. И на каждой вешалке выставляли десятки и сотни котелков. Арсений не ошибся, выбирая себе головной убор!

И на пароходе и в кулуарах съезда нашел он знакомых людей и перекидывался словом то с Сергеем Гусевым и Емельяном Ярославским, то с Зиновием Литвиным-Седым и с Иваном Скворцовым-Степановым.

Видел он в деле товарищей из близкого окружения Ленина. То были люди большого революционного размаха: теоретики и практики, диспутанты, докладчики и советчики. Но и среди них выделялись Анатолий Луначарский, Леонид Красин, Вацлав Воровский.

Подружился Арсений с луганским слесарем: он значился Володиным. Десять дней провели душа в душу: и на съезде сидели рядом, и по всем вопросам дружно поддерживали Ленина, и по его совету посылали запросы меньшевикам, подавали реплики; и за стенами Народного дома — в опере, в музеях, в пивном баре — не разлучались. Но конспирация была превыше всего. И только в 1920 году узнал Фрунзе, что его стокгольмского друга зовут Климом Ворошиловым.

К Арсеньеву и Володину часто присоединялись другие молодые делегаты-рабочие: Никаноров (М. И. Калинин), Артамонов (Ф. А. Сергеев-Артем). Незлучен с ними был Ретортин (А. С. Бубнов).

Они и по городу ходили тесной кучкой, и Арсений был их толмачом, когда приходилось изъясняться по-немецки. И в кулуарах съезда держались рядом. Это и бросилось в глаза Ленину.

«Однажды Владимир Ильич подошел к нам, — записал в своих воспоминаниях К. Ворошилов, — и сказал:

— Я вас давно приметил — вы так все время своей кучкой, одной компанией и держитесь. Это хорошо. Была у нас «Могучая кучка» композиторов — Римский-Корсаков, Балакирев, Бородин, Мусоргский и другие. Они сказали свое новое слово в искусстве. А рабочий класс — это уже могучая организация. И нам предстоит, дорогие товарищи, не только сказать новое слово в революционной борьбе, но и покончить со старым миром угнетения и насилия, построить новую, замечательную жизнь.

Прохаживаясь вместе с нами, Владимир Ильич стал спрашивать нас о некоторых конкретных вопросах организации забастовочной борьбы, боевых дружин, настроениях рабочих, привлечении молодежи к участию в революционном движении. У меня он два или три раза выяснял подробности горловского восстания.

Мы удивились тому, как хорошо информирован В. И. Ленин о положении дел в той или иной партийной организации, представителями которых мы являлись. Он знал ход стачки иваново-вознесенских текстильщиков, начавшейся 12 мая 1905 года и продолжавшейся 72 дня, знал о зверском убийстве черносотенцами замечательных революционеров-большевиков Ф. А. Афанасьева и О. М. Генкиной в октябре 1905 года, о вооруженном восстании в Харькове, о депутатском собрании рабочих в Луганске и первом в России городском Совете рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Знал он и о том, что М. В. Фрунзе во главе шуйских рабочих участвовал в московском Декабрьском вооруженном восстании, сражался на баррикадах на Пресне. Отозвавшись однажды с похвалой о рабочей солидарности, Владимир Ильич вдруг остановился и, повернувшись к М. В. Фрунзе, спросил его:

— Давно хотел узнать у вас, товарищ Арсений, как это вам удалось в разгар забастовки создать рабочий университет на реке Талке? Что же вы там изучали?..

— Рабочий университет — это очень громко сказано, Владимир Ильич, — сказал Арсений. — Просто время было горячее, но не хватало агитаторов, вот мы и решили подготовить их сами. В нашем Совете рабочих депутатов были представители со всех фабрик и заводов, и мы договорились с ними, что в дни заседаний Совета после обсуждения текущих дел будем проводить учебные занятия. Так на берегу реки Талки, где обычно собирался Совет, мы стали изучать с рабочими марксизм, задачи рабочего движения и другие дисциплины. В этой своеобразной партийной школе мы подготовили около двухсот

агитаторов, и это очень помогло нам в оживлении работы в массах. Какой же это университет? — добавил он, улыбаясь.

Но Владимир Ильич отнесся к этому опыту очень серьезно. Он долго расспрашивал Фрунзе, какие работы Маркса и Энгельса удалось изучить, были ли на занятиях споры, о чем спорили, принимали ли участие в работе школы женщины, молодежь. Затем сказал:

— Без научных знаний, и особенно без знания революционной теории, нельзя уверенно двигаться вперед. Если мы сумеем вооружить основную массу рабочих пониманием задач революции, мы победим наверняка, в кратчайшие исторические сроки и притом с наименьшими потерями.

Прощаясь с нами, он еще раз вернулся к этому вопросу и, как бы подзадоривая нас, Артема, Калинина и меня, весело заявил:

— А ведь совсем неплохой пример показали нам иванововознесенцы. Не так ли, товарищ Арсений? — И как-то особенно тепло и сердечно посмотрел при этом на М. В. Фрунзе. — Подумайте об этом».

Владимир Ильич не раз встречался с Арсением и наедине: ему импонировал этот самый молодой делегат съезда с большим боевым опытом. Шел у них разговор о Пресненском восстании и об Иваново-Вознесенске.

Арсений считал, что у большевиков мало было военных знаний. А баррикадные бои себя не оправдали. Мало того, что громоздкие сооружения на улицах и перекрестках затрудняли маневрирование боевиков, они как бы «привязывали» их именно к этим местам, лишая возможности наносить удары по врагу в любом квартале.

— Но это, так сказать, моральная, психологическая концепция боевых действий. И она вытекала из неограниченной веры в оборону. А надо было наступать!.. А уж если говорить в полный голос, надо дать оценку и линиям фортификации: баррикады легко простреливались винтовочными пулями, а первый же снаряд разносил их в щепки... Я говорю с вами по большому счету: трагедия на Пресне в том, что у нас не было своего «офицерского корпуса», о котором справедливо писал Энгельс в «Анти-Дюринге». Правда, в Иванове и в Шуе наблюдался большой наплыв в боевую дружину. Но недостаток оружия вязал нас по рукам, и приходилось отбирать самых достойных. На Пресне у рабочих отрядов боевого энтузиазма было мало. И стреляли они хуже наших ребят.

Владимиру Ильичу импонировала такая прямота Арсения: ошибки надо признавать даже с болью в сердце. Но его интересовал и другой момент: как ивановцам удалось сохранить кадры в дни разгула «черной сотни», особенно после страшной гибели Отца и Оли Генкиной.

— Это трудно объяснить. Но поразмыслить можно. У нас меньшевики и эсеры были связаны по рукам, и никто не верил их болтовне. Все были заняты делом. Видимо, летняя стачка так сплотила всех, что мы стали одной семьей. Не подумайте, что я хвастаю: у нас большевиками были полные семьи рабочих — жены, и старики, и подростки. Мы считали партийцев не по именам, а по домам! Листовки, к примеру, разносили у нас не гимназисты или курсистки, а молодницы, или старики со старухами, и — дети. А мы днем отсиживались, как медведь в берлоге, и всю партийную работу вели по ночам. Конечно, иногда попадались, но пока все шло с рук. Моя студенческая тужурка четвертый месяц висит в Ивановском полицейском управлении: ее арестовали вместо меня, когда я не пошел ночевать на старую квартиру...

Арсений был доволен вниманием Ленина и добрым отношением товарищей.

Но съезд ему не понравился: меньшевики давили численностью и срывали все важнейшие предложения большевиков. Ленинскую позицию подпирали поляки: Ф. Дзержинский, Я. Ганецкий, А. Барский. И латыш Я. Озол. Но счет был неумолим: пятьдесят ленинцев, шестьдесят два меньшевика. И они задавали тон с правого крыла партии, выдвигая на авансцену то Плеханова, то Мартынова. Ленин со своими блестящими помощниками обнаружил величайшее мастерство диалектика. И даже самые матерые его

противники умолкали и слушали затаив дыхание. Но ни по одному вопросу — о вооруженном восстании, о национализации земли, об отношении к Государственной думе — резолюции большевиков не получили единодушного признания. Съезд явно тянул вправо. Перед Лениным стояла альтернатива: либо разрыв с меньшевиками, либо временное признание решений съезда. Он избрал второе.

Только в одном пункте все согласились с Владимиром Ильичем: в его редакции приняли первый параграф устава партии и одобрили принципы демократического централизма.

Но и это не принесло ленинцам желанной победы. Стали формировать Центральный Комитет РСДРП: семь меньшевиков, три большевика. А в редакцию газеты «Социал-демократ» большевиков не допустили. И Владимир Ильич немедленно дал понять своим товарищам, что съезд не выполнил главных задач и его решения не отвечают коренным интересам революционного пролетариата. «Лудильщики умывальников» — так называл Ленин меньшевистских краснобаев — добились пирровой победы. И вместе с Пирром они могли бы сказать: «Еще одна такая победа — и мы останемся без войска!..»

Разошлись без видимой неприязни и включили в состав РСДРП национальные социал-демократические организации (кроме еврейского «Бунда»). Но большевики не сдали своих идейных позиций. И Владимир Ильич заявил, что большевики будут бороться против тех решений, которые они считают ошибочными. Но до раскола они дело не доведут. «Свобода обсуждения, единство действий» — вот чего должны добиваться большевики.

Но очень скоро выяснилось, что меньшевики не желают считаться с решениями съезда и каждым своим политическим актом толкают партию вправо. И открыто пропагандируют оппортунизм со страниц печати...

Арсений вернулся в Шую, когда подступила ранняя, дружная весна: молочная кипень черемухи в палисадниках, звонкий щебет веселых ласточек под каждым карнизом.

Бывают же такие совпадения! Точно 6 мая, как и год назад, когда была первая встреча с Отцом и с Химиком, сошел он на шуйский перрон. Только теперь это был не студент с фамильной корзиной из Пишпека, одетый по-зимнему, а преуспевающий по виду господин — в кастановом котелке, драповом пальто, с каштановыми усиками на выбритом лице. И с фибровым чемоданом. А на верхней его крышке — торговый знак фирмы «Зингер»: два золотокрылых льва мордой к морде.

Павел Гусев ждал его. Но увидел — и ахнул:

— Ых ты! Европа, мать честная!

— Не дури, Павел: переодеться — одна минута. Спрячь чемодан надежно: там и московские издания и питерские. И объявляй собрание: дел у нас невпроворот!.. Как вы тут?

— Пока держимся! Полиция не злобствует, всех без разбору не берет. Но про тебя спрашивала не раз.

— Вот и не теряй времени, дорог каждый час!..

Настроение было бодрое. И хоть съезд принял половинчатые решения, но в Стокгольме прошел Арсений большую школу, и кругозор его стал шире. А главное, не надо было в корне менять тактику и формы борьбы — шуйские большевики стояли на верной позиции. Новым было — профессиональные союзы и предстоящая возможность послать своего депутата в Государственную думу, поскольку бойкот ее прекращался. Все остальное надо было продолжать в старом ключе — вовлекать передовых рабочих в партию, развертывать кружки, укреплять боевую дружину и теснее держать связь с деревней.

После первых же отчетных докладов в Иваново-Вознесенске и в Шуче к исправнику Лаврову полетели доносы: снова появился Арсений, побывал он за границей на съезде, привез инструкции от Ленина.

Служка усилилась. Ловили его в Шуче, а он выступал в Кохме. Кидались в Кохму, он был в Родниках. Там искали, а он уже уезжал из Кинешмы. Но круг помалу замыкался. У дома Закорюкиных денно и ночью прохаживались городовые, квартиру пришлось сменить.

Рискуя потерять работу и оказаться за тюремной решеткой, шуйские рабочие помогали ему всячески, а в минуты опасности готовы были пролить свою кровь, чтобы защитить вожака. Такой всенародной любви они еще не выказывали никому!

Комитетчики предложили ему уехать в Иваново-Вознесенск.

Но он медлил. В Москве сказали ему, что вскоре придет в Иваново Ольга Афанасьевна Варенцова, по кличке Екатерина Николаевна. И он непременно хотел дождаться ее. План был простой: передать эстафету и на какой-то срок скрыться.

Ольга приехала в разгар лета — под петров день. Они наговорились вволю, и Арсений мог начать сборы: у большевиков «Ситцевого края» появился отличный руководитель — из старшего поколения ленинской гвардии.

Варенцова была в два раза старше Арсения — ей шел сорок пятый год. От долгой подвижнической жизни нелегала была она изнурена и привыкла жить так скромно и одеваться так просто, что ничем не выделялась в массе работниц. Только в больших глазах слишком ярко и смело лучились воля и мысль.

Тут ее знали с давних пор, когда трехлетний Миша Фрунзе носился босиком по пишпекским пустырям за фалангами и скорпионами. Она и родилась здесь — в семье разбогатевших крестьян-ткачей, религиозных до фанатизма, давших обет богу постричь ее в монахини. Она бы и пропала в монастыре, но выручил дед Дементий: вовремя просветил девочку. Ольга не раз вспоминала, что дед был ее воспитателем, «приучившим меня делить общество на угнетенных и угнетателей». С его помощью вырвалась она во Владимирскую гимназию, а потом уехала в Москву на Высшие женские курсы.

И начался тернистый и радостный путь революционера: «Народная воля» и одиночная камера в шуйской тюрьме; забастовка ивановских ткачей в 1895 году, тайная встреча с Лениным в Уфе, «Искра».

Затем стояла у истоков «Северного рабочего союза» в Ярославле и была членом его Центрального комитета. Провокатор Меньшиков помог ей оказаться в Бутырской тюрьме: дал он ей весьма лестную характеристику: «...заядлая социал-демократка искровского толка. Много работала в Иваново-Вознесенске, жила в Уфе... Переселилась в Ярославль, и, вступив в местный социал-демократический комитет, она являлась агентом «Северного союза», участвуя на съездах деятелей ононого, а равно в выработке Программы и Устава его... Лично ведет постоянную пропаганду среди рабочих... Занималась сама гектографированием и разбрасыванием преступных воззваний...»

После Бутырки — воля, работа об руку с Николаем Бауманом, затем в осеннем Питере 1905 года — большевистская «военка»: вместе с Емельяном Ярославским и Розалией Землячкой руководила Варенцова военной организацией большевиков.

— Я под «оптическим прицелом», — сказал Арсений, прощаясь с Ольгой. — Через неделю скроюсь: поживу у брата и полечусь немного. Но перед отъездом хочу хлопнуть дверью: у нас в Шуе первое открытое собрание профсоюза, и я сделаю на нем доклад...

Странная сложилась ситуация летом 1906 года, когда рабочее движение после ноябрьского разгула «черной сотни» оживилось вновь. Можно было открыто созвать рабочих по делам профсоюза; можно было зачитать и обсудить «Устав профессионального союза рабочих текстильного, пряде-ситцепечатного и ткацкого производства в Шуе», написанный Арсением. И подчеркнуть притом, что основной задачей профсоюза признается борьба за улучшение материального и правового положения рабочих. Но нельзя было Арсению показываться на трибуне. Он был обложен со всех сторон. И все же рискнул.

Собрание открылось в большом зале гостиницы «Лондон». Народу — битком. В первом ряду — исправник Лавров, кое-кто из хозяев, местная интеллигенция.

Председатель собрания постучал карандашом по звонку и предоставил слово «прибывшему из Москвы гражданину Санину». Тема его доклада «Профессиональное движение».

Даже бывалые люди ахнули: на трибуну поднялся Арсений, о котором исправник Лавров думал неустанно!

Арсений говорил полтора часа: о том, как важно объединить рабочих в профсоюз и как с его помощью бороться за улучшение условий труда и быта. Крамольных слов не было, и исправник слушал спокойно. Когда же докладчик стал рассказывать о политической обстановке в стране — о роспуске царем Первой Государственной думы, которая по совету большевиков вдруг начала прислушиваться к голосу крестьян, о конфискации земли у лендлордов; о восстании матросов в Свеаборге и Кронштадте, которое вновь выдвигает перед рабочим классом вопрос о вооруженном восстании в масштабах страны, — Лавров с двумя городскими ринулся к трибуне.

Но началась такая свалка, которая и не снилась исправнику. Дружинники сбили его с ног, оградили кольцом Арсения и помогли ему скрыться.

Профсоюз был создан, и вскоре хозяева почувствовали его силу. И для партийной работы появились лучшие условия: в помещениях, занятых им, удавалось проводить собрания большевиков и держать явки.

У Сани Домской есть интересная запись о шуйских делах того времени:

«Вернулся со съезда Арсений. Это было время сплошной напряженной работы. Массовки, митинги, летучки, кружки трех типов, лекции нам, пропагандистам, постановка типографии, боевая организация — все строилось и направлялось Арсением. Кроме чрезвычайной и плодотворной работоспособности, было в нем нечто такое, что заставляло идти за ним. Даже матери и жены, самый косный элемент, любили Арсения. Он был своим, он всех знал. Знал, кого на какую работу направить, что от кого можно ждать. Пример личного мужества, полнейшей материальной беспечности, действительной отрешенности от мещанства — в этом, вероятно, и был секрет его «личного обаяния». Он смотрел на организацию как на большое, сложное хозяйство, где каждый должен быть на месте. Он умел быть зорким и требовательным. Вот работали мы, пропагандисты, молодые ребята. Он учил нас, школил, контролировал на кружках, опрашивал рабочих, «довольны ли нами», «отзывал». Вот сказали об одной пропагандистке: «Ничего... да все, пока говорит, щиплет травку». От Арсения нагоняй: «Значит, смущаешься, киснешь, скучно слушать. Внимание разбивается...»

Павла Гусева и Петра Волкова Арсений поставил «комиссарами» в профсоюзе: проводить четкую линию большевиков. И обстановка в Шуе создалась отличная. Сам он так оценивал ее позднее:

«...все рабочее движение района развивается под ярко и определенно выраженным знаком гегемонии партии большевиков. Внутрипартийный раскол, терзавший многие организации России, у нас никогда не чувствовался. Параллельных организаций — большевистских и меньшевистских — в районе не существовало. Местные партийные организации в полном смысле слова были массовыми пролетарскими, тесно связанными со всей толщей рабочих; этим и объяснялось их исключительное влияние».

Павел Гусев не отпустил Арсения одного и не отходил от него ни на шаг, пока не тронулся поезд из Иваново-Вознесенска в Москву.

— Береги себя! И отдыхай на всю зарубку. Надо будет, я вышлю шифровку. А вообще-то добьюсь решения комитета, чтоб ты не ходил по острию ножа. Хрен с ними, с публичными собраниями! Второй раз вырвали тебя из лап Лаврова! Сиди в хате, давай указания, мы справимся. Ведь для нас главное — что ты есть, что ты рядом, что ты вовремя дашь подсказку!

— Вряд ли выйдет так, Павел. Вон Ленин после съезда выступил в Народном доме Паниной. Говорил об отношении к думе на трехтысячном митинге, хоть и объявили его под фамилией Карпова. И открыто сказал, что дума — кадетская кормушка и нам надо бороться вне ее стен за полную власть народа. Придется выступать, Павел, но я не боюсь, если рядом ты с товарищами!..

Через Москву в Казань лежал путь, уже знакомый по прошлому году: в такую же пору, на исходе лета, ездил Арсений на Крестьянский съезд. Но добираться надо было верст

шестьдесят до селения Петропавловского в Чистопольском уезде, где брат Костя получил место земского врача, когда вернулся с Дальнего Востока по окончании позорной войны с японцами...

Потискались братья друг друга в горячих объятиях. Не виделись почти год: Костя приезжал на один день в Шую в самый канун сборов Михаила на Пресню. Оба торопились, и разговора по душам не вышло, просто убедились, что живы, и договорились встретиться, когда позволят обстоятельства.

Костя обеспокоился, приглядевшись к брату: был он худ, бледен, болезненно блестели глаза; ел он по выбору, а от жаркого и хорошей рюмки водки началась изжога.

— Знаешь, братец, не будем играть в прятки: у тебя катар желудка. Посидишь недели две на строгой диете: рыба и фрукты с ягодами. Молоко и овсянка. И свежий воздух.

Арсений всем был доволен. Впервые на воле, никем не затравленный, и обстановка спокойная, как в лучшем санатории. Да еще в средней полосе России, рядом с красавицей Камой, в которую среди лесов и лугов бежали ручьи и речки — хрустальные, звонкие.

Давно открылась охота на уток и на боровую дичь. У Кости было ружье и пойнтер. И Михаил пропадал то в бору, то на болоте. Среди бронзовых сосен, в первозданном кочкарнике, где вдруг в белом переднике возникали березки в тесном содружестве с пирамидальными кустами можжевельника и наливалась алой краской доспевающая брусника, по росе тянулись следы тетеревиных и глухариних выводков. Замирала пегая Стелла, вытянув хвост, как железный аршин. Охотник подавал команду, и словно падал горох из ведра на большой фанерный лист, когда поднимались на крыло напуганные собакой молодые птицы. И меткий выстрел гремел среди деревьев и бросал петуха или курочку на землю в последнем трепете перьев. К полудню счастливый человек валился на мягкий мох, Стелла падала рядом, великодушно обнюхивая дичь. И перед глазами, в которых сверилась радость, плыли над Михаилом невесомые облака в голубом небе.

Два раза Костя возил его к рыбакам на Каму. Горел костерок, от которого пахло хвоей, золой. Первобытный бивак располагался на песчаной косе. Уха из стерлядки: бог ты мой!

А иногда утренние рассветы и золотисто-алые закаты встречал охотник на берегу болота. Свистела крыльями сытая кряква. Багровый отблеск выстрела тонул в белых клубах порохового дыма. И кидался Михаил по-собачьи в застойную воду, плыл или шел среди кувшинок и стрелолиста, доставал подбитую дичь и с наслаждением лязгал зубами от холода, прыгая и дурачась на берегу, чтобы согреться.

И городки с сельской ребятней против больничного двора на зеленой лужайке. И томик Бальмонта перед сном или новый журнал «Нивы» — других книг у Кости не было. И разговоры:

— Как мама?

— Бьется. И все печалится о тебе.

— А девочки?

— Клава уже невеста: кончает гимназию. Люда — самая боевая среди сестер, учится, как и Лида. Ты доставил бы им счастье своим визитом. Но, видать, не судьба!

— Сейчас не смогу... У тебя я часто вспоминаю детство. Ты мечтал стать доктором, и все у тебя сбылось. Только не вижу желанной таблички на твоей двери: «Доктор К. В. Фрунзе. Бедным бесплатно».

— Да оно так и есть, хоть и без таблички!

— Допустим. А я хотел быть генералом, но пока беглый руководитель шуйской бригады. А офицеры нам нужны, мне и Ленин говорил об этом.

— Каков он? Клянут его все газеты как хотят, а я даже не видел его портрета.

— Интеллигент, человек большой культуры. Понимаешь: он — Маркс наших дней. Эрудит огромный и трибун сильнейший. Но не затворник в кабинете. Всегда в массе, с нею и — для нее. И готов отдать любое предпочтение одному из тысячи, если тот оторвал глаза от земли и способен выразить в революции то, к чему другие придут завтра. Удивительная способность видеть маяки в рабочем движении и по ним равнять других. Общителен, прост,

но не без строгости, и временами резок. Да и зачем гладить нас по головке, когда на карте судьба России. Не в куклы играем, Костяшка!.. Чуть поскользнешься — и кандалы, каторга...

Бездумно, необычно прошла неделя, другая. Окреп Михаил, загорел, зарумянился. И все чаще стал задерживаться дома: читал учебники по курсу института, делал выписки, конспекты. А иногда забирался на возок к мужикам, приехавшим к доктору, и все допытывался: как у них?

— Колготимся, барин, — отвечали те околично.

— Да какой же я вам барин? — удивлялся Фрунзе. — Я студент и гощу у брата. Мы с ним никогда возле бар и не сживали. Брат кормил нас меньших, а ведь было четыре рта. И сейчас он своим горбом зарабатывает копейку.

— Вестимо. Да говорим по привычке, — стеснялись мужики. — Колготимся. А другие и шуруют. Надьсь у соседей подпустили барину «красного петуха». Да что петух! Про землю-то что слышно?

— Если миром держитесь — надо брать. Так что все в ваших руках. А по уезду какие новости?

— С кистенем мужики не ходят. А так-то озоруют, и крепко: усадеб шесть подожгли, где покос захватили, где леску нарубили. В двух волостях и землю прихватывают. Только страх берет: казаки налетают и секут, гады, по пятое число!

— И казаки — люди: надо к ним подход найти. А главное — миром, миром!..

Мужики как в воду глядели — земская управа в Чистополе решила отдать больничный барак в Петропавловском для казачьего постоя. Предлог был благовидный: горят усадьбы, мужики бесчинствуют, как бы не спалили больницу. А на самом деле господа земцы заботились лишь о благополучии окрестных помещичьих имений.

Михаил сказал брату:

— Я не допущу, чтобы казачьи кони гадили на твоём дворе. Сходи за старостой, мне надо поговорить с ним.

Костя привел рыжебородого деда с покорными глазами, хотя висела у него на груди большая медная бляха с двуглавым орлом.

— Отец, — обратился к нему Михаил, — не будем путать брата в политику. За все отвечаю я. Ты хочешь, чтобы казаки стояли в селе и каждый день наводили на вас страх?

— Помилуй бог, Михаил Васильевич! На что они мне?

— Собери сход, только не мешкай. С людьми я поговорю! Как они решат, так и будет!..

Такого еще не слыхали здешние крестьяне! Михаил говорил сущую правду, свидетельствовал, и от этого было еще страшнее: и о Кровавом воскресенье, и о Пресне, и о гибели Федора Афанасьева и Ольги Генкиной. И о Ленине: куда он зовет крестьян.

— Все зависит, товарищи, от вашей организованности. Берите миром что положено: милости ждать неоткуда! И казаков в село не пускайте. У них нагайка, и она может пойти в дело против вас!

По простым понятиям крестьян этот молодой агитатор знал все и так объяснил, что выход был один. И дружно записали в своем решении: казаков на постоя не просить, общество вполне ручается за сохранность больницы, так как считает ее своею. И тут же выделили сторожей для охраны порядка в ночное время.

Наступил сентябрь с седьми росами по утрам. Охота была чудесная, но уже началась тоска по Шуе. В это время и прислал Павел Гусев шифровку доктору Константину Фрунзе: «Срочно отправляйте груз по старому адресу».

Кости не было дома: на три дня он выехал в дальние деревни, да еще задержался там из-за бездорожья: начались проливные дожди. Михаил был в сборе и нервничал, так как не хотел уехать, не повидавшись с братом.

«До города было нужно ехать шестьдесят верст по непролазной грязи, — вспоминал позднее Константин. — Лошадь, доставившая меня из поездки по участку, еле держалась на ногах от усталости. Но ничто не могло задержать Мишу. Накормив усталую лошадь и с

трудом найдя вторую, пристяжную, мы с Мишей ночью двинулись в Чистополь, откуда на первом попавшемся товарно-пассажирском пароходе я проводил его до Казани. Из Казани он уехал один московским поездом.

За время многолетних мытарств брата по тюрьмам царской России встретиться мне с ним пришлось только один раз — в начале 1908 года во владимирской следственной тюрьме. Добиться этого свидания стоило многомесячных усилий. Благодаря имевшейся у меня явке мне удалось увидеться с некоторыми уцелевшими во Владимире, Иваново-Вознесенске и Шуе товарищами брата по партийной работе и оценить тот огромный авторитет, которым пользовался Арсений в рабочих кругах этих городов».

Екатерина Николаевна (Ольга Варенцова) вскоре поставила хорошую подпольную типографию, в которой большевики регулярно печатали листовки и воззвания. В Шуе возвратился Арсений, организация там возросла и окрепла. И к концу октября 1906 года стало ясно, что надо объединять в одно целое действия разрозненных комитетов и групп всего промышленного края.

Варенцова и Фрунзе подготовили съезд девяти организаций, и он в первых числах ноября образовал Иваново-Вознесенский союз РСДРП. Ольга и Михаил вошли в бюро Совета. И теперь в масштабах будущей губернии большевики действовали сплоченно.

Арсений был неуловим для Лаврова, потому что появлялся в Шуе от случая к случаю: бивачная жизнь нелегала носила его по всей округе...

Иван Виноградов из Кинешмы, который вместе с Михаилом Тулиным начал в свое время делать «бомбы»-македонки из обрезков газовой трубы, вспоминал, какое впечатление произвел на него Арсений, приехавший на исходе весны делать доклад о IV съезде РСДРП в Стокгольме.

Ранним утром, едва взошло солнце, Иван прикатил на велосипеде для встречи Арсения в деревню Беловскую, расположенную рядом с текстильной фабрикой «Ветка». Явиться надо было в дом к рабочему Ивану Кузьмичу Смирнову. Хозяин хлопотал во дворе с самоваром. А когда чай вскипел и на столе появился свежий ситник, хозяин юркнул в чуланчик и вышел оттуда с Арсением: он еще накануне приехал ивановским поездом, но сошел на полустанке перед Кинешмой. Он показался Виноградову молодым слесарем: темная косоворотка, на плечи наброшен поношенный пиджачок. Усики, как у всех молодых мастеровых, и простое лицо. Но осмысленное и красивое.

После завтрака Иван сопровождал Арсения в лес — проселками и перелесками, минуя селения и подшиваловский завод. На поляне, среди молодой поросли, их встретил патрульный.

По дороге и на поляне, пока собирались партийцы, Арсений расспросил Ивана: кто он и чем занимается? И настойчиво советовал учиться.

— Видишь ли, — рассуждал Арсений, — революционеру одного энтузиазма мало. Конечно, без него не обойтись. Но его хватит только на то, чтобы самому сражаться геройски и, если надо, умереть за революцию. А вот вести народ на борьбу без крепких знаний невозможно. Большевик сам должен понимать законы развития общества и толково разъяснять их рабочим и крестьянам. К познанию этих законов надо идти с грамматики, математики, географии. И когда твое революционное чувство соединится с умом, станешь ты настоящим политическим борцом. — Он задумался. — Я вот недосыпаю, живу как на вулкане, а готовлюсь к экзаменам в институте...

На собрании Арсений рассказал о съезде. Но напирал он на то, что реакция торжествует после разгрома декабрьского вооруженного восстания, однако это дело временное: народ воспрянет духом и снова ринется в бой. Ленин призывает к восстанию, и его надо готовить, привлекая на свою сторону крестьян. Все силы — на свержение самодержавия, что бы там ни болтали меньшевики!

Горячая речь Арсения звала к действию. Он уехал, но остался его дух, его вдохновенный призыв. Большевики Кинешмы поддержали платформу Ленина и крепко взялись за формирование боевой дружины.

По рукам вязало оружие: не было и половины того, что требовалось. И тут возник дерзкий план: отобрать его у полиции. Да не так, как делал Павел Гусев со своими ребятами в Шуе, нападая на отдельных стражников ночью. А сразу взять весь полицейский арсенал.

Натолкнул на эту мысль один случай. Костромской большевик Александр Беляев недавно был по заданию в Вичуге и попал там на три дня в канцелярию пристава. Сидя под арестом, он не терял времени даром: запомнил расположение комнат, место, где хранилось оружие, режим полицейской службы. Его перевели в костромскую тюрьму, но вскоре выпустили. Он снова появился в Кинешме и предложил сделать налет на вичугскую полицию.

Арсений узнал об этом и порекомендовал такой вариант: экспроприацию предпримут родниковские товарищи, а дружины Кинешмы и Вичуги будут в сторожевом заслоне.

Начальник родниковской дружины Егор Зайцев с двумя боевиками — Василием Скутуниным и Алексеем Зубковым дважды побывали в Вичуге и хорошо обдумали всю операцию. Арсений дал им последнее напутствие:

— Подходите к месту не все сразу, а по два-три человека, чтоб не привлечь к себе внимание раньше срока. А когда наступит решающий момент, действуйте смело и быстро.

Была ночь. Прошел последний поезд через Вичугу, все затихло на станции и в буфете. Вдруг ввалилась в вокзал захмелевшая четверка. Ее не пустили в буфет, она вышла на улицу и завела драку.

Городовой прикрикнул на них, но они вошли в раж и подступили к нему с кулаками. Перепуганный страж засвистел. Из канцелярии пристава выбежала подмога. Начались зуботычины, и «гуляк» повели в участок. А с ними увязались и оказавшиеся рядом «зеваки». Всей оравой ввалились они в канцелярию. И тут зычно скомандовал Зайцев:

— Руки вверх и — ни с места!..

И полчаса не ушло на то, чтобы перевязать полицейских, заткнуть им рты кляпом, разобрать винтовки из пирамид и засыпать в мешки патроны. Затем — в лес. Там и спрятали оружие, а потом переправили его под Родники в деревню Скрылово, в сарай к рабочему Ефиму Кашину...

Дела шли столь удачно, что Арсений мог себе позволить «роскошь»: уехать в Санкт-Петербург на экзамены.

Еще 3 июня 1906 года он подал заявление в Политехнический институт, и через пять дней его зачислили вновь. А теперь пришла из пишпекского воинского присутствия бумага, дающая ему отсрочку «по отбыванию воинской повинности на образование». С этой бумагой он и отправился в столицу.

Не ведал он, что это последний его вылет на волю из шуйских мест, а то прихватил бы еще месяц и — трудом непосильным, почти каторжным — добрался бы до последнего курса.

С ноября по январь сумел он сдать экзамены за первый, второй и третий курс. Абонировал место в читальном зале института с девяти утра до десяти часов вечера, когда служители гасили огни. Завтракал по-темному, на обед тратил тридцать минут. Пятьдесят шесть суток упорной, жадной учебы по двенадцати часов в день! В город не выходил, рождество и Новый год встречал в узком кругу верненцев. Перед сном гулял возле института.

С блеском сдал Фрунзе экзамены Максиму Максимовичу Ковалевскому, Александру Александровичу Байкову и Михаилу Андреевичу Шателену.

У Шателена он задержался. Тот все сокрушался, что Россия не строит крупных электрических станций, а деревня не всюду пользуется даже керосином. И вскользь заметил, что у него мало толковых учеников и он бы с радостью приглубил Фрунзе.

— Благодарю за честь, Михаил Андреевич! Но у меня неотложное дело: готовить тот самый катаклизм на Руси, после которого вы сможете строить все, что захотите!..

Исправник Лавров рассуждал на досуге о превратностях судьбы:

— Дозволили думы. Конечно, сверху видней: дума так дума. Народ шебаршится, но это не по моей части. Допустили опасную «игру» в легальные профсоюзы. Никуда не денешься: надо разрешать собрания рабочих по экономическим вопросам. Пусть себе дерутся с хозяевами, лишь бы не трогали государя. А уж коль Арсений и его дружки призывают свергать самодержавную власть — это моя стихия! — И он зеленел от злости, что истинные возмутители спокойствия все еще на свободе.

«Доброхотам» из подлой категории предателей и платным филерам повысил он вознаграждение за разоблачение большевиков. И в январе 1907 года соединенными усилиями с ближайшими соседями удалось разгромить две типографии — в Шуе и в Иваново-Вознесенске.

Арсений приехал из Питера после разгрома. Круг для него был тесен. Он ушел от Закорюкиных, менял жилье почти с ночи в ночь, пользуясь старым паспортом на имя Бориса Точайского. У Павла Гусева на трех квартирах был заготовлен для него разнообразный гардероб, и он мог часто менять свою внешность — то под мастерового, то под фабричного инженера, то под фланирующего молодого барича.

Он написал серию листовок на тему: «Дума и народ». И каждая из них хорошо разъясняла позицию большевиков по отношению к этому русскому парламенту. Участвовать в выборах надо живо, активно. Выборщиками и депутатами надо избирать людей достойных, честных и столь надежных, чтобы они не обманули чаяний народа и не предали его правительству.

Вскоре от рабочей курии Владимирской губернии был выдвинут депутатом большевик Николай Жиделев. Но широкую агитацию за него печатным словом союз вести не мог после провала типографий. Арсений предложил вернуться к старой форме «летучек» у ворот фабрики после смены, так как собираться зимой в лесу было невозможно: полиция переловила бы всех участников, тропя их по снежным следам, как зайцев. «Летучки» проходили удачно: дружинники не допускали полицейских и вскоре вообще отвадили их ходить на такие собрания, ранив в стычке двух городских.

В положении весьма трудном, чрезвычайном Арсений предложил дерзкий план: захватить лучшую в Шуе типографию Лимонова на Ильинской площади и отпечатать в ней предвыборную листовку.

План был одобрен. Из дружинников Иваново-Вознесенска, Кохмы и Шуи Арсений отобрал семнадцать самых боевых парней во главе с Павлом Гусевым и Станко — Уткиным. И познакомил боевиков с деталями предстоящей операции.

До этого, чтобы не получилось осечки в типографии, он познакомился с наборщиком Орешкиным и разузнал у него, кто работает у Лимонова и можно ли положиться на этих людей. И где у хозяина телефон и как его заблокировать? И сколько времени потребно, чтобы набрать листовку и сделать две тысячи оттисков?

17 января 1907 года операция началась на исходе дня и была блестяще закончена через два часа.

Она произвела потрясающее впечатление во всей округе, и о ней осталось много свидетельств — то противоречивых, то не в меру восторженных, где правда соседствовала рядом с досужим вымыслом.

Кто-то пустил слух, что дружинники были в масках, как в старинных романах «времен Очакова и покоренья Крыма». И что Павел Гусев, покидая типографию, подложил у входной двери пустую банку в бумаге, а полиция решила, что это «адская машина», и начала несусветный переполох в городе. И что наборщик Орешкин загодя опустил шторы на окнах, так как возле типографии всегда толпились зеваки и прилипали носами к широким окнам наборного цеха.

Но все это подпущено для «красоты». Через год около имени Арсения плелись легенды. И та же Саня Домская записала для памяти, что в далеком углу Владимирской

губернии, в Вязниковском уезде, где Фрунзе никогда не был, какой-то пришлый бродячий человек рассказывал фантастическую сказку о «герое Арсении». И из сказочного изукрашенного образа выглядывало настоящее лицо смелого большевика.

Орешкину не надо было опускать шторы: окна давно заклеил Лимонов от назойливых глаз большими листами белой бумаги. А всякие маски шли вразрез с характером Арсения: он действовал дерзко, но открыто. И «бомба» была ни к чему: операция прошла на удивление просто и гладко, если эти слова способны отразить все волнения Арсения и его товарищей при захвате типографии.

Словом, после пяти часов вечера, когда Арсений был в квартире Броуна, пришел Павел Гусев и сказал:

— Все готово, можно начинать!

Арсений вошел с Гусевым в кабинет хозяина и вежливо попросил срочно отпечатать небольшой текст, из озорства написанный им — четко, разборчиво — красными чернилами. Лимонов вежливо отказал в просьбе: типография скоро закрывается, рабочие уходят. Но из профессионального любопытства взял бумагу, пробежал ее глазами — и передернулся.

— Я, я... — он жадно ловил воздух, тревожно глядя на Гусева, который стоял у телефона и, словно играючи, перебрасывал пистолет из руки в руку.

А в это время семь дружинников вошли в типографию, молча встали у двери и у машин, а восемь плотно заняли лестницу — от кабинета Лимонова на втором этаже до парадного входа с площади.

— Я протестую, но уступаю силе, — выдавил, наконец, Лимонов. — Позовите кого-либо из рабочих, пусть они знают, что я делаю это не по своей воле!

Гусев привел наборщика Орешкина.

— Не бойтесь, хозяин, — заговорил тот, — мы подтвердим, что на вас был сделан налет. Давайте текст!

Наборщики действовали, как в час аврала. А тем временем к Лимонову зашли два гимназиста за афишей об ученическом бале, учитель словесности и дьякон, с которым Лимонов собирался пойти к казначею перекинуться в карты. Их попросили сбросить верхнюю одежду и сидеть смиренно.

Подъехала в санях жена Лимонова, оставила лошадь без присмотра, вошла и крикнула мужу:

— Долго я тебя буду дожидаться?

Но увидела Гусева с пистолетом, побледнела и схватилась за сердце.

Между тем перед входом в типографию начался шум. Лошадь Лимоновой тронулась с места, побрела вдоль площади и зацепилась передком саней за телеграфный столб на тротуаре. Городовой Шишков заметил беспорядок, узнал, что лошадь принадлежит Лимонову, и, насвистывая, вошел в типографию, уже предвкушая, как он получит с хозяина двугривенный. Но на лестнице двое крепко взяли его под руки.

— Молчок, господин городской! Оружие ваше будет наше!

Парни забрали у Шишкова револьвер и шашку, доставили его в кабинет Лимонова и прислонили к стенке: у него неприлично тряслась нижняя челюсть...

Через два часа тираж был готов. И Арсений сказал Лимонову:

— Вот вам деньги за работу. Полицию можете вызвать минут через десять, не раньше. И — до свидания, господа!

Когда закончилась «немая сцена» и Лимонов поднял переполох, дружинники уже разносили листовки по явочным квартирам. А утром рабочие читали ее текст на городских тумбах, в цехах и в «спальнях».

«Товарищи рабочие! Приближается время выборов в Государственную думу... Мы призываем вас принять участие в выборах. Подавайте голоса за кандидатов Российской социал-демократической партии. Она борется за полную свободу, за республику, за выборность чиновников народом...»

Исправник Лавров два дня лично допрашивал свидетелей операции у Лимонова. Орешкин, как и другие, твердил одно:

— Семеро стояли в наборном и печатном цехе. И у всех надвинуты до бровей серые заячьи шапки. Такие продаются в магазине Пророкова.

Ловили на улицах людей в заячьих шапках, но ничего, кроме конфуза, из этой затеи не вышло.

Даже дьякон подтвердил, что никаких бесчинств не было.

На подмогу Лаврову прислали сотню казаков. В их окружении исправник дважды сталкивался с Арсением на больших митингах. Но «ненавистный агитатор» всякий раз ускользал.

12 февраля 1907 года было получено известие, что Николай Жиделев избран депутатом II Государственной думы. Накануне его отъезда в Санкт-Петербург на шуйской городской площади тесно было от людей, пришедших на митинг. Выступал депутат, давали ему наказы ткачи, горячую речь произнес Арсений. С седла видел Лавров молодого большевика, но взять не смог: держался Арсений в крепком заслоне дружинников и вдруг растворился в огромной толпе.

Потом началась в Шуе «хлебная кампания». Торговцы и булочники взвинтили цены на хлеб и на муку. Большевики призвали ткачей бросить работу в знак протеста. На Ильинской площади снова был митинг. Забастовщики вызвали на трибуну городского голову и потребовали ответа: почему он допускает такую чехарду с ценами? Голова промямлил что-то невнятное: у торговцев дефицит в деле, и надо как-то его покрывать.

Арсений начал речь с предложения:

— Нужна комиссия, товарищи! Из сведущих людей. И пусть она ведет переговоры с торговцами и с городской думой. Не пойдут дельцы на попятную, будем бастовать до полной победы!

Лавров стоял неподалеку. В середине речи Арсения подошел к нему казачий сотник и сказал:

— Да что вы с ним в бирюльки играете, ваше благородие! Я его одной пулей сниму — и концы в воду!

Слова эти перехватил дружинник и кинулся к Арсению. Тот побледнел, обернулся к исправнику и крикнул!

— Вот эти два негодяя договариваются убить меня... Сейчас, на митинге!.. Стреляйте! — он распахнул пиджак. — Но революционного духа шуйских рабочих вам не убить!

Толпа грозно надвинулась на Лаврова. Он, пятясь и угрожая револьвером, отступил к порогу своей канцелярии, бросив на ходу не в меру усердному уряднику Перлову:

— Взять живьем! И — без шума!

Но Арсения увели дружинники. И на время он скрылся. Перлов искал его недели две, однако без успеха.

Наценки на хлеб и на муку были отменены: забастовщики одержали верх.

— Наш Арсений! Он все может! — с гордостью говорили о нем рабочие.

И на первом же собрании выборщиков, где обсуждались кандидатуры на V съезд РСДРП, от шуйских большевиков был выдвинут Фрунзе. Только поехать ему в Копенгаген и Лондон не пришлось.

Началась странная и мало доступная пониманию многих товарищей линия в его бурной деятельности: в нарушение всяких партийных норм он решил убить урядника Никиту Перлова. Тот поклялся «скрутить по рукам этого молодчика». И вышло так, что слово полицейского оказалось крепче.

В те недели основным пропагандистским центром в Шуе сделалась земская больница: ею руководила мать Сани Домской — Раиса Давыдовна. К Арсению она относилась с большой теплотой. И когда в июне 1906 года на очередных стрельбах с дружинниками он

нечаянно прострелил руку, она положила его в недавно отстроенное терапевтическое отделение и ухаживала за ним больше десяти дней.

В саду больницы сборы начались с лета. Бывали они и в поместительной беседке веселой и добродушной фельдшерицы Веры Любимовой: она души не чаяла в Арсении, помогала ему чем могла и даже угодила в тюрьму при разгроме типографии.

Зимой собирались в одной из больничных палат или у врача Домской на квартире.

21 февраля 1907 года кто-то заметил из окна, что через больничный двор к конторе подъехал в санях урядник Перлов.

Арсений, не говоря ни слова, вскочил, схватил чью-то папаху вместо своей фуражки, поманил Гусева. Ему хотели помешать, но он вырвался и выбежал с Павлом во двор.

В наступившей тишине прогремели выстрелы: Арсений и Павел ударили по Перлову, когда он от больницы поднимался к насыпи у железнодорожного переезда. Одна пуля прошла рукав шинели, другая звякнула о металл в передке саней. Лошадь понесла. Перлов остановил ее за шлагбаумом и оглянулся: погони не было, потому что маузер Арсения отказал. И настигнуть стрелявших урядник не смог: они скрылись в лесочке...

Надо ли было стрелять в Перлова, да еще так плохо, по-школярски? Надо ли было рисковать, чтобы вскоре поплатиться всем, что было так дорого?

Конечно, сейчас легко сказать не следовало! Да и сам Фрунзе никогда не ставил себе в заслугу этот акт террора. Словом, бес попутал, и ничего хорошего из этого не вышло. По свидетельству Сани Домской, все молодые пропагандисты сошли с ума после этого дня: работать стали скверно и, чтобы не отстать от Арсения, обзавелись пистолетом и проводили часы за стрельбами в кирпичном сарае позади больницы. В жизни организации «началась крайне тяжелая и болезненная полоса... Перлов с отрядом стражников рыскал целыми днями в поисках Арсения. Арсений не оставлял мысли убить Перлова...»

Урядника ненавидели все передовые люди Шуи: он был свиреп и все бахвалился, что получит от начальства большой куш за «ненавистного большевика». И Арсений ярче других выражал эту ненависть. А подогревалась она тем, что Перлов разгромил его любимое детище — шуйскую типографию большевиков.

Когда Арсений ездил в Питер сдавать экзамены, его временно заменял Химик. При нем пришлось перебазировать типографию из Панфиловки. Занимались этим делом М. Мясникова, только что приехавшая в Шую, и давняя приятельница Арсения В. Любимова. Они обосновались в пустовавшей летней усадьбе помещика Романова — на горе, против земской больницы. Большой заброшенный дом был выбран удачно: много комнат, кладовок и переходов; с широкого балкона хорошо просматривались дальние подходы к имению; нижний этаж надежно закрывался густым садом.

В несколько приемов перенесли по ночам оборудование типографии. Мясникова успела отпечатать одну листовку. Но через неделю, на рассвете, нагрянул Перлов со своими громилами. Девушки забаррикадировались и успели сжечь в самоваре кой-какие бумаги и фотографии.

Но часть документов попала в руки урядника. М. Мясникову и В. Любимову отправили во владимирскую тюрьму под крики столпившихся молодых пропагандистов. И к приезду Арсения уже ходила по городу горькая побасенка: «Улетели девушки с летней романовской дачи на зимнюю романовскую квартиру!»

Арсений услышал об этом, едва сошел с поезда, и сказал Павлу Гусеву:

— Раздавлю я эту мокрицу!..

Перлов был в фаворе даже у губернатора Сазонова, который сменил во Владимире щедедушного старичка Леонтьева, ушедшего на покой. Перлова неплохо было бы отправить на тот свет!

Так рассуждал Арсений. Но товарищи по партии призвали его к порядку. На конференции в Иваново-Вознесенске, где подтвердили избрание Арсения на съезд, ему и Павлу Гусеву объявили выговор.

Строгая Ольга Варенцова, не скрывая огорчения и не отводя глаз, сказала шуйским «террористам»:

— Не время поддаваться чувствам, увлекающим на неверный путь! Нужна строжайшая партийная дисциплина... Революция в опасности. Скоро придется уходить до поры в глубокое подполье. Как в таких условиях баловаться пистолетом? — Она перевела дух и произнесла мягче: — За Арсения я боюсь. Его нельзя оставлять в Шуе, предлагаю перевести его в Родники.

Решение было принято, и Арсений не противился. Но и не спешил покинуть Шую — с ней он сроднился так прочно, навсегда, что даже за день до смерти говорил товарищу:

— А умру — похороните меня в Шуе. Там, знаешь, на Осиновой горке...

Иваново-Вознесенский комитет «послал меня в Шую, чтобы вытащить оттуда Арсения, которому угрожала опасность ареста, опасность каторги, даже смерти, — писал Химик — Андрей Бубнов. — Мне пришлось разыскивать его в Шуе в одном из закоулков рабочего района, потом пришлось вместе с ним идти в другой конец города. Весь наш переход был выполнен с соблюдением самых строжайших правил маскировки... Я привез ему постановление комитета уехать из Шуи. Фрунзе в течение по крайней мере часа убеждал меня, что он этого сделать не может, и в течение этого же часа я говорил ему, что это сделать нужно... Фрунзе через день после моего приезда уехал из Шуи в Родники...».

Но в последней декаде марта 1907 года он ненадолго вернулся в Шую: надо было закончить ликвидацию своих дел и получить от товарищей наказ на съезд.

Дела были общественные: листовки, касса, дружинники. И сердечные — о них он даже постеснялся сказать своему другу Химику.

В двадцать два года, при хорошей внешности, пылком уме и беспредельном авторитете у шуйских рабочих, Арсений вовсе не был сухарем. Все человеческое не было чуждо молодому большевику. Он поделился с Павлом Гусевым, что неожиданный арест Верочки Любимовой оставил в его душе горький след. И не скрывал своих симпатий к Леночке Грабинской — веселой и красивой гимназистке.

И во Владимирском центре, куда вскоре заточили Арсения, он писал письмо в Пишпек матери и сестрам, в Чистополь — брату Константину, в Шую — товарищам и — Лене Грабинской...

Но еще день-другой Арсений был на свободе, и тщательно скрывался от ищек Лаврова. 23 марта он провел собрание рабочих литейно-механического завода Толчевского в деревне Панфиловке. А вечером был на собрании партийцев в поселке Мартемьяновке.

Заседали в доме ткача Баранова, и Арсению дали наказ: сказать на съезде, чтоб революцию не ослаблять, а коль прижмут, бросить все силы на работу в профсоюзы, пока они разрешены.

Расходились ночью, одиночно, и Гусев направился к Закорюкиным. Баранов предложил Арсению остаться у него, но тот торопился на Малую Ивановскую, в квартиру Соколовых: надо уезжать в Родники, а еще остались дела: закончить листовку, распорядиться о надежном тайнике для оружия.

Думал ли он, что круг замкнулся и филеры сидят у него на «хвосте»? Думал! Он сменил одежду у Баранова и отправился в поселок Дубки к Коркину. Ему сказал, что надо у Соколовых взять его вещи и две винтовки, как только он уедет из Шуи.

У Коркина он снова переоделся и только в третьем часу ночи добрался до квартиры Соколовых. Хозяин работал в ночной смене, хозяйка с детьми спала. Бодрствовал лишь боевик Василий Малышев: этот ткач с небурчиловской фабрики был в охране Арсения и собирался проводить его в Родники.

— Жаждался тебя! — в голосе его слышалась тревога. — Легавые с полуночи шатаются под окнами. Надо уходить немедленно!

— Стоит ли, Вася? Уже и до рассвета рукой подать. И шел я осторожно, никого не приметил. Ложись, вот напишу письма, почитаю немного и тоже лягу. Устал я что-то!

Он сел в каморке у ночника. И писал и читал почти час. А на душе было тревожно. Спрятал один револьвер под подушку, другой положил на край стола. И когда затихло в доме, осторожно тронул раму: она не была заклеена, легко держалась на двух гвоздях, и выхватить ее в минуту опасности не составляло труда.

Да и не верилось, что именно в эту ночь, сейчас вот лишат его свободы: ведь семнадцать месяцев прожил он в Шуе под угрозой ареста, а пока все сходило с рук. И он даже шутил в кругу товарищей, что свыкся с «должностью» затравленного зайца: спит с открытыми глазами и с оттопыренным чутким ухом и всегда готов прыгнуть с лежки и скрыться бегством.

Только было ему невдомек, что полиция не сводила глаз с его окна в ту ночь на 24 марта 1907 года. И как только погасил он свет, держиморда Перлов грохнул прикладом винтовки по входной двери.

— Арсений, фараоны! — крикнул Малышев. Он кинулся к окну: в сумеречном свете маячила казачья группа, пешие окружали дом. — Ловушка!

— Ложитесь все на пол! — скомандовал Арсений: он встал против двери с пистолетом, решив, что выпустит обойму по налетчикам и выпрыгнет в окно.

Соколова кинулась к нему с ревом:

— Не стреляй! Эти изверги покалечат детей!

Ребят было четверо: они цеплялись за подол матери, кричали и плакали. Арсения передернуло. Он кинулся от двери, выставил раму и прыгнул в снег.

Стражники стерегли его под окном. Ударом рукоятки нагана в лицо и прикладом в бок они прижали его к стене дома. Он бросил пистолеты под ноги и затоптал их снегом. И сейчас же чудовищный удар по голове лишил его сознания. И он не помнил, как его вязали по рукам и по ногам, били сапогами и взваливали поперек седла.

Только в тюрьме он понял, что свободы нет и что надо думать, как сохранить жизнь.

Рядом с ним, в камере, на холодном полу, лежал в синяках и кровоподтеках Павел Гусев — его взяли в ту же ночь.

Утром, в первую смену, на фабриках узнали об аресте и жестоком избиении большевика.

Никто не бегал по цехам с призывом кончать работу и вызволять Арсения из неволи. Но в едином порыве остановились все фабрики, и тысячные толпы двинулись на Ильинскую площадь к канцелярии исправника Лаврова. Стихийно возник митинг, и после речи каждого оратора люди скандировали:

— Свободу Арсению!

Лавров на митинг не вышел. Он строчил телеграммы губернатору Сазонову и подтягивал войска к тюрьме. Народ двинулся к тюремным воротам, там уже в две цепи стояли войска и полиция — снаружи и внутри тюремного двора.

— Освободите Арсения! — грозно напирала толпа.

Губернатор уже получил телеграмму об аресте окружного агитатора Арсения. Он уже знал, что встали все фабрики и Лавров боится столкновения и просит немедленно выслать ему подкрепление не менее двух рот.

Губернатор телеграфировал министру внутренних дел Столыпину об аресте Арсения. И заключил свою депешу словами: «В Шуе форменный бунт. Дал распоряжение военному начальству послать не менее роты, эскадрон драгун и сотню казаков».

А демонстранты все еще требовали в голос:

— Отдайте Арсения! Разнесем тюрьму!

Начальник тюрьмы явился в камеру к Арсению с бумагой и пером.

— Толпа третий час требует вашего освобождения. Я этого сделать не могу: войска мне не подчиняются, обстановка у ворот серьезная, кровопролития не миновать. Напишите людям: вы ожидаете следствия, содержитесь у меня нормально и не хотите пальбы по вашим товарищам.

Арсений решил, что иного выхода не придумать. Безоружные ткачи тюрьму приступом не возьмут, напрасно погибнут под пулями его друзья, и «при попытке к бегству» его убьют непременно.

Да он и не сомневался, что за стенами тюрьмы идет у властей серьезная возня и Лавров вызвал воинские части. Так оно и было на самом деле. Губернатор Сазонов весь день 24 марта направлял телеграммы в Шую: «Посылаются казаки и пехота, открытый бунт не может быть допущен». «Предложите толпе разойтись. Объясните, что дело будет расследовано. Если не разойдутся, примите меры, указанные циркулярами». Губернатор давал понять Лаврову, что санкционирует расстрел.

Арсений написал на листке бумаги. И вовремя: группа боевиков, в которой были Егор Варанов, уговаривавший вчера Арсения заночевать у него, подступила вплотную к цепи солдат:

— Отдайте Арсения! Долой палачей!

Офицер, еще не получивший приказа стрелять в народ, кидался на боевиков и кричал:

— Назад! Разойдитесь, бога ради! Не доводите до стрельбы!

Но его вмяли в шеренгу. С бледным лицом, с горящими глазами, не зная, как остановить людей, он вдруг решился на крайность и поднял руку. Солдаты вскинули винтовки и щелкнули затворами.

Но из ворот выбежал начальник тюрьмы, держа бумагу над головой:

— Остановитесь! Вот записка от Арсения!

— «Товарищи рабочие! — громко прочитал Егор Варанов. — Я понимаю вас, что вы хотите меня освободить, но учтите одно: если вы пустите в ход оружие, все равно вам не удастся меня освободить, так как жандармерия покончит со мной. Вы же понесете много жертв. Я вам советую побережь свою революционную энергию для дальнейших боев с самодержавием и капиталом, а сейчас разойтись».

Гимназисты и гимназистки, которые тоже прекратили занятия, потребовали продолжить митинг на Ильинской площади, вызвать Лаврова и получить заверение, что Арсения оставят в Шую. Большевики поддержали требование молодежи и добились, что Лавров вышел на трибуну.

Исправник, уже подкрепленный сотней казаков из Коврова, говорил дерзко, угрожая расправой. Но когда его освистали, сбавил тон и заверил, что арестованный сегодня не будет отправлен во Владимир.

Демонстранты в своих речах заявили резкий протест против произвола царских властей и договорились собраться на митинг утром 25 марта.

Лавров не солгал: Арсений провел ночь в шуйской тюрьме. Но исправник не спал: он срочно оформлял документы на арестованных, составлял списки найденных документов и определял, какой части и где стоять утром от тюрьмы до вокзала, по пути следования Арсения и Гусева.

Брал Арсения и Гусева пристав 1-го стана коллежский асессор Декаполитов по доносу. Захватил у Арсения два револьвера — маузер и браунинг, два карабина системы «Винчестер», гектограф и 81 прокламацию, напечатанную при захвате лимоновской типографии.

Были подробно переписаны найденные при обыске экземпляры Устава шуйской организации РСДРП, отчеты шуйской партийной группы за январь 1907 года и книги: «Капитал» Маркса, «Пролетариат и крестьянство» Плеханова, «Богатство и труд» Струмилина, «Положение рабочего класса в России» Пажитнова; брошюра «Чего хотят социал-демократы» и протоколы IV (Объединительного) съезда РСДРП.

И в протоколе ареста Лавров написал постановление: «Неизвестного звания человека, назвавшегося Арсением, задержать и вместе со всем найденным по обыску представить на распоряжение»...

У Павла Гусева — крестьянина деревни Баламутовой Шуйского уезда были найдены «две книги нелегального удержания, извещение ЦК социал-демократической партии о

тактике по отношению к Государственной думе, программа партии «Народной свободы» и разная переписка».

С каким-то удивлением губернатор Сазонов доносил Столыпину, что «Арсений утром 24-го марта заявил исправнику, что все шуйские фабрики встанут и рабочие придут ему на выручку. Действительно в 10 часов утра 24-го марта 1907 года фабрики (одна за другой) остановились». Значит, Арсений был крупным работником, решил губернатор. И, отмечая служебное рвение пристава Декаполитова, объявил ему благодарность.

Демонстранты еще не успели собраться на митинг 25 марта, когда Арсения и Павла увели на вокзал. Во всю ширину улицы сомкнутым строем двигалась казачья сотня. Кони пробивали подковами снег над булыжником. Звенели шпоры, звякали шашки, колыхались пики. И была мертвой перед этой сотней предрассветная весенняя улица. Две роты солдат с боевой выкладкой шли четырьмя шеренгами — спереди, позади и с боков от двух молодых людей с распухшими лицами, словно перепыханными держимордами.

И тот, кто успел увидеть эту страшную процессию, не скрывал ненависти к палачам.

— Убийцы, душегубы! — кричали женщины.

— Арсений, не падай духом! Покажи себя извергам! Мы ждем тебя! — подбадривали его товарищи.

Но ждать новой встречи пришлось десять долгих лет...

Шуйские большевики послали в Питер телеграмму своему депутату Н. А. Жиделеву. Он вместе с Г. Алексинским и А. Романовым (крупным провокатором, в те дни еще не разоблаченным) потребовал от губернатора Сазонова немедленно расследовать обстоятельства ареста Арсения, избитого полицией, и освободить его.

Сазонов даже не счел нужным отвечать депутатам думы. И Столыпин дружески похлопал его по плечу: «Члены Государственной думы не имеют никакого права обращаться к вам с требованиями. Вы совершенно правильно оставили их заявление без ответа».

— Дума думой, а царя с ней не спихнешь! — сделали правильный вывод товарищи Арсения.

Отсекли Арсения от Шуи, от близких друзей и увезли во Владимир. Теперь теплилась лишь одна надежда: организовать ему побег. Этим делом не один год занимались многие товарищи, в том числе и Станко — Уткин, пока не оказался в одной камере с Арсением.

Человек наделен был огромной энергией. Он навечно сросся с рабочим коллективом, который признал его своим. Он расправил крылья буревилика для стремительного полета в будущее. И все пошло прахом в одну роковую ночь! Резвый скакун сломал ногу и распластался на земле, тараша испуганный агатовый глаз. Упала на прибрежную гальку с перебитым крылом чайка. Грубо вырвали из земли цвет, имя которому «корень жизни»!..

И тоска по Шуе, по друзьям и товарищам была нестерпимой. Особенно в первые дни, в первые недели и месяцы, пока не подчинил его себе тюремный быт: надо было как-то устроить свою новую — непривычную и невеселую — жизнь в камере.

И в тяжелые минуты раздумий все чаще вставала перед его глазами картина Николая Ярошенко, которую видел он в галерее братьев Третьяковых. Тюремный вагон с решеткой, пять изможденных лиц в окне за ней. На дощатом перроне восьмерка голубей с одним воробьем. Ребенок на руках у матери залюбовался вольными голубями. И взрослым приятна веселая воркотня птиц, подбирающих крошки. И с большим значением впечатляющая надпись под картиной: «Всюду жизнь».

И Арсений, сидя на подоконнике, не сводил глаз с клочка земли, где была воля. «Сижу я в том корпусе, который расположен сейчас же против ворот; моя камера находится во 2-м этаже, и окна выходят почти прямо в ворота, так что мне видно всех, кто только в них входит». Видел он и отрезок полотна железной дороги и просил друзей пройтись там хоть раз, чтобы он мог послать им привет.

В первых письмах из тюрьмы, когда никто не знал, сколько он будет томиться, а сам он жил яркими впечатлениями последних дней на воле, его подчиняла себе инерция свободной

жизни. Все помыслы еще там, в городе ткачей, в кругу близких и дорогих людей. Каждая весточка отсюда — событие, каждое свидание — и радость и отчаяние.

Приезжала Саня Домская с подружкой Таней (Тимофеевой). Девушки добились свидания: разговор при стражнике, через решетку. Поздоровались, передали приветы — скованно, с оглядкой, разговор получился скомканный, и уже надо прощаться. И он хорош: ничего не успел сказать, о чем думалось!

Но при каждом новом свидании становился он разговорчивее, и товарищи вскоре узнали, что с ним сделали при аресте. Он пытался это подать в виде шутки, но никому не хотелось смеяться. «Что касается нашего физического состояния, то мы оба находимся в вожделенном здравии, если не считать... некоторых изменений, происшедших с моей физиономией: изменения эти сводятся, во-1-х, к тому, что 2 зуба отказываются до сих пор занять предназначенное им природой место и выполнять предопределенные судьбой обязанности (причиной этого прискорбного обстоятельства по объяснению одного стражника было его задушевнейшее желание утереть мой разбитый нос своими перстами), а во-2-х, легонького раздвоения моего благородного носа на 2 части под влиянием далеко неблагородного прикосновения ружейного приклада».

Не унывая, писал он о том, что обвиняется «всего по следующим статьям: 126-й (1-й и 2-й пункты), 127, 129, 103, 132-й и еще какой-то. Словом, целая серия; хватит с меня. Особенными «приятностями» улыбается мне 2-й пункт 126-й ст. (принадлежность к боевой организации и руководство боевыми выступлениями); тут пахнет военно-ок(ружным) судом и каторжными работами».

Да, статьи были серьезные, и Арсений хорошо изучил их на досуге. За принадлежность к партии большевиков давали щедро: не менее четырех лет каторжных работ. За попытку низвергнуть существующий строй — полагалась каторга без срока. А за вооруженное восстание приговаривали к смертной казни на виселице.

Павлу Гусеву он внушил: держаться из последних сил, чтобы не попасть под действие самых страшных статей. Такое напоминание не было лишним: Павел позабыл отправить письмо Арсения к брату Константину. А это письмо, изъятое при аресте, выдавало Фрунзе с головой и раскрывало его инкогнито.

Однако, получив в свои руки это письмо и выслушав признание Фрунзе о его истинной фамилии и студенческом положении, следователь усмотрел мистификацию. И попросил назвать человек пять-шесть, которые бы удостоверили, что шуйский Арсений — Борис Константинович Точайский — и Михаил Васильевич Фрунзе суть одно лицо.

По каким-то соображениям он назвал профессора Петербургского политехнического института Иванюкова, с которым не был близок. И в очередном письме посмеялся над своей придумкой: «Будь я трижды проклят, если только уважаемого профессора не хватит кондрашка, когда его потянут во Владимир для удостоверения моей личности. Что же подделаешь! Видно так богу угодно! «Никто, как он, батюшка!» — как говорил один палач, вздергивая на виселицу слезоточивого патера».

Он в веселых тонах описывал, как его превосходительство владимирский губернатор Сазонов посетил тюрьму, чтобы посмотреть «на неизвестного субъекта, носящего кличку «Арсений». Его превосходительство изволили назвать меня «бравым молодчиком» и приказали перевести в отдельную камеру».

И в каждом письме неизменно выражались нежные чувства к товарищам, чаще всего в такой форме: «Ей-богу же, я вас всех люблю!», «Я люблю, страшно люблю вас всех, бывших товарищей!» И ему товарищи отвечали любовью и сообщили однажды, что в Шуе появилась частушка, в которой есть такие слова: «Ох и время настало: Арсения не стало!..»

Радостно билось его сердце, когда приехала во Владимир Лена Грабинская и добилась свидания с ним. Она принесла ему любовь, принесла желание обвенчаться с ним в тюрьме и быть верной подругой жизни на его тернистом пути.

Это признание доброй и милой девушки выбило Арсения из колеи. Он ничего определенного не смог ей сказать при мимолетной встрече. Но долго думал, что написать. Мучился. И наконец решился.

«Странно все, и более всего я сам. Ну, можно ли так поддаваться настроением? М(ожет) б(ыть), это плохо, но я сейчас чувствую себя хорошо. Итак, отныне провозглашаю: «bas le livres», и буду заниматься организацией поб(ега). Как Вы чувствовали себя на свидании? Мне казалось, что немного неловко. Верно ли? Не знаю, чему приписать это, м(ожет) б(ыть), необычная обстановка действовала на Вас, а м(ожет) б(ыть), и что другое? Только этого «другого» не надо. Я хочу чувствовать Вас близкой и не хочу, чтобы Вы испытывали хоть атом неловкости».

Он понимал, что не такого ответа ждала от него Грабинская. Да и не в его манере было молчать и решать что-либо «приблизительно», когда требовался ясный ответ: доброе «да» или горькое «нет».

Он взвесил все и избрал горькое «нет»...

«Теперь я положительно не знаю, что делать: с 1-ой стороны хочется иметь свидание, а с другой самая мысль о браке, даже формальном, кажется для меня прямо чем-то чудовищным. И выходит, что я рассуждаю в данном случае по рецепту щедринских персонажей: «С 1-й стороны нельзя не сознаться, а с другой — нельзя не признаться». Ничего не попишешь, приходится в этакой одежке побывать. Меня смущает то, что брак наложит на нас целый ряд пут (по отношению, напр., к школе, гос(ударст)ву и т. д., вообще во всех этих проклятых житейских отношениях, правда мелочных, но тем не менее всегда в высокой степени чувствительных). Не подумайте, что я сейчас рассуждаю чисто эгоистически, ничуть не бывало. Наоборот, мои собственные удобства занимают тут самое последнее место, если только вообще они его занимают; мне страшно будет тяжело сознавать, что из-за меня Вы наложите на себя цепи, которые потом будут до известной степени себя давать чувствовать. Тут имеется элемент самопожертвования, я его не хочу. Нужно быть отъявленным эгоистом, чтобы согласиться на такую комбинацию».

Восторженная девушка отошла в сторону, хотя Арсению нужна была ее дружба и хоть капля ласки в этот переломный момент его жизни.

А вскоре свидания и письма прекратились начисто: следствие все глубже проникало в «преступное» бытие молодого большевика и изолировало его от внешнего мира.

Тюремный быт помалу засасывал, как коварная торфяная трясина на гнилом болоте, но Арсений не сдавался. Был он человеком с тонкой общественной жилкой, по натуре организатором, вожаком. В польском подследственном корпусе Владимирского централа ждали решения участи сотни полторы арестованных. При начальнике тюрьмы Парфенове они не были замкнуты в камерах, совершенно обособленных друг от друга. И могли общаться с товарищами и в коридоре второго этажа и в вестибюле. Да и на сборы их в большой камере № 2, где сидел Арсений, начальство глядело сквозь пальцы. Когда же закрывалась дверь, состоящая из железных прутьев, Арсений видел всех, кто проходил по коридору, и мог беседовать с ними. Так он познакомился с владимирским боевиком Николаем Растопчиным, который отметил в нем искренность, внимание и простоту. «Рост средний; плотный и крепкий, стрижен «бобриком», чистые, ясные глаза. Лицо открытое и приветливое, на нем следы нанесенных при аресте побоев», — отметил Николай.

Людей приводили и уводили: весь этаж корпуса был как проходной двор. Да и в камере долго не задерживали: Арсений вскоре оказался в соседней, под номером третьим. И только тот, кто уже выслушал приговор, пропадал либо в каторжном отсеке, либо в камере смертников.

Много было рабочих из Шуи, Иваново-Вознесенска и Орехово-Зуева. Дополняли эту группу крестьяне окрестных волостей, подпускавшие «красного петуха» ненавистному барину или вообще замеченные в «политике».

Кто-то из арестованных хорошо знал Арсения, кто-то узнал его очень скоро: в тюрьме люди с сильной волей и непоколебимой убежденностью в победе, для которой способны отдать жизнь, неизбежно становятся связующим центром.

И к тому времени, когда Растопчин оказался в польском подследственном корпусе, в Арсении все признали организатора борьбы с насилием и произволом и единодушно избрали его своим старостой с большими полномочиями.

— Ни дня без знаний! — таков был первый лозунг старосты.

Под этим лозунгом и началась учеба во Владимирском центре. И прицел у нее был верный: впереди — жизнь, пока тюремная, но ведь будет и воля, не сидеть же тут без конца! И надо вернуться к товарищам с ворохом новых знаний!

Грамотные обучали неграмотных, сам Арсений читал лекции: они обычно превращались в долгие вечера вопросов и ответов. Иван Козлов вспоминал: «Жажда знаний у нас, рабочих, была огромная. Хотелось знать все: и что на небе, и под землей, и под водой, откуда произошел человек и как живут люди в других странах».

Зачастую вопросы были наивными до смешного. Рабочий паренек Вася Цыганков попросил Арсения написать алфавиты всех языков.

— Зачем? — Арсений оторопел.

— Хочу уметь читать книжки на всех языках.

— А как ты думаешь это сделать?

Все развеселились, когда Вася сказал простодушно:

— Алфавит выучу, вот и буду читать!..

Ожила добрая память об «университете» на Талке. Говорили и о лозунгах партии: в Лондоне шел в эти дни V съезд РСДРП; о литературе и истории, о воинской доблести; решали казусы из области психологии, этики и эстетики. Час, а то и два часа в день Арсений занимался с Павлом Гусевым. Был тот предан своему учителю, и жила в нем прекрасная живинка — страстная любознательность и жадная восприимчивость нового, боевого, смелого. Он вскоре начал писать рассказ о мальчишке, под названием «Расчет», ходил по камере как одержимый, бормоча фразы. Своим литературным увлечением он «заразил» Арсения, и тот после первого смертного приговора оставил Павлу стихотворение:

Северный ветер в окно завывает,
Зданье тюрьмы все дрожит,
В муках отчаянья узник рыдает
Вот ему грезится образ любимый, —
Тихо склонилась с улыбкою милой,
Мягко коснулась рукою чела:
«Спи, моя детка, спи, мой любимый, —
Слышит он голос родной, —
Скоро конец всем мученьям, родимый,
Скоро, уж скоро ты будешь со мной».
Северный ветер все свирепеет,
Хочет он крышу сорвать,
Мертвого лик на подушке белеет,
Больше не будет страдать...

Но у Павла не было хорошей школьной подготовки, и Арсений стал с ним идти от курса начальной школы к городскому училищу и к гимназии, чтобы он смог получить на воле аттестат зрелости. Начались занятия по арифметике, русскому языку, географии, истории, физике. А вскоре перешли к геометрии и алгебре. И всех увлекли их занятия физической культурой: турником служила спинка койки, для фехтования — палка от швабры.

Сам Арсений занимался французским языком и к лету 1907 года свободно читал книжки без словаря.

А «дело» не лежало втуне, оно обрастало протоколами допросов и всякими деталями, влекущими за собой тяжелые последствия. Водили Арсения к следователю, водили к фотографу. Появились снимки для жандармского управления: анфас и в профиль без головного убора; и стоя, в студенческой фуражке с маленьким козырьком, в длинном пальто, руки заложены в карманы. И уже были подшиты к «делу» описания примет. То как в ателье у портного: рост — 1,66 метра, полнота — средняя, телосложение — хорошее, объем в поясе — 83 сантиметра, ширина плеч — 40 сантиметров. То как в мастерской художника или скульптора: волосы — русые, брови — светлые, глаза — серые. Нос не записали — его конфигурация была нарушена рукоприкладством с применением винтовочной ложки. Но все же отметили, что длина его — 4,5 сантиметра. И точно отметили особенность Арсения держать корпус: осанка — прямая, походка — твердая.

Назревали и серьезные обвинения: вместе с Павлом Гусевым — за покушение на убийство урядника шуйской конной стражи Перлова; вместе с иваново-вознесенской группой рабочих — за революционную пропаганду и подготовку вооруженного восстания...

Как только эти сведения дошли до Ольги Варенцовой, ивановцы решили устроить Арсению побег. За дело активно взялся боевик Иван Станко (Уткин) и разработал очень толковый план, о котором рассказал в своих воспоминаниях Николай Растопчин, как свидетель и участник.

Долго прощупывали обстановку. Поначалу хотели напасть вооруженным отрядом на конвой. Но Арсения никуда из тюрьмы не выводили: все допросы проходили в ее стенах. Обсуждался вариант второй — налететь во время прогулки на «баркас» — на каменную ограду тюрьмы. От него отказались: централ охранялся военным караулом, под пули попало бы много дружинников. Да и Арсения мог бы пристрелить в суматохе какой-нибудь негодяй — из рьяных.

Остановились на третьем проекте.

Арсений переходит в одиночную камеру № 4. Она просматривается через дверной «глазок», и на койке можно оставить чучело спящего человека, прикрытое одеялом.

В смежную камеру № 5 перемещаются участники побега. За койкой в углу они разбирают стену — через пролом в нужный момент переползает Арсений из своей одиночки. Над тем местом, где разбираются кирпичи, арестованные вешают верхнюю одежду, чтобы исподволь приучить к этому надзирателей.

Из камеры № 5, угловой, Арсений спускается через подпиленную решетку во двор и тотчас же забегает за угол корпуса: рядом с его глухой Стеной находится часть «баркаса».

Через «баркас», по веревочной лестнице, закинутой при помощи железной «кошки», Арсений выбирается на волю.

Главные помехи — двойной караул: вдоль окон во дворе надзиратель с винтовкой, за «баркасом» — вооруженный солдат из 9-го или 10-го гренадерского полка.

Выход был один: подкупить надзирателя и «снять» часового. Подкуп — дело арестованных, расправа с часовым — дело боевиков на воле. Местность позволяла, чтобы связать солдата и заткнуть ему рот кляпом: за «баркасом» далеко тянулось безлюдное поле, чуть поодаль кладбище, где пестро от крестов и памятников, темно от деревьев и кустов.

С волей контакт наладили, и началось «великое переселение народов»: в большую камеру № 2 перешли все эсеры; в одиночку — Арсений; в пятую — подкопщики Растопчин, Белов, Скобенников и Митрофанов.

Среди надзирателей обнаружился земляк Скобенникова: его и обработали за паспорт и необходимую для заведения хозяйства сумму денег. Надзиратель согласился выпустить Арсения через окно при своем дежурстве в ночную смену, но и уйти вместе с ним через «баркас».

«Побег» надзирателя вносил в план коррективы: с Арсением намеревались уйти Растопчин и Белов. Теперь одного надо было отставить. И Федор Белов дал согласие, чтобы вышли на волю два боевика.

Дело помаленьку двигалось как надо. Получили с воли пилку для решетки, в тюремной кузнице выковали «кошку» и спрятали ее во дворе, веревку положили между холщовой обтяжкой койки.

Но план, так хорошо продуманный в деталях, вдруг «полетел»: надзиратель струсил в решающий момент и попросил его перевести на другой пост.

Появился новый надзиратель: с бравой солдатской выправкой, фуражка набекрень, но битый: без двух передних зубов. Он лихо маршировал с винтовкой на плече и грозно поглядывал на окна подследственного корпуса.

Подкопщики вскоре выяснили, что он холостяк и бабник, озорник и пьяница. Помог все это выяснить владимирский картузный мастер Кокушкин — человек пожилой, рассудительный: он случайно попал в тюрьму, но так полюбил Арсения, что готов был на любую жертву для него.

В часы прогулок он познакомился с этим надзирателем. И пошли у них веселые беседы о всяких похождениях и приключениях по «пьяной лавочке». Кокушкин узнал адрес своего «приятеля» и, ожидая скорого освобождения, договорился с ним, что крепко «вспрыснет» с ним у себя дома выход на волю.

Вскоре он действительно вышел. И «дружба» с надзирателем, оплачиваемая организацией, крепла со дня на день. Помалу Кокушкин договорился, что за паспорт и за деньги тот выпустит Арсения и Растопчина через окно.

По вечерам, когда этот тип дежурил, Растопчин, сидя на окне, потихоньку подпиливал решетку. Чтобы никто не слышал металлического визга, товарищи из камеры № 5 горланили песни. А по ночам, лежа на полу, они делали пролом к Арсению в камеру № 4. Кокушкин тоже не терял времени даром: в сумерках он появлялся на кладбище и, стоя у памятника, подавал по тюремной азбуке сигналы, как идут дела на воле.

У подкопщиков не оказалось нужной суммы денег. И хотя большую часть достал Станко, сотни две надо было получить со стороны. Растопчин обратился за помощью к свояченице Е. П. Михайловой — начальнице женской гимназии в Покровской слободе Саратовской губернии.

Михайлова привлекла своего друга — ветеринарного врача, и тот в базарный день прошелся с шапкой по кругу и собрал деньги на побег «политическому». Арсений не без гордости говорил потом, что деньги ему дали крестьяне, которые в годы реакции не забывали о тех, кто за их интересы сидит в тюрьме.

— Такие гривенники куда дороже «либеральных» кредиток!

Настал день побега, но перед вечерней поверкой едва не произошел провал. Зазвенели ключи, защелкали замки; послышался топот ног и глухие удары кувалдой — стража проверяла решетки. Вот уже и камера № 5. Дюжий надзиратель с размаху ударил четыре раза по боковым, нижним и верхним прутьям. А подпил был в центре, и его не обнаружили. Но минута была страшная!..

Тюрьма затихла. Коротка летняя ночь, надо торопиться! Однако надзиратель, расхаживая с винтовкой и принимая сигналы Растопчина, команды не подавал.

Арсений был наготове в своей камере; Растопчин забрался на подоконник и приготовился отгибать скамейкой подпиленный прут. Надзиратель подал запрещающий знак. А когда прут уже подался, заорал, вскидывая винтовку:

— Не пуцу! Буду стрелять!..

Побег не состоялся. Но надзиратель не выдал. Отводя глаза при встрече, он шепнул, что перепугался до смерти, не надо ни денег, ни паспорта.

— Буду молчать! И вы не проговоритесь!..

Пробор в стене был обнаружен при первом же обыске. Арсения перевели в общую камеру № 3, куда вскоре перебрался и Растопчин.

Недели через две был арестован Станко под фамилией Фомина и по просьбе Арсения попал в камеру № 3. Растопчин писал о нем: «Был Станко невысок, худощавый рабочий, спокойный и замкнутый, с глубоко запавшими, напряженно светящимися черными глазами. Он часто напевал известную песню о Степане Разине, особенно любил слова:

Вот под городом Симбирском
Думу думает Степан —
Рать казацкая побита,
Не побит лишь атаман.
Знать, уж долюшка такая,
Что не пал казак в бою,
А стерег для черной плахи
Буйну голову свою...»

Станко не взошел на эшафот, он получил долгосрочную каторгу и умер в тюрьме от скоротечного туберкулеза. Он сгорел в полтора-два года. Его казенный каторжный крест с надписью «Иван Уткин» видел в 1912 году Растопчин среди ровных шеренг каторжных крестов на тюремном кладбище. Там таких политических были сотни: они избежали столыпинского «галстука», они были убиты бесчеловечным режимом каторжного централя. От этого режима погиб и Павел Гусев — человек крепкий, здоровый: он недолго прожил после каторжного приговора. Среди немногих выдержал все Арсений.

Растопчин оставил свидетельство, как погиб ивановский боевик Леонид Башмаков летом 1907 года. Это было крупное событие, всколыхнувшее застойный тюремный быт.

Как писал и М. В. Фрунзе, Башмаков перешел от большевиков к эсерам: ему импонировала их террористическая борьба с самодержавием.

Сидел он в камере № 8 вместе с экспроприаторами, в одежде уголовника. Ему грозила смертная казнь — при аресте он уложил ненавистного рабочим фабричного шпика Лебедева, который привел полицию в дом, где укрывался Леонид.

— Не застряла бы пуля в маузере, еще бы уложил троих и ушел бы через окно! — открыто говорил он.

Судили его спешно. Заседание кончилось поздно, но в тюрьме не спали — ждали его возвращения. Он крикнул, появившись в коридоре:

— Товарищи! Приговор суда: «К смертной казни через повешение!»

Что-то дрогнуло в нем, он вдруг спросил Арсения: не подать ли царю прошение о помиловании? И когда увидел осуждающий взгляд, заторопился:

— Да так, по-нарошному! А потом бежать и бороться снова.

— Я не мог бы считать тебя товарищем! — сказал Растопчин.

— Ни в коем случае, Леонид! Коль уж суждено, надо умереть, как подобает революционеру! — Арсений обнял Башмакова.

— Прошу: как поведут на казнь, спойте все «Марсельезу»! Только не «Похоронный марш». Арсений, прошу!..

Приговор вошел в силу, Леонида увели в изолятор при строгом карауле. И только Арсений подходил к его «глазку» в двери — других не допускали. Осунулся Леонид, лицо посерело, глубоко ввалились воспаленные от бессонницы глаза.

Установили дежурство, чтобы не проспать, когда поведут Леонида на казнь. Ждали больше недели, но момент упустили. В одну из ночей словно бы он крикнул приглушенно, видимо с зажатым ртом: «Прощайте, товарищи!» Арсений утром не увидел Леонида в камере. Неужели казнили воровски?

Скобенников узнал у солдата 9-го гренадерского полка: повесили тайком, в каретном сарае, палач был в маске. Долго возился с петлей, перекинутой через потолочную балку. Башмаков закричал диким голосом:

— Да вешайте же скорее, сволочи! — и сам вскочил на табуретку.

Загудела взбешенная тюрьма.

Началось с польского корпуса. Арсений дал команду начать обструкцию, передал распоряжение в каторжный корпус. Грохот, стуки, «Марсельеза» и «Варшавянка» сотрясали стены. На решетках вывесили лоскутки красные и черные: они заменяли знамена борьбы и смерти.

Матросы и артиллеристы из Кронштадта и Свеаборга, сидевшие в центральном, запели песню, разученную ими в дни восстания:

Борцы идеи, труда титаны,
Кровавой битвы час настает!
На баррикады! За раны — раны!
За гибель — гибель! Смерть — за гнет!
И вся тюрьма дружно подхватила припев:
Тяжкий млат, куй булат.
Твой удар родит в сердцах пожар.
Пыл борца жжет сердца!
Вставай, народ! Сигнал на бой зовет!

Ломали табуреты, скамейками били в решетки, кулаками — в двери! Проклятье, проклятье!

Губернатор дал приказ — прекратить обструкцию силой. Начальник тюрьмы Парфенов вывел во двор военный караул. Сибиряки из 9-го гренадерского развернулись шеренгой перед окнами.

Арсений ухватился за решетку:

— К окнам, товарищи! На подоконники!

Весь второй этаж польского корпуса встал у окон против караула.

— Освободите окна! — крикнул Парфенов. — Счет — до трех!

Но никто не смалодушничал.

— Раз! — послышалась команда внизу. И сейчас же кто-то запел: «Вы жертвою пали...»

— Прекратить! — гневно крикнул Арсений. — С окон не слезать, о смерти не петь!

— Два! — отсчитывал Парфенов.

Растопчин ярко описал эти трагические минуты:

«Руки сжали прутья решетки. Но взгляд уже обращен за пределы тюрьмы. Зрительная память, как фотографический аппарат, четко фиксирует то, что видят в последний раз глаза. Там, далеко, за Клязьмой, заштрихованная косыми нитями дождя, уходит за горизонт черно-синяя туча с густыми, клубящимися как пена белыми краями. На ее фоне белеет колокольня, к которой жмутся крестьянские избы, окруженные пестрыми полосами пашен. Искрами сверкают на кресте сельской колокольни вырвавшиеся из-за тучи солнечные лучи.

Взгляд поднимается к высокому чистому небу. В бездонной синеве его спокойно плывут стайки снежных облаков с тающими прозрачными краями.

Рождается ощущение связи с этим бесконечным движением в незнающем границ просторе.

Резкий звук команды возвращает к земле:

— Отставить! К ноге! — и сразу же: — Налево, за мной!

Быстрый топот солдатских шагов, глухой грохот их по лестнице, лязг засовов и... тишина!»

Из двух камер взяли людей в карцер. По остальным клеткам передавалась команда Арсения:

— Обструкцию прекратить, но шуметь; о товарищах хлопочем, они скоро вернутся!

Действительно, они возвратились через два часа. И хоть запретили всем прогулки, это была победа. Арестованные выполнили последнюю просьбу Леонида Башмакова: вспомнили о нем не «Похоронным маршем», а призывом к борьбе.

Были еще две попытки побега.

В одной участвовали матросы из Свеаборга. В чудовищных условиях делали подкоп под тюремную стену. И почти довели дело до конца. Но случилась беда: проезжал по тюремному двору грузчик с тяжелым возом дров и провалился в траншею подкопа, не закрепленную подпорками.

Затем копали из столярной мастерской: долгие шесть месяцев, изо дня в день; и Арсений с пятью товарищами лежал на сырой земле, выбирал грунт руками, пока не заболел воспалением легких.

Копали глубоко, чтоб не повторилась ошибка предыдущей попытки. И когда добрались до стены и стала столь близкой желанная воля, один из уголовников предал подкопщиков. Арсения и его товарищей заковали в ножные и ручные кандалы. А воспаление легких скоро перешло в туберкулезный процесс.

Сменили начальника тюрьмы Парфенова. Приехал на его место известный палач Псковского каторжного централа и петербургской пересыльной тюрьмы Гудима. По всякому поводу начались зуботычины, карцер, кандалы, розги.

Протесты заключенных вызывали лишь ожесточение у стражи. Из камер политкаторжан ежедневно выносили покойников. Но страшнее смертей были психические заболевания. «Заболевший начинал кричать целыми часами, а то и днями, пока не срывал голос. Этот дикий вопль преследовал тебя всюду. Затыкаешь уши, но крик все равно звенит в ушах и все давит и давит... пока не начинает мутиться сознание. Едва сдерживаешься, кусаешь руки и губы, чтобы самому не завывать таким же страшным воем... Никакими словами невозможно описать переживания здорового человека, слушающего этот леденящий душу вой», — вспоминал Иван Козлов, сидевший одно время вместе с Арсением.

На палача Гудиму надо было найти управу.

Кое-как ухитрились передать на волю весточку о кошмарном быте в централе. Большевистская фракция Государственной думы потребовала создать комиссию для проверки жалобы политзаключенных. И вскоре его убрали. А дух в этом палаче надломил Арсений.

Об этом оставил свидетельство Иван Козлов.

Как-то Гудима появился в сопровождении помощников и тюремных надзирателей в час прогулки заключенных. Раздалась необычная команда:

— Смирно! Шапки долой!

«Мы громко засмеялись и продолжали заниматься своим делом.

Гудима рассвирепел.

— Вызвать солдат! — приказал он.

Когда солдаты пришли во двор, Гудима дал команду:

— Ружья на прицел!

Защелкали затворы винтовок. Мы бросились в разные стороны и попрыгали за стены корпуса. На опустевшей площадке перед солдатами остался один Арсений. Выставив большую ногу несколько вперед, он бесстрашно глядел на тюремщиков, готовый принять смерть, но не отступить ни на шаг.

— Кто это? — спросил Гудима.

— Это Фрунзе! — ответил помощник начальника.

— А-а, знаю! — со злорадством ответил Гудима. — В него стрелять не нужно. — И ушел в сопровождении своей свиты».

Но хрен редьки не слаще: заменили Гудиму Синайским. Этот действовал тише, но зверств почти не поубавилось. И только вмешательство старосты иногда избавляло того или другого товарища от бессмысленных надругательств над личностью.

Шли месяцы, и «дело» шло.

Миновал год. Давно было сообщено брату Константину: «Имя мое открыто, привлекают по 126 статье и — по другому делу — по статьям 127, 129, 103. Содержат строго». Речь шла о том, что он раскрыт в качестве крупного партийного работника Иваново-Вознесенского союза РСДРП, и власти пытаются доказать его причастность к делу о покушении на Перлова.

В первых числах декабря 1907 года пришло неприятное известие из Санкт-Петербурга: 22 ноября его уволили из института «за неявку на занятия и за невзнос платы за обучение». Но, видимо, была и другая подоплека. Министра торговли Тимирязева строго запросил всесильный временщик Столыпин: «Что это у вас за студент Фрунзе в столичном Политехническом институте?» И Тимирязев услужливо сообщил, что таковой уже отчислен.

12 марта 1908 года стали слушать дело о покушении на Перлова. Обвинялся один Павел Гусев. Заседание вела Московская судебная палата, по особому присутствию, с участием сословных представителей, в городе Владимире, в здании окружного суда. Председатель — член палаты С. Мальцев, члены суда — Н. Демонси, Д. Стрептоухов и Д. Ремизов. Сословные представители владимирский уездный предводитель дворянства А. Протасьев, городской голова М. Сомов и староста Богословской волости И. Челышев. Прокурор А. Лопатин, присяжные поверенные Эрн и Ордынский.

Первое заседание длилось пятьдесят пять минут. Павел Гусев подтвердил, что получил копию обвинительного акта, список судей. И что свидетели его на месте. Но виновным себя не признал.

И начался ералаш! В зал втащили сани, на которых 21 февраля 1907 года был обстрелян Перлов. Свидетелей Павла не пожелали допустить к даче показаний: Романова оказалась его родной теткой, Семенова — двоюродной сестрой. А мальчишки Зотов и Волков были двенадцатилетние и просто затерялись среди взрослых. Но адвокаты нажали, и Романову с Семеновой оставили. Мальчишек выдворили.

Свидетелем обвинения выставился Перлов. Защита предъявила ему отвод от присяги, поскольку он потерпевший. Теперь нажал прокурор:

— Верно, что урядник — должностное лицо. Но в данном деле он потерпевший при исполнении своих служебных обязанностей. И как таковой по разъяснению Сената является простым свидетелем. Для его отвода законных оснований нет!

Поп дал всем свидетелям целовать крест. Затем их увели, остался Перлов. Он сел в сани и картинно объяснял, как в него стрелял Гусев. Затем он напирал на то, что Павел мстил ему за старшего брата Николая, которого он отправил на каторгу. И цитировал перехваченное письмо, посланное Николаем в Шую год назад из Нарыма: «Паня! Вы писали, что Перлов не дает житья. Меня страшно возмущает такое. Неужели не осталось, кто бы мог пожать руки ему, неужели нет у вас дружинников? Что вам до партии социалистов-революционеров? Я думаю, что партия социал-демократов вправе это исполнить».

Адвокаты взяли Перлова вперебивку: были густые сумерки, почти ночь; как он мог видеть лицо стрелявшего? Но урядник твердил одно:

— Науськал его брат, вот и весь сказ!..

Второе заседание открылось утром 13 марта. На него вызвали Фрунзе в качестве свидетеля. Он начисто отрицал вину Гусева. И заметно склонил на свою сторону судей, когда чистосердечно признался, что он активный член партии большевиков, которая на V съезде РСДРП в Лондоне осудила всякие партизанские действия. И он не замарал бы рук убийством этого холуя и не позволил бы Павлу встать на путь личного террора.

Перлов вскочил как ошпаренный.

— Он, он!

— Что «он»? — спросил председатель.

— Он был с Гусевым, оба стреляли! У меня и свидетель есть: Василий Быков, из деревни Горенки Якименской волости. Я с ним виделся у шуйского следователя первого

участка по другому делу. И он сказал мне, что стрелял не один Гусев, по кличке Северный, а двое. И первым стрелял некто Фрунзе, по революционной кличке Арсений. Быков тогда стоял около дома Зотова, откуда все хорошо видел. И Гусев и Фрунзе выпустили по несколько выстрелов, а кто-то один из них бил с колена. Быков хорошо их знает, господин судья, они часто произносили речи на митингах!..

Допросили пристава Декаполитова. Тот показал, что слышал от Перлова о двух стрелявших. Эту версию подтвердили, свидетели Солодухин, Большаков, Михаил и Анна Зотовы. Но никто из них не мог точно сказать, были ли это Фрунзе с Гусевым или кто-либо другой.

Привели Быкова. Арсений спросил его в упор: как он мог видеть его с Гусевым, если они не стреляли в Перлова? Тот опустил голову.

— Прочтите показания свидетеля! — председатель подал сигнал секретарю Муравьеву.

Выходило так, что Быков стоял возле своей квартиры в доме Зотовых в деревне Дмитриевке, видел Гусева и Арсения, даже поздоровался с ними; видел потом, как они обстреливали Перлова и убежали к деревне Панфиловке. А молчал долго потому, что боялся мести рабочих. И разговорился с урядником только после ареста двух большевиков.

— Вы подтверждаете свои показания? — спросил председатель.

По испитому лицу Быкова пробежала дрожь. Он уставился на Арсения молча, и глаза были как у побитой собаки:

— Наговор я сделал, господин судья. По наущению Перлова. Прижал он меня в камере следователя, где дружка моего Пещерова оформляли за кражу, и говорит: «Показывай, как я велю! Уберем с дороги этих смутьянов, а тебе все грехи скостим».

Адвокаты потирали руки. «Дело» рассмотрением отложили.

Казалось бы, все проще простого: вина Фрунзе и Гусева не доказана, инцидент с Перловым исчерпан. Но ведь не снят вопрос: «А судьи кто?»

Вот они-то никак не могли смириться с тем, что получил почти полное алиби такой большевик, как Фрунзе. И судейская машина, со скрипом, сделала еще один оборот.

24 апреля 1908 года Арсения снова привлекли к дознанию по делу Перлова. Он заявил, что в день покушения был в Москве. И начал подпирать эту версию фактами.

Ему удалось переслать два письма — московскому товарищу Василию Михайлову и фельдшернице Моравицкой: она была старым другом родителей Фрунзе.

Зацепка была хорошая: Фрунзе гостил у Михайлова, когда ездил в Санкт-Петербург сдавать экзамены. И однажды они отправились к подруге Василия фельдшернице Пителевой, которая жила в Химках. Арсений болел инфлюэнцей, почувствовал себя плохо и пробыл несколько дней в квартире Пителевой при больнице. Его навещил доктор Иванов и прописал лекарства.

Теперь надо было «сместить» события, чтобы все, кто знал о его болезни, могли подтвердить: действительно, между 20 и 26 февраля 1907 года он находился в Химках. Москвичи согласились дать такие показания.

10 октября 1908 года его вызвали на допрос уже не в качестве свидетеля, а как предполагаемого соучастника. Он категорически отрицал, что стрелял в Перлова, и Павел Гусев точно следовал его примеру. Но какие-то подозрения у следователя были, и это внушало опасения: ведь за такую гниду, как Перлов, открывался путь на эшафот! Переположились товарищи в корпусе, и Павел Постышев откровенно высказал их мнение:

— Ну и судьи, хуже репья! Полтора года минуло, жив этот пес Перлов, какого еще черта надо?

Между собой долго обсуждали, почему урядник только в последний миг решился назвать Фрунзе. И пришли к единому мнению. Рабочие крепко любили Арсения, и если бы хоть краем уха услышали, что Перлов тащит на казнь их любимца, не сносить бы ему головы. Хитрый урядник решился лишь в тот момент, когда реакция подняла голову; в Шуе и в Иваново-Вознесенске до основания перетряхнули организацию: арестовали партийцев на двух собраниях, разгромили типографию. И вместе с Арсением и Павлом оказались в

подследственном корпусе П. Постышев (Ермак), П. Караваев, И. Уткин (Станко), Андронников (Петр), Сулкин (Виктор), Киселев, Куликов, Родионов, Жуков и другие.

Суд над Фрунзе и Гусевым начался 26 января 1909 года. При закрытых дверях возвестил его начало председатель — генерал-майор Милков. За судейским столом, покрытым зеленым сукном, под большим портретом императора всея Руси, его подпирали: полковник 10-го гренадерского Малороссийского полка Люстров и подполковник 9-го гренадерского Сибирского полка Марков. Обвинял прокурор Забелло. В секретарях состоял статский советник Стронский. Защищали присяжные поверенные Эрн и Шрейдер. Эрн уже был на первом процессе и не сомневался, что генерал Милков со своей компанией не сможет обвинить Фрунзе и Гусева.

Снова были свидетели: Перлов, Быков, Декаполитов; Зотовы, Романовы, Семенова, Солодухин; подключили Худякова и Закорюкина; прибыли из Москвы Михайлов, Пителева и Моравицкая.

Генерал Милков действовал как на плацу, где выстроились штрафники: быстро и грубо. Он пропустил мимо ушей заявление адвоката Шрейдера о том, что он не ознакомился с материалами «дела» и случайно узнал о дне процесса от друзей своего подзащитного Михаила Фрунзе: суд не прислал ему официального извещения; кричал на Василия Быкова, когда тот клялся, что его попутал Перлов; слишком грубо навалился на Закорюкина, когда тот пытался оспаривать утверждение Перлова, что Гусев был в день покушения в черной папаше.

Не придавал он значения показаниям московских свидетелей; почти не слушал возражений подсудимых. Слишком быстро, формально осмотрел с членами суда, прокурором и адвокатами план местности, где стреляли в Перлова, глянул на часы и сказал:

— Господам прокурору и двум защитникам даю сто минут!

Торопился прокурор, торопились адвокаты. Милков выслушал их и объявил:

— Заседание закрывается. Приговор будет объявлен завтра, в десять часов утра...

Старый сутяга генерал Милков просчитался. Думал он, что попала в сети мелкая сошка и покончить с ней надо по давнему солдафонскому правилу: «Ать-два!...» Адвокатов следует припугнуть серьезными обстоятельствами переживаемого момента, и чтоб не болтали лишнего. А такого большевика, как Фрунзе, успевшего в пятиминутной речи заявить, что «революция победит неизбежно», шагом марш... на виселицу!

27 января генерал зачитал приговор. Была в нем ссылка на то, что город Шуя относился в 1907 году к местности, объявленной «на положении усиленной охраны». И при этом Милков выразительно поглядел на Эрна и Шрейдера. И безапелляционно утверждалось, что Фрунзе и Гусев едва не убили урядника, «находившегося по поводу исполнения им обязанностей службы». И что подсудимые преданы военному суду для суждения по законам военного времени. Милков особенно оттенил эту фразу, давая понять всем присутствующим в зале, что милости от такого суда ждать нельзя.

Наконец добрался он до постановочной части приговора. Преступные действия Фрунзе и Гусева предусматривались «пунктом 1-м статьи 18-й приложения 1-го к статье 1-й «Устава о предупреждении и пресечении преступлений» (XIV том «Свода законов», издание 1890 года). Наказание определялось (по статье 279-й XXII параграфа «Свода военных постановлений» 1869 года, издание 3–6-е) «смертной казнью». И... «крестьянина Павла Гусева и мещанина Михаила Фрунзе, — читал генерал Милков, — ...лишить всех прав состояния и каждого подвергнуть смертной казни через повешение...».

Затем было объявлено, что по истечении кассационного срока приговор надлежало представить на усмотрение командующего Московским военным округом.

Адвокаты посоветовались с подсудимыми и получили распоряжение подать немедленно кассационные жалобы.

Суд — «скорый и правый» — свою миссию закончил.

Вначале обуял Фрунзе страх. Но какой-то неосознанный: просто не верилось, что господа военные вынесли решение лишить его жизни.

Когда выводили из суда, охватила его апатия: жизнь так жизнь, смерть так смерть!

Но заложен в человеке удивительный запас прочности. И никогда не покидает его вера в добрый исход! Вели по улице в морозную ночь после крещения: в черном небе мерцали яркие звезды, над горизонтом блестела Венера, долька новой луны золотилась над крышами, убранными серебристым инеем. Поскрипывал снег под тяжелыми ногами конвойных, замирал смех молодой пары на тротуаре, когда она видела зловещий конвой на мостовой. И гремела музыка в трактире, где гуляли обыватели стольного града Владимира, «Черт его знает! Может, это и не конец?» — думал Фрунзе.

С глухим скрипом распахнулись тюремные ворота. Не дали попрощаться с товарищами, провели прямо в контору. Привычно обшарили карманы, заспанный помощник начальника тюрьмы пробубнил, глядя в бумагу: «Лишен всех прав... к смертной казни...», безразлично глянул на Фрунзе:

— Могут и помиловать. Надо просить государя.

— Спасибо за совет! — сказал Фрунзе.

Страшной была первая ночь в камере смертников: пять шагов в длину, три шага в ширину, горькие думы о смерти, невысказанные ассоциации с переживаниями людей в подобной ситуации. Вспомнилась песня: «Нам осталось мало жить, так зачем же плакать?..»

Только под утро, обессилев от страшного дня накануне и кошмарной ночи, забылся Фрунзе. Разбудил его грубый окрик:

— Ишь, разоспался! Давай в кузню!

Но перед тем как вывести из камеры, сорвали снега вольную одежду, обрядили в арестантскую: грубое — из мешковины — белье, полосатый халат и ермолку.

— Хорош! — одобрил надзиратель. — Теперь браслетки наденем, и — хоть под венец!..

В кузнице возле толстого черного чурбана лежали железные кандалы, видать ношенные не одним узником: залохматилось шинельное серое сукно на запястье, отошла ржавчина с цепей от долгого прикосновения рук и одежды.

Кузнец знал свое дело: холодными кольцами охватил ноги выше щиколоток, заставил вывернуть ноги на чурбане, ловко закрепил заклепки.

— А как же раздеваться? — наивно спросил Фрунзе.

— Ты же смертник?

— Да.

— Махни на все рукой! А не помрешь, так привыкнешь: скидывай через кольцо одну штанину, потом — другую. Только резону нет: все равно конец!..

Страшнее, чем первая ночь, были дни ожидания казни. «Это трагические были часы, — вспоминал Фрунзе. — В это время на глазах у всех уводили вешать. От спокойных товарищей услышишь слово: «Прощай, жизнь! Свобода, прощай!» Дальше звон цепей и кандалов делается все тише и тише. Потом заскрипят железные двери тюрьмы, и все стихнет. Сидят ребята и гадают: «Чья же очередь завтра ночью? Вот уж пятого увели!» Слез было немного. Деревянное лицо смертника, стеклянные глаза, слабая поступь — вот и все».

Днем люди отдавались сну. Ночью не смыкали глаз. Иногда делали демонстрацию: пели «Варшавянку», когда уводили на казнь товарища. Фрунзе внушал всем, что надо вести себя достойно и в смертный час:

— Все мы со слабостями, но врагу их показывать нельзя...

Дни проходили. За ними — недели. И уже не было сил жить только ожиданием неминуемой казни.

Ни у кого не было веры, что приговор отменят: слишком одиозной была фигура смертника.

Однако он еще жил, и иногда теплилась надежда на спасение. И существовал страшный до омерзения, но размеренный быт. А он все же лучше, чем веревка на шее. Получить бы каторгу: теперь и она казалась волей.

А на воле надо бороться, и только борьба есть символ жизни!

Так и чередовались мысли: конец — и надежда, надежда — и конец. Государю он не подал прошения о помиловании и адвокату даже запретил заводить речь об этом. И просил передать родным, чтоб царю не кланялись: не снесет он такого позора! Значит, конец!

Оставалось верить в чудо? А хоть бы и в чудо! Но надежду вселил брат: с трудом он добился свидания год назад и клятвенно заверил, что отдаст все силы для его спасения. Есть партия, есть на воле товарищи, отведут они от него руку палача. И это уже не чудо, а реальная надежда!

И Фрунзе начал действовать.

Он вызвал тюремного врача, который пользовал его по поводу воспаления легких и высказал опасение о туберкулезном очаге в правом легком. Они тогда долго беседовали, и врач почувствовал расположение к молодому узнику, который был «комиссаром» у политических.

Теперь Михаил попросил его сделать фотографический снимок для Мавры Ефимовны, сестер и брата. Это было в тот день, когда пришли срывать с него вольную одежду, после первой ночи в камере смертников.

Так появилась любительская карточка: Фрунзе — в деревянном полукресле с подлокотниками на фоне наспех навешенной шторы. Последняя в жизни студенческая тужурка с двумя карманными клапанами на груди; левой рукой захвачена правая, открытое лицо, ясные глаза, и — в них нет страха.

— Зачем тебе? — удивлялись смертники.

— Мама не видела меня четыре года: это ей память о сыне, который не смог стать кормильцем. А покажет людям, так и те будут знать, как умирают большевики!..

Затем он потребовал выдать ему книги, которые были у него до суда.

— Ну и канительный смертник! — удивился начальник тюрьмы. — Неистребимый в нем дух — верит, что отведут петлю от шеи, Скажите ему, чтоб псалтырь читал да богу молился! — Но в последней просьбе отказать не посмел.

Тюремщики принесли кипу книг. Был тут самоучитель английского языка Туссена, «Политическая экономия в связи с финансами» Ходского, «Введение в изучение права и нравственности» Петражицкого, томики Пушкина, Чехова и Льва Толстого.

Он прочитал одним духом маленькую повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». И потрясла его сцена: «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставял, как всегда выставяют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу».

Бил его озноб. Но хотелось думать, что это писано не о нем. И, захлопнув книгу, понял, что — не о нем. Толстой писал не об ужасе смерти, а об ужасе жизни: член судейской палаты Иван Ильич Головин существовал, как и все вокруг него, и только притворялся счастливым. А он — вчерашний Арсений — даже с петлей на шее все еще не терял веры, потому что не похож на тысячи и миллионы таких вот Головиных. И счастье для него сейчас — какая ни на есть борьба жизнь, во имя борьбы за будущее человечества!..

Он боролся, не сдаваясь тоске, преодолевая отчаяние. И это все, что он мог сделать, сидя в кандалах в самом глухом углу Владимирского централа. А за него боролись товарищи на воле. И самым активным связным между ними неожиданно для Михаила оказалась его сестра Люша — наивная и робкая гимназистка из далекого города Верного. Не видала она ни железных дорог, ни обеих российских столиц, ничего не знала о Владимирском центре. Но, прочитав телеграмму от Моравицкой, снеслась она депешей с Константином, получила два-три адреса, отпросилась в отпуск из гимназии и ринулась спасать Михаила с той великой энергией, которую знает только молодость в восемнадцать лет. И добрым словом будет она помянута всеми, кому дорог образ кристального большевика Фрунзе.

Людмила переполошила институтских товарищей брата и все верненское землячество. И студенты добились обращения группы профессоров в защиту осужденного, который мог быть гордостью русской науки по окончании института. Максим Максимович Ковалевский также подписал протест против приговора на имя командующего войсками Московского военного округа.

Владимир Галактионович Короленко не забыл разговора со студентом Фрунзе и напечатал статью в его защиту.

Партия привлекла к «делу» Арсения опытных адвокатов при кассационном рассмотрении его в Главном военном суде. Среди них был и Борис Михайлович Овчинников, известный своими симпатиями к революционно настроенной молодежи. Сам Овчинников оставил несколько строк, из которых видно, какое впечатление произвел на него подзащитный:

«В последний раз, прощаясь с каторжанином Фрунзе в холодных, безнадежных стенах Владимирского централа, я жал руку в кандалах. При новой встрече через десяток лет я пожал руку увенчанного славой полководца революции. И вдруг почувствовал: точно ушли куда-то эти годы, а Фрунзе все тот же. Тот же юный, ласковый взгляд, тот же мягкий застенчивый голос, та же бесконечная скромность...»

Адвокат даже сумел развеселить своего подзащитного. Он показал ему специальный «полицейский» номер журнала «Сатирикон», где было стихотворение Петра Потемкина «Честь» — о шпионе, служившем в охранке:

Была у него любовница,
Мелкая чиновница.
Угощала его по воскресеньям
Пирогам с грибами.
Сравнивала себя с грациями
И завязывала банки с вареньем
Прокламациями...

5 марта 1909 года решением Главного военного суда страшный приговор временного военного окружного суда в городе Владимире был отменен, и «дело» направлено на пересмотр. Генералу Милкову за солдафонское ведение судебного заседания и грубейшие нарушения процессуальных норм был объявлен выговор.

Но Фрунзе ничего не знал об этом: днем он читал книги и учил английский, ночью мучительно прислушивался к шагам конвойных: кого-то уведут на казнь? И страшно было признаться самому: а не его ли очередь?

И вот настало 6 апреля 1909 года, и за железной дверью камеры назвали его имя.

«Мы, смертники, обыкновенно не спали до пяти утра, чутко прислушиваясь к каждому шороху после полуночи, то есть в часы, когда обыкновенно брали кого-нибудь и уводили вешать, — рассказывал об этом Фрунзе. — 6-го апреля 1909 года один из защитников, присяжный поверенный, получил около 12 часов ночи из Москвы телеграмму, что приговор отменен и будет назначен пересмотр дела. Он немедленно отправляется в тюрьму, чтобы сообщить об этом. Приходит надзиратель в камеру и говорит: «Фрунзе, в контору!» Это обычная шаблонная формула, с которой обращались к смертникам, приходя за ними. Конечно, у меня не было ни одной секунды сомнения, что меня ведут на казнь. До того, как позвали, было мучительнее, теперь сама смерть была уже не так страшна. Я великолепно помню это состояние. Выхожу из камеры, кричу: «Товарищи, прощайте! Меня ведут повесить!» Помню невероятный шум тюрьмы. Приходим в тюремную канцелярию. Вдруг подходит адвокат и говорит: «Михаил Васильевич, приговор отменен». Я думаю: «Зачем человек обманывает меня, чего успокаивает? Я вовсе этого не хочу и нисколько этому не верю». Только когда стали снимать с меня кандалы, я понял, что могу еще жить».

С буйной радостью встретили в подследственном корпусе «воскресшего из мертвых» старосту.

Но оснований для веселья было не так уж много.

Правда, подступала весна, и даже в мрачных стенах централа она была лучше сумрачной, снежной зимы. Днем таял снег, дворники по утрам кололи ломами корки льда, намерзшие за ночь; кричали грачи на голых ветвях берез, строя гнезда; лучик солнца повисал в полдень в душном воздухе камеры. Однако волей не пахло. Форточек не было, в спертom воздухе задыхались люди, потерявшие силы за долгую зиму, и поочередно ложились на пол, носом к двери — из-под нее, в узкую щель, тянул все же более свежий дух.

Потом весна кончилась. В дальней дали горизонта зелеными шатрами накрылись деревья. А в центре не было просвета. И 8 июля 1909 года вручили Фрунзе и его товарищам обвинительный акт по делу Иваново-Вознесенского союза РСДРП.

Тридцать восемь человек проходили по процессу: Фрунзе, Гусев, Постышев, Караваяев, Уткин, Жуков, Сулкин... Все они обвинялись в принадлежности к РСДРП, которая ставит целью ниспровержение государственного строя в России путем вооруженного восстания, созыв всенародного Учредительного собрания и образование демократической республики.

В мотивировочной части обвинительного акта шли указания на то, что обвиняемые вели пропаганду среди рабочих Иваново-Вознесенского промышленного района, создавали тайные типографии, созывали митинги рабочих и поддерживали связи с центральными органами партии. Они создавали союзы в среде рабочих и крестьян, чтобы опираться на них в ходе вооруженного восстания. Наконец, они входили в сношения с нижними чинами местных, войск, убеждая их перейти на сторону народа, когда тот возьмется за оружие.

— Молодцы! вспомнили даже, что я перетянул на нашу сторону казаков в Шуе! — сказал Фрунзе. — Готовьтесь к процессу, товарищи! Будьте осторожны и как можно скупее говорите о делах организации!..

Но перевалило нежаркое лето через зенит, миновал яблочный спас, а суда не было: все еще тянулось следствие. И о деле Перлова словно забыли.

Снова пришла зима. И 8 декабря во второй раз вручили обвинительный акт по делу союза.

Ожидание раздражало. Но Фрунзе не сидел сложа руки. Английский язык он освоил и хотел бы воспользоваться мудрым советом древних: «из общеизвестных книг следует читать лишь самые лучшие, а затем только такие, которых почти никто не знает, но авторы их — люди с умом». И мечтал прочитать в подлиннике хоть один из томов Диккенса, но достать не смог.

Очевидцы вспоминают, что вместе со старым революционером, одним из руководителей большевиков в Литве Викентием Семеновичем (Винчасом Симановичем) Мицкевичем — Капсукасом, отбывавшим в те годы наказание во Владимирском центре, Фрунзе образовал тюремную коммуну. Все, что попадало с воли, шло в общий котел: какие-то поступления из денежных фондов Краевого Креста, блины — в троицу, бублики — в ильин день, кусок сала — к рождеству.

Кормили в центре из рук вон плохо. В семь часов утра дежурный из ротских просовывал в форточку жестяной чайник с кипятком и полтора фунта черного хлеба на каждого. Вор сидел на воре в интендантской службе центра, и хлеб был с песком и с мышинным пометом. Пробовали протестовать, объявляли голодовки, но ничто не помогало.

С часу до двух приносили котел баланды. И, как вспоминал Иван Козлов, только по запаху гнилой капусты или по картофельной шелухе определяли узники, что это щи или похлебка. Ели из общего котла, но у каждого была своя деревянная ложка: не разрешалось торопиться и хватать заgrabисто. На второе полагалась каша, овсяная или перловая, обычно без масла. Реже — пшено или гречка. А картофель, даже мороженный, означал в меню великолепный просвет. Но... «в каше крупы было меньше, чем мышинного помета, точно его специально собирали по всему Владимиру».

Мясо держалось в уме — две скотские головы закладывались на шестьсот узников. И Степан Румянцев написал о харчах стихи, когда возникла мысль выпускать рукописный журнал «Искра из тьмы»:

В тюрьме прекрасной нашей
Горьким маслом мажут кашу.
Суп с картошкой гнилою,
Без снетков, зато с водою.

А горох, чернее сажи,
Лишь желудки мажет наши,
А квасок, так тот на диво
В животах бурлит игриво.

Хлеб совсем непропеченный
И песочком прослоенный.
Если суп мясной дают,
Червяки наверх плывут.

В мисках с кашею мокрицы
По краям сидят, как птицы.
Мы щелчками их сбиваем,
Ну, а кашу все ж съедаем.

Много раз протестовали,
Голодовку объявляли.
Но воров ведь не проймешь, —
Так вот, так вот и живешь!..

Стихи Румянцева натолкнули и других на мысль — почаще давать такую хронику тюремной жизни. Павел Постышев предложил выпускать листовку в одну страничку и назвать ее «Подземный гул». И вскоре пошла она гулять по централу: ее передавали в камеры в час обеда. И даже уголовники хватались за нее, как за вестницу борьбы.

Потом стали переписывать по памяти в школьную тетрадь стихи Некрасова и Шевченко. И Фрунзе требовал, чтобы каждый, кто помнил хоть одну строфу, записывал ее непременно.

И постепенно сложился в центре «литературный университет»: им руководили Фрунзе и Мицкевич. Вскоре пропал у товарищей интерес к таким книгам из тюремной библиотеки, как «Графиня Мария Тарская», «Пещера Лехтвейса» и «Разбойник Чуркин». Появились «Мертвые души» Гоголя, «Капитанская дочка» Пушкина и каким-то чудом попавший в тюрьму роман Достоевского «Униженные и оскорбленные».

С людьми, едва освоившими грамоту, занимались диктантом, которого не знала педагогическая наука: один диктовал, другой писал... в уме. Разбирали сообща орфографию отрывка, «расставляли» знаки препинания. А затем давали общественную, политическую оценку вещи.

Товарищи более грамотные пытались писать сами: и стихи и прозу. Фрунзе вскоре отметил оригинальное дарование подольского столяра и краснодеревщика Ивана Андреевича Козлова, которого он ласково называл Иванцом. И во Владимирском центре впервые задумался о своих литературных качествах будущий писатель: он оставил нам такие документальные книги, как «В Крымском подполье» и «Ни время, ни расстояние». Получил добрые советы в тюремном «университете» и ивановский электрик Павел Петрович

Постышев: от него остались автобиографические очерки и рассказы о Талке и о дальневосточных партизанах времен гражданской войны.

Сердечно помогал Фрунзе своему другу Павлу Гусеву и студенту Момулянцу: их вещи переправлялись в рабочие кружки «Ситцевого края». И даже из сибирской ссылки продолжал Фрунзе подбадривать Павла Гусева: писал ему во Владимирский централ, обещал напечатать его рассказы. Но сурово требовал правды, исключительности в духе афоризмов Лихтенберга: «...Писатель, который не может время от времени бросать мысль, способную стать у другого диссертацией, никогда не будет великим писателем».

Павел подавал большие надежды, но туберкулез скошил его в тюрьме в самом расцвете молодых сил...

Долго не удавалось переправлять на волю очерки, рассказы и стихи и получать письма от товарищей. Помогла «невеста» — Марина Прозорова и отличная смекалка краснодеревщика Ивана Козлова.

Фрунзе тогда работал в столярной мастерской, где Козлов был за мастера. Поначалу делали гробы и кресты: при Гудиме и Синайском люди шли на тот свет каждодневно. Потом Синайского убрали, стало тише, и появилась возможность делать по заказу горожан табуретки и цветочные ящики, книжные полки и даже шкафы и письменные столы.

Иванец и Фрунзе стали думать, как использовать мастерскую для связи с волей. Делали тут последний подкоп, но успеха не добились.

Тогда Козлов со столяром Васюком решили изготовить передвижной «почтовый ящик». Для этой цели сделали они портсигар с двойным дном и так увлеклись, что получилась картинная работа: чурбан ясеня, превращенный в сувенирную папиросницу, был изукрашен художественной резьбой изящного рисунка.

Но кто согласится на роль «почтальона»?

У Фрунзе был в «подручных» надзиратель Иван Фирсович Жуков. Он исполнял ранее некоторые поручения по связи с волей. Но так был перепуган Синайским, что наотрез отказался проносить что-либо через ворота.

Стали подбирать к нему «ключ». Тут-то и пригодилась Марина Прозорова: брат ее Федор сидел в подследственном корпусе вместе с Фрунзе и Козловым, и сестренка раз в неделю приходила к нему на свидание.

Федор был здоровенный парень, умница, шутник и балагур — штрафной моряк из бывших владимирских поповичей. Во время обысков в камере он пускался в такие мистификации, что надзиратели замирали, слушая его «баланду». Он очень натурально плел, что у него умерла тетка и оставила в Коломне двадцать тысяч серебром, и каменный домишко о десять комнат, и прибыльный магазин.

И в присутствии надзирателя он советовался с Фрунзе:

— Где бы мне найти хорошего компаньона? Завалиться бы с ним в Коломну, на Оку, хоть бы на один месяц, да так в загул войти, чтоб разлетелись эти двадцать тысяч по ветру. Будь я надзирателем, убежал бы с таким заключенным нынче ночью!

В другой раз плел про адмиральскую дочку Вареньку: красавица, умница! Влюбилась в него, когда он на корабле служил, и грозилась папеньке:

— Не отдашь за Федю — удавлюсь!.. А у папеньки — деньжат куча, и чин огромный. И озолотил бы он любого, кто меня доставил бы к его Вареньке!..

Все это сходило Федору с рук. Больше того, только к нему пускали сестру Марину — девушку рослую и рассудительную, хотя минуло ей лишь пятнадцать лет.

Ей передал Федор портсигар с письмом и сказал, что придет за ним один человек к брату Ивану, и пусть в семье его накормят и дадут рубль.

— Бедняку и рубль — состояние!

А потом выяснилось, что надзиратель Жуков — земляк Прозоровых, из села Лопатинцы, где отец Федора был священником, пока его не лишили сана за неосторожные проповеди. В селе уважали священника: сам он был острый на слово в защиту крестьян;

жена была дочерью ссыльных; сын Иван числился в полиции под надзором; сын Федор — кронштадтский моряк — сидел в центре.

— Будете ходить к Прозоровым, — Фрунзе сказал Жукову.

— К отцу Василию? — даже обрадовался надзиратель.

— И к нему и к его сыну Ивану. — И рассказал про угощение и про деревянный портсигар, внутри которого есть отличный тайник.

Жуков пил водку у Прозоровых, получал свой рубль. И «почта» наладилась.

Но изменить ситуацию она не могла. Подошел февраль 1910 года, во Владимире снова сформировался временный военный суд и начал ускоренно готовить процесс над группой большевиков, которых свезли в централ за два последних года.

Фрунзе дал товарищам напутствие:

— Не признавайтесь, что состоите в партии: у судей против вас только агентурные показания, их надо дезавуировать. Кого-то из вас захватили на собрании — объясняйте, что была вечеринка. Я и адвоката подговорю действовать в таком плане. Сговоритесь получше, чтобы не напутать в показаниях и отвести вину. А уж если припрут, я все возьму на себя!..

Судебное заседание началось 5 февраля 1910 года и закончилось через пять дней. Подсудимые всё отрицали; присяжный поверенный Борис Овчинников всячески старался представить Фрунзе в роли пай-мальчика, случайно вовлеченного в круговорот событий. Очевидцы подтверждают это: «...На самом суде, когда Овчинников вел защиту Арсения... он избрал такой метод: умалить личность Фрунзе... чтобы в глазах суда он был не кем-то выдающимся и опасным, а самым простым, средним человеком...»

Но и адвокат просчитался. И Фрунзе слишком понадеялся на своих товарищей. Под перекрестным огнем прокурора и председателя суда они не всегда находили лучший ответ; к тому же многие из них были взяты с поличным, а до этого состояли под подозрением и саживали в каталажке.

Тогда Фрунзе решил, что настал его час выручать товарищей. Находившийся с ним на скамье подсудимых П. Караваев рассказывал, что Михаил Васильевич «спокойно и уверенно заявил, что является руководящим работником Иваново-Вознесенской партийной организации, что он организовал рабочие массы на борьбу с царизмом и вел подготовку к вооруженному восстанию. Его убежденная речь, вся его фигура производили неизгладимое впечатление даже на сидевших мумиями полковников — членов суда...».

Правда, полковники заслушались — речь была страстная, произносил ее человек, фанатически убежденный в правоте своих идей. Но обвести судей не удалось: каждому они инкриминировали серьезную вину. Фрунзе получил четыре года каторжных работ.

Вскоре выяснилось, что его блестящая речь оказала недобрую услугу. Временный военный суд провел, так сказать, генеральную «репетицию» перед главным процессом, чтобы собрать еще улики против большевику.

Сам Фрунзе уже почти забыл о февральских событиях 1907 года. Но не забыли те, кто решил набросить ему веревку на шею. И 22 сентября 1910 года снова стали слушать дело о покушении на Перлова.

Вместо Милкова председательствовал в военном суде генерал Кошелев. Ошую и одесную располагались два подполковника: из 10-го гренадерского Малороссийского полка — фон Гак, из 9-го гренадерского Сибирского полка — Сотников.

Были те же свидетели. В помощь присяжному поверенному Овчинникову сестры Фрунзе, Людмила и Клавдия, подключили адвоката Якулова. И по их просьбе приехал из Химок доктор Иванов.

Все шло так же, как и полтора года назад. Только случился казус с доктором Ивановым. Он запомнил, какой пациент лежал у Пителевой четыре года назад.

И когда генерал Кошелев спросил его, может ли свидетель указать, кто из подсудимых пользовался его помощью, произошло замешательство. Выручил адвокат Якулов:

— Подзащитный Фрунзе, в зале темно, прошу вас встать!

Фрунзе выдвинулся вперед, и доктор признал его.

— Он самый!

Но ничто не поколебало судей: Михаил Фрунзе и Павел Гусев второй раз были приговорены к смертной казни через повешение.

Людмила на следующий день получила свидание с братом-смертником. Михаил был бледен, мрачен. И апатичен. Он передал сестре фотографию, которую изготовил тюремный врач, и сказал печально:

— Я устал, милая Люша! Не просите царя о помиловании. Поцелуй маму, Клаву, Лиду, Костю. А тебе спасибо, что пришла.

Люша заплакала: облик брата внушал ей опасения. Да и она сама извелась за эти годы, и за двойной решеткой стояла издерганная, похудевшая девушка и нервно теребила носовой платок.

— Миша, ты будешь жить! Клянусь тебе: я все переверну, но вызволю тебя из неволи!

— Верю, верю, милая сестренка! Верю твоим словам, твоим чувствам. Но ведь второй приговор, и — снова смертная казнь!..

Борис Михайлович Овчинников вспоминал об этих днях: «...Фрунзе был душевно нежен, если хотите, женственно тонок, мягок, деликатен... надо было его увидеть... чтобы понять, что в этом образе, в этой личности не было противоречий. Бесстрашное мужество Фрунзе было прежде всего спокойным... Маленький штрих: целых два месяца Фрунзе после второго смертного приговора просидел в камере смертников, ожидая, может быть, при каждом рассвете стука в дверь. Трудно было... передать через эти глухие стены утлую весть надежды и ободрение. И за эти два месяца Фрунзе не поседел, не сошел с ума, а... изучал итальянский язык. Притом с ограниченными пособиями: в камеру разрешили передать две библии — на русском и итальянском языке. Узник загрузил свое время и внимание сложным процессом сравнительного изучения, выводя из «священного текста», при знании уже латинского и французского, грамматические и синтаксические правила итальянского языка вместе с богатым знанием слов...»

Но каждую ночь уводили товарищей на казнь, И когда один из них сошел с ума и три дня рыдал так, что не было места для укрытия, нервы Фрунзе не выдержали.

Сам Михаил Васильевич рассказывал об этом с суровой простотой: «Осталось уже немного времени. Утром, часов около шести, как всегда это делалось в тюрьме, меня должны были повесить. Надежды на отмену приговора не было почти никакой. Бежать невозможно. И немедля, так как время приближалось к роковому концу, я решил хоть под конец уйти из рук палачей. По крайней мере повесить им себя не дам, сам повешусь, пускай найдут труп... И стал готовить из простыни веревку. К моему удовольствию, гвоздь оказался в углу печки, как раз то, что нужно. Но когда я занялся приготовлением веревки, загремел замок».

Это пришел не палач, а вестник жизни — присяжный поверенный Овчинников с сообщением об отмене приговора.

Хлопотали сестры: Людмила и Клавдия, рассылал письма во все концы страны Константин. Действовали партийцы — в либеральной печати этот смертный приговор вызвал возмущение. Заговорили о нем гневно представители большевистской фракции в III Государственной думе. Адвокаты умело использовали обстановку для кассационной жалобы. И командующий войсками Московского военного округа генерал от кавалерии Плеве заменил смертный приговор ссылкой в каторжные работы: Фрунзе — на шесть лет, Гусеву — на восемь лет.

Четыре года каторги уже были по процессу Иваново-Вознесенского союза РСДРП. Приплюсовали шесть по делу Перлова. И Фрунзе получил по совокупности десять лет каторжных работ. Исчислять срок начали с 10 февраля 1910 года.

— Все еще может измениться, Михаил Васильевич, и не придется вам ждать кануна масленой недели в 1920 году! — успокоил его Овчинников.

— Понимаю. Из самого худшего выхода это самый лучший!.. Вы знаете итальянский язык?

— Как у Пушкина в «Борисе Годунове»; смолоду знал, да разучился!

— А то есть хорошая итальянская поговорка: «Mettere la coda dove non va il capo». Просунуть хвост, где голова не лезет! Голову не оторвали, хвост уберем!.. Поживем в кандалах, а там увидим!.. Вам же спасибо за все!..

Пути Фрунзе и адвоката Овчинникова разошлись почти на одиннадцать лет. Своего бывшего защитника Фрунзе вызволил из Крыма, куда тот уехал по семейным обстоятельствам задолго до Великого Октября. И выдал ему «Аттестацию»:

«Дана сия тов. Овчинникову в том, что знал его почти в протяжении 12 лет на поприще юриста-адвоката, с успехом защищавшего в политических процессах обвиняемых царским правительством, в том числе и меня. Считаю, что наибольшую пользу тов. Овчинников может принести Республике лишь при использовании его труда по специальности. А посему всем военным и гражданским учреждениям предлагается бережное отношение к тов. Овчинникову и никаких репрессий и принудительных выселений и работ по отношению к нему не предпринимать.

Командующий всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма и Уполномоченный РВСР М. Фрунзе ».

Выдана эта бумага в Харькове 6 мая 1921 года.

Путь к свободе

Отбывал наказание во Владимирской центральной, в Николаевской центральной и в Александровской центральной (в Сибири) каторжных тюрьмах. В связи с применением скидки вышел на поселение в конце 1914 г. в Верховенский уезд Иркутской губернии. Летом 1915 г. снова был арестован за создание организации. В августе 1915 г. бежал из тюрьмы и работал нелегально в Забайкальской области под фамилией В. Г. Василенко.

В конце 1915 г. совместно с несколькими товарищами создал большой еженедельный орган «Восточное обозрение» и был одним из редакторов его. Будучи обнаружен охранкой и по счастливому случаю спасшись от ареста, бежал в Россию. Под фамилией «Михайлов» попал на Западный фронт во Всероссийский земский союз. Работал здесь над созданием нелегальной революционной организации. К моменту Февральской революции стоял во главе подпольной революционной организации с центром в Минске и имевшей отделения в 10-й и 3-й армиях.

М. Фрунзе

Однообразен, тернист и страшен был путь к воле. Арсений попал во Владимирский централ цветущим юношей — в двадцать два года. Расстался с ним — в двадцать семь лет: с язвой желудка, с туберкулезными очагами в легких.

Он пережил два смертных приговора и в минуту отчаяния в момент аффекта пытался наложить на себя руки.

Бесперывно менялись люди в центре за эти годы. В каторгу и в ссылку разогнали близких товарищей, с которыми судили его за революционную деятельность в «Ситцевом крае». Только Павел Гусев был где-то рядом, в одиночке, в кандалах. И боевик Иван Станко (Уткин). Встреч с ними не бывало даже на прогулке: выводили гулять поодиночке и лишь на двадцать минут в сутки.

Позже других ушел в каторжные работы Викентий Семенович Мицкевич (Капсукас), совершенно обессиленный чахоткой в последний год.

От чахотки недолго угасал на глазах «тюремный соловей», как прозвал его Фрунзе, — цоэт Геворк Момулянц, или Георгий Иванович в кругу, близких друзей.

Он был темпераментным, веселым человеком. И мужественно выдержал смертный приговор за активную деятельность в «Новороссийской республике» 1905 года. Потом этот приговор заменили двенадцатью годами каторги.

Но не прожил он в кандалах и пяти лет. Началась у него скоротечная чахотка. Боясь заразить товарищей, он стал сторониться их, ища одиночества. А когда один из товарищей заболел, Геворк мучительно пережил это известие. И чтобы ликвидировать «очаг» заражения — так написал он в последнем письме, — повесился в камере.

До Фрунзе доходили слухи, что слишком замкнулся и словно одичал в каменном мешке его боевой друг Иван Уткин. Раза два удалось переслать ему записки и немного денег Красного Креста. Потом связь нарушилась. А через полгода пришло известие, что Станко снесли на тюремное кладбище.

В этом «чертовом круге» смертей не составляло труда уронить голову. Но Фрунзе держался: рядом был Иванец — Иван Козлов и была столярная мастерская, где их верстаки стояли рядом. И, работая от зари до зари, могли они откладывать жалкие копейки в предвкушении далекой, как мираж, «вольной» жизни в ссылке без ненавистных кандалов.

Но и здесь подстерегал их удар. Начальник мастерской Лапшин просадил в карты казенные деньги. С перепугу хотел застрелиться в кабинете начальника тюрьмы. Но тот его выручил, чтобы не выносить сора из избы: разрешил покрыть долг за счет денег, заработанных кандалниками.

Это была мерзость, гнусность. Нужен был резкий протест против такого бесчинства. И Фрунзе предложил:

— По священному писанию полагается: око за око, зуб за зуб! Предлагаю объявить забастовку!

Два дня потребовалось ему, чтобы подключить к ней не только политических, но и уголовников. И она началась одновременно и в столярной мастерской, и во всех подсобных цехах Владимирского централа.

Была забастовка «итальянской». И по иронии судьбы совпала с самым разгаром занятий Фрунзе итальянским языком. В его руки только что попала «Божественная комедия» Данте — великое творение последнего поэта средневековья, светлая книга с радостным концом. И по ночам читал он Иванцу музыкальные терцины флорентийца.

Ранним утром выходили на работу беспрекословно. Переносили доски из штабеля к верстакам, разглядывали их, поплевывали на руки, заправляли рубанки; размешивали краску в ведрах, промывали в керосине гвозди. А готовых изделий не выдавали: ни ученических парт, ни тумбочек, ни шкафов. И по другим цехам так: ни метра ткани, ни корзин, ни шляпных коробок.

А какие-то заказы считались срочными. И из-за них начались неприятности у тюремной администрации. Надзиратели бросились искать людей продажных, кто мог бы выдать организаторов волынки. Но таких не оказалось.

Лапшин правильно догадался, что сеять смуту может только Фрунзе, и однажды спросил его без обиняков:

— Чего вы добиваетесь?

Фрунзе молча показал, что у него никак не подгоняются крышки парты.

— Это же игра для маленьких, Фрунзе! Саботаж — дело ваших рук. Так чего же вы хотите?

— Скажу, господин Лапшин. За комплимент — спасибо. Вы человек умный и наблюдательный и, как видно, утратили самую суть. Но мы вас считали человеком порядочным. Уж будьте им до конца и поступайте с нами по-человечески!

Лапшин сделал верный вывод из этого разговора. Забастовка закончилась победой: снова стали начислять каторжникам пять процентов от прибыли и даже повысили расценки.

Фрунзе стал призванным вожаком у всех узников. К нему теперь обращались неграмотные с просьбой написать домой письма. И он писал, всегда что-то добавляя от себя, и это поднимало дух у придавленных тюрьмой товарищей. Рассказывают, что он хорошо научился мастерить деревянные ложки и дарил их тем, кто направлялся в ссылку:

— Возьми, пригодится! И будешь трижды на день вспоминать наше здешнее братство!..

Однако забастовка оставила след, и начальство исподволь стало прижимать политических. Особенно желчным сделался начальник отделения тюрьмы штабс-капитан Козицкий. Он считался самым начитанным среди тюремщиков и раньше терпимо сносил свои поражения в словесных боях с Фрунзе.

Как-то он завел разговор о марксизме и высказал мысль, что марксистских учений столько, сколько их глашатаев. И наверняка не все они требуют жертв.

— Да, господин Козицкий. Глашатаев много, и почти все они не несут никаких жертв, потому что в меру своих сил выбрасывают из марксизма революционное содержание. От того, что человек называет себя марксистом, но не борется за истинные цели Маркса, революционером он не становится. Таким «марксистом» может быть любой недоросль из топкого болота обывателей, пока не перебесится и не сядет толстым задом на теплое местечко. Тогда на смену модному увлечению «марксизмом» придет иная доктрина: спокойствие, тишина и порядок в привычном, застойном быту. И событием для него станет не игра в «идею», а иголка в перине, смерть кошки, неожиданная телеграмма, прохудившийся самовар. И книги Маркса, если вообще их пробовал читать такой человек, уступят место добропорядочным журналам: «Родине» и «Ниве»... Таких «марксистов» хоть пруд пруди! А настоящих марксистов на Руси маловато: я говорю о людях высокой идеи, имеющих одну великую цель — победу социализма! Для таких людей похороны царизма и гибель капитализма не прекраснотушная мечта, а смысл жизни, борьба насмерть в условиях тяжелого повседневного труда, жертв и страданий... Мы не глашатаи марксизма, мы — марксизм в действии. Потому и сидим в вашем центре. И неистребимы, как само учение Маркса, как свет зари человечества!..

Раньше Козицкий кривился после таких речей Фрунзе, которые были больше обращены не к тюремщику, а к товарищам, слушавшим своего вожак с затаенным дыханием, кривился и уходил злой, но на этом все и кончалось. А теперь всякое поражение оборачивалось репрессиями. Он отбирал книги и бумагу, запретил получать даже официозные газеты монархического толка.

Но против тюремщиков безжалостно работало время, и его новые веяния проникали к узникам даже через могучие кирпичные стены «баркаса». Дошел и до них слух, что в Киевском оперном театре эсер Богров прикончил Столыпина, который четыре года силился ликвидировать революционный кризис виселицей, прозванной «стольпинским галстуком». И все чаще докатывались вести о новом подъеме рабочего движения.

Потеряв всякое самообладание, штабс-капитан Козицкий приложил кулак к физиономии одного политического. По почину Фрунзе на этот мордобой ответили в центре всеобщей голодовкой Чайники с кипятком, хлеб, миски с баландой полетели в коридоры. Все в один голос требовали прокурора.

Фрунзе к этому времени самозабвенно увлекся шахматами. И, экономя из своей пайки, сделал из хлеба крохотные фигурки. И с Иванцом бывали у него крепкие сражения. Но в разгар голодовки немоту стали раздражать короли и ферзи, туры, слоны, кони и пешки, слепленные из хлеба. И Фрунзе как-то сказал арестанту, занятому уборкой:

— Возьми, друг, эти фигурки и брось их в отхожее место. А то велик соблазн съесть их...

Прокурор приехал, произвол тюремщиков немного ослаб, голодовка закончилась. Но осталась у Козицкого и его дружков лютая злоба к зачинщику «беспорядков» в центре. И Фрунзе несколько раз попадал в карцер — холодную каменную яму без света и свежего воздуха.

Процесс в легких усилился, появилось кровохарканье. Фрунзе запросил брата Константина — как быть, как держаться?

В Пишпеке тяжело пережили это известие, и Людмиле поручили хлопотать о переводе Михаила в одну из южных тюрем.

Был централ в Орле, был в Николаеве. Родные не знали, что порядки там не лучше, чем в центре Владимирском. Но полагали, что в условиях юга легче остановить наступление

страшной болезни. Тюремное управление несколько месяцев тянуло с переводом. Наконец дало согласие перевести Фрунзе в николаевскую каторжную тюрьму.

Владимирские тюремщики вздохнули с облегчением — у них забирали ненавистного узника, который за пять долгих лет не склонил головы.

А Козицкий не скрывал радости: упрячут Фрунзе в такое место, откуда живым не выйдешь!

В Николаевский централ набивали до пятисот человек, а вымирало ежегодно больше сотни. И такая чудовищная статистика только поднимала в глазах начальства авторитет главного николаевского тюремщика Колченко — хама высшей статьи и солдафона без меры.

4 июня 1912 года Михаил Фрунзе, покинув Владимирский централ и проведя три ночи в бутырском бедламе, был сдан под расписку николаевским тюремщикам.

Началась последняя полоса жизни в кандалах. И продолжалась она ровно два года.

К сожалению, слишком мало свидетельств осталось о пребывании Фрунзе в Николаевском центре: сам он никогда не писал об этом, близких друзей рядом с ним не было.

Обычно во главе крупных тюрем стояли полковники полицейской или жандармской службы. Хозяином «николаевской могилы» был подпоручик Колченко. Для него такое амплуа считалось венцом служебной карьеры. Человек трусливый и жадный, хорошо обеспеченный жалованьем, квартирой и казенным выездом, он ревностно оправдывал доверие властей, держась единственного правила:

— Опасных для царя и отечества преступников из централа живыми не выпускать!

Каторжные работы исполнялись в центре по самым жестким инструкциям. Узников обычно не водили в подсобные цехи, а заставляли работать в камерах — молча и при закрытых окнах.

На целый год тюремщики взяли подряд — чинить мешки из-под муки. Их навалом затаскивали в камеры, горой складывали на полу. И оттого, что шевелили их весь долгий день, клубилась густая пыль, оседающая на койки узников. И люди, седые от муки, от зари до зари дышали этой пылью, а ночью тыкались в нее носом на подушке из опилок.

Но еще страшнее был другой подряд — делать паклю из старых морских канатов. Кандальники отупело скубили — раздирали и щипали — отслужившие срок задубелые и изъеденные солью канаты. Рыжая пыль с ворсом накапливалась в легких. А гулять полагалось двадцать минут в сутки — по кругу в тюремном дворе: гуськом и молча. За всякое нарушение Колченко немедленно предписывал розги — пятьдесят горячих ниже спины — или каменный мешок карцера в холодной яме подвала. Там негде было спать, и голодные крысы просто вырывали из рук кусок хлеба, когда узник валялся на полу»

Политические, даже задавленные каторжной работой, старались не потерять лица и кое-как держались, чувствуя локоть товарища. А уголовники, начисто изолированные от них, были почти сплошь продажные и фискалили напропалую, лишь бы получить хоть самое малое послабление.

Время же было такое, что подпоручику Колченко приходилось задумываться о бренности всех жандармских благ. На Ленских золотых приисках расстреляли рабочих 4 апреля, и это изуверство дорого обошлось властям: по всей стране прокатилась волна забастовок. В Праге незадолго до этого состоялась очень важная конференция РСДРП под руководством Ленина. Большевики изгнали из партии меньшевиков-ликвидаторов, создали свою партию и нацелили рабочих на борьбу за диктатуру пролетариата. 22 апреля легально вышел в Питере первый номер большевистской газеты «Правда». Только ограниченные люди не могли видеть, как снова поднимает голову революция. А Колченко не был кретином, но видел спасение только в репрессиях.

Михаила Фрунзе представлял начальнику еще более мерзкий служака — старший надзиратель Коробко — дуб, изверг и взяточник. Этот не верил ни в сон, ни в чох, ни в божью благодать. И часто сам порол арестантов: обстоятельно, с наслаждением. Он держал в

камерах «штат» наушников и обходился очень малым запасом слов, потому что ловко — до омерзения — пользовался рукоприкладством.

С первых же шагов Коробко дал понять Фрунзе, что их тюрьма действительно «могила». И когда вел его к начальнику, издевательски подтрунивал, что новый узник путается в кандалах. И больно подталкивал в спину ножами шашки.

Коробко завел Фрунзе в одиночку, велел раздеться. Обшарил все швы, нашел полтинник. Сунул в карман. Ушел. И больше часа не приносил белье и робу с ермолкой и ботами. Благо, было лето. Но узника все равно пробрало до костей.

Эффект был сильный. Однако Фрунзе не проронил ни слова. Он все это воспринял как должное и сделал для себя выводы: держаться смело, гордо — и молчать; быстро найти товарищей и думать с ними о побеге.

Правда, централ стоял на «сложном» месте: в излучине реки, почти на острове, и по пути к городу надо было миновать перешеек и мост. Но ведь бегали и не из таких тюрем? Все дело решают люди!

Вскоре Фрунзе получил к ним доступ. С ними он чинил мешки и скубал старые канаты; с ними работал в столярной мастерской и таскал кипы полотна весом в шесть пудов со двора на пятый этаж, пока не потерял сознания. С ними стал работать и в слесарной мастерской. Сам он сообщал в одном из писем: «...Я ведь чем-чем только не был на каторге. Начал свою рабочую карьеру в качестве столяра, был затем садовником, огородником, а в настоящее время занимаюсь починкой водопроводов, сигнализации и, кроме того, делаю ведра, кастрюли, чиню самовары и пр. Как видите, обладаю целым ворохом ремесленных знаний...»

С хорошими людьми он сошелся в первые же недели. И товарищи, не сговариваясь, признали его своим старостой. Об этом рассказал один из заключенных, хорошо знавший шуйского большевика: «Фрунзе отдавал все, что получал из дому, и не интересовался, как и на что расходовались его деньги... Слишком общительный он был человек. Для него все были равны: и эллин, и иудей, рабочий и крестьянин, даже уголовный, лишь бы он был с мозгами и не несло от него мертвечиной... Удивительная способность сразу понимать человека, его интересы и стремления, простой, толковый язык, всегда дельный совет — все это создало ему огромную популярность, и каждый встречавшийся с ним считал его своим...»

Что еще отмечали товарищи в новом узнике? Даже администрации он сумел внушить к себе уважение: Коробко хоть и язвил и обещал всякие пакости, но шашкой в бок уже не тыкал. Голова была свежая, память отличная, и «к нему обращались, как к энциклопедии». Немало поражала товарищей его способность читать в немыслимых условиях «книги серьезного характера. Особенно всякого рода философские сочинения. Читаешь такую толстенную книгу неделю-другую: слов много, а смысла, сути книги никак не поймешь. Фрунзе книгу эту полистает день, много два, и готово: разжует тебе и в рот положит, да заодно и объяснит, что в ней есть дельного...».

С большой задумкой приступил Фрунзе к плану побега: по этапам, тщательно взвешивая каждый шаг, подробно изучал обстановку, повадки надзирателей. Надежды на подкуп было мало. Но в любом случае требовались большие деньги и крепкая поддержка с воли.

Фрунзе убедился, что начинать надо со связи с городской организацией большевиков. И единственным человеком, пригодным для этой цели, казался тюремный регент, он же библиотекарь и пономарь. Жил он в городе, к заключенным относился с сочувствием. Надо было сблизиться с ним и перетянуть его на свою сторону.

Ход нашли такой: создали хор, чтобы получить доступ к регенту в тюремной церквушке. И после пятой спевки Фрунзе умело позондировал почву. Регент не дал категорического отказа, но и с добрым ответом тянул так долго, что время было упущено.

Никаких оснований не имелось, чтобы обвинить его в доносе по начальству. Но, видимо, кто-то шепнул Колченко, что Фрунзе сблизился с регентом и ведет с ним тайные

беседы. А это вызвало подозрения, и всех товарищей, занятых подготовкой побега, изолировали от Фрунзе, рассадив по разным камерам.

Беглецы впали в отчаяние и неосторожно собрались в уборной при мастерских, чтобы обсудить положение. Вездесущий Коробко услышал краем уха какие-то непотребные слова. И вся группа получила пять суток карцера.

Сохранился страшный рассказ заключенного, который провел эти дни вместе с Фрунзе:

«Я давно не сидел в карцере, а Миша, кажется, попал туда в первый раз... Всех нас, пятерых, погнали вниз по лесенке в подвал, наподдавая ниже спины коленом, чтоб летели прямо через три ступеньки.

Добрались до преисподней: темный коридорчик, в нем горела коптилка, в стене виднелись маленькие железные дверки камер.

— Свободные номера есть? — спросил Коробко.

— Один есть, — ответил часовой.

— Вали всех вместе, веселей будет!

Здесь никаких разговоров и протестов быть не может, иначе сейчас же начнут бить. Снова процедура обыска, ремни снимают. Затем открывается дверка, и мы влезаем в могилу. И при открытой двери ничего не видно, а что же будет, когда закроют? Ну вот и закрыли. Стоим в темноте, молчим. Все ошеломлены... Слушаем удаляющиеся шаги. Наконец все стихло.

— Нечего тут обследовать, — слышится угрюмый голос, — протяни руку, и все обследуешь.

И действительно, ширину достанешь раскинутыми руками, высоту тоже, только в длину на пол-аршина больше. Настоящий цементный склепик, да и то на небольшого покойника. На все стены имеется, за исключением двери, одна квадратная дырка. Она предназначена для обмена воздуха. Немного, однако, полагалось заключенному воздуха. Ну да ведь наказанным лишением света, пищи, движения можно и воздух сократить тоже... Ну что там воздух? Воздух как в карцере! Нет, кажется, щели, но, оказывается, в карцер проникли крысы, приходившие воровать наш хлеб! Ах, беда с этим хлебом! Раз в сутки, утром, заходит «проверка». При этом приносится уменьшенный паек хлеба и воды. Воды попей сейчас же, а потом, если захочешь, попьешь завтра, в это же время. Хлеб же держи в руках или где хочешь. Впрочем, можно съесть и весь сразу, что многие и делали. Но опытный заключенный, который не хочет околеть раньше времени, хлеб сразу не ест. Он положит его в шапку, а шапку под мышку. Так и держит. Да и почему не держать? Ведь делать-то все равно нечего, а зато хлеб я ем четыре раза в день, начиная с самого невкусного низа с золой и угольками. А самое главное, я его съем сам, а не крысы.

— Ах, черт возьми, как темно! Эта темнота карцера противоречит всем учебникам физики. Ведь каждый школьник знает, что в самом темном погребе, когда посидишь пятьдесят минут, уже можно различить предметы. А мы здесь больше часу, я ничего не вижу, абсолютно, — говорит кто-то.

— То в погребе, а то в карцере. Здесь просидишь пятьдесят суток и все равно ничего не увидишь.

Подождите, — говорю я, — вот на вторые сутки обязательно свет увидим.

Действительно, странная штука... И с каждым человеком это бывает по-разному. Обыкновенно начинается так. Прикорнешь тихонько, о чем-нибудь задумаешься и вот начинаешь замечать свет, странный такой и неясный красноватый свет, идущий из-за стены. Впечатление такое, будто сидишь в длинной-длинной галерее, а в конце ее, сзади тебя, светит фонарь. Внезапно рождается такая тоска по свету, что невольно быстро оглянешься. Иллюзия сразу исчезает. Но световой мираж не радуется и не успокаивает, а как-то тоскливо раздражает. Другим мерещится щелка в дверях. И они ее видят днем и ночью... А время тянется, тянется без конца. Однако все на свете кончается. Кончились, наконец, и пять суток. Ах, черт, сейчас пойдем в камеру и покурим; да, покурим и свет увидим.

Но свет, оказывается, вовсе не так уж приятен: он режет глаза, в голове шум, на ходу мы качаемся, как пьяные. Но рады свету, как жизни, как свободе. С глазами Миши, однако, плохо... От тяжелого спертого воздуха в карцере, скудного питания, от пыли его глаза заболели. Трудно читать, по утрам особенно режет. Вливаем капельки, а толку мало. Но время идет, а главное — бежать уже нет возможности...»

Словом, к язве желудка и туберкулезным очагам в легких прибавилась болезнь глаз. Фельдшер не помог. И даже изувер Коробко согласился перевести Фрунзе на работы в огороде.

Трудно было, и в одном из писем он сообщал: «На мне возят воду. Чувствую себя очень слабым». Но организм был могучий, и уже первый месяц работы на свежем воздухе дал благоприятный результат: перестали слезиться глаза, меньше стал душить по ночам сухой кашель.

Он снова жадно накинулся на книги. И — на газеты, которые раз в две-три недели просто чудом проникали в камеры.

Иногда газеты были старые, иногда махрово черносотенные. Но и в них между строк прорывались вести о ростках новой жизни.

Так он с большим запозданием узнал, что Амундсен достиг Южного полюса, а экспедиция Седова ушла в северные широты; что Франция и Испания завершили раздел Марокко и уже закончилась Триполитанская война между Италией и Турцией. Что открылась в Таврическом дворце IV Государственная дума и отгремело в Киеве «дело Бейлиса».

«Пришлите письмо с нарочным, — просил Фрунзе старых друзей. — Хочется узнать о действительной жизни... Судя по лицу даже тюремной стражи, вижу, что на воле повеяло новыми веяниями, по солнцу вижу перемену жизни. Надо переносить все до конца...»

В конце лета 1913 года убрали из Николаевского централа ненавистного Колченко. Пришел Заваришин.

Режим стал мягче; редко применялись порки, чаще пустовал карцер, гулять разрешали полчаса. И поползли слухи, что в связи с трехсотлетием дома Романовых можно ожидать какой-то перемены судьбы.

Слухи подтвердились в самом начале 1914 года; неожиданно явился Коробко с гербовой бумагой в руке и сообщил, что каторжные работы заменены вечным поселением в Сибири. И добавил без всякой радости: — Вырвался живой, ну, твое счастье!.. И в Сибири люди живут! Главное — не в кандалах и все же на воле; а из любой ссылки и убежать можно!

Так подбадривал себя Фрунзе, ожидая, когда же распахнутся железные ворота централа. И он пройдет по улицам города не в тяжелых кандалных путах, а свободным шагом. Пусть будут конвойные рядом, пусть мелькают на просторах Руси пересыльные тюрьмы и пусть вонючий вагон с решетками на узких окнах тащится на Восток. Но ведь «Всюду жизнь» — вспомнил он картину Ярошенко. Скорее бы, скорее!

Но в центре не торопились. «Боже, как медленно тянется время! — писал Михаил сестре Людмиле. — Я все еще не верю, что скоро буду на воле...»

В другом письме — последнем с каторги — снова этот же мотив о желанной воле:

«Знаете, я до сих пор как-то не верю, что скоро буду на свободе. Ведь больше 7 лет провел в неволе и как-то совсем разучился представлять себя на воле. Это мне кажется чем-то невозможным. Я страшно рад, что к моменту освобождения не превратился в развалину. Правда, временами хвораю и даже сильно, но теперь в общем и целом чувствую себя совершенно здоровым. Одно меня удручает — это глаза. Болят уже более 4 лет. Неужели же не вылечу их на воле? Сейчас все время ощущаю прилив энергии. Тороплюсь использовать это время в самых разнообразных отношениях...»

В этом же письме он намекал и о своих планах бороться за подлинную свободу, не ограничиваясь ссылкой «волей» далеко за Уралом:

«Итак, скоро буду в Сибири. Там, по всей вероятности, ждать долго не буду. Не можете ли... позондировать почву, не могу ли я рассчитывать на поддержку... в случае отъезда из Сибири. Нужен будет паспорт и некоторая сумма денег...»

И, как в Питере, после Кровавого воскресенья, когда он писал Мавре Ефимовне, что «жребий брошен, Рубикон перейден, дорога определилась», так и теперь путь был ясен. «Ох, боже мой! — писал он. — Знаете, у меня есть старуха мать, есть брат и 3 сестры, которые мое предстоящее освобождение тоже связывают с целым рядом проектов, а я... А я, кажется, всех их обману...»

Да, пролетарский революционер не был сломлен! Ему минуло двадцать девять, четвертую часть всей жизни взяла каторга. Мяли его, били, увечили, стараясь превратить в послушного каторжанина. А он не сдался. Еще не зажили кандалные раны на ногах, а мысль уже уносила его на крыльях в ряды верных боевых товарищей по классу.

6 апреля 1944 года распахнулись, наконец, тяжелые ворота Николаевского централа, и с двумя конвойными по бокам пошел Михаил Фрунзе к вокзалу, щурясь от Яркого весеннего солнца и ослепительных бликов на просторном Ингуле.

Около трех недель добирались этапным порядком до Красноярска, «погостив» шесть дней в пересыльной камере Бутырской тюрьмы, где формировалась очередная партия ссыльных.

Чем дальше на восток, тем неохотнее отступала зима, и за Уралом потянулись степные просторы, заснеженные до горизонта. Добрым словом поминал Фрунзе товарищей из Николаевского централа, которые собирали его в дальний путь. Они снабдили его сухарями, дали в дорогу бельишко. И тайком от него купили в складчину экипировку: пиджак, штаны, сапоги, рубаху и кепку. На пальто же денег не набралось, и уже в Москве, и особенно в Сибири, по ночам крепко прохватывал его холодок. Скрашивали путь только суворинские газеты на крупных станциях: за ними бегали конвойные по его просьбе.

В те годы, когда проходил через тюрьмы Фрунзе, народу там содержалось больше полумиллиона. И в Красноярске и в Иркутске еле успевали сортировать узников по отдаленным и малодоступным уездам.

Михаил Васильевич прежде всего почувствовал нетерпение и опасение узников. «Куда вышлют, скоро ли?» — это слова не сходили с уст.

Так прошло три недели. Наконец погрузили людей в арестантский вагон и потащили к Иркутску.

По дороге Фрунзе сдружился с Иосифом Гамбургом, и они договорились держаться вместе. Гамбург окончил срок каторги в Шлиссельбургской крепости, где он сидел обочь со старым большевиком Федором Петровым, тяжело раненным в 1905 году в дни восстания саперов в Киеве.

Гамбург оказался человеком живым: он очень интересовался историей сибирской ссылки, географией неизведанного Прибайкалья и хотел поселиться где-нибудь возле большой реки, потому что «вода — краса всей природы», как говорил до него С. Т. Аксаков.

16 мая 1914 года Фрунзе получил направление в Ичерскую волость Киренского уезда. И через три недели с группой ссыльных отправился в последний пункт этапа — в знаменитый Александровский централ: семьдесят верст надо было пройти за два дневных перегона. Конвойные, опасаясь бегства узников в тайгу, которая подступала с обеих сторон тракта, не позволяли останавливаться и прикладами подгоняли уставших людей.

Серая масса — человек двести — двигалась при солнцепеке, едва переставляя ноги. Но все же до централа добрались все, и Фрунзе очутился в допотопной камере: грязь, клопы, отвратительные харчи. И в одной группе с уголовниками. С ними у политических возникали споры и драки. И все могло бы кончиться несусветным скандалом. Но победили хладнокровие и находчивость Фрунзе. Он понимал, что дело вовсе не во вражде между двумя лагерями, а в томительном безделье и удручающей неизвестности. Ведь и сам он

третий месяц на этапной дороге, а конца не видать. Но не драться же из-за этого с людьми, у которых тоже нет просвета.

И он как-то сказал, когда вся камера затихла над мисками с баландой:

— Думайте о чем угодно, хоть о побеге, но не о драке. И имейте в виду, что «политики» — большие мастера делать такую «темную», после которой и не дотянешь ноги до места ссылки.

И уголовники заметно угомонились.

Мысль о побеге увлекла всех. Одни предлагали напасть на стражу, захватить оружие и разбежаться по тайге, пока не подступила осень. Другие тянули в Китай, третьи — в Персию: печатать там воззвания к русским людям и пересылать оружие боевикам.

Но все карты спутал выстрел студента Г. Принципа в далеком Сараеве, на Балканах, где давно был заложен европейский «пороховой погреб». Австрийский наследник престола у старого Франца-Иосифа, царствовавшего целую вечность — с 1848 года! — эрцгерцог Франц-Фердинанд вместе с женой был убит этим выстрелом 15 июня 1914 года после встречи с германским императором Вильгельмом Вторым. И тотчас же началась мировая война.

Кто-то пустил слух, что придется зимовать в Александровском центральном: конвойных угонят на фронт, некому будет сопровождать ссыльных к местам поселения.

Кинулись к начальнику тюрьмы. Тот подтвердил, что слух обоснован: отправка начнется не раньше весны, так как новый конвой прибывает в октябре, а осенью и зимой передвижения ссыльных запрещены.

Фрунзе получил от товарищей полномочия требовать отправки немедленно.

— Люди не намерены сидеть в вашем клоповнике девять месяцев. Соблаговолите отправить их немедленно, иначе они объявят голодовку.

У начальства не нашлось положительного ответа, и шестьдесят политических отказались от приема пищи. А на четвертый день пришла телеграмма от иркутского губернатора: срочно расселить смутьянов по ближайшим уездам.

Фрунзе — с Иосифом Гамбургом и небольшой группой товарищей — получил направление в село Манзурку Верхоленского уезда: в 180 километрах от губернского центра на тракте Иркутск — Жигалово на реке Лене.

15 сентября 1914 года ссыльные двинулись пешком до последнего этапного пункта в селе Оёк. Там расстались с конвоем и на обычных двуколках при одном сотском с берданкой поехали дальше.

За Оёком, на первой ночевке, местные ссыльные устроили новым поселенцам великий той: яичница-верещага с салом и неохватный самовар. Фрунзе был в восторге: и от милых лиц, и от сытной еды, и от самовара, к которому был равнодушен с малых лет. Всего этого он не видел больше восьми годов. И расшалился, как подросток: брэнчал на гитаре, пел песни и готов был пуститься в пляс. И, словно в угаре, рассказывал кое-что из своих каторжных дет, пока у хозяйки не набежали на глаза слезы...

Пять суток добирались до Манзурки. И наконец, началась «воля»: ходи по селу без провожатых, заваливайся в тайгу, где в небо упираются пожелтевшие от первых утренников стройные лиственницы; слушай цокот белки или треск крыльев поднявшегося из-под ног глухаря. Подсвистывай рябчику и улюлюкай зайчишке, полетевшему стрелой из-за мохнатой кочки!

Заходи в любой дом, говори с людьми. И — читай, читай все, что пока попадает под руку.

Да «воля» есть воля! Смотри на солнце, дыши живительным воздухом. Набирайся сил для новой борьбы. И... никогда не забывай о побеге!..

Большое старинное село Манзурка было раскинуто среди озер, рядом с тайгой. Домов двести пятьдесят — крепких, теплых, из сосны или лиственницы, с крытыми дворами, где и в суровые зимы хорошо держать скотину. С зимнего первопутка оставались в селе женщины,

дети и подростки; мужики занимались прибыльным извозом — доставляли на санях грузы из Иркутска к пристани Жигалово, откуда они шли весной по многоводной Лене к золотым приискам.

На озерах стояли в камышах шитики и долбленки — в досужие дни ранней осени люди рыбачили, и охотились, и возили из тайги заготовки для хозяйственных поделок, мох и ягоды.

Верст сто считалось по прямой до Приморского хребта на западном берегу Байкала: там, неподалеку, лежал в озере полумесяцем воспетый в песнях беглых каторжан остров Ольхон. Верстах в шестидесяти на север было селение Качуг, там пролегала река Лена, еще мелкая и узкая в своем верховье.

А чуть ниже стоял на ее высоком правом берегу уездный город Верхолениск, и против него высилась — на версту с гаком — длинная полоса Прибайкальского горного отложья.

Михаил Васильевич пробыл в Манзурке меньше года, но до наших дней осталась о нем светлая память. Создан домик-музей — три комнаты с экспонатами: старые фотографии, некоторые личные вещи Фрунзе, документы, кандалы. И в воспоминаниях старожилов хранится образ обаятельного человека, расшевелившего местную молодежь и сблизившего ее с колонией политических.

Журналист Л. Шинкарев, совершая переход по Лене на баркасе, разыскал недавно людей, которые общались с Фрунзе.

— Фрунзе поначалу жил у Шошиных, у мово свекра, — рассказывала ему Ефимия Андреевна Шошина. — Ну был столяр! Ни минуты не сидел без дела. Ставни, наличники, подоконники — чистая его работа.

И помаленьку стала вспоминать, где и когда увидела Фрунзе и какой след он оставил в ее жизни.

— Повстречалась с ним у волостного писаря. Мне в ту пору шел восемнадцатый, и у писаря я жила в служанках. Фрунзе мебель ему делал. Бывало, увидит меня и спросит: «Вы почему не учитесь, Ефимия Андреевна?» Так и величал, право слово! Захотелось постирать ему костюм, а он все отнекивался. Дескать, сам умею. Ну, я упростила, постирала, погладила. Так он мне после этого трешницу дал. Я на радостях купила враз два ситцевых платья... На судьбу мне жаловаться грех. Вышла замуж за Павла Шошина, сына квартирной хозяйки Фрунзе. Тот ситчик и был моим приданым. Родила десятерых. Старшего сына мы с Павлом так и назвали — Михаилом...

В разговор вступил старик Семен Рябин:

— Где музей, там был дом Аграфены Ивановны Рогалевой. Туда переехал Фрунзе от Шошиных. Мы собирались там, манзурские парни, слушали про царский суд, как их судили, политических. У них была в Манзурке своя коммуна, общая столовая, а когда в хор они объединились да позвали нас петь, многие к ним потянулись. А я кто тогда был? Работник у богатеев Крапивинных... Политики были вроде как школой для меня. В гражданскую я уже нисколько не сомневался, воевал на Байкале за Советскую власть...

Селения от Иркутска до Киренска и Олекминска давно были местами ссылки. Перед тем как убежать Фрунзе, провезли через Манзурку Валерьяна Куйбышева, и они познакомились, чтобы позднее стать друзьями. Чуть раньше жил в Верхолениске Феликс Дзержинский. Он пытался бежать на лодчонке в туманную осеннюю ночь и едва не утонул на Лене: его спасли верхолениские мужики, когда он поднял крик.

В Верхолениске, на берегу ручья, где сейчас лежит упавшая от бурелома вековая сосна, в 1898 году застрелился Николай Евграфович Федосеев.

Он горячо любил свою ученицу Марию Гопфенхаузен — девушку милую, очень стойкую. Их разлучили: она отправилась в ссылку в Архангельскую губернию, он — в Восточную Сибирь.

В тот самый день, когда застрелился Федосеев, в Верхолениское полицейское управление пришло извещение, что его невесте разрешено переехать в Верхолениск и вступить с ним в брак.

Мария получила телеграмму о гибели Николая, когда уже собиралась в дальний путь. Она не пережила потери любимого человека и... застрелилась. «Ужасно это трагическая история!» — писал потрясенный Ленин.

Хорошее село Манзурка, и люди в нем добрые. И «воля» — лучше Николаевского центра. А надо жить в условиях суровой зимы и думать об устройстве быта.

22 сентября 1914 года, осмотревшись на месте, Фрунзе написал матери и сестрам в Пишпек:

«Вот я и на свободе. Еще вчера прибыл в Манзурку и с тех пор уже обретаюсь без всяких провожатых и надсмотрщиков... Сейчас приходится думать лишь о том, как бы устроиться. У меня в данный момент нет ни денег, ни одежды. Прежде всего надо одеться. Из казенного у меня имеется лишь халат, да и тот никуда не годный. Если вы не выслали мне белья и одежды, то сделайте это немедленно. Тут пока стоит хотя и холодная, но чудная осенняя погода, которая скоро перейдет в зиму, и тогда без теплой одежды хоть пропадай... Заработка я тут найти не могу. Я чувствую себя довольно плохо. Какая досада, что у меня нет ружья! Тут прекраснейшая охота, живописная местность. Будь хоть немного средств, я бы живо стал молодцом. Напишите Косте, чтоб он прислал мне на время свое ружье (на зиму). Я бы тут с одним товарищем взялся бы тогда за составление зоологической коллекции, что дало бы порядочный заработок. Сейчас завожу знакомства, хочу попасть как-нибудь в Бурятский улус обучать ребятишек. Пока же думаю столярничать, опять же дело в том, что нет денег на инструмент...»

В партии, с которой прибыл Фрунзе в Манзурку, было больше двадцати человек. Но такие, как Иосиф Гамбург, братья Корнильевы — Андриан и Яков, Алексей Макушин, Иван Машицкий и Гуго Рейман, обнищали за дорогу хуже церковной крысы. И у других было небогато.

Вдруг поступило сто рублей в адрес Александра Зданкевича, и вскоре Михаил получил от брата Кости тульскую императорскую двустволку с ящиком патронов.

— Мы, Александр, богатейшие люди в колонии, — сказал Фрунзе Зданкевичу. — Ваша катеринка, мой охотничий промысел: вот и база для коммуны. Все поступления для товарищей пойдут в общий котел. В столовой коммуны подкормим ослабевших. И они при случае не оставят нас в беде!

Зданкевич согласился, Фрунзе принес с охоты четырех зайцев. И коммуна стала жить.

Но катеринка оказалась не вечной и не походила на «неразменный рубль» из сказки; в пургу не была добычливой охота. Надо было думать о заработке.

И возник план — чего только не придумаешь на досуге! — всей коммуной навалиться на заготовку и продажу дров.

Одолжили у местных крестьян топоры и пилы и двинулись в тайгу. Впроголодь жили у камелька в пустовавшей заимке, но работали с огоньком. И сосен повалили много. Но покупатель попался слабый: меньшую часть он вывез, от большей отказался. И коммунары поняли, что попали впросак.

Фрунзе, неистощимый на выдумки, предложил создать столярную мастерскую. И взялся обучать товарищей, как во Владимирском центре учил его Иванец — Козлов. Но взял по рукам инструмент. И появился второй план: съездить за топорами, пилами и рубанками в Иркутск.

Самовольная отлучка из Манзурки могла обернуться бедой: арестом или отправкой в места более отдаленные. Но Фрунзе рискнул: сговорился с возчиками; они доставили его с товарищем «в губернию» и через пять дней привезли обратно. Вернее сказать, привезли инструмент. А Фрунзе и его приятель, в негодной одежке, почти всю дорогу бежали за санями.

В Иркутске повезло: Михаил встретил своего товарища по владимирской каторге А. Скобенникова. Тот помог собрать денег для закупки инструментов. Осталось рублей пять-шесть: их пустили на елочные украшения.

И новый, 1915 год встретили радостно: горели свечи на пахучей елке, блистали стеклянные игрушки, золотилась канитель; манзурские парни и девчата водили хоровод, горланили песни. Кто-то приволок ароматную медовуху — дым шел коромыслом! И эта придумка Фрунзе как-то сразу сблизила ссыльных с местной молодежью.

Запахло свежей стружкой в столярной мастерской, о которой вспоминала Ефимия Шошина. Коммунары делали пчелиные домики для опытного агрономического поля, сбивали столы, табуретки, оконные рамы, наличники. И гробы делали и кресты — словом, все, на что был спрос.

С легкой руки Фрунзе Манзурка обновилась заметно. И упал спрос на поделки. В мастерской осталось четыре человека, другие получили разрешение проживать в соседних деревнях, где создали группы учеников из детей местных крестьян. Там и кормились, иной раз как общественные пастухи: на временном постое, каждый день в новой хате. И получали еще наличными десять рублей в месяц.

Но не единым хлебом жив человек! И когда устроились с жильем и с питанием, развернули в селе общественную деятельность. Фрунзе задавал тон: споры с эсерами и с меньшевиками о тактике борьбы с царизмом, о судьбах деревни, о призвании интеллигенции. И о войне. Тут дело доходило почти до рукопашных боев, потому что среди ссыльных были оборонцы, проповедники победоносной войны над германцами.

По-человечески, по-мужски Фрунзе иногда думал, что надо бы двинуть пруссакам в сытую рожу: уж очень беспардонно громили они русские армии, особенно в Прибалтийском крае. Но это была дань патриотическому угару и малой осведомленности об истинных причинах войны.

В письме во Владимир своему товарищу Ивану Петрову от 25 января 1915 года Фрунзе уже явный пораженец. Разумеется, по соображениям цензуры он не мог заявить открыто, что эта война противна интересам народа и победа в ней будет лишь на руку самодержавию. Но между строк эта мысль угадывается.

Сначала в письме шла речь о социалистическом движении в дни мировой бойни:

«...Вы пишете об идейном распаде социализма и кручинитесь по этому поводу. Дело действительно не веселое, и картина не из отрадных, но я как-то не задеваюсь этим больно. Все перемелется, и мука будет. Практика современного социалистического движения полна вопиющих противоречий, но ведь из противоречий соткана вся жизнь... Социализм является не одной теорией, а живым практическим делом, постольку он и должен был отразить на себе все эти жизненные противоречия...» Затем пошел разговор о мировой бойне: «Вы спрашиваете, каков мой личный взгляд на войну и отношение к ней социалистов? Принципиально я, конечно, против войны, но не могу сказать, что всегда и везде целиком стоял за осуществление этого принципа... Что же касается современной войны, то, по-моему, русским социалистам ни с каких точек зрения невозможно высказаться за активное участие в войне с нашей стороны. Это и принципиально недопустимо и практически бессмысленно. Вот Вам мой взгляд. В общем я смотрю на положение дел довольно оптимистически. Воинственный задор... схлынет, выплывут на сцену все старые, больные вопросы нашей жизни, ибо война их только обострит, и снова закипит работа. Но каких-либо кардинальных перемен в ближайшем будущем я не ожидаю... подождем, увидим скоро. До свидания. *Арсений*».

Но даже такое письмо переположило перлюстраторов во владимирском жандармском управлении. Тем более что у них уже было одно письмо за подписью «Твой брат Арсений», посланное в середине декабря 1914 года Павлу Гусеву во Владимирский централ:

«16. XII. Дорогой мой друг и брат Паша! Письмо твое я получил, хотя и не сразу. Можешь писать по тому же адресу. Очень рад, что ты, по-видимому, по-прежнему бодр и крепок духом. Да, скоро кончится твоя неволя и скоро, уж скоро ты будешь со мной. Занимайся, брат, там побольше, гони вовсю, а то здесь некогда, надо бороться за кусок хлеба.

Я открываю тут столярную мастерскую. Не думаю, чтобы предприятие оказалось выгодным, но что-нибудь делать-то надо.

В общем, живем здесь дружно. В других местах живут, по слухам, хуже. Хлопочем об открытии ряда кооперативных предприятий — пекарни, колбасной и пр. Вообще не унываем. Хотел было я издать сборник, посвященный каторге, да времена теперь не те. Всех поглощает война, и на ней сконцентрировано всеобщее внимание. Своих литературных опытов не прекращай. Я не думаю, что ошибся в тебе. У тебя несомненный талант. Ты можешь и должен еще в тюрьме создать что-нибудь крупное. Что же касается помещения, то об этом не беспокойся. Это все приложится.

Ты спрашиваешь насчет войны. О ходе ее вы, конечно, знаете, ибо согласно циркуляру Главного тюремного управления вам должны пропускать официальные донесения главнокомандующего и даже «Правительственный вестник» и «Губернские ведомости». Что же касается отношения к ней, то оно различно. Большинство настроено более патриотично, а особенно в первое время военных действий, но теперь замечается некоторое изменение, правительство укрепляет свои позиции и становится откровенно реакционным. Я и сам теперь не прочь от того, чтобы «немцу» привинтить хвост, но до активности не дохожу. Не надо добавлять, у нас ведь есть и свои особые задачи, ну, да довольно об этом. Знаешь, «ходить бывает скользко по камушкам иным, так о том, что близко, покуда умолчим...». Насчет моего здоровья не беспокойся. Я теперь поправился. Чувствую себя хорошо. Шатаюсь нередко на охоту. Из дичи тут есть козы, зайцы, рябчики, тетерева, глухари и куропатки. Правда, далеко не в изобилии, но все же есть. Пока, будь здоров, дорогой, пиши. Твой брат *Арсений*».

После второго письма начались розыски — кто такой «Арсений». Вначале подозревали ссыльного Арсения Николаевича Печорина, потом догадались, что это «ссылнопоселенец Манзурской волости Михаил Васильевич Фрунзе».

Этот «ребус» жандармы решили к концу июня 1915 года. У них уже были неугодные для Фрунзе и его товарищей факты: ссыльные в Манзурке собирались для каких-то дискуссий в своей среде и вели опасные для властей беседы с крестьянами; наладили переписку с партийным центром большевиков в Петрограде и с большевистской группой в Иркутске; наконец, обсудили устав партийной группы социал-демократов в Манзурке и создали запрещенную кассу взаимопомощи.

Из иркутского жандармского управления послан был запрос в департамент полиции: что делать? Оттуда пришло распоряжение: действовать быстро и смело.

Вообще говоря, ссыльные, натерпевшись за время отсидки в каторжных тюрьмах, на «воле» отпустили повод. Отзвук споров Фрунзе с меньшевиками и эсерами громким эхом отозвался в Манзурке. А с приездом Федора Николаевича Петрова в студеной февральский день 1915 года большевики еще более воспрянули духом и начали готовить устав своей организации в ссылке, не скрывая от местного населения политических целей и тактических задач.

Врач Федор Петров скоро приобрел большую популярность: его приглашали к больным в ближние и дальние улусы, и он никогда не отказывался от визитов. Иногда он брал с собой Фрунзе и Гамбурга, и осталась с той поры любительская фотография докторского выезда на операцию в село Баяндай: на облучке — Фрунзе, на задних сиденьях шарабана — Петров и Гамбург.

Федор Николаевич подключился к «народному университету» Фрунзе: читал крестьянам лекции о гигиене, о медицинской помощи, о естествознании. Фрунзе вел курсы экономической статистики и военного дела. Народ валом валил послушать, как говорит Михаил Васильевич про войну.

«Я сначала недоумевал: откуда у сына фельдшера, человека, не имеющего военного образования, такие познания в области военной стратегии и тактики? — записал в своих воспоминаниях Федор Петров. — Рассказывая нам о боевых действиях, он делал обзор так интересно и глубоко, что его можно было слушать часами. Потом нам стало ясно: военные

знания М. В. Фрунзе постоянно черпал из книг и закреплял их, обучая рабочие боевые дружины в годы первой русской революции».

Ссылные создали хор, но пели в нем без оглядки по сторонам. Фрунзе чаще других бывал запевалой — приятен был его тенорок мягкого лирического тембра. Но пока над прибайкальским селом плыли «Хаз Булат», «Коробочка» или романс Прозоровского «Степь да степь кругом», это не вызывало беспокойства урядника, священника и кулаков. А когда гремели в хоре «Вихри враждебные веют над нами», местным администраторам и духовным наставникам хотелось взяться за перо и настрочить очередной донос.

Да и стихи Фрунзе, самими ссылными положенные на музыку, открыто ходили по рукам и вызывали озлобление сельских властей:

Свобода, Свобода! Одно только слово,
Но как оно душу и тело живит!
Ведь там человеком стану я снова,
Снова мой челн по волнам побежит.
Станет он реять и гордо и смело,
Птицей носиться по бурным волнам,
Быть может, погибнет? Какое мне дело —
Смерти ль бояться отважным пловцам!..

И библиотекарь колонии Семен Султаньянц неосторожно держал запрещенные книги в двух самодельных шкафах. И выдавал на руки крестьянам такие арестованные иркутские издания, как «Сибирский журнал» и «Сибирское обозрение».

27 мая 1915 года прибыл в Манзурку помощник начальника губернского жандармского управления по Киренскому и Верхоленскому уездам ротмистр Белавин. Он оказался человеком мягкотелым и ограничился тем, что припугнул ссылных возможными репрессиями.

Жандармы в Иркутске не одобрили его действий и послали 31 июля держиморду Константинова «для окончательной ликвидации всех причастных к делу лиц».

Иосиф Гамбург и Федор Петров, возвращаясь из столовой коммунаров, узнали о приезде ротмистра Константинова и пробежали по селу, предупреждая ссылных об опасности. Кое-кто успел спрятать или уничтожить литературу, как-то замести следы.

А Фрунзе не было: он ездил в гости к Николаю Андреевичу Жиделеву, который с думской скамьи из Таврического дворца был отправлен в Качуг. Долго говорили об Иваново-Вознесенске, о Шуе, Владимире, и Фрунзе узнал удручившую его новость: во Владимирском центре умер от чахотки дорогой его друг и ученик Павел Гусев.

И когда ночью сунулся к нему с обыском ротмистр Константинов, Михаил Васильевич не успел ликвидировать все документы и на глазах у жандарма разорвал в клочки устав манзурской организации большевиков.

Константинов забрал четырнадцать человек, в том числе Михаила Фрунзе, Федора Петрова, Иосифа Гамбурга.

Арестованных заперли в каталажку у станового пристава Витковского, а через два дня отправили этапным порядком в Иркутск.

Манзурская «воля» кончилась. Впереди мог быть военно-полевой суд и третий смертный приговор: на снисхождение властей в военное время рассчитывать не приходилось. И Фрунзе решился на единственный выход при такой ситуации — бежать во что бы то ни стало!

Подходящий момент выдался на последней перед Иркутском ночевке — в селении Оёк.

Этапная хата была окружена надежным островерхим палом. Охранялась она слабо, а пожилые стражники, утомленные длинными переходами из Манзурки, махнули на все рукой и ушли в трактир пить чай.

План созрел мгновенно. Тесной кучкой арестованные вышли во двор, когда стала надвигаться ночь. Завели протяжную прощальную песню. И под нее бесшумно переправили Фрунзе и Кирилловского в тайгу.

Многие авторы, причастные к описанию побега, с чьей-то легкой руки изображали дело так, будто товарищи подняли Фрунзе на руки, раскачали и... перебросили через пал. Федор Николаевич Петров описал эту сцену так: «...мы устроили живую лестницу, по которой М. В. Фрунзе и еще один товарищ быстро перемахнули через частокол. Правда, при прыжке Фрунзе несколько повредил себе ногу. Все же ему удалось добраться до Иркутска, а затем и до Читы, где он установил связь с местной партийной организацией».

Это было в ночь на 9 августа 1915 года.

Сбежал «опасный государственный преступник»! И иркутские голубые мундиры, решив отвести удар от себя, придумали уникальный ход — свалить всю вину на тюремную администрацию.

В те дни исполнял обязанности начальника иркутского жандармского управления подполковник Карпов. Он и настроил служебный донос губернатору 20 августа, за номером 12 422: «...Бежавший в ночь на 9-е сего августа из Оёкской волостной тюрьмы... Михаил Васильевич Фрунзе уже был доставлен в Иркутскую тюрьму. Но ввиду описки волостного управления в открытом листе, фамилия Фрунзе была искажена. И начальник тюрьмы, вместо того чтобы запросить вверенное мне Управление хотя бы по телефону, числится ли у нас в списке других лиц, ожидаемых прибытия в тюрьму, данное лицо, он Фрунзе не принял и отправил его обратно в с. Манзурку, несмотря на то, что в открытом листе указано, в чье распоряжение следовал Фрунзе».

Такую проделку жандармов не могли стерпеть тюремщики. И на их сторону встал губернатор, так как они непосредственно подчинялись ему. Он и ответил шефу иркутских жандармов полковнику Балабину, чтобы он искал Фрунзе у себя, потому что означенное лицо не было доставлено 10 августа в иркутскую тюрьму. «Под этой фамилией прибыл другой арестант, назвавшийся в тюрьме Кирилловым, причем приметы этого последнего арестанта не сходились с приметами открытого листа на Фрунзе».

А пока шла эта переписка, иркутские большевики не только приодели своего боевого товарища, но и сделали ему хороший паспорт на имя дворянина Владимира Григорьевича Василенко. И в последних числах августа направили его с надежной явкой в Читу.

Читинские товарищи устроили его на службу в губернское переселенческое управление. Фрунзе числился временным агентом справочного бюро при статистическом отделе.

Служебная карьера господина Василенко длилась всего четыре месяца: с 1 января 1916 года он был уволен в связи с окончанием временных работ.

К делу он относился не формально: оно соответствовало профилю его занятий в Политехническом институте. И давало широкую возможность знакомиться с положением переселенцев из центральных губерний России в Забайкалье.

Большую часть служебного времени он провел в разъездах между Иркутском и Читой. А это позволяло ему повидать широкую публику в Восточной Сибири и закрепить связи с партийными деятелями большого масштаба. В Иркутске отбывал ссылку старый друг Ленина Миха Цхакая, и Фрунзе подружился с ним. На станции Мысовой, где расстреляли Ивана Бабушкина, и в Верхне-Удинске отбывали каторжные работы два большевика — члены II Государственной думы — Василий Серов и Александр Вагжанов. Фрунзе привозил им деньги и партийную литературу.

Выводы господина Василенко о бедственном положении переселенцев — а некоторые из них жили «хуже арестантов» — не очень нравились начальству. И оно рекомендовало своему агенту вести себя осторожнее. Но то, что не попадало в очередной доклад по начальству, было разумно использовано на печатных страницах еженедельного журнала «Восточное обозрение». Это издание задумал и хорошо осуществил господин Василенко. Но

цензоры были строже дирекции переселенческого управления, и они очень скоро прикрыли этот общественно-политический журнал «крамольного направления».

О его редакторе жандармы сделали запрос читинскому полицмейстеру. Тот — со слов пристава второго участка — ответил, что «дворянин Владимир Григорьевич Василенко прибыл из Петрограда, проживает в Чите, Уссурийская улица, дом Михновича... Сведений о судимости и политической неблагонадежности... не имеется, поведение и образ жизни Василенко ведет хороший».

Но у жандармов были и другие сведения: Василенко вел двусмысленные беседы с рабочими во время разъездов по железной дороге, не скрывая своих пораженческих настроений; в своей квартире он собирал людей, не пользующихся расположением властей. А его публичные лекции вызывают много кривотолков.

И жандармы начали негласное наблюдение за господином Василенко.

Сам он догадывался, что от жандармов ему не укрыться. Но держался смело, независимо, правда, не переходя границ, за которыми грозила тюрьма. Да и неприятный осадок оставила одна случайная встреча в трактире со стариком в Нерчинском округе. Надо же случиться такому: старик знал всю подноготную семьи дворян Василенко и дал понять Фрунзе, что он проживает по паспорту человека, который закончил свое брэнное существование в 1913 году.

Правда, у самого старика кто-то из сыновей отбывал каторгу. И не хотелось думать, что отец опального «политика» выдаст властям встречного нелегала. Но ведь неисповедимы пути господни: хватит старик лишнего с горя в таком же трактире — и проболтается!

Но Фрунзе недолго думал об этой встрече со стариком. Уж очень хорошо сложилась жизнь в Чите! И он уверовал в свою счастливую звезду, когда полюбил девушку, которой суждено было вскоре стать его женой.

Софья Алексеевна Попова работала в том же статистическом отделе, где и Василенко. Была она дочерью народовольца Алексея Поликарповича Колтановского. Отец ее, отбыв срок наказания, остался на жительство в Верхне-Удинске, где работал в железнодорожной конторе. И воспитал свою Сонечку в духе неприязни ко всему казенному, официальному, в духе поисков новой, светлой жизни. Она пока не нашла дороги в партию, но не скрывала своих симпатий к людям, ломающим привычные устои, зовущим к борьбе. И Василенко импонировал ей мятежным духом, внутренней чистотой и какими-то высокими идеалами, о которых она больше догадывалась, чем знала.

Понравился Василенко и Алексею Поликарповичу: в этом смелом, остроумном и веселом человеке видел он то, что в свое время украшало его молодости. Да и все окружение Колтановских признавало господина Василенко достойным руки и сердца маленькой, живой и умной Сонечки.

Ее подруга Лида Сосина не скрывала симпатий к молодому человеку, который так неожиданно появился на пути Софьи Алексеевны, и всячески одобряла ее выбор. Она записала в своих заметках о Василенко:

«Обаяние его личности привлекало к нему всех, кто с ним сталкивался, хотя, конечно, никто не подозревал, что этот скромный и простой молодой человек — уже старый революционер, любимый рабочими Шуи и Иваново-Вознесенска, товарищ «Арсений», что его веселость и жизнерадостность сохранились, несмотря на два смертных приговора и перенесенные ужасы каторги. Товарищи никогда не чувствовали в нем ни малейшего намека на его действительное превосходство, на его заслуги в революционной борьбе. Казалось, быть борцом, революционером для Михаила Васильевича было так же естественно, как птице петь или человеку дышать...»

Михаил и Соня познакомились и подружились в обстановке службы. Затем их стали встречать вместе то в театре, то в иллюзионе «Фурор», то на танцах в доме начальника переселенческого управления Дмитрия Михайловича Головачева: статский советник даже в дни войны не изменил своему давнему обычаю собирать «посиделки» по четвергам. И господин Василенко, да еще на глазах у своей невесты, делал все, чтобы быть душой

молодежного читинского общества на головачевских вечерах: он пел, прекрасно танцевал и чудесно рассказывал всякие забавные истории.

Михаил Васильевич — а ему уже шел тридцать первый год! — понял, что выбор сделан на всю жизнь. И — человек цельный, ясный — он однажды открылся своей невесте. Она была перепугана, она была смущена этим сердечным доверием. Она была в восторге, что не ошиблась в друге. И поклялась хранить их тайну. И ласково, по-женски провела рукой по его разросшемуся ежику:

— Миша, мне страшно! У тебя в волосах седая прядка!

— Ах, Софья Алексеевна! — отшутился Фрунзе. — Так седина — это признак умудренного опытом мужчины. — И добавил строго: — Помни, как «Отче наш»: есть только Владимир Василенко. И у его любви нет границ!..

Рассказывают, что в эту пору Фрунзе был прекрасным кавалером, способным иногда на безрассудные поступки.

Как-то после вечеринки у Головачева шел он по Чите с Соней в компании влюбленной в него молодежи. Шумной толпой остановились возле тира, где неудачно постреливали молодые солдаты, вошедшие в «загул» по увольнительной. И господин Василенко разыграл из себя читинского Вильгельма Телля: бил в цель так ловко, что владелец тира забился в лихорадке, выставляя ему главные призы: двустволку и тульский самовар.

И все были удивлены, когда господин Василенко вернул все вещи перепуганному владельцу и сказал:

— К чему нам все это, господа? Сейчас пойдем по городу с ружьем и с самоваром, полицмейстер пустит по следу осведомителей. Не будем лишать его спокойствия и мило пройдемся по доброй Чите свободные и с песней в душе!

В другой раз весь город заговорил о господине Василенко, когда он бросился наперерез рысаку, вырвавшемуся без кучера на городскую улицу. Остановил коня, который мог задавить детей, заставил его почувствовать сильную руку...

Но вода долбит камень. И вокруг Василенко жандармы расставили сети. И один день мог решить все. Но, к счастью, в ночь обыска в доме у Михновича Фрунзе задержался в Иркутске. Пришла тревожная телеграмма от Сони, затем письмо. С берегов Ангары и из Забайкалья надо было срочно уезжать в Центральную Россию.

Фрунзе давно мечтал об этом. И успел списаться со своим близким товарищем Павлом Батуриным, который заканчивав курс в Московском университете. Павел прислал в Читу свой паспорт.

Получив в Иркутске письмо от невесты, Фрунзе неожиданно нагрянул к ней. Вместе они уговорили Лиду Сосину разыграть роль сестры милосердия и доставить больного «Батурина» в Москву.

Лида согласилась, и все восемь суток в поезде прекрасно выполняла свою роль. «Больной» старался говорить как можно меньше, а перед каждой большой станцией, где могла быть встреча с жандармами, поворачивался лицом к стенке вагона и «засыпал».

В ненастный холодный день апреля 1916 года Фрунзе благополучно добрался до Москвы и отправился на квартиру к Батурину.

Павел Степанович на правах репетитора жил в большом доме богатого купца на Погодинской улице. И занимал хорошую комнату с отдельным ходом.

Не виделись они с февраля 1907 года. И Павло, как звал его в ту пору Арсений, вымахал в справного парня с запорожскими усами — под Тараса Бульбу.

Они не успели тогда сдружиться, потому что мимолетными были встречи и все больше тайком, по ночам. Но, однажды услышав Арсения и рассудив, какого ума и какой силы этот человек, Павел полюбил его как лучшего своего учителя и не изменил своему чистому юношескому чувству до последнего вздоха.

Павло был начинающим студентом. Прикоснулся к партийным кружкам, и на два года законопатили его во Владимир под гласный надзор полиции. Там он получил доступ в явочную квартиру большевиков — она была в невзрачном домике на берегу реки Лыбедь.

Шел тогда в квартире бой с меньшевиками об отношении к Государственной думе. И самым страстным оратором оказался невысокий молодой человек с задорным ежиком и удивительным блеском глаз, которые при тусклом свете лампы казались синими.

— Кто это? — восторженно спросил Батуриин.

— Молчи! — прошептал сосед. — Арсений, из Шуи! Слушай! Такие у нас наперечет!..

Всю ночь проговорил Павел с шуйским большевиком. Еще видел его дважды. А когда Арсений оказался во Владимирском центре, безуспешно ходил к нему на свидания, пока не познакомился с Мариной Прозоровой и с ее братом Иваном. И потом уже не раз пользовался тем заветным портсигаром с двойным дном, который мастерски изготовили Васюк и Иванец. И пересылал в нем то кредитку, то краткие вести с воли. И писал своему учителю в николаевскую тюрьму и в Манзурку. И, не задумываясь об опасных последствиях, выслал ему свой паспорт в Читку...

Прямо на пороге, бросившись с объятиями к Фрунзе, он порадовал его приятной новостью:

— Видел Моравицкую, у нее была ваша Клава. Она наводила справки о вас. Я осторожно намекнул, что не исключена встреча. Она охнула и, боюсь, так и сидит, замороженная моим сообщением!..

Михаил Васильевич полагал, что справится с делами в Москве дней за пять. Однако пробыть в ней пришлось почти месяц. Правда, за это время он съездил на три дня в Петроград: Павел Батуриин достал для него временное студенческое удостоверение в университете.

В столице бурлил рабочий класс: забастовки шли волнами, сменяя друг друга на крупных предприятиях; накал был столь большой, что явно назревал революционный кризис. Ленинцы все громче поднимали голос против войны, против самодержавия. Горячие головы поговаривали уже о вооруженном восстании, но Владимир Ильич дал понять, что эта идея пока несвоевременна, так как революционное движение еще не набрало сил для решающего штурма самодержавия.

Буржуазия, очнувшись после патриотического угара, поняла, что немцев шапками не закидаешь и никакой Кузьма Крючков — лихой казак донской, который на плакатах поддевал кучу пруссаков на пику, — делу не поможет. И явно разочаровалась в царе: он не принес победы в войне и не подавил революционного движения. Да и все прогнило в придворных романовских кругах: там делали погоду всякие темные дельцы, проходимцы, аферисты, ясновидящие, чудотворцы и гадалки. Смрад шел по всей Руси от проделок Гришки Распутина и его дружков — скользких мастеров скандальных афер и спекуляций.

На вокзале и на проспектах — серые солдатские шинели, казарменный дух карболки и хлора. В рабочих районах, у каждой продуктовой лавки — длинные очереди женщин, стариков и ребятишек.

Михаил отправился в свой район — к выборжцам, на Сердобольскую улицу, где находилось Русское бюро ЦК большевиков.

Сказал пароль, переступил порог... и, как в детективном романе, где все далеко от истины, хоть и похоже на нее, попал в объятия к Дмитрию Александровичу Павлову. Это был тот самый Митя с русыми усами и сормовским говором, который хорошо сказал ему двенадцать лет назад на Николаевском вокзале в Москве: «Пробивай, Миша, свою стежку к Ленину!..»

Все эти годы Павлов продержался в Питере, состоял в подпольных районных комитетах то на Васильевском острове, то на Выборгской стороне. Пять раз вышибали его с заводов, года два он ходил опальным в черных списках. Недавно устроился модельщиком на завод «Новый Лесснер». Квартира его жены была базой Русского бюро ЦК.

— Людишки ушли на фронт, капиталистам зарез, вот и пригодились мои руки, — сказал он. — Читал о тебе у Короленко в газете «Слово». Вырвался? Вот хорошо: зашевелились мы крепко, и такому человеку, как ты, цены нет.

— Хочу в армию, Митя! Раскачать ее — значит сделать верный шаг к победе!

— Не спорю! Но ведь тебя жалко: поймают — наверняка повесят!

— Я уже все пережил, и страха во мне нет.

— Тогда я тебе дам записку к Николаю Подвойскому. Найдешь его в больничной кассе Путиловского завода. Чуть бы раньше, устроились бы здесь на месте, да Андрей Андреев выехал в Финляндию, а Михаил Калинин попал в тюрьму...

От Подвойского Фрунзе узнал об очередном погроме в своем любимом Иваново-Вознесенске. Ивановцы полгода назад начали всеобщую политическую забастовку. Жандармы в ночь на 10 августа 1915 года арестовали девятнадцать активистов и руководителей большевистского комитета. Двадцать пять тысяч рабочих вышло на улицы. А вечером часть демонстрантов направилась к тюрьме, чтобы освободить арестованных. Карателями убито сто человек и сорок ранено. Погиб организатор стачки Е. С. Зиновьев.

— Вы меня убили этим известием, Николай Ильич! Я уже думаю: не поехать ли в Иваново?

— Сейчас важнее быть в действующей армии. Да там вы и легче затеряетесь в густой солдатской массе. А в Иваново вам не продержаться и двух недель. И ЦК оторвет мне голову, если я вас отправлю на... эшафот. Москве я дам знать, и вас направят в какую-нибудь «благотворительную» организацию Западного фронта...

В институт ехать не было смысла: все однокашники давно разлетелись по стране. И Фрунзе решил повидаться с семьей Михайловых: она была дружна в Пишпекке с Маврой Ефимовной, а перед самой войной перебралась в Питер.

В семье был траур: Миша Михайлов, приятель детских игр Фрунзе, на диво похожий на него — фигурой, круглым лицом и даже ежиком, — пропал на фронте без вести.

Фрунзе мог бы отлично устроиться в армии по паспорту Михаила Александровича Михайлова. Но у него хватило такта не сказать об этом убитым горем родителям своего погибшего приятеля.

Но в Москве он сказал об этом Павлу Батурину, тот — подпольщице Анне Андреевне Додоновой. И у них созрел план: срочно изготовить подложный паспорт на имя М. А. Михайлова и оформить его в канцелярии градоначальника. А сестру Додоновой Марию — студентку Высших женских курсов — направить в Петроград к Михайловым, уговорить их передать Фрунзе документы сына и получить их в переселенческом управлении, за которым числился погибший.

А пока все это шло — туго, со скрипом, Анна Андреевна приняла меры, чтобы направить Михайлова на фронт. Помогла ей бывшая сокурсница М. В. Малянтович. Она работала в Земсоюзе и пользовалась доверием градоначальника.

«Поручение Мария Андреевна выполнила уже после того, как Михаил Васильевич был отправлен на фронт с подложным паспортом на имя М. А. Михайлова, полученным через П. С. Батурина. Недели через две ему были высланы подлинные документы. Так Михаил Васильевич Фрунзе стал официально М. А. Михайловым», — вспоминала А. А. Додорова.

Фрунзе попросил Анну Андреевну написать в Читку товарищам о его гибели на фронте и этим замести следы и провести полицию.

Письмо оказало действие: как только поползли по Чите слухи, что Василенко погиб, и жандармы перестали ходить по пятам Софьи Алексеевны, она тотчас же уехала на фронт к жениху.

— Теперь можешь звать меня Мишей. Только не перепутай отчество и фамилию! — сказал он невесте, встретив ее под Минском, в местечке Ивенец.

И повидался он перед отъездом из Москвы с сестрой Клавой. Она была в разлуке с ним двенадцать лет, и показался он ей взрослым не по годам, уже с сединой на висках и с какой-то беспокоящей настороженностью в глазах.

Но это впечатление вскоре рассеялось: Миша был таким же озорным и веселым, как и прежде.

Шел день 18 апреля — уже без снега, с первой робкой зеленью на ивах. И солнышко грело по-весеннему, и люди справляли пасху, веселясь кто как может.

Для Михаила это был Первомай. И он утащил Клаву на народное гулянье в Сокольники. Шутил и дурачился: исподтишка выпускал бумажный «тещин язык», и Клава пугалась; заломив кепку и весело насвистывая, летел в люльке карусели и рассказывал забавные истории, словно бы и смешные, но Клаву прохватывал озноб: она хорошо понимала, чего стоило брату это смешное, которое он пережил как трагедию.

Потом они уединились на дальней скамье, и Клава стала расспрашивать: собирается ли он в Пишпек, где мама проплакала о нем глаза, и будет ли он кончать институт?

— Нет, Клава: снова я обману ожидания мамы и девочек. Я еду на фронт: там сейчас самые главные дела у партии.

— Но ведь страшно за тебя, Миша! Поймают — пощады не жди!

— Святая ты простота, Клавдюша! У революционера нет безопасных путей!.. Жив и буду жить! И пойдем на круг, вальс — моя стихия!..

В окопах и в госпиталях Западного фронта было тесно, в них лежало и сидело полтора миллиона солдат.

Действующую армию подпирали сотни тысяч людей из полевых баз, интендантства, ремонтных мастерских, дивизионных летучек, из железнодорожных отрядов, Земского союза и Красного Креста.

Среди этих людей много было квалифицированных рабочих, мобилизованных в Питере и в других промышленных центрах. Какая-то их часть прошла боевое крещение в первую русскую революцию, и из нее можно было черпать толковых агитаторов для партийной работы в крестьянской солдатской массе, чтоб разъяснять ей лозунги ленинцев в напряженной обстановке, когда день за днем нарастал революционный кризис.

Война стала неспособна даже самым преданным царю частям. Перлюстраторы из «черного кабинета» были оглушены потоком жалоб «пушечного мяса». Военные власти доносили о растущем дезертирстве и «самострелах», охранка — о глухом ропоте одетого в серые шинели народа:

«В армии настроение стало очень и очень беспокойным, если не сказать «революционным». Дороговизна жизни и недостаток продуктов, переносимые с трудом солдатками, очень хорошо известны в армии через самих солдат, одновременно приезжающих сюда «на побывку». Беспокойство солдат за оставленные на родине семьи с каждым днем все более и более увеличивается и является весьма благоприятной почвой для успеха революционной пропаганды».

Даже поэты из «Нового Сатирикона», далекие от идей революции, стали петь с голоса крестьян, осуждающих войну.

Солдатам, измученным войной до крайности, надо было указать выход из империалистической бойни. Это и делали большевики, рискуя жизнью. И создавали в окопах, на кораблях, в госпиталях партийные ячейки. И призывали кончать с войной и с самодержавием.

Владимир Ильич Ленин жил за рубежом. Ближайшие его соратники были с ним либо отбывали ссылку и каторгу в отдаленнейших местах Восточной Сибири. Приезд на Западный фронт Михаила Фрунзе — ленинца стойкого и организатора великолепного, выросшего в рабочей среде, — был значительным событием для партии.

И на первых шагах Фрунзе — Михайлову повезло. В Земском союзе Западного фронта работал его товарищ по ивановскому подполью Исидор Любимов. Он ведал хозяйственным отделом союза и без особых усилий устроил Михаила Васильевича на должность статистика. Рядом оказался делегат IV съезда РСДРП Борис Позерн (по кличке Степан Злобин), входивший тогда в группу интернационалистов.

С той поры сохранилась фотография молодой пары Михайловых, расположившейся на одной банкетке: Фрунзе в шинели без погон я в фуражке военного образца, его молодая жена — в осеннем пальто и белой шляпке.

До приезда Фрунзе в Минск у большевиков не было партийного центра на Западном фронте, Михаил Васильевич создал инициативную группу, в которую, кроме него, вошли

такие опытные революционеры, как Мясников, Любимов, Кривошеин, Могилевский. Эта подпольная группа ленинцев в Минской губернии скоро оформила отделения в 10-й и 3-й армиях Западного фронта. Они и возглавили массовые выступления солдат на станции Осиповичи 14 августа 1916 года и на гомельском распределительном пункте.

Частые разъезды Михайлова в районах Ивенца, Минска и Лунина стали известны полиции и жандармам. Во всяком случае, минскому губернатору было сообщено, что большевики создали областной комитет, им принята резолюция о призыве рабочих прифронтовой полосы к стачке и что деятели комитета сеют смуту среди солдат, призывая их поддержать стачку и довести ее до вооруженного восстания.

Видимо, по почину губернатора появился в большевистской среде некто Романов (по кличке в охране Пелагея). Этот калужский мужик достиг высокого положения в партии, состоял в Русском бюро ЦК и в большевистской фракции Государственной думы, подписывал протест против смертной казни Фрунзе в 1909 году и хорошо знал, чего стоит для властей этот выдающийся ленинец из «Ситцевого края». Но Михайлов почему-то не сблизился с ним, хотя какие-то документы и попали в руки матерого служаки из охраны.

Во всяком случае, Фрунзе успел скрыться из 57-й бригады и на время затеряться среди сотрудников Земского союза, так как командующий войсками Западного фронта генерал-адъютант Эверт приказал заготовить ордер на его арест «за большевистскую пропаганду в частях». И не исключено, что Михайлов не вырвался бы из сетей охраны, если бы не попал поздней осенью 1916 года в минский госпиталь.

Ему удалили аппендикс. И он пролежал несколько дней в палате. Но стали раздражать ежедневные визиты жандармов. Он счел за благо выписаться досрочно и уехать в Москву к Павлу Батурину.

Оказалось, что и Анна Андреевна Додонова получила месячный отпуск по болезни. И в тесном кругу друзей созрело доброе решение: увезти Михаила Васильевича в рязанскую глушь, где мать Додоновой жила на уединенном хуторе.

«Поздно вечером приехали на хутор, — рассказывала Анна Додонова. — Дома застали маму и монахиню. Матушка моя — человек малограмотный, религиозный и суеверный. Моему приезду она очень обрадовалась, но, увидев со мною молодого человека, растерялась.

После ужина Михаила Васильевича отправили на ночлег в мезонин. Затем мама приступила ко мне с допросом. Пришлось прибегнуть к хитрости... Мама не знала о том, что я и мои сестры участвуем в революционной работе, о том, что нас уже арестовывали. Я сообщила ей, что Михаил Васильевич сын видного врача и сам готовится быть врачом, что он не москвич, недавно перенес тяжелую операцию и ему негде было отдохнуть. Родина его далеко — в Средней Азии. Эти сведения благотворно повлияли на маму, которая, будучи больным человеком, преклонялась перед врачами. И все же сомнения еще некоторое время не покидали ее.

Но вскоре Михаил Васильевич завоевал симпатии мамы и ее приятельницы-монахини. Дело было так. Старушки вязали чулки и читали евангелие. И вот Михаил Васильевич начал с ними глубокомысленную беседу, обнаружив обширные знания евангелия. Этим он привел их в полный восторг и окончательно покори.

— Вот видишь, какой хороший человек Михаил Васильевич, знает евангелие, а ты, безбожница, сама не веришь и нас смущаешь».

Месяц прошел быстро: разговоры, чтения, прогулки, охота. Дичь была на столе часто: Фрунзе уходил на рассвете тропить зайцев и всегда возвращался с трофеями.

И осталось в памяти у Додоновой: утренняя зарядка Фрунзе и обливание холодной водой до пояса; серьезные философские беседы, чтение художественной литературы по вечерам и страшные эпизоды из его каторжной жизни во Владимире и в Николаеве. И тревожная фраза большевика:

— Неужели же мне еще раз придется лишиться свободы и еще раз пережить все эти мученья?..

Но пришла Февральская революция, и жизнь пошла по иному руслу.

От Февраля к Октябрю

С начала Февральской революции стал одним из руководителей революционного движения в Минске, в Белоруссии и на Западном фронте. Провел разоружение минской полиции и жандармерии и стал начальником Минской гражданской милиции. Был организатором Минского Совета рабочих депутатов и постоянным членом исполнительного комитета. Был организатором Советов крестьянских депутатов в Белоруссии, провел два съезда белорусского крестьянства. Был председателем Советов крестьянских депутатов в Белоруссии первого созыва и председателем исполнительного комитета. Был членом президиума Всероссийского съезда крестьянских депутатов от Белорусской области. Был одним из организаторов съезда армий Западного фронта... избран членом фронтового комитета армий Западного фронта. Был одним из редакторов большевистских газет, издаваемых в Минске («Звезда»). В корниловские дни... был назначен начальником штаба революционных войск Минского участка.

С конца августа уехал в г. Шую Владимирской губернии, где стал председателем Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

М. Фрунзе

Вся жизнь Михаила Васильевича Фрунзе как бы распадается на обособленные этапы. И всего их было четыре.

Первый — радостное и грустное пишпекское детство; второй — верненское и санкт-петербургское отрочество; третий — революционная юность в «Ситцевом крае», начатая блестяще, но поломанная: мордобой казаков и полицейских, кандальный звон, неумная тоска по воле.

С первых дней революции в феврале 1917 года началась неполная последняя декада — пора зрелости, государственной мудрости строителя новой жизни и выдающегося полководца пролетарской революции.

Разумеется, все в этой поре было подготовлено годами детства, отрочества и юности. Всю жизнь он учился, и всегда с отличным упорством. Знал марксистскую философию, но никогда не был книжным червем или начетчиком, а применял ее в борьбе. Знал экономику и право. Владел языками: немецким, французским, английским, итальянским, польским и киргизским. Любил исторические экскурсии, а в истории войн, походов, сражении был знатоком большого масштаба. Детское желание стать генералом никогда не угасало: поддерживалось оно пристрастием к военной истории в гимназии и в институте, подкреплялось практикой боевых дружин в Шуге и в Иваново-Вознесенске, баррикадных боев на Пресне и общением с солдатами на Западном фронте. И так уж случилось: с первых дней Февральской революции и до конца жизни Фрунзе не расставался с оружием.

Вторую половину февраля он провел на передовой, непрерывно «сея смуту», памятуя указание В. И. Ленина: «...если революция не станет массовой и не захватит самого войска, тогда не может быть и речи о серьезной борьбе».

Служба в Земском союзе давала ему возможность передвигаться вдоль линии фронта. И общаться с солдатами. Но не больше: сама эта организация была откровенно буржуазная. Она, как и «Союз городов», методически отравляла сознание солдат шовинистической пропагандой. Широко распространяла в окопах такие газеты, как «Русское слово», «Речь» и «Биржевые ведомости». Часто прибегала к услугам «солидных» членов Государственной думы (они до хрипоты произносили патриотические речи) и не гнушалась теми оборонцами из лагеря меньшевиков и эсеров, которые пуце огня боялись тлетворного влияния большевиков.

Но отбывал в столицу важный гость. И появлялся у солдат неутомимый Михайлов. Кое-кто принимал его — по шинели и кокарде — за офицера и полагал, что его устами говорит лучшая часть командиров. Но этот «офицер» вовсе не был похож на других: в кружке солдат он запросто располагался в землянке и начинал такие «байки», что шевелились волосы под папахой. «Кому выгодна эта бойня? — спрашивал он и отвечал: — Только тем, кто получает барыш от каждого ящика патронов, от пушек, снарядов, шинельного сукна и портянок. А сколько стоит в год русскому мужику и рабочему Николай Романов и его служки? И какой при дворе несусветный «публичный дом», где вышибалой служит Гришка Распутин? И был ли у вас слух, что не без его участия царь сменил за время войны четырех премьер-министров, шестерых министров внутренних дел и собирается менять пятого военного министра?»

Колода тасуется, а выигрыш нам и не снится! И правильно пишут в своей листовке петроградские большевики: «Ждать и молчать больше нельзя. Рабочий класс и крестьяне, одетые в серую шинель и синюю блузу, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором... *Настало время открытой борьбы!*»

Иной раз оставался у солдат и на ночь.

Солдаты прятали его, когда возникала опасность. И понимали с его помощью, почему ведется охота на этого большевика и на его товарищей.

Западный фронт, как и вся действующая армия, вобрал в себя лучшие людские резервы страны — рабочих и крестьянскую бедноту. А это был материал взрывчатый, с расшатанной дисциплиной. Да и в тылу этого фронта находилась ставка цари, принявшего на себя бремя верховного главнокомандующего.

А Михайлов с товарищами день за днем изолировал от солдатской массы генералитет и офицерство, казачьи части и ударные батальоны. И это была жизнь на острие ножа: ведь в каждом крупном подразделении неусыпно действовали органы охраны и контрразведки и выхватывали всех, кто выражал недовольство войной и самодержавным режимом.

Но Михайлов, не знавший усталости, держался: в любой части были у него товарищи, дорожившие его жизнью. И они объединялись в подпольные ячейки, в маленькие группы, связанные между собою строжайшей революционной дисциплиной. И читали товарищам литературу, оставленную им, и находили его в Ивенце или в Минске, и вызывали в полк или в дивизию, когда нужен был агитатор, умеющий проникнуть в солдатскую душу.

И, еще никем не избранный, он был признан в окопах большевистским вожаком — главным агитатором и организатором.

В последних числах февраля тревожно и непонятно притаился, замолчал Питер: третий день не поступали оттуда газеты.

Это затишье перед грозой породило в Минске всякие слухи. Фрунзе позвонил в Москву Павлу Батурину. Тот сообщил, что в Петрограде развернулась всеобщая политическая стачка и что приходят в движение крупные силы в белокаменной. Но не мог открыто сказать, что питерская стачка поддержана некоторыми армейскими частями и перерастает в вооруженное восстание.

Однако Фрунзе кое-что уловил в его словах. И квартирка Михайловых в маленьком доме на берегу реки Свислочи немедленно превратилась в боевой штаб большевиков. Товарищи договорились, что по первому сигналу срочно будут собраны все руководители минской инициативной группы ленинцев вместе с представителями 3-й и 10-й армий. И вынесут решение, соответствующее моменту.

Наконец 1 марта 1917 года телеграф принес известие о свержении царского правительства. В полночь Фрунзе открыл долгожданное совещание большевиков.

Оно еще было нелегальным, это собрание. Но атмосфера царила радостная — всем повеяло в лицо свежим ветром бури. И каждому хотелось под огромным итогом жизненного пути подвести красную черту.

Да и было что рассказать товарищам: Исидор Любимов боролся в рядах партии с 1902 года и вместе с Иваном Станко замыслил побег Арсения из Владимирского централа; Александр Мясников (Мясникянц) прошел в ленинских рядах десять лет, работал в Баку и в Москве; подпольщиками были Попов, Фомин, Кривошеин, Могилевский. За плечами у каждого из них — смертельно опасное дело агитатора, пропагандиста, вожака; бессонные ночи, тревожные явки, чужие фамилии, жизнь начеку и впроголодь. И — тюрьмы, ссылки, побег.

И вдруг наступил новый день: кончился мрак подполья и затянувшееся ожидание рассвета. И с высокой горы, куда они добирались ценой огромных жертв, открылась необъятная ширь и до боли в глазах полыхнула красная полоса зари! И говорить хотелось горячо и много, будто все в один миг нарушили долголетний обет молчания.

Но слишком дорого было время. И Фрунзе лишь кратко напомнил товарищам о дорогом опыте ивановцев на реке Талке в 1905 году. И собрание единодушно приняло решение: в два-три дня создать в Минске Совет рабочих и солдатских депутатов.

Налицо мало было достойных людей, чтобы обеспечить руководство в новом органе власти. Решили для советской работы привлечь интернационалиста, близкого к большевикам, Бориса Позерна, а «комиссаром» при нем поставить Исидора Любимова в качестве первого заместителя. Фрунзе и другие товарищи должны войти в Совет, но главной их работой останется руководство партийной организацией.

И, понимая, что бои с буржуазией не окончены, Фрунзе предложил перенести в Минск опыт шуйских и ивановских боевых дружин, но в форме народной милиции.

— Мысль простая, товарищи, — вооружить рабочих, создать из них единую боевую дружину для защиты революционных завоеваний. Иначе нас обведут вокруг пальца всякие мастера болтать о революции, весьма подверженные купле-продаже в политике!

Закончили собрание после полуночи. И в последний раз спели «Интернационал» вполголоса, чтобы не будоражить ночью добрых и недобрых людей в округе.

Каждый занял свое место и начал действовать стремительно. Фрунзе 3 марта созвал собрание рабочих и служащих всех предприятий и учреждений своего Союза, дислоцированных в Минске и его окрестностях. Радостные лица, песни свободы, грохот оваций! С подъемом были приняты решения, предложенные большевиками: избрать первый Совет рабочих депутатов предприятий комитета ВЗС Западного фронта, создать народную милицию во главе с Михайловым.

4 марта Фрунзе открыл первое легальное собрание большевиков Минска и представителей партийных организаций 3-й и 10-й армий. И выступил с большим докладом: «О текущем моменте и задачах пролетариата». Собрание предложило всем членам партии провести на предприятиях и в воинских частях выборы депутатов в Минский Совет и утвердило Михайлова руководителем большевистской фракции.

В тот же день начались выборы депутатов в частях Минского гарнизона. А в ночь на 5 марта Михайлов с первым отрядом народной милиции освободил из минской тюрьмы политических заключенных и обезоружил полицию и жандармерию. Операция прошла без кровопролития: даже голубые мундиры были захвачены врасплох.

Рассказывают, что на веселый тон настроила Михаила Васильевича фраза, сказанная им начальнику минских жандармов:

— Сдайте оружие и следуйте за мной!

И Трифонович и Арсений слыхивал эту фразу, когда отправлялся в тюрьму. А теперь произнес ее сам по воле избравшего его народа. И, вспоминая об этом случае, говорил в кругу друзей:

— Кто бы мог подумать, что, ненавидя всей душой полицию, я стану во главе народной милиции! Но законы революции имеют преобразующую силу и совершают всякие чудеса!

Кстати, в жандармском управлении он обнаружил ордер на арест Михайлова — Фрунзе: из Иркутска и из Читы дошли бумаги о беглом большевике. Но они запоздали: на распутывание «дела Фрунзе» ушло полтора года. Приказ об аресте был подписан минским

градона начальником бароном Рауш фон Траубенбергом. Однако и этот барон и его шеф генерал-адъютант Эверт, командующий Западным фронтом, вскоре оказались под арестом сами.

Отряд Фрунзе в одну ночь закрепил в Минске основы новой власти: после захвата полицейских участков и жандармского управления он взял под свою охрану правительственные учреждения, почту и телеграф. И в «Воззвании» к рабочим и солдатам Фрунзе обратился с призывом немедленно создать народную власть: «Граждане! Старый строй пал. Прежняя власть, опиравшаяся на произвол и насилие, исчезает по всей стране, и на ее месте возникает новая, сильная народным единством и доверием власть. Городская милиция уже разоружила полицию и стражников и заняла полицейское управление и полицейские участки. Жандармское управление упразднено. Идет дружная работа по организации общественных сил».

6 марта Минский Совет рабочих депутатов по предложению Фрунзе организовал большую манифестацию трудящихся города и солдат.

Люди шли колоннами во всю ширину главных улиц. На красных плакатах несли они главные лозунги дня: «Да здравствует власть рабочих и солдат!», «Вечная память борцам за свободу», «Да здравствует революционная армия!», «Да здравствует свободный белорусский народ!». Фрунзе и Попов выступали с трибуны попеременно с ораторами различных политических направлений. И особенно подчеркивали, что революционные задачи рабочего класса еще не решены.

— Стойте на страже революции, боевые товарищи по классу! — призывал Фрунзе. — Царь арестован под давлением Петроградского Совета, а господа из Временного правительства готовы дать ему возможность свободно выехать в Англию. Это очень тревожный сигнал: в правительстве сейчас главенствуют представители буржуазии, и они умело используют всяких социал-соглашателей для оправдания своей политики: вести ненавистную войну до победного конца, рабочим не давать власти в Советах, крестьянам не разрешать делить помещичью землю. Но так не выйдет! Наш орган власти — Совет рабочих и солдатских депутатов! Создадим его немедленно и ударим по рукам тем, кто хочет лишить нас права строить новую жизнь без Царя, помещиков и капиталистов. А народная милиция будет охранять Совет и помогать ему проводить революционную политику в городе, в войсках и в деревне!..

8 марта объединились два Совета. И возник Минский Совет рабочих и солдатских депутатов. Это была первая легальная массовая организация на Западном фронте. Она стала центром революционного движения в Минске в период двоевластия.

Недели и месяцы, наступившие после Февраля, столь были насыщены событиями и требовали такой отдачи сил, что в жизни Михайлова перепутались дни и ночи, как в ту красную пору на Талке.

Он вел за собой большевистскую фракцию в Совете и насмерть бился с соглашателями, готовыми откровенно подпевать Временному правительству. Он был начальником народной милиции. И Софья Алексеевна не раз говорила, что на этом посту он «служит двум богам».

— Одному, Соня, одному! — отшучивался он.

Милиция формально подчинялась городской думе, где в тесной куче с меньшевиками и эсерами восседали тузы старого мира, в том числе и из лагеря белорусских националистов.

Михайлов часто не исполнял приказы думы, потому что действовал в интересах Совета. Комиссар Временного правительства неоднократно пытался отстранить Михайлова, изъять милицию из его подчинения, но всегда получал отпор в Совете. И «строптивый» начальник народной милиции оставался бельмом на глазу у временных: он отправлял в тюрьму саботажников из компании купцов и промышленников, сурово пресекал спекуляцию хлебом и предметами первой необходимости, беспощадно судил мародеров.

Из эмиграции возвратился Ленин. 20 апреля 1917 года он напечатал статью «О пролетарской милиции», где была мысль о том, что рабочие, несущие охрану общественной безопасности, должны оплачиваться капиталистами. Фрунзе был удовлетворен: его

товарищи, регулярно исполняющие службу в отрядах, уже полтора месяца получали жалование от городской думы...

Он редактировал газету «Известия Минского Совета» и настойчиво призывал рабочих не притуплять революционную бдительность: «Охрана общественной безопасности должна находиться в руках рабочих... Верные слуги старого строя... будут делать попытки вернуть выгодный для них старый порядок. Нужно рабочему классу самому следить за ними, быть наготове в любой момент подавить малейшую попытку темных сил...»

Сочетание в одном лице начальника народной милиции и редактора газеты оказалось кстати в августовские дни 1917 года, когда Керенский отдал приказ закрыть в Минске большевистскую «Звезду».

Как-то Михайлов вернулся с передовой и узнал, что милиции поручено опечатать типографию и конфисковать отпечатанные номера «Звезды». Создалось до крайности странное положение: Михайлов должен был своими руками прикончить газету, которую он же создал!

Михаил Васильевич решил эту задачу на свой лад. Он направил в типографию верных товарищей из милиции. Они вывезли наборное оборудование и оттиски в надежное место. А уж после этого сделали «налет». Ничего крамольного не нашли. Комиссару же заявили резкий протест против его действий.

В какой-то момент фотограф настиг Михайлова, когда в кабинете он был один. И осталась зримая память о «милицейских» днях Фрунзе. Сосредоточенное похудевшее лицо; копной волос на голове заменен привычный ежик; большие солдатские усы. На огромном столе старенький эриксонский аппарат, чугунная лошадка работы каслинских мастеров и, как защита от едкого самосада тех лет, броский плакат: «Курить воспрещается».

В редкие минуты Фрунзе не был окружен людьми. Поток шли к нему большевики, окопные и гарнизонные солдаты и крестьяне со всей округи. Дела партийные, военные и крестьянские переплетались так тесно и требовали такого напряжения физических и нравственных сил, что милицейские функции временами отступали на второй план.

Обстановка была сложная.

Вот бы повидать Ленина и получить от него живой совет! Но он до конца марта был в эмиграции, приехал в Россию 3 апреля и оказался в бурном водовороте событий в Петрограде. А вырваться из Минска даже на неделю не удавалось.

И все же Ленин был почти рядом: он выступал на митингах и в печати почти ежедневно, и пресса доносила его голос до фронтовых большевиков. Четко и ясно формулировал он позицию партии в страшной путанице событий. Надо было делать выводы из его указаний применительно к фронтовым минским условиям.

Ленин призывал большевиков отгородиться от социал-демократов правого толка и именоваться партией коммунистов, потому что старое название обманывало массы и тормозило движение вперед. «...На каждом шагу, в каждой газете, в каждой парламентской фракции масса видит вождей, т. е. людей, слова которых громче слышны, дела дальше видны, — и все они «тоже-социал-демократы», все они «за единство» с изменниками социализма, социал-шовинистами, все они предъявляют к уплате старые векселя, выданные «социал-демократией»...»

Ленин метил в тех «добренских», кого он остроумно зачислял в «архив старых большевиков». Только они утверждали, что «массы привыкли к давнему сочетанию слов и «полюбили» свою социал-демократическую партию...». И начисто забывали при этом «и позорный крах II Интернационала», и порчу практического дела стаями окружающих пролетариев «тоже-социал-демократов».

«Это довод рутины, довод спячки, довод косности, — писал Владимир Ильич. — А мы хотим перестроить мир. Мы хотим покончить всемирную империалистскую войну, в которую втянуты сотни миллионов людей, запутаны интересы сотен и сотен миллиардов

капитала, которую нельзя кончить истинно демократическим миром без величайшей в истории человечества пролетарской революции.

И мы боимся *сами себя*. Мы держимся за «привычную», «милую», грязную рубаху...

Пора сбросить грязную рубаху, пора надеть чистое белье».

Так же ясно говорил Ленин о власти. Она должна быть только у Советов, и всю пропаганду, агитацию и организацию миллионов масс надо направлять к этой цели.

И — о войне. Ее надо кончать. Но окончание ее немыслимо без пролетарской революции, без свержения буржуазного Временного правительства. А пока момент не назрел, надо заняться армией. Старых офицеров смело заменить новыми, и чтоб солдаты сами выбирали их. «Только выборных властей солдаты слушаются, только их они *уважают*». Братание — полезно и необходимо.

Всю помещичью землю брать тотчас. Устанавливать строжайший порядок через Советы крестьянских депутатов. Производство хлеба и мяса надо увеличить: солдаты должны питаться лучше. Портить скот, орудия и прочее, безусловно, недопустимо.

Идти вперед под красным знаменем, «ибо это есть знамя всемирной пролетарской революции». Пусть останется черное знамя у всех партий, которые правее кадетов. Пусть осенят себя желтым знаменем кадеты, «ибо это международное знамя рабочих, служащих капиталу не за страх, а за совесть». А с розовым знаменем пусть плетутся меньшевики всех оттенков и эсеры, «ибо вся их политика есть политика розовой водицы».

В Минске большевики шли с красным знаменем. Но их было мало. И после Февраля не было у них самостоятельной организации. Существовала так называемая «Объединенка», в которую входили интернационалисты, оборонцы, меньшевики и большевики. И конечно, она не выражала единого направления в политике.

Огромной заслугой Фрунзе и его товарищей был выход из «Объединенки» в конце июня 1917 года и создание в Минске большевистского комитета.

— Путь к пролетарской революции в борьбе с меньшевиками, а не в союзе с ними, — подчеркивали Фрунзе и Мясников.

Комитет опубликовал «Манифест». Главная его мысль: мы передовой отряд рабочего класса, мы стремимся к социалистическому строю путем твердой классовой борьбы пролетариата; мы сплавляем рабочих, как единый класс, вокруг нашего верного знамени. Революционный класс должен иметь и революционную тактику. Соглашение с буржуазией, хотя бы и временное, в корне вредит интересам пролетариата.

Решен был вопрос и с агитаторами, направляемыми на места. Кончились кратковременные поездки в окопы, среди солдат теперь постоянно работали верные люди: они создавали партийные ячейки, вовлекая в них революционно настроенных бойцов.

А когда оформились в полках и в дивизиях низовые коллективы партии, появилась нужда в едином фронтовом центре. Так возник Минский комитет РСДРП(б). Вскоре он развернул такую широкую агитацию, что временные всполошились и отдали приказ срывать или заклеивать листовки большевиков. И снова пришлось Михайлову — Фрунзе употреблять свою власть в милиции. В ежедневной минской газете «Новое Варшавское утро» появилось его «Обращение ко всем политическим партиям», где сказано было категорически: «Лица, замеченные в срыве или заклеивке воззваний других партий, будут привлекаться к ответственности».

Фрунзе понимал, что для постоянной связи с низовыми ячейками в армии и для серьезной агитации за единую большевистскую организацию фронта нужна газета: ежедневная, целеустремленная, смелая. Она могла бы «разносить по всему громадному пространству кровавого поля и долины слез», как говорил Мясников, правдивое слово большевиков.

Михаил Васильевич присмотрел типографию Данцига на Петроградской улице, в доме № 6; его товарищи из народной милиции провели лотереи и кружечные сборы, две тысячи рублей прислал Петербургский комитет партии. И тиражом в три тысячи экземпляров стала нелегально выходить с 17 июля 1917 года большевистская «Звезда». Мясников, любивший

речь красивую, даже витиеватую, вспоминал позднее, что «Звезда» рассыпалась по Минску, краю и фронту в 3000 лучей». Если же учесть, что в эти дни временные закрыли «Правду» и «Окопную правду», минская «Звезда» ярко горела на политическом горизонте. Она призывала чистить армейские штабы — очаги контрреволюции; изгонять кавеньяков — Корниловых, заменять их революционными генералами. И никогда не забывала о таких насущных лозунгах дня, как «Мир между народами». И — «Хлеба нашим детям!».

Солдаты вскоре поняли, что «Звезда» их газета, и сотни корреспонденции: появились на ее страницах. «Труден твой путь, дорогая «Звезда», — писали они на обрывках бумаги. — Мы желаем тебе рассеять мрачную ночь, чтобы не погас твой блеск в этот тяжелый момент». «Веди нас и впредь в царство социализма!»

И газета отвечала солдатам: «Шаг за шагом идите вперед, товарищи! Ищите друг друга... поддерживайте связь с Минском, распространяйте нашу газету. Пишите нам непрерывно, давайте сведения о местной жизни, о настроении масс... Одним словом, не угашайте духа!..»

Газета была откровением для окопных солдат. И с ее помощью еще недавно очень маленькая группа большевиков в конце лета стала крупной политической организацией края. И когда Александр Мясников отправился в Питер, он доложил VI съезду партии, что Минская организация, по существу — военная, объединяет до шестисот большевиков.

Развернулся талант агитатора Фрунзе — Михайлова на передовой. Он смело предлагал выгонять из солдатских комитетов меньшевиков и эсеров, смещать реакционных офицеров и ставить на их место революционно настроенных младших командиров.

Командующий 3-й армией доносил о нем военному министру: «Прибывший в 55-ю дивизию Михайлов ведет агитацию среди солдат за недоверие к офицерам и за выборное начальство. На общем собрании 22 полка вынесена резолюция: предложить всем офицерам подать в отставку и приступить к выборам других начальников; то же наблюдается и в других полках. Выехавшие туда члены армейского комитета воздействовать на солдат не могут...»

55-я дивизия располагалась на самом боевом участке: в отдельных местах: от нее до передовых немецких частей не было и шестидесяти метров. И Михайлов начал братание с немецкими солдатами. Он свободно изъяснялся на их языке и обсуждал с их делегатами самые злободневные вопросы: как кончить войну, как сбросить иго кайзера в Германии и капиталистов в России.

Михайлов появился в дивизии с подложным документом от имени Петроградского Совета. Дивизионные власти не решались арестовать его, но направили донос в штаб армии: «Михайлов ведет агитацию за организованное братание и сегодня лично принимал участие в братании в 220-м полку. Братание распространилось и на 218-й полк, причем уговоры офицеров не действуют».

Командующий 3-й армией генерал Квевцинский запросил помощь: срочно отзовите Михайлова, чтобы парализовать разложение 55-й дивизии; влияние Михайлова распространилось и на 67-ю дивизию, где арестован командир полка и несколько офицеров.

Командующий Западным фронтом связался по прямому проводу с исполкомом Петроградского Совета. Оттуда сообщили, что они не могут подтвердить подлинность удостоверения гражданина Михайлова. Появился приказ главкомзапа: «Арестовать Михайлова. В дивизии командировать членов фронтового и армейского комитетов. Если нужно, послать воинскую часть, привлечь артиллерию, действующую на фронте 55-й дивизии, и потребовать прекратить братание». Но товарищи успели предупредить Михайлова, и он срочно отбыл в Минск.

Однако семена, посеянные большевиком, дали хорошие всходы. Когда Керенский и Ко задумали развернуть 18 июня грандиозное наступление, чтобы поддержать «союзников», все предприятия Минска забастовали, а во многих частях солдаты отказались идти в бой. Вышли из послушания сотни тысяч окопников: тринадцать пехотных дивизий, четыре сибирских и 7-я Туркестанская.

Временные применили санкции против них, и на глазах у немцев начались форменные бои русских против русских, с применением артиллерии и бронепоездов.

Бунтовщики держались до последнего. А в 299-м полку сами стали применять ответные санкции и подняли на штыки генерала Пургасова, который отказался освободить арестованных большевистских агитаторов.

И хотя начался на фронте контрреволюционный разгул, наступление было сорвано.

Неоценима роль Михайлова в сплочении белорусского крестьянства.

Как только стало известно, что он готовит съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, зашевелились белорусские помещики и создали свой национальный комитет.

Однако Фрунзе действовал оперативнее этих господ.

20 апреля он открыл в Минском городском театре первый съезд белорусских крестьян. Восемьсот делегатов были оглушены крикливыми приветствиями меньшевиков и эсеров, которые кинулись в бой «за мужика».

Но крестьяне очень скоро разобрались, от кого им ждать помощи и защиты. И избрали Михайлова — человека простого и сердечного — председателем съезда.

Он и помог им высказать свой взгляд по коренным вопросам революции. Делегаты решили создать Совет крестьянских депутатов и подчеркнули, что он должен работать рука об руку с Советом рабочих и солдатских депутатов или даже слиться с ним. Они осудили ведение войны и высказались за скорейшее заключение мира «в интересах трудящихся всех воюющих стран».

Съезд признал необходимым ликвидировать частную собственность на землю и конфисковать без выкупа всю помещичью, монастырскую, церковную и казенную землю. Но меньшевики и эсеры протащили поправку в резолюцию: не захватывать земельные угодья до Учредительного собрания.

— Воля ваша, товарищи, — сказал Фрунзе при закрытии съезда. — Но сроки созыва этого собрания не определены, а уже подкатила весна и самое сейчас время пахать землю, будь она барская или царская, монастырская или церковная. И голодным людям нужен хлеб. А вот эту «поправку» рядом с бульбой на стол не выложишь!

Делегаты хорошо поняли намек большевика. Они разъехались по своим селам и колебались там недолго — бросились захватывать господские земли.

Михаил Васильевич был избран председателем исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов. И с группой белорусских делегатов уехал в Петроград на I Всероссийский съезд крестьянских депутатов.

По дороге он мечтал: приедет в столицу и в первый же день найдет время, чтобы побывать во дворце Кшесинской и повидаться с Владимиром Ильичем. Но план этот нарушился.

Поезд Минск — Петроград выбился из расписания на первых же перегонах. Часами он простаивал на больших станциях и полустанках, пропуская к фронту составы с людьми и с техникой, а с фронта — вагоны с красным крестом, от которых пахло карболкой и йодом.

При каждой задержке митинговали напропалую. Стоило лишь крикнуть с подножки вагона: «Товарищи!» — как мигом сбегались солдаты, железнодорожники, пассажиры из соседних вагонов, из соседних поездов. И под голубым весенним небом звучали речи: сумбурные, часто невпопад, но обжигающие, как раскаленная сталь.

Приехали к самому открытию съезда. Фрунзе избрали в президиум. И дела так закрутились, что во дворец Кшесинской он не попал.

Голоса большевиков тонули в дружном хоре меньшевиков и эсеров. Но и эта братия не во всем была единодушна. И на съезде развернулась ожесточенная драчка за влияние на крестьянство.

Фрунзе объединил вокруг своих беспартийных делегатов большую группу крестьян из центральных губерний и от ее имени выступил с декларацией.

— Временное правительство не способно оправдать наши надежды. Власть следует передать Всероссийскому Совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Уже эта часть речи Фрунзе была встречена воем и бранью эсеров:

— Большевик, а прикрывается беспартийными делегатами! Демагог! Немецкий шпион! Большевистская фракция с трудом осадила разбушевавшихся эсеров, и Фрунзе развернул критику земельной политики Временного правительства:

— Крестьяне хотят сейчас же почувствовать в своих руках долгожданную землю. А пока этого нет, не будет и Доверия Временному правительству!

Столичные соглашатели действовали крепко — не чета минским! — и провалили резолюцию Михайлова подавляющим большинством.

Он очень рассердился на них. Выбежал за кулисы, у какого-то тамбовского бородача в лаптях закурил сигарку из зеленого самосада. Постоял у раскрытого окна и решил немедленно ехать во дворец Кшесинской за подмогой. И не сразу понял, что к нему подошел Ленин.

— Добрый день, Владимир Ильич! Огорчен и не скрываю своих чувств. Мы ведь выстрадали революцию. А эта тупоголовая публика никак не желает считаться с нею!

Ленин сказал, что это обычная история.

Фрунзе вышел к трибуне, потеснил очередного оратора и крикнул в притихший зал:

— На съезд приехал Владимир Ильич Ленин. Предлагаю дать ему слово вне очереди!

Президиум замешкался, делегаты подали голос:

— Дать слово! Просим товарища Ленина!

Владимир Ильич в краткой речи обосновал взгляды большевиков по аграрному вопросу. Все помещичьи и частновладельческие земли, а равно — удельные, церковные и другие должны немедленно перейти к народу без всякого выкупа. Частную собственность на землю надо уничтожить, распоряжаться землей должны местные демократические организации. Надо поощрять переход помещичьего скота и орудий в руки крестьянских комитетов для общего пользования. Так же следует поощрять устройство из каждого крупного помещичьего имения образцового хозяйства с общей обработкой земли наилучшими орудиями под руководством агрономов и по решению депутатов от сельскохозяйственных рабочих.

Съезд не согласился с резолюцией Ленина, хотя многие делегаты разделяли его точку зрения.

Внешне мало изменился Владимир Ильич за одиннадцать лет после съезда в Стокгольме. Стала меньше рыжеватая бородка, и не такими раскидистыми были усы, чуть округлились щеки, и от беспокойных ночей набухли подушки над верхними веками. Подходило ему под пятьдесят, но был он в соку: энергичный, с быстрыми жестами и стремительной речью.

В мимолетном разговоре Владимир Ильич успел узнать, как Арсений стал Михайловым. И как его здоровье. И захватывают ли крестьяне помещичью землю. И спросил, не пора ли Михаилу Васильевичу возвратиться в Иваново или в Шую: оттуда товарищи недавно запрашивали о нем. Но прежде надо окончательно подготовить резолюцию для следующего крестьянского съезда.

Двадцать четыре майских дня заседали делегаты от крестьян. Фрунзе перезнакомился со многими из них и узнал, что есть один и из Шуйского уезда, некто Борисов, солдат-большевик.

Удивило Борисова, что минский делегат знал кое-кого из шуйских старых работников, называл их по имени-отчеству и добрым словом помянул боевиков Ивана Уткина и Павла Гусева.

— Погоди, погоди, — допытывались от Борисова «старики» в Шую. — А какой он из себя? Братцы, не Арсений ли это?

Борисов описал наружность Михайлова. «Старики» заявили категорически:

— Он самый! Надо его звать в Шую!..

Александр Зайцев — бывший секретарь Шуйского Совета рабочих и солдатских депутатов — записал в своих воспоминаниях:

«Решили с ним связаться. Узнав, что Михайлов задержался в Петрограде редактировать резолюции съезда, немедленно отправили ему телеграмму: «Если вы наш шуйский Арсений, то рабочие Шуи просят вас приехать».

Два дня только и разговоров было о загадочном Михайлове из Минска. И вот пришел ответ: «Я тот самый Арсений. Приеду».

Сразу все воспрянули духом. И работа пошла живее. Хотелось порадовать Арсения успехами «Шуйской республики».

Но дни шли, а Фрунзе все не приезжал. В Совете и партийном комитете забеспокоились: не случилось ли недоброе? Мы знали, что после июльских демонстраций Временное правительство усилило репрессии против большевиков. Какой только грязью не обливали их буржуазные газеты!

Наконец 10 августа получили сообщение из Иваново-Вознесенска: Фрунзе там, завтра будет в Шуе. Надо оповестить народ! Наши товарищи отправились на фабрики и в солдатские казармы...»

Михаил Васильевич был взволнован телеграммой рабочих товарищей из Шуи. И его нестерпимо потянуло в славный город боевой юности, где сохранились друзья тех далеких революционных лет.

Но до первых чисел июня его задержал в Петрограде Владимир Ильич Ленин. И в Минске одно неотложное дело набегало на другое: то задумали временные начать грандиозное наступление, чтобы оттянуть на себя силы германцев, теснивших союзников на полях Франции; то в прифронтовой полосе зашевелилась контра и поднял мятеж генерал Корнилов.

Неоднократно были встречи с Лениным.

Владимир Ильич, отражая темп жизни партии, работал в телеграфном ключе. Он появлялся неожиданно — после митинга или заседания, — подсаживался к углу стола в бывшей гостиной балерины Кшесинской, бегло просматривал текст, вносил поправки, говорил кратко, быстро. И иногда его мимолетное замечание заставляло переписывать наново уже готовую часть резолюции.

Кто-то заглядывал в комнату — Елена Стасова, Николай Подвойский, Виктор Ногин, Владимир Невский. И увозил Ленина на автомобиле или на извозчике на завод, в Таврический дворец. Он возвращался часа через два-три и снова бросал замечание, словно и не отрывался от работы комиссии ни на миг.

Иногда он запирался один в комнатке Стасовой, писал очередную статью и готовил выступление на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, Тогда одна лишь Стасова носила ему газеты и журналы, вырезки, справки. Изредка заменяла ее Надежда Константиновна Крупская, когда приезжала из своего Выборгского района.

Ленин был удивительным сгустком целеустремленной воли, и все равнялись по нему, работая с полной отдачей сил. Общение с ним придавало ускорение и мыслям и делам, хотя не у всех доставало энергии, чтобы выдерживать темп, заданный Ильичем. А Шляпников даже заявил однажды:

— Вас надо попридержать за фалды, Владимир Ильич, а то вы хотите двигать события слишком быстрыми темпами!..

Резолюция была готова, Ленин посоветовал Фрунзе побыть на съезде, потому что политическая драка — отличная школа для большевика, и повидаться с Бубновым, который сегодня или завтра приедет из Иванова.

Встреча с Бубновым разволновала Фрунзе. Похудел Химик, осунулся. Лихорадочно блестили его голубые глаза. И как-то нервно поводит он плечами. Все это недобрый след тюрем и ссылки. Но вырос Химик в деятеля масштабного. И теперь не требовалось

прививать ему вкус к теории, как в те давние годы, когда ему хотелось идти на любые безрассудные акты, чтобы ярче проявить свою революционность.

В чем-то Химик успел больше Арсения; и Фрунзе наедине с горечью оглядывался на те годы, которые отняла у него каторга. Ведь самые цветущие силы ушли на то, чтобы сохранить жизнь и не уронить достоинства даже в кандалах.

Но у него есть силы, и он наверстает упущенное. А сейчас приятно, что не потускнела старая дружба. Стоит только сказать: «А помнишь, Андрей?» — или услышать: «А ты не забыл, Арсений?» — и нахлынут дорогие воспоминания о славной юности. И Химик так же ласков и нежен. Все это добро дружбы — и в теплом рукопожатии, и в мягком взгляде, и в глубокой симпатии.

— Останься здесь! Вместе будем! — упрашивал Химик.

— Не могу!

— Ну хоть со съезда не уезжай!

— Да вы тут разведете говорильню недели на три! Послушаю Ильича и — в Минск. Потом в Иваново!

Два дня рядом просидели на съезде. Он открылся 3 июня в бывшем дворце князя Меншикова на Васильевском острове. Но первый день ничего не определил, только вызвал досаду. Народ собрался в полдень, а открыли заседание вечером. Полным-полно было эсеров, небольшой кучкой держались большевики вокруг Ленина, отсутствовала большая группа меньшевиков. И волнами прокатывались по залу слухи: меньшевики дерутся на своей фракции! Министр-председатель князь Львов не закончил встречу с послами! Керенский отшлифовывает речь!

Наконец появился Николай Чхеидзе и начал говорить прописные истины: в знаменательный день «юбилея» приступает к работе съезд — десять лет назад царь разогнал II Государственную думу. А о природе Советов и их исторической роли в революции глубокомысленно умолчал.

Потом эсеры и меньшевики помпезно встретили военного министра Керенского: раскланиваясь в сторону друзей, он прошествовал к столу президиума таким бонапартизм. Съезд утвердил повестку дня из двенадцати вопросов. И на этом заседание закрылось.

На другой день начали обсуждать центральный вопрос о власти. Велеречивый Либер произнес речь от блока меньшевиков и эсеров. И «доказал», что Временное коалиционное правительство — благо для «революционной демократии». А передача власти Советам равносильна крушению революции.

Его поддержал Церетели:

— В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место.

И вдруг из зала раздался уверенный голос:

— Есть!

Это сказал Ленин: он стоял в проходе, выкинув вперед правую руку. И большевики поддержали его громом оваций.

И в речи об отношении к Временному правительству он вскоре повторил эту мысль: гражданин министр почт и телеграфов «говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком...».

Меньшевики и эсеры смеялись. Даже самые умные из них не могли взять в толк, что не пройдет и пяти месяцев, как сбудутся эти слова Владимира Ильича.

Михаил Васильевич 5 июня уехал в Минск. Софья Алексеевна встретила его на вокзале и сказала шутя, но с укоризной:

— Не напомнить ли гражданину Михайлову, что у него есть молодая жена?

— Милая Соня! Я помню и люблю. И думал о тебе и скучал. Кстати, не пора ли тебе кончить работу в Лунинце, в Земском союзе, и перебраться в Минск?

— Я уже свободна, мой друг!

— Ну тогда я забегу на минутку домой!..

Пока не было жены в Минске, квартира их пустовала. Михаил Васильевич не переносил одиночества, ел и спал где придется: на передовой у солдат, в комитете большевиков, в редакции газеты или в канцелярии милиции.

Сохранилась дневниковая запись о тех днях солдата-большевика Яркина: он с маршевым батальоном направлялся из Питера на Западный фронт.

В большевистском комитете работа шла круглые сутки. И солдат был очень удивлен, когда его в четыре часа ночи любезно встретил Михайлов, обстоятельно поговорил с ним и посоветовал, где и как найти товарищей по партии в 5-й дивизии.

Фрунзе привез из столицы кипу литературы и немного денег для задуманной им «Крестьянской газеты». Она вышла 10 июня 1917 года и с первых же шагов стала пропагандировать боевые лозунги: «Вся власть Советам! Земля крестьянам! Мир народам!» И горел на ее страницах призыв к крестьянам действовать сообща с рабочими и солдатами.

Но ее политическая линия бесила военные власти. И Михайлов смог редактировать свою газету ровно один месяц — 10 июля она была закрыта армейскими властями Западного фронта.

Основной причиной для репрессии послужила острая статья Михайлова «Анархизм или организация». «Газеты помещиков и капиталистов, — писал он, — кричат об анархии при малейшей попытке крестьян взять заведование землей в свои руки или потребовать смещения властей, не от народа поставленных и действующих ему во вред. Мы не считаем анархией, если земельный комитет постановит, чтобы арендных денег помещику не платить. Мы не видим анархии в том, что распоряжение лесами перейдет в руки земельных комитетов, не видим ее в том, что крестьянство будет мешать собственникам устраивать сделки помимо комитетов. Напротив, такую деятельность крестьянства — сознательную, спокойную, дружную — ...мы считаем единственно правильной и отвечающей интересам трудовой России. Мы зовем крестьянство идти смело и твердо — именно по этому пути горячо будем приветствовать всякие успехи крестьянства в деле организованного закрепления завоеваний революции».

Военные власти разделились с «Крестьянской газетой» в манере почивших голубых мундиров. А Белорусский национальный комитет вылил на ее редактора ушат грязи.

Фрунзе узнал об этом случайно. Пришли к нему ходоки из дальнего уезда. Поговорили про то, про се, а потом рассказали, что помещики пускают про него по деревням облыгу:

— Будто враг ты белорусскому народу. Не даешь в школах заниматься нашей мовой, все поворачиваешь на русский манер. Ты этого так не оставляй, и мы тебя поддержим всем миром.

Столь нелепо было обвинение, что Фрунзе пропустил его мимо ушей. Однако клевета переключалась на страницы кадетских газет, и надо было дать ей отпор. Исполком Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний опубликовал постановление: в нем отвергались все обвинения против Фрунзе в обрусительной политике. Они ни на чем не основаны и «являются злостной выдумкой Белорусского национального комитета и Украинской громады, которые в своем раздражении не постеснялись даже обвинить товарища Михайлова врагом народа».

Но мы знаем, что человек, в течение двенадцати лет боровшийся за свободу народа в рядах социал-демократической партии, два раза приговоренный к смертной казни и отбывший шесть лет тяжелой каторги, не был и не может быть врагом народа...».

Неудача с «Крестьянской газетой» я даже чудовищное обвинение в обрусительной политике не обескуражили Фрунзе. Он начал издавать с товарищами «Звезду», которая помогла минским большевикам подготовить II съезд белорусских крестьян.

Фрунзе» открыл его 30 июля 1917 года. И сказал во вступительной речи, что Временное правительство за пять месяцев так и не решило вопроса о земле. Больше того, оно тяготеет к силам контрреволюции. А это грозит опасностью успехам демократии. Милости

ждать неоткуда. Надо самим активнее включаться в борьбу за разрешение аграрного вопроса.

Как и на московском съезде, эсеры пытались захватить президиум и выдвинули в председатели члена своей партии Нестерова. Но триумфально победил большевик Михайлов. Старики крестьяне сгрудились тесной кучкой вокруг своего любимца, подняли его на руки и пронесли через весь зал к сцене:

— Руководи нами, Михаил Александрович, и не слушай никаких болтунов!

И Фрунзе, смущенный таким выражением симпатии, сердечно поблагодарил делегатов. И сказал, что такое доверие к нему означает доверие крестьян к его ленинской партии.

— Во мне не сомневайтесь, дорогие товарищи! Я всегда буду стойким защитником рабочего класса и трудового крестьянства!..

Дел было много: одно набегало на другое.

Но он помнил, что говорил ему Владимир Ильич о «русском Манчестере». И через неделю после съезда уехал в Иваново-Вознесенск и в Шую. Однако пробыл там недолго.

Накануне отъезда начальник народной милиции выдал новый паспорт гражданке Поповой. В нем значилось: «Софья Алексеевна Михайлова-Фрунзе».

Михаил Васильевич увез с собой старого ивановца Исидора Любимова, который в прошлом году устроил его на службу в комитет Земского союза на Западном фронте. Через пять дней Любимов был избран городским головой в Иваново-Вознесенске. Через три недели Фрунзе забрал с собой жену и большевика А. Станкевича: тот стал комиссаром Временного правительства в Шуе. За ним потянулись и другие товарищи — строить вместе с Арсением Советскую власть на родной земле.

Время подошло тревожное, трудное, и каждый земляк, да еще с партийным билетом большевика, был на вес золота. 4 июля Временное правительство жестоко расправилось с демонстрацией рабочих и солдат в Петрограде: было покалечено и убито четыреста человек. Тотчас же появился приказ об аресте Ленина, но товарищи укрыли его в подполье.

Двоевластие кончилось. Бразды правления оказались у Керенского — он и министр-председатель и глава военных ведомств на суше и на море. Через четыре дня он ввел смертную казнь на фронте и задавил свободную печать.

Воодушевился действиями Керенского царскосельский арестант Николай II Романов и записал о нем в дневнике: «Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту: чем больше у него будет власти, тем будет лучше».

Партия изменила тактику после VI съезда. Большевики ваяли курс на вооруженное восстание, создали в столице Всероссийское бюро военных организаций во главе с Николаем Подвойским.

Но все эти события на миг отступили, когда Фрунзе сел в Москве в ивановский поезд и отправился навстречу своей боевой юности.

Было ему не до сна. Лежала вокруг стариннейшая русская земля в лесах и пашнях, изрезанная сотнями ручьев и речек, с колокольнями на каждом сельском бугре.

Восточнее Юрьева-Польского и Гаврилова-Посада остался Владимир. Много раз он бывал в этом стольном русском граде, но в память навсегда врезались два дня — весна 1907 года, лето 1912 года, — когда его доставили из Шуи и увезли в кандалах в николаевскую каторжную тюрьму. А уж про Владимирский централ и говорить нечего: такое не забывается — пять невообразимых лет. Там были Павел Гусев, Иван Уткин, Геворк Момулянц: сохранились ли их могильные холмы на кладбище? Там были Иванец (Козлов), Капсукас, Растопчин, Волков, Постышев, Караваев и другие. Где страдальцы, борцы?

Николай Андреевич Жиделев — старый друг со времен Талки, депутат II Государственной думы и каторжанин, а теперь один из руководителей Иваново-Вознесенского Совета, встретил Арсения, как брата. И они вместе сходили на зеленую луговую излучину реки, где Фрунзе долго стоял с непокрытой головой. И сказал,

показывая на памятное место неподалеку от мостков, где черносотенцы растерзали Отца — Федора Афанасьевича Афанасьева:

— Доживем до полной победы, Николай, непременно поставим памятник нашему учителю и другу...

Два ивановских дня прошли как в угаре. Михаил Васильевич выступал на митингах и собраниях, встречался с ткачами, определял Любимова в городскую думу, искал могилу Оли Генкиной, ночью прошелся своими нелегальными тропами к домишкам, где жили Отец, Черников, Балашов.

Но сердцем был он в Шуе. И комитет большевиков согласился с ним — быть там Арсению!

10-го, в четверг, ранним утром выехали с Жиделевым к шуянам.

— Помнишь ли ты Романова? Он вместе со мной подписывал телеграмму губернатору Сазонову, когда тебя избили в шуйском участке. А потом ивановцы давали ему мандат на конференцию в Праге.

— Видел его в Ивенце и Минске в прошлом году. Он ходил по пятам за мной, навязывался на дружбу, но я его сторонился: что-то меня удерживало.

— Нюх у тебя правильный, Михаил Васильевич! Этот тип оказался филером с партийным билетом. Звали его в охранке Пелагея. Сейчас сидит в тюрьме.

— А у себя-то хорошо почистили?

— Забрали с десятка. Мелкая сошка, просто гниды: за бутылку водки выдавали наши головы. Но теперь этому конец!

— Не скажи! Керенскому тоже нужны осведомители. И они сейчас как борзые мечутся по столице в поисках Ленина.

— Надежно ли укрыт Владимир Ильич?

— Наверняка! Где он — не знаю. А если бы и знал — промолчал бы: о таком могут знать только двое-трое, не больше, люди самые близкие, кремневые...

Николай Андреевич тайком от Фрунзе послал телеграмму: «Будем в пятницу».

Шуя в тот день преобразилась. Рабочие павловской фабрики, терентьевской и балинской первыми заняли места на привокзальной площади и вдоль перрона.

А вскоре подвалила с красными знаменами и вся рабочая Шуя. К приходу поезда через Большой мост на реке Тезе подошел отряд из двух полков со сводным воинским оркестром.

Но Арсений не знал об этом. Он стоял у окна, не отрывая глаз от знакомого пейзажа: промелькнули домики Заречья, водокачка. Сейчас появится приземистое здание вокзала с черными буквами над входной дверью: «Шуя».

Почему люди машут руками возле каждого дома? И шпалерами стоят вдоль путей? Что за праздник?

— Не сердись, Михаил Васильевич, еще не то будет! — виновато улыбнулся Жиделев.

— Ну, это ни к чему! — посуровел Фрунзе.

Поезд подтянулся к вокзалу. Над морем голов колыхался от легкого ветерка огромный кумачовый плакат: «Привет Арсению (Фрунзе)».

Игнатий Волков — сосед по каторжной камере — первым кинулся в вагон. И люди увидели двух плачущих большевиков, словно замерших в объятиях.

Подбежали старые друзья, подхватили Арсения на руки и понесли на площадь к деревянной трибуне. Он лежал, раскинув ноги и руки, на живом горячем помосте, вырывался и приговаривал:

— Нельзя же так! У меня ноги есть! Ей-богу, нельзя!..

«Николай Андреевич произнес на привокзальной площади большую яркую речь, — вспоминал об этом дне Александр Зайцев. — Мне захотелось услышать и Арсения, но он почему-то не стал говорить — наверное, был очень взволнован такой встречей. Потом людская река под звуки «Марсельезы» потекла к центру города. Жители сопровождали дорогих гостей до самого Совета, который находился в здании частной гостиницы. По

дороге Михаил Васильевич часто останавливался, окруженный товарищами по революционной борьбе. Старым друзьям было о чем поговорить после стольких лет разлуки.

— Надолго ли приехал? — спрашивали они у Фрунзе. — Может быть, совсем останешься?

Фрунзе шурился и с улыбкой отвечал:

— Я ведь не сам по себе живу, партии принадлежу...

Прислушиваясь к оживленной беседе, я испытывал радостное чувство оттого, что Арсений находится рядом с нами. Хотелось без конца смотреть на его коренастую фигуру в простой солдатской гимнастерке, на его веселое лицо с лучистыми глазами. Теперь, думал я, дела у нас пойдут в гору...».

Весь город облетела фраза, сказанная Арсением в первой, речи на заседании Совета:

— Ну вот я и дома!

Шуйский Совет рабочих и солдатских депутатов по-своему ответил на эти слова Фрунзе: «В связи с возвращением дорогого товарища Арсения считать завтрашний день, субботу, 12 августа, нерабочим. Все на митинг!»

В тот день в Москве, в Большом театре, открылось Государственное совещание. Генерал Корнилов проехал по Тверской на белом жеребце, окруженный текинцами в высоких черных папахах. А в Шуе открылся грандиозный митинг.

«Немало видела Ильинка (ныне площадь Революции) собраний и демонстраций, но такой массы народа, как в субботу, 12 августа, здесь прежде не собиралось, — записал Александр Зайцев. — Под красными знаменами сюда шли колонны рабочих — все предприятия остановились. Покинув казармы, к площади шагали солдаты. Спешили на митинг женщины. Вся площадь и ближайшие улицы были запружены народом...

Говорил Фрунзе просто... и самые сложные политические вопросы становились понятными всем. Сейчас мне трудно пересказать его большую речь, но основной её смысл заключался в призыве сплотиться вокруг большевиков, пресечь контрреволюционный заговор буржуазии, бороться за власть рабочих и крестьян. Многоликая аудитория слушала Михаила Васильевича с затаенным дыханием и, когда он кончил говорить, вскипела от возгласов одобрения».

На этом митинге присутствовала и работница чернецкой фабрики, депутат Шуйского Совета А. Костюченко. Она вспоминала: «Взволнованная до глубины души, я радовалась вместе со всеми шуянами приезду Арсения. А к нему протискивались знакомые, пожимали ему руки, приглашали навестить. Он узнавал, расспрашивал их о жизни, о семьях. Сколько чудесной обаятельности было в этом человеке! Вот почему он так любим народом... Долго гудела площадь от нерасходившегося народа. Сколько радостных возгласов! Делились впечатлениями. Вот когда наслушались Арсения, не боясь казацких нагаек...»

По призыву Фрунзе с понедельника забастовали все предприятия Шуи; они дружно поддержали московских рабочих, заявивших протест против созыва Государственного совещания.

За две недели Арсений решил в Шуе два важных дела. Рабочие голодали: им по три дня не выдавали хлеба по карточкам — так отвечали шуйские торговцы на призыв миллионера Рябушинского «задушить Советы костлявой рукой голода». Голодные работницы разгромили продовольственную управу, но перебои с хлебом не прекратились.

Меньшевики подняли крик: виноваты ленинцы, которые поощряют погромы! Фрунзе пригласил торговцев хлебом и сказал:

— Хотите жить в Шуе — дайте хлеб немедленно! В противном случае закрывайте лавки, и чтоб ни один из вас не попадался нам на глаза!

Хлеба было не в досталь, но появляться в продаже он стал ежедневно.

Потом развернулись выборы в городскую думу. Меньшевики почти не сомневались в победе, однако их прокатили на вороных. И во главе думы оказался Арсений с группой большевиков.

Теперь была очередь за Советом. В Иваново-Вознесенске, где в разное время руководили Советом Андрей Бубнов, Федор Самойлов и Николай Жиделев, и в ближайших к нему рабочих поселках — в Тейкове, Родниках, Середе и Кохме — соглашатели не пользовались влиянием. Разгромленные в округе, они сбежали в Шую. И тут им повезло: шуйские большевики, раскиданные по тюрьмам и ссылкам, стали возвращаться лишь ближе к лету. В дни февраля их было двадцать пять, к приезду Арсения — триста пятьдесят. Это уже была боевая группа, и при хорошем организаторе роль ее возросла неизмеримо.

Большевики начали драться за Совет. Но Арсению пришлось уехать в Минск: Корнилов двинул войска на Петроград, Фрунзе был необходим на Западном фронте.

Уезжая, он оставил наказ товарищам:

— Бейтесь за наше влияние в Совете! Каждый день объясняйте товарищам необходимость большевистского руководства во всех органах власти и самоуправления! Наша Шуя, богатая революционными традициями, должна идти впереди соседних городов!.. Я буду недели через две...

С поразительной быстротой разворачивались события. За то время, что Фрунзе пробыл в Шую, заметно подняла голову реакция. Генералы громили организации большевиков в дивизиях. В тылу зашевелились деятели старого мира, появились их комитеты «христианства» с ярко выраженной монархической программой. В Витебске эти «христиане» выпустили воззвание в духе царя и Столыпина: «Бей жидов, спасай Россию!» В слущкой типографии бывшего черносотенца Некрасова такая «литература» печаталась тысячами. В Витебске, Мозыре, Могилеве, Рогачеве меньшевики одержали вверх и при каждом случае пели дифирамбы Керенскому. Исполком солдатских депутатов Западного фронта высказался за поддержку Временного правительства и за продолжение войны до победы. Нацдемовцы такого монархического толка, как Лукашевич, открыто похвалялись, что вскоре разгромят Минский Совет.

Главковерх Корнилов, обласканный в Москве промышленниками, купцами, кадетскими профессорами и дремучими обывателями, поднял голову. И 25 августа 1917 года послушные ему «дикая дивизия», соединения кавказцев и «дивизион смерти» двинулись на Петроград.

Через три дня Минский Совет создал Временный военно-революционный комитет для нанесения удара по корниловщине. Начальником штаба революционных войск Минского района был назначен Михайлов. В помощь Корнилову срочно формировались «Союз офицеров», «Союз георгиевских кавалеров», «Союз совета казачьих войск». Перед Фрунзе срочно выдвинулась задача: изолировать ставку Корнилова, не дать ей возможности передвинуть к столице мятежные части с Западного фронта.

Работа шла в подполье. Но преданные партии революционные воинские части, отряды народной милиции и первые объединения красногвардейцев молниеносно исполняли приказы Фрунзе. Они оцепили все железнодорожные узлы, поставили своих людей у телефонных и телеграфных аппаратов. Патрули Михайлова круглосуточно дежурили на линиях Минск — Орша — Гомель — Бобруйск. В 5-й дивизии, где крепко действовали большевики Яркин, Дмитриев, Ильин, была перехвачена шифровка о посылке ударных частей в распоряжение Корнилова и удалось поднять восстание. Многих офицеров взяли под арест, начальник дивизии генерал Балугев бежал. Почин дивизии перекинулся на соседние части.

К этим дням относится знакомство Михаила Фрунзе с Семеном Буденным. Семен Михайлович служил в Кавказской кавалерийской дивизии. В партии не состоял, но пользовался большим уважением у своих сослуживцев: он был председателем полкового комитета и заместителем председателя дивизионного комитета.

Фрунзе приметил его, приглашал на заседания Минского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Когда начала передвижение «дикая дивизия», Буденный был в Гомеле. Фрунзе сообщил ему, что большевики Западного фронта считают необходимым задержать и

разоружить «дикую дивизию». И что это важное дело может осуществить только комитет Кавказской дивизии.

Часть Буденного передислоцировалась в Могилев. Туда приехал Фрунзе, нашел Семена Михайловича:

— Примите все меры, но «дикарей» в Питер не пускайте! Вам поможет ревком железнодорожников — я их подготовил.

— Все ясно, — Буденный задумался. — Но вот в чем дело... Не трудно подготовить наших солдат к разоружению «дикой дивизии». Но как отнесется к этому командование моей бригадой? Оно определенно будет против разоружения горской дивизии: у нее нет на этот счет указаний начальства, да и побоится оно, что будет пролита кровь.

Но Фрунзе стоял на своем:

— Надо проявить решимость и твердость! Солдатские комитеты фронта целиком разделяют позицию партии: не пускать «дикую» за Оршу!

Буденный с успехом выполнил это задание: два эшелона «дикой дивизии» были сняты с поезда без оружия и отправлены в Быхов пешим порядком.

Так было на каждой крупной станции: революционные солдаты разоружали сторонников Корнилова, железнодорожники разбирали пути. В тылу опорой большевиков стала Красная гвардия. Партия действовала как настоящая правящая сила.

Корниловщина потерпела крах, командир мятежных частей генерал Крымов застрелился. Временное правительство объявило Россию республикой. Соглашательский Центральный исполнительный комитет Советов объявил о созыве Всероссийского демократического совещания для организации власти на демократических началах. Это была еще одна попытка отвлечь массы от назревающей социалистической революции, это была агония антинародного режима.

Петроградский и Московский Советы перешли в руки большевиков. «Достаточно было «свежего ветерка» корниловщины, обещавшего хорошую бурю, чтобы все затхлое в Советах отлетело на время прочь и инициатива революционных масс начала проявлять себя как нечто величественное, могучее, непреодолимое», — писал Владимир Ильич Ленин.

Теперь у Михайлова оставалась в Минске одна задача: объединить силы большевиков в Минском крае — в тылу и на фронте. Областная конференция была назначена на 1 сентября 1917 года: она представляла более 6 тысяч членов партии. Но из-за борьбы с корниловщиной народу прибыло мало. И Александр Мясников предложил конференцию перенести на 15 сентября, а пока ограничиться областным совещанием.

Фрунзе прибыл лишь на третий день, так как находился на передовой. Его роль в разгроме корниловщины была оценена по достоинству, и делегаты встретили его бурной овацией.

Прямо с поезда, как солдат из окопа — заросший и густо припудренный пылью дорог, с воспаленными от бессонных ночей глазами, — он, прихрамывая, подошел к трибуне и произнес огненную речь:

— История оставила нам один удел — добить режим Керенского, столкнуть плечом в гнилое болото социал-соглашателей! Наш путь определил шестой съезд — все силы на выполнение его решений! Час восстания близок! Через вооруженное восстание — к победе социалистической революции!

О практических шагах на пути к восстанию он сказал на следующий день в Минском Совете. Корниловщина еще не ликвидирована, потому что не подрублены ее корни. Надо быть при оружии и бдительно охранять интересы революции. Требуется немедленной отмены смертной казни. Во всех полках и ротах ведите каждый день пламенную агитацию: «Долой войну!» Сегодня — же распустить «Союз офицеров», завтра арестовать его главарей! Взять за горло черносотенцев, антисемитов, погромщиков!

Через неделю были закрыты по всему Западному фронту полковые, дивизионные и корпусные отделения «Союза офицеров». Погромная агитация прекратилась.

Но Временное правительство не отказалось от репрессий. Оно закрыло «Звезду». Фрунзе и Мясников стали выпускать «Молот». 5 октября закрыли и его. 8-го Фрунзе восстановил газету под названием «Буревестник».

«Вспомнишь то беспокойное время — диву даешься: сколько пришлось Михаилу Васильевичу попутешествовать из конца в конец, сколько дней и ночей потрястись в вагонах! — записал Александр Зайцев. — Вот он, делегат Шуйского Совета, едет на Демократическое совещание в Петроград. Возвратился оттуда, поработал с десятков дней и опять помчался в Минск».

9 сентября «Михаил Васильевич... пожаловал в Шую вместе с женой Софьей Алексеевной. Поселились они в маленьком домике на Соборной улице. Первый раз Фрунзе затащил меня к себе чуть ли не силой. Я жил от Совета далеко, за рекой, обедать домой не ходил и питался всухомятку. Михаил Васильевич заметил это и настоял, чтобы я пошел вместе с ним. Приветливость его хозяйки покорила меня, и в следующий раз я последовал за Михаилом Васильевичем без всякого сопротивления...».

Последний раз Фрунзе был в Минске на II областной конференции большевиков и 12 октября распрощался с товарищами из прифронтовой полосы.

И Михаилу Васильевичу было грустно, и товарищи не скрывали своей печали: полюбился им этот большевик — простой и сердечный, справедливый, преданный партии. И прекрасный организатор. Много хороших слов сказали они ему на прощанье и преподнесли именной адрес.

В героической и многострадальной истории белорусского народа и в революционном движении солдат Западного фронта навсегда осталось его имя — символ мужества и преданной любви к трудящимся...

Михаил Васильевич приезжал в Шую в августе, затем в сентябре и окончательно обосновался в городе своей юности во второй половине октября.

Каждый его приезд был для шуйских большевиков новым этапом. Под его руководством сперва завоевали они городскую думу, земскую управу, Совет профсоюзов.

Затем полковые и ротные комитеты в гарнизоне и милицию, Совет работавших депутатов.

«При таких условиях партия самым легальнейшим образом к середине сентября 1917 г. утвердилась во всех местных органах власти, заполучив их в свои руки... — писал о тех днях Фрунзе. — Таким образом, еще за полтора-два месяца до Октябрьского переворота во всем Иваново-Вознесенском районе фактически была установлена диктатура пролетариата. Настроение всюду и особенно среди рабочих и солдат было ярко-революционное. Советы чувствовали свою силу и действовали в сознании абсолютной неизбежности окончательного перехода власти по всей республике в руки трудящихся».

И секретарь Совета Александр Зайцев по-своему интерпретировал мысль Фрунзе:

«Вдумаемся в этот беглый перечень фактов, и это позволит нам сделать весьма примечательный вывод. В то время как у государственного руля России официально еще находилось буржуазно-соглашательское правительство Керенского, фактическая власть в Шуйском уезде уже была рабоче-крестьянской. Такие социалистические островки появились тогда и в других краях нашей родины. Но мне, естественно, ближе «Шуйская республика» и ее «президент» Арсений».

Крылатое название «Шуйская республика» придумали столичные щелкоперы: им хотелось подчеркнуть, как мал большевистский «пятачок», чтобы принимать его всерьез. Но шуяне опирались на рабочих всего края, и это уже был для Керенского грозный очаг пролетарской революции.

В припадке отчаяния эти же столичные щелкоперы кинулись на клевету против шуйского «президента». Мол, это вовсе не Арсений времен первой революции и столыпинской реакции, а очередной «Лжедмитрий» прикрывающийся фамилией Фрунзе. Но на такую чушь ни у кого не было желания отвечать продажным писакам.

Власть была у рабочих, крестьян и солдат. А фабрики по-прежнему принадлежали Небурчиловым, Терентьевым и Павловым. И это неизбежно рождало такие конфликты, которые могли окончиться всеобщей политической стачкой.

Начали ивановцы: они еще 23 сентября вышли на улицы с лозунгами: «Хлеба, мира и работы! Вся власть Советам!» А 21 октября 1917 года 300 тысяч текстильщиков Иваново-Вознесенска, Шуи, Кинешмы, Родников, Коврова, Середы, Кохмы и Вичуга в один час бросили работу.

За три дня до стачки Фрунзе был избран председателем Шуйского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. И сказал: в городе угрожаемое положение с продовольствием; от Керенского ждать помощи бесполезно; требуем перехода всей власти в стране Советам; наше надежное оружие в борьбе с враждебным режимом — всеобщая стачка!

С его помощью Центральный стачечный комитет выпустил воззвание:

«Граждане! Сегодняшний день огромная 300-тысячная армия рабочих текстильщиков нашей области выступает на борьбу с капиталом, начинает стачку. Дети нужды идут добывать себе лучшую долю...

...В ответ на наше предложение мирно разрешить конфликт, путем переговоров прийти к соглашению фабриканты ответили молчанием! Они бросили нам вызов, и мы принимаем его и, объявляя стачку, покидая работу, ставим вас в известность, что ни один аршин, ни один лоскут мануфактуры не будет нами выпущен с фабрик на рынок, пока капитал не пойдет на уступки. Мы ставим на карту свое существование и будем бороться с беспощадным противником всеми средствами, имеющимися у организованных рабочих, твердо веря, что всякий благоразумный человек поймет, что иного выхода из создавшегося положения нет, что мы вправе так поступать...»

Перепуганные фабриканты ударили челом министрам внутренних дел и торговли, владимирскому губернскому комиссару и прокурору.

Эта челобитная — крик отчаяния. В ней подробный перечень «самовольных» действий рабочих: они запретили вывоз с фабрик готовых изделий, фактически захватили власть над фабриками, поставили вооруженных людей у ворот, в конторах, у телефонов; сняли с работы служащих, отобрали ключи от фабричных помещений и складов. «Просим принять срочные меры к восстановлению нарушенного стачечным комитетом права».

Но временные дышали на ладан и не протянули руки фабрикантам «Ситцевого края». По решению Советов революционные солдаты взяли охрану рабочих центров в свои руки. Им в помощь срочно формировались отряды Красной гвардии.

23 октября Фрунзе провел последнюю демонстрацию на Ильинской площади при временных. Солдаты гарнизона пришли в полной боевой готовности. В резолюции митинга было одно требование: власть должна немедленно перейти в руки Советов!

Боевая проверка революционных сил показала исключительную организованность рабочих и солдат.

Оставалось лишь ждать два дня выстрела с крейсера «Аврора»...

Рождение командарма

В момент Октябрьской революции стал во главе вооруженных сил Шуйско-Ивановского района и привел в Москву 30 октября двухтысячный вооруженный отряд из рабочих и солдат. Принимал непосредственное участие в Октябрьских боях. С организацией Иваново-Вознесенской губернии стал председателем губисполкома. Все время был председателем Шуйского уездного комитета партии и Иваново-Вознесенского губернского комитета партии. Был делегатом на всех съездах Советов, начиная со второго.

Был избран во Всероссийское учредительное собрание от Владимирской губернии от партии большевиков.

В течение весны и лета 1918 г. наряду с исполнением обязанностей председателя губисполкома и председателя губкомпартии был губернским военным комиссаром и председателем губсовнархоза. После ярославского восстания был назначен окружным военным комиссаром Ярославского округа, В декабре 1918 г. получил назначение командующего 4-й армией на Восточном фронте.

М. Фрунзе

Безымянный корреспондент большевистской газеты «Социал-демократ» напечатал 2 ноября 1917 года небольшую заметку из Шуи. Она без прикрас отразила события в «республике» Арсения — Фрунзе.

«27-го октября организовался уездный революционный комитет (из пяти человек)... Гарнизон, состоящий из 2-х полков пехоты и 1 дружины, в полном подчинении Комитета. На помощь Москве снаряжен эшелон и 3 маршевых роты. Настроение рабочих, крестьян и всего гарнизона превосходное. Организована и вооружена Красная гвардия. Из уезда отовсюду поступают резолюции приветствия новой Советской власти. Единодушная поддержка новому рабоче-крестьянскому правительству обеспечена как со стороны населения, так и всех выборных организаций (думы, земства и пр.). Стачка текстильщиков продолжается. Шуйский и Ковровский районы подняли вопрос о ее прекращении. Я видел демонстрации сочувствия и поддержки новой власти.

Вопрос окончательно решится сегодня (1 ноября), всюду полнейшее спокойствие и доверие к руководящим организациям. Чувствуется недостаток хлеба».

Строки деловые, спокойные. Но за ними — целая эпоха: бурные события, волнения, страсти, борьба!..

Ночь на 26 октября — со среды на четверг. С вечера продолжается заседание земского уездного собрания. Разговоры, слухи, предвестие бури. Наконец получена телеграмма из Петрограда: «Временное правительство низложено!»

Фрунзе снял трубку, срочно позвонил в Иваново-Вознесенск Любимову:

— Исидор! Говорит Арсений! Достоверны ли известия из Питера?

— Обнимаю тебя, друг; свершилось! Формируем революционный штаб — Самойлов, Жучин, Фурманов, Шорохов, Федотов. Успехов твоей Шуйской республике!

Фрунзе взволнованно объявил о победе пролетарской революции. Он возбужден, полон живительной, радостной энергии. Двум ротам солдат, где командирами члены Совета, он дал задание: быть в казармах наготове. Другим ротам и Красной гвардии — занять почту, телеграф, телефон, вокзал, банк и казначейство. Через час выполнен и этот приказ.

Утро четверга, октябрь, 26-е число. Еще по-темному — в сборе все члены исполкома Совета. А рядом — с ночи — заседание уездной управы. И тут и там Арсений сообщил о сформировании Совета Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичом Лениным.

Вечером в Доме народа собрались члены Совета, гласные думы и земства, члены фабрично-заводских, полковых и ротных комитетов.

В речи Фрунзе доминировала одна мысль:

— Товарищи! Рабочие, солдаты и крестьяне! Только от вас зависит успех новой власти. Сплотимся железной стеной вокруг Советов и обеспечим победу нового правительства, государства Российского!

Все ораторы единодушно поддержали Арсения. Собрание решило создать ревком под эгидой Фрунзе и предоставить ему право распоряжаться всеми государственными учреждениями города и уезда. Одновременно были закрыты кадетские «Шуйские известия» и одобрен выпуск новой газеты «Маяк».

Михаил Васильевич оставил воспоминания об этих днях Октября в Шуе:

«Известие было восторженно встречено широкими массами и быстро распространилось всюду. Не помню ни одного случая протеста или недовольства со стороны каких бы то ни было групп. Все противники переворота из числа интеллигенции и городского мещанства не

могли бы слова сказать против при том настроении, какое имело место в народе. Разумеется, переворот в Шуе произошел без пролития капли крови, без единого выстрела».

27 октября, пятница. Повсюду шли митинги. Солдаты 237-го полка приветствовали власть Советов и подтвердили решимость по первому требованию ревкома выступить на ее защиту.

Вдруг пришла тревожная телеграмма: командующий войсками Московского военного округа эсер Рябцев приказал срочно выслать роту украинцев для подавления «вспыхнувших большевистских беспорядков».

— Срочно звони в Москву! — сказал Фрунзе секретарю Совета Александру Зайцеву.

Тот позвонил в пятницу, но ничего определенного не узнал. «Суббота, 28 октября. Утром, проходя мимо телефонной станции, — записал Зайцев, — решаю еще раз поговорить с Москвой. На мое счастье, соединили быстро.

— Московский Совет?

— Да.

— Говорит Шуя... Секретарь Совета. Как у вас дела? Не нужна ли помощь?

— Вчера было плохо. Ночью частично продвинулись.

Вдруг какой-то шум, треск в аппарате, и другой голос:

— Кто говорит? Кто говорит?

Опять называю себя и повторяю вопросы. Слышу ответ:

— Дела идут хорошо. Никакой помощи не нужно. Скоро все будет спокойно.

— С кем я говорю?..

Но мой вопрос уже излишен. Разговор прерван, и телефонистка уверяет, что Москва на вызовы не отвечает.

Спешу к себе в Совет, иду прямо к Фрунзе и рассказываю о случившемся. Начинаем понимать, что в Москве идет серьезная борьба... Вполне возможно, что на телефонной станции там уже распоряжаются юнкера. Надо готовить вооруженную помощь московским большевикам.»

Взяли на учет оружие, в два полка назначили комиссаров. Тут и подошло известие, что Московский ревком просит помощи. За два дня был сформирован отряд. И 31 октября Михаил Васильевич выехал в Москву для «взаимной информации», как было записано в решении комитета большевиков. И распорядился выслать отряд по его телеграмме немедленно.

Телеграмма пришла на другой день. И вечером, 1 ноября, солдаты Шуйского гарнизона и красногвардейцы, получив вагоны и паровоз в Иваново-Вознесенске, двинулись добывать юнкеров в древней русской столице.

Накануне в Шую приехал член Московского областного Совета Обоймов. Его назначили начальником эшелона. Командовал отрядом поручик Стриевский, комиссаром у него был левый эсер Богданов-Марьяшкин. По пути к шуянам присоединились солдатские подразделения из Коврова и Владимира, и в отряде стало две тысячи штыков.

Но Михаил Васильевич разминутся с ним по дороге. Опасаясь, что отряд может задержаться отправкой, он выехал ему навстречу. Связь не работала, и только в Шуе Фрунзе узнал, что товарищи выехали своевременно. Догонять их не было смысла: 3 ноября основные силы белых были преодолены. Революционные войска заняли Кремль и Александровское военное училище. Сдался штаб Московского военного округа на Пречистенке. Но отряд сделал свое дело.

«Прибытие нашего... подкрепления, — писал Фрунзе, — сыграло в ходе борьбы довольно крупную роль, — правда, больше морального, чем материального характера. Когда отряд подходил к Москве, то на Нижегородском вокзале и прилегающих районах распространился слух, что идут с фронта войска Керенского для подавления большевистского восстания. Такое представление создалось ввиду действительно настоящего походного боевого вида нашего отряда. Тем резче проявился перелом, когда узнали, что это не войска Керенского, а, напротив, прибыли революционные войска для того,

чтобы поскорее покончить с сопротивлением белых. Кажется, на другой же день после прибытия и состоялась капитуляция белых».

Двести шуян несли караульную службу в Кремле. Но и они вскоре вернулись в Шую, захватив с собой трофейный пулемет.

Михаил Васильевич пробыл в Москве всего лишь один день, 1 ноября. Но этот день мог стоить ему жизни: на улицах и площадях кипел артиллерийский бой; едва умолкало орудие, слышен был стрекот пулеметов и хлопки винтовочных выстрелов; а он с мальчишеским озорством кинулся под пули в районе Большого театра.

Перебегая от укрытия к укрытию, пригибаясь и всматриваясь, добрался он кое-как от вокзала до Скобелевской площади, где в бывшем доме генерал-губернатора помещался Военно-революционный комитет.

Там день начался с радостных известий: «Войска Керенского у Гатчины разбиты и отступают», «Выступление юнкеров в Питере окончательно подавлено».

Но это было далеко от Москвы. А из особняка губернатора физически ощущалась пушечная канонада: от взрывной волны распахивались форточки и дробно дрожали большие окна с бемскими стеклами. И чуть затихал бой, появлялись курьеры с донесениями.

Писали товарищи с Пресни: «Немедленно пришлите для поддержки 300 солдат, иначе нас опять отобьют. Поскорее пришлите хоть первую группу на грузовиках. Наступаем к Никитским воротам, по Поварской, к Смоленскому рынку». Освещали обстановку возле Театральной площади: «Охотный ряд под обстрелом с колокольни в Кремле. Все время стреляют из пулемета. И по этой колокольне бьет наше орудие от Большого театра. И артиллеристы говорят: пока не сшибут пулемет с церкви, не перестанут стрелять...»

Артиллерийская батарея ВРК под командованием Давидовского интенсивно обстреливала с утра эту колокольню в Кремле и прямой наводкой била по гостинице «Метрополь». Другие орудия накрывали городскую думу, Кремль, штаб Московского военного округа на Пречистенке, Александровское военное училище у Арбатской площади и район Никитских ворот.

Когда Фрунзе присоединился к сводному отряду за Большим театром, «Метрополь» был окутан дымом и пылью от разрывов. С невероятным треском ударялся очередной снаряд в стену гостиницы, раскидывая по улицам и по площади обломки кирпичей, железа и стекла.

Но беляки держались. И воровски — то из одного окна, то из другого поливали пулеметными очередями, отрезая подступы к «Метрополю», городской думе и Иверским воротам. И на Неглинной улице нельзя было высунуться из подъезда. И всякий раз, когда от Копьевского переулка выдвигалось орудие, чтобы мимо крайней левой колонны театра отправить снаряд в гостиницу, беляки успевали послать очередь по артиллеристам.

Это гнездо белых надо было брать штурмом. И Фрунзе обратился к Давидовскому:

— Как вы думаете, когда можно пробежать поперек Театрального проезда, чтобы успеть укрыться под защитой гостиничных балконов?

— Пробовать надо от угла Малого театра, как только беляки выпустят ленту. На смену ленты уйдет до десяти секунд. Вот и все время: или прорваться, или умереть... Но я говорю об одном пулемете, а у беляков их четыре: три в окнах, один — на крыше.

— Укроемся хоть от одного! Кто со мной, братцы? — Фрунзе взял по две гранаты в руку.

Командир отпустил только одно отделение. Дюжина бойцов, плотно прижимаясь к стене Малого театра, добралась до угла. Рукой подать до «Метрополя», всего двадцать два шага. Но каждый из них грозил смертью.

Фрунзе ощупал колено, чтоб не подвело на бегу, дождался, пока замолк пулемет, и бросился по диагонали к правому углу гостиницы. Товарищи устремились за ним. Беляки словно горох рассыпали по булыжной мостовой, и пули — рикошетом, озорно свистя, задели двух бежавших сзади, но не смертельно.

С криком «ура» отделение Фрунзе через окно проникло в зал ресторана, загрохотали гранаты под высокими сводами, оружие накрыло еще раз белых пулеметчиков, штурмом пошел сводный отряд. «Метрополь» пал. И только малая часть юнкеров успела гостиничным двором через стену Китай-города убежать на Никольскую. Путь к городской думе и Иверским воротам был открыт...

Владимир Ильич Ленин 5 ноября 1917 года обратился с воззванием «К населению». В нем он указал, что рабочая и крестьянская революция победила окончательно. «За нами большинство народа. За нами трудящиеся и угнетенные во всем мире. За нами дело справедливости. Наша победа обеспечена».

Но противодействие капиталистов и высших служащих налицо. Эти господа «встречают новую революцию враждебно, сопротивляются ее победе, грозят прекращением деятельности банков, портят или прекращают работу разных учреждений, мешают ей всячески, тормозят ее то прямо, то косвенно».

И Ленин в своем воззвании писал, обращаясь к рабочим, солдатам, крестьянам, всем трудящимся:

«Товарищи трудящиеся! Помните, что *вы сами* теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете *все дела* государства в *свои* руки. Ваши Советы — отныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы.

Сплотитесь вокруг своих Советов. Укрепите их. Беритесь сами за дело снизу, никого не дожидаясь. Установите строжайший революционный порядок, беспощадно подавляйте попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционных юнкеров, корниловцев и тому подобное...

Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне и все трудящиеся! Берите *всю* власть в руки *своих* Советов. Берегите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт — все это отныне будет *всецело* вашим общенародным достоянием. Постепенно, с согласия и одобрения большинства крестьян, по указаниям *практического* опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе социализма, которую закрепят передовые рабочие наиболее цивилизованных стран и которая даст народам прочный мир и избавление от всякого гнета и от всякой эксплуатации».

Многое в этом воззвании касалось и «Шуйской республики»: укрепление власти, становление нового строя в деревне и борьба за мир. Да еще возникла необходимость проводить выборы в Учредительное собрание.

Органы власти были сконструированы своевременно: ревком, Совет, земская управа. Теперь оставалась одна забота — пополнять их достойными людьми. Нехватки в них не было, но все они не имели никакого опыта в управлении. И учить их было некогда. Оставались у руководства только те, кто с умом проходил школу митингов и собраний и набирался умения на практике.

Плохо было в Шуйе и с фабриками. Они еще находились в руках у хозяев, а с ними контакт не налаживался, и забастовка, начатая на пороге Октября, еще продолжалась.

— Как быть, Михаил Васильевич? — Городской голова Игнатий Волков не скрывал озабоченности. — Я собирал фабрикантов. Они поважничают еще с недельку и пойдут на попятную. Только у многих нет сырья, почти у всех нет топлива. И народ ослабел хуже, чем в 1905 году. Ты, может, слышал: был у нас обычай — на церковной паперти и возле уличных колодцев класть кусок хлеба, картошку или луковицу. Это для тех, кто стыдился просить милостыню.

— Интересно! — оживился Фрунзе.

— Говорю: обычай такой. Наверно, от тяжелой доли, которую сообща делили ткачи. Так кончился этот обычай: с едой трудно в каждом семействе. И к чему я веду речь: ну выйдем на работу, а как народу держаться без харчей?

— Всякий день думаю об этом... А сколько времени не брали рабочие куски на фабрике? Как-то был об этом разговор в Совете.

— С первого спаса, как раз три месяца. Все ждали, что дадут в обмен продовольствие.

— Вот и выход, Игнатий! Снаряди-ка через продовольственную управу толковую группу. И пускай она едет с мануфактурой за хлебом. О вагонах я распорядюсь и для охраны дам двух-трех красногвардейцев. Раздобудут люди хлеб, станут к станкам, пойдет новый ситец!..

Забастовка кончилась 18 ноября. Общество фабрикантов и профсоюз текстильщиков подписали соглашение об увеличении заработной платы и о новых нормах выработки. А через десять дней бригада Игнатия Волкова подвезла хлеб. Кое-как вышли из положения и с топливом: рабочий контроль обнаружил скрытые запасы у одних фабрикантов, других снабдил дровами.

Все громче раздавались в Шуе голоса о национализации фабрик. Но это важное дело решилось спустя лишь полгода, когда Фрунзе уже руководил вновь образованной губернией с центром в Иваново-Вознесенске.

Декабрь начался с выборов в Учредительное собрание. Михаил Васильевич не верил, что именно этому собранию надо решать судьбу новой России: жизнь налаживалась под эгидой Советов, рабочие, крестьяне, солдаты о другой власти не помышляли.

— Не может это собрание увенчать пролетарскую революцию, — говорил он в кругу товарищей. — От него будет пахнуть мертвечиной. Прошло время выслушивать «прописные истины» вожаков правых партий, тем более что все эти «истины» направлены против Советской власти.

Но день выборов приближался. И каждая партия стала защищать список под определенным номером, полученным еще при Временном правительстве, в эпоху буржуазного парламентаризма. Кадеты шли по списку № 1, большевики — по списку № 6.

Михаил Васильевич опубликовал обращение к шуянам, призывая их голосовать за большевиков. В этом документе отчетливо виден почерк ленинца, преданного своему классу.

«Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) есть партия *социалистическая*. Это значит, что она хочет уничтожить господство капитала путем введения общественной собственности на земли, фабрики и заводы; она партия *демократическая*, ибо стремится передать всю власть в государстве народу, создать демократическую республику; она партия *интернационалистская*, ибо хочет мира и братства между всеми народами, хочет сделать трудящихся всех стран братьями друг другу и поэтому стремится как можно скорее положить конец преступной войне. Она партия рабочая, партия самого угнетенного и страдающего класса и поэтому хочет борьбу с голодом вести, не останавливаясь ни перед какими препятствиями со стороны имущих классов.

Хлеба, мира, земли, свободы! Вот чего мы требуем и добиваемся вместе со всем трудовым народом в ближайшую, первую очередь».

В газете «Маяк» появился список большевистских кандидатов, и в нем значился «М. В. Фрунзе (он же товарищ Арсений)». И возле его фамилии была сделана приписка: «Этого товарища знает весь уезд еще с 1905–1907 гг. Ни тюрьма, ни ссылка, ни каторга не заставили этого товарища отказаться от дела народного».

Уезжая в Петроград, Фрунзе сказал, что готов выполнить волю шуян, хотя и не увёрен, что придется работать в Учредительном собрании. И пусть избравшие его товарищи не питают иллюзий.

— Только в Советах можно проявить свое революционное творчество. Советы — наш родной дом, наша политическая школа. И для их укрепления надо работать без усталости. Только так можно упрочить господство рабочего класса и крестьянства!

В Петрограде он встретился с Яковом Михайловичем Свердловым. Тот сказал, что открытие собрания откладывается со дня на день.

— Здесь и наша «вина»: только что пришлось сместить бюро фракции Учредительного собрания, так как Каменев, Ларин, Милютин и Рыков устранились от контроля над его

подготовкой; и «вина» противной стороны — господа из правого лагеря никак не договорятся о едином фронте против нас.

— Долго ли ждать, Яков Михайлович?

— Я не пророк. Во всяком случае, не меньше недели.

— Тогда я вернусь в Шую до открытия. Не верю я в это собрание. Да и спешных дел много: я задумал объединить все поселки «Ситцевого края» в один административный район, в новую губернию.

— Дайте ваш проект. Лично мне мысль очень нравится. Может получится весьма своеобразная губерния, с высокой прослойкой рабочего класса, как в Донецком бассейне. А на собрании быть не обязательно. Мы уже говорили о его судьбе с Владимиром Ильичем. Он сейчас пишет «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Нет сомнений, что господа ее не примут, и у нас будет прекрасный повод прикрыть собрание...

Михаил Васильевич побывал у наркома Петровского по делам проектируемой им губернии. И намекнул, что в ней плохо с продовольствием.

Григорий Иванович одобрил идею создания в новой России губернии с рабочим профилем. И сказал, что будет говорить о ней в Совнаркоме. А относительно хлеба порекомендовал зайти к Шлихтеру и Мануильскому в Мариинский дворец, где помещался Наркомпрод.

Шлихтер и Мануильский постарались понять Фрунзе, ни предложили создать продовольственные отряды «Ситцевом крае», чтобы обнаружить скрытый кулаками хлеб. А потом составили бумагу, по которой из Поволжья должен был поступить эшелон муки в Иваново-Вознесенск и в Шую.

— За печатью поезжай в Смольный, у нас нет, — сказал: Мануильский.

Шуйский «президент» добрался до Смольного, кое-как отстукал бумагу сам, поставил печать у Свердлова.

Фрунзе национализировал банк в Шую. Послал ивановцам проект организации новой губернии. И совершил инспекционную поездку по деревням.

Продовольственные отряды в уезде не без успеха перетряхивали амбары у мироедов, кое-что находили в земле: кулаки и попы крепко прятали хлеб от новой власти. Крестьяне выселили помещиков из имений, но во многих селах инвентарь растащили по домам, барские хоромы разгромили или сожгли.

— Я понимаю, — говорил Фрунзе на большом волостном сходе, — ненависть к старому строю лишает вас хозяйственной сметки. Разве не лучше было бы создать на базе передовых имений образцовые коллективные хозяйства? Работали бы на земле помещика сообща, да еще у каждого был бы свой надел. А в барском особняке можно открыть школу, больницу, народный дом. Подумайте об этом. От одной спички можно спалить всю деревню, а сколько сил надо растратить, чтобы отстроиться наново?.. Надо кончить с погромами, они до добра не доведут. Наше дело сегодня — коллективно объединить усилия на общественной ниве. Народ изголодался за войну, его спасение — в хлебе!

Мужички начали создавать первые коммуны. И потянулись в Шую за стеклом, за кровельным железом — чинить, латать, что порушили в темные ночи своими руками. И кое-где превратили в очаги культуры бывшие барские хоромы...

Но к концу года самым главным стал вопрос о мире и о войне.

Когда Фрунзе агитировал против войны в окопах Западного фронта, Владимир Ильич Ленин ясно ответил на вопрос, что бы сделали большевики, став у власти, «...мы предложили бы мир всем воюющим на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов».

Без колебаний Фрунзе поддерживал Ленина. И его Декрет о мире встретил с энтузиазмом. Наконец-то могла завершиться мировая бойня, против которой выступил он еще в Манзурке.

Декрет о мире шел вразрез с планами империалистических государств. И в заграничной прессе появились комментарии к мыслям профессора государственного права Вильсона, занимавшего пост президента Соединенных Штатов Америки. Будто бы он говорил в тесном кругу единомышленников:

— Большевики пользуются успехом у мировой общественности, так как пускают в ход самое действенное оружие — политику мира.

Зажигательный лозунг о мире, отражавший суть новой власти в России, совершенно обескуражил Вильсона, когда социал-демократическая партия Норвегии предложила присудить Нобелевскую премию мира за 1917 год Владимиру Ильичу Ленину, так как он «больше всего сделал для торжества идеи мира».

Но господа вильсоны из Америки, Англии, Франции и Японии так нажали на Нобелевский комитет, что он отклонил предложение норвежцев по смехотворному мотиву: якобы у него нет гарантий, что «существующая в Петрограде власть продержится и призыв к миру из России вообще оставит след в истории человечества».

Понять господ из Нобелевского комитета нетрудно: на них давили правительства антигерманского блока и общественное мнение буржуазных журналистов. «Солидная» пресса Америки и Европы день за днем печатала прогнозы о предстоящем падении Советской власти. Рекорд побили американские писаки: они сделали за один год девяносто таких предсказаний! Разумеется, все это было отголосками варварской политики капитала: задуть большевиков петлей голода, уничтожить их на полях сражений.

Еще в декабре 1917 года на англо-французской конференции в Париже, с ведома и согласия США, было решено разделить европейскую часть России на сферы влияния и помощи контрреволюционным силам. Англичане «присмотрели» Кавказ, казачьи территории Дона и Кубани. Французам «достались» Украина, Бессарабия и Крым. А через месяц были опубликованы «14 пунктов» Вильсона — развернутая программа интервенции на случай, если большевики заключат мир с кайзеровской Германией и с ее блоком.

Новому строю надо было защищаться от происков реакции внутри и вне страны.

Советское оружие уже показало силу. Войска Керенского были наголову разбиты на подступах к красному Питеру — под Гатчиной — через пять дней после Октября. Верховный главнокомандующий генерал Духонин не подчинился приказу Совета Народных Комиссаров вступить в контакт с германо-австрийским командованием для переговоров о перемирии. Генерала сместили с должности, и 20 ноября он был убит восставшими солдатами. Генерал Дутов, опираясь на реакционное уральское казачество, поднял мятеж, захватил Оренбург, Верхне-Уральск, Челябинск и Троицк. Партия направила против Дутова красногвардейские отряды из Петрограда, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Омска. Во главе их стоял чрезвычайный комиссар П. А. Кобозев. 18 января 1918 года Оренбург был освобожден от белых.

Следом за Дутовым зашевелился на Дону и на Кубани генерал Каледин. Вдохновлял его американский представитель Пуль и вручил ему 500 тысяч долларов. Каледин 2 декабря захватил Ростов-на-Дону и Таганрог. И спешно готовился идти на Донбасс. Красная гвардия Рудольфа Сиверса 19 января 1918 года отбила Ростов. Через десять дней генерал Каледин застрелился.

Обстоятельства складывались так, что малочисленные части Красной гвардии надо было подпирать регулярными формированиями новой армии. Во второй половине декабря 1917 года была учреждена Всероссийская коллегия по организации Красной Армии рабочих и крестьян: Н. Крыленко, В. Трифонов, Э. Склянский, Н. Подвойский и К. Мехоношин.

15 января 1918 года Ленин подписал декрет о создании РККА, через тринадцать дней — о Военно-Морском Флоте. Вооруженные силы строились на добровольных началах. Оружие доверялось тому, кто готов был отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции. И представить рекомендацию партийных, советских или других организаций, стоящих на платформе Советской власти.

Одновременно была создана Академия генерального штаба. Она начала свои занятия в Охотничьем клубе на Воздвиженке. По первому набору — в нем было семьдесят восемь человек — пришли будущие военные начальники: И. Мерецков, В. Соколовский, И. Тюленев.

Все эти шаги встретили живое одобрение Фрунзе. Он начал формировать отряд добровольцев РККА в Шуе. Вскоре в нем состоялось двести пятьдесят человек. Из этого отряда позднее был образован 57-й Шуйский полк.

И попытки заключить мир с немцами не шли вразрез с принципами Фрунзе. Когда же немцы перешли в наступление и стали угрожать Петрограду, Михаилу Васильевичу сделалась близкой позиция «левых коммунистов» с их лозунгом «революционной войны» против германского империализма.

В ходе острой внутривнутрипартийной борьбы Фрунзе говорил на уездном Шуйском съезде Советов:

— Немцы нас грабят. Нужно идти сражаться во что бы то ни стало! Я полагаю, что это дело не безнадежное!

Он не разделял целиком позиции «левых коммунистов». И активно выступал против нелепого и преступного предложения «левых эсеров» сместить с поста председателя СНК Владимира Ильича Ленина и создать новое правительство в союзе двух «левых» — коммунистов и эсеров. Он с негодованием отвергал установку «левых коммунистов», что революция в России погибнет, если ее не поддержит пролетариат Запада, в что мир с немцами — смерть для Советской власти.

— Это малодушие, это преступное неверие в творческую силу России, ее рабочих, ее крестьян! — гневно говорил Фрунзе.

Ему противна была краснобайская фразерская позиция Троцкого, который невероятно возвеличивал свою роль в дни Октября и перед отъездом в Брест заявил хвастливо:

— Никакой дипломатии! Я выступлю с несколькими революционными призывами и взбудоражу рабочий класс Германии!

А кончил тем, что отказался подписать условия мира и одновременно заявил, что Советская республика не будет вести войну и продолжит демобилизацию армии. Словом: «Ни мира, ни войны!»

Эта «крылатая» фраза дорого обошлась Советской России: немцы нарушили перемирие и перешли в наступление по всему фронту.

Московское областное бюро партии и Петербургский комитет резко выступили против грабительских условий мира. Их поддерживали многие комитеты, в том числе Иваново-Вознесенский и Шуйский. Да и в Центральном Комитете не было единодушия. 23 февраля, несмотря на угрозу Ленина уйти с постов в правительстве и в ЦК, его поддержали лишь шесть человек из четырнадцати: Стасова, Зиновьев, Свердлов, Сталин, Сокольников и Смилга. Четверо воздержались от голосования: Троцкий, Крестинский, Иоффе и Дзержинский. Четверо голосовали против: Бубнов, Урицкий, Бухарин и Ломов.

Старый русский генерал Скалон застрелился во время переговоров в Бресте.

Михаил Фрунзе поступил иначе: он не подчинился решению VII экстренного съезда партии, который обязывал коммунистов одобрить «похабный мир».

Пасмурным мартовским утром приехал Фрунзе на IV Всероссийский съезд Советов. Он заседал в Москве, в белоколонном зале Дворянского собрания, так как правительство под угрозой падения красного Питера только что переехало в древнюю русскую столицу.

Обстановка была туманная. Местные Советы в отношении к Брестскому миру разделились почти поровну: 262 высказались «за», 233 — «против». Ленин выступил с докладом на большевистской фракции съезда, и делегаты подавляющим большинством одобрили решения VII съезда партии. «Левые коммунисты» заявили, что они выступят с декларацией против мира. ЦК срочно принял решение: «...все члены партии на съезде Советов обязаны голосовать так, как решила партия».

Чтение сепаратной декларации на съезде Советов ЦК вынужден будет рассматривать как нарушение партийной дисциплины».

Был доверительный разговор у Фрунзе с Бубновым, который у «левых коммунистов» стоял на крайнем левом фланге.

— Ты с нами, Арсений? — нервно спросил Химик.

Фрунзе задумался:

— Я с партией, Андрей! Вашу декларацию подпишу. Но от голосования воздержусь, потому что мне дан такой наказ в Иваново-Вознесенске и в Шуе.

— Странно! Либо — «против», либо — «за»! Иного выхода я не мыслю. Хочешь набросить петлю на шею России?

— Нет. Просто я держусь точной и ясной позиции Ленина на Апрельской конференции 1917 года: мы не пацифисты и не можем отрешиться от революционной войны. Но что-то Ленин знает больше меня, и против него голосовать я не буду...

На том и оборвался этот мимолетный разговор.

— Вы еще колеблетесь, Арсений? — стремительно подошла Елена Стасова, когда Фрунзе курил, опершись на колонну.

— Борюсь сам с собой, — ответил он доверчиво.

— Я колебалась бесконечно долго. Но убедил меня Владимир Ильич: солдаты не способны вести войну, Красная гвардия еще не набрала силу. Да и угроза его уйти с постов лишила меня сил бороться против его линии. Вы думаете, ему легко? Я была у него, когда Карахан привез текст Брестского мирного договора и бросил его на стол. Ленин отшатнулся. «Вы хотите, чтобы я не только подписал этот похабный мир, но еще стал бы его читать. Нет, нет, никогда!..» Может, вам поговорить с Владимиром Ильичем?

— Не могу, Елена Дмитриевна! С Лениным надо говорить, бесконечно веря ему. Или кидаться против него в бой, как это делают Химик, Бухарин или дерзкий Ломов. У меня нет ясной позиции. Но голосовать за грабительский мир — нет сил!..

Была встреча и еще с одной женщиной — с Ольгой Розановой, которая представляла на съезде соседей-ярославцев.

— Как вы? — спросил ее Фрунзе.

— С просветлением, Михаил Васильевич! До января все стояли за войну, требовали разорвать переговоры. Революционного пылу было достаточно. А потом уgomонились.

— Что так?

— Запись в социалистическую армию прошла плохо. Едва сколотили полк. Так что не до войны сейчас. Конечно, на сердце тоска: контрибуция — шесть миллиардов. Потеряны Польша, Литва, Прибалтика, Украина. Жутко! Но ведь будет светлый день, когда немецкие рабочие спихнут с трона своего кайзера? Вот этой мыслью и держусь!

Делегаты забили зал. Громовым голосом открыл заседание Яков Свердлов. С докладом выступил Георгий Чичерин — по виду профессор, с мягкими манерами и удивительно тихим голосом. Он еще держался неуверенно, так как недавно заменил Троцкого на посту народного комиссара по иностранным делам.

Не скрывая душевной боли и волнения, он сказал:

— Чрезвычайно тяжелы условия мира. Но их надо принять, только в этом спасение новой России!..

Оглушающими овациями встретил съезд Владимира Ильича Ленина. Он стремительно подошел к трибуне, левой рукой приглаживал редкие волосы. Ему аплодировали долго. И со всех сторон что-то кричали недоброжелатели. А он стоял спокойно, поглядывая на часы. И в наступившей вдруг тишине послышался его звонкий голос:

— Товарищи, нам приходится решать сегодня вопрос, который знаменует поворотный пункт в развитии русской и не только русской, а и международной революции, чтобы правильно решить вопрос о том тягчайшем мире, который заключили представители Советской власти в Брест-Литовске и который Советская власть предлагает утвердить, или ратифицировать...

Он говорил о позорном мире, о Тильзитском мире, от которого не пал немецкий народ, как не падет от Брестского мира народ России. Он говорил о передышке, которую несет этот мир, и о силах революции за рубежом, которые неизбежно придут на помощь пролетариату Советской России.

Каждые пять-семь минут речь его прерывалась то аплодисментами, то истошными криками: «Ложь!», «Демагогия!», «Предательство!»

С содокладом выступил левый эсер Камков. Ужасом веяло от его аргументов: большевики отказались от всех завоеваний революции; возможное спасение страны — в партизанской войне. Одновременно Камков грозился выйти из правительства, потому что в час отчаяния не видел выхода даже в этой войне.

— Мы, товарищи, не скрываем перед вами той печальной истины, что, может быть, выхода нет и в вооруженном сопротивлении!

Мартов вовсе распоясался на трибуне. Он обрушился на всю политику большевиков, сравнил съезд с «волостным сходом», где исправник требует от темных мужиков подчиниться его решению без всякого рассуждения.

В кулуарах продолжал собирать подписи под декларацией «левых коммунистов» Валериан Куйбышев — высокий, лобастый, с кудрявой шевелюрой, — тот самый Адамчик, с которым Фрунзе виделся в Манзурке летом 1915 года.

— Михаил Васильевич? — раскинув руки, шагнул к нему Куйбышев. — Какими молитвами? Откуда?

— Мы ивановские, — Фрунзе обрадовался встрече.

— Так вы же приняли решение против Брестского мира?

— Было такое.

— Рад за вас! Ставьте подпись под декларацией, — Куйбышев решительно подхватил Фрунзе под локоть и указал на столик возле окна.

— Я подпишу, подчиняясь решению комитета. Но при голосовании воздержусь.

— Да вы что? Сговорились, что ли? И Инесса Арманд, и Павел Дыбенко с Емельяном Ярославским, и Григорий Усиевич с Михаилом Покровским ставят точно такое же условие.

— Нет, я не сговаривался, хотя видел Емельяна и говорил с ним. Действую по велению совести, Валериан Владимирович. С Ильичем я не согласен, но не до такой степени, чтобы выступать против него...

Куйбышев прочел декларацию. Ее основная мысль была изложена так: «...Этот договор не должен быть утвержден, напротив, его нужно заменить призывом к священной обороне социалистической революции».

Фрунзе воздержался при голосовании вопроса о ратификации мира. Воздержались и «левые коммунисты»: их сопротивление уже не имело смысла. Ленин увлек за собою две трети съезда: 784 делегата. Противники собрали 261 голос, 115 человек воздержались.

Мирная передышка, о которой говорил Владимир Ильич, была завоевана. Советская власть начала триумфальное шествие по стране, развивая планы хозяйственного строительства, создавая Красную Армию и укрепляя свою основу — союз рабочих и трудовых крестьян. К чести Фрунзе, колебался он недолго. И уже через пять дней при обстоятельной встрече с Яковом Свердловым дал понять, что ивановцы пересмотрят свою позицию и дружно поддержат решения съезда.

— Прекрасно, товарищ Арсений! Кстати, и вопрос о вашей губернии решен. Быть вам «президентом» и шуйским и ивановским!..

— Мы занимали не лучшую позицию в партийной борьбе по поводу Брестского мира, — сказал Фрунзе на II уездном съезде Советов в Шуе. — Наша попытка подправить Ленина в этот критический момент достойна сожаления. Правда революции в том, что на белом свете есть лишь один человек, который истинно выражает интересы Советской власти. Именно он показал нам, как в час смертельной опасности должен действовать пролетарский вождь — со знаменем Маркса в руках, научно, творчески учитывая конкретные

исторические условия. Это Ленин. Так будем с ним безраздельно на всех этапах нашей борьбы за коммунизм!..

Мужественно прозвучало признание политической ошибки. Но тот, кто знал и любил своего Арсения, не мог не видеть, какую внутреннюю драму переживал этот цельный, смелый человек, преданный партии.

Рядом с Фрунзе сидел в президиуме Александр Киселев и пристально наблюдал за ним. Арсений был для него эталоном большевика с давних пор. Еще в 1906 году, в Кохме, на Новой улице, старший брат Александра — Василий Андреевич — прятал у себя в доме легендарного шуйского агитатора и всю ночь просиживал у окна, опасаясь налета полиции. И говорил Сашке — в те годы еще несмышленому пареньку:

— Про Арсения молчи, а то голову оторву! Попаду в каталажку — ты его сбережешь! На всю жизнь запомни: один он у нас, других таких нету!

И теперь Киселев видел, как нелегко Арсению: «Кончив доклад, несколько побледнев, он скрестил руки на груди и уперся спиной в стену зала. На лице его явно заметно большое душевное волнение, оно передалось и делегатам. В вале пауза затишья. Близ меня бородастый крестьянин утирал набежавшую слезу. Не мог удержаться и я...»

Никто не судил дорогого человека, который недавно увлек на неверный путь всю эту массу в зале: чистосердечным было его признание в ошибке. И все проголосовали за мир, как призывал он их сегодня.

Когда же Михаил Васильевич сказал при закрытии съезда, что пришла пора расставаться, так как партия направляет его в Иваново-Вознесенск создавать новую губернию, что-то невообразимое началось в зале.

Фрунзе с трудом утихомирив делегатов.

— Друзья мои! Пока суд да дело, я не отказываюсь от ваших полномочий. Буду и в Совете и в комитете партии. И при каждом удобном случае постараюсь завернуть к вам на денек. Ведь рукой подать до Иванова!

Да и на губернский съезд вы почти все приедете непременно. Так что не прощаюсь, а говорю: до свидания, дорогие земляки!..

Поздно вечером нагрянули к Фрунзе человек десять. Пришли в гости со своим самоваром, чтобы выручить Софью Алексеевну: она дома обходилась чайником, согревая его лучинами на загнетке. Кто-то принес картошку и щепоть соли в белой тряпице. Хлеба не оказалось. Но был сахарин. И Михаил Васильевич, изголодавшись по сладкому, кидал в стакан целую таблетку, которая расходилась в кипятке, шипя и пузырясь.

Был голодный, чудесный вечер воспоминаний и радужных прогнозов на ближайшие месяцы. Шла весна, она должна была приманить лето — с овощами, ягодами. А там не за горами и новый урожай!

И всем, кто был в тот вечер, врезался в память образ Фрунзе в расшитой крестом русской рубахе (это свадебный подарок жены!), за веселым самоваром в переднем углу. На две верхние пуговицы расстегнут ворот. И на левой стороне шеи багровый шрам — давний след страшной пытки в Ямском околотке...

Год назад Фрунзе не скрывал удивления — старый каторжанин вдруг сделался начальником народной милиции в Минске! Теперь он стал «генерал-губернатором» всего «Ситцевого края».

21 апреля 1918 года состоялся III съезд Советов Иваново-Вознесенского района. Михаил Васильевич выступил с большим докладом «О текущем моменте». Мир был завоеван, о нем не спорили. Надо было спасать людей от голода. Съезд обратился к трудовому населению губернии — увеличить производство продуктов, поднять производительность труда. Одновременно Фрунзе информировал наркомпрода А. Д. Цюрупу, что фабрики в простое, так как рабочие пухнут от голода.

Цюрупа ответил, что и в столице нет хлеба и надо утилизировать скрытые излишки зерна и муки на местах.

Михаил Васильевич добился решения нового губисполкома: выдавать повышенный паек рабочим, лишить хлеба лиц, не занятых общественно полезным трудом.

Он не терял надежды, что спасти ивановцев может Ленин. И послал ему телеграмму: «Положение безвыходное. Что делать?» Владимир Ильич отозвался немедленно: «Организуйте продовольственные отряды для изъятия излишков хлеба в деревнях».

Отряды были созданы. Они нашли кое-что в кулацких амбарах. Но это была капля в море: не удалось подкормить даже детвору. Фрунзе обратился с воззванием к рабочим и крестьянам губернии: «Чтобы получить хлеб, накормить падающего от истощения труженика, нужны единая воля, единая цель. Наиболее самоотверженные рабочие уже откликнулись на призыв, оставили станки и фабрики и двинули вооруженные отряды за хлебом. Необходимо дотянуть до нового урожая... чтобы получить хлеб из Сибири, с Дона, с Северного Кавказа, Украины».

Но и Владимир Ильич Ленин думал об ивановцах. По его распоряжению в июне 1918 года был направлен из Царицына эшелон с хлебом, тридцать шесть вагонов рогатого скота и два вагона с растительным маслом. И нижегородцы доставили хлеб в адрес Фрунзе пешным маршрутом.

Большевик Фрунзе нес непосильное бремя для блага людей труда в новой губернии.

Софья Алексеевна не скрывала удивления: голодный ее муж, спавший на солдатской койке три часа в сутки, руководил губисполкомом и губернской организацией коммунистов, был главой совнархоза и военным комиссаром. Да еще и «президентом» бывшей «Шуйской республики», где и слышать не хотели, чтобы их Арсений отказался от своих постов в Шуе.

Передышка, о которой говорил Владимир Ильич, оказалась кратковременной, чтобы справиться с голодом, эпидемиями и хозяйственной разрухой. Однако Ленин успел очертить контуры строительства основ социалистической экономики в сурово-простых и гениально-ярких работах: «Очередные задачи Советской власти» и «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности».

Он призывал преодолеть мелкобуржуазную стихию в новой России, укрепить социалистический уклад хозяйства, чтобы превратить его в господствующий и затем единственный, всеобъемлющий. Диктатура пролетариата — это не только подавление сопротивления внутренних врагов; это и организация всенародного учета и контроля над производством и распределением продуктов; это и воспитание новой трудовой дисциплины, и развитие социалистического соревнования, и повышение производительности труда; это и школа управления на основе единоначалия и хозяйственного расчета.

Ленин призывал не отказываться от государственного капитализма и советовал привлекать к работе в промышленности буржуазных специалистов: их опыт и знания могли послужить при Советской власти строительству социалистической экономики.

Ленинский план захватывал, безгранично расширяя горизонты. Но чудовищно угнетал голод. В красном Питере хлебный паек сократился до осьмушки, в Москве и в Иваново-Вознесенске выдавали не больше четверти фунта. Временный выход был найден в продовольственной диктатуре. Этой же цели служили и комитеты бедноты в деревнях. У открытых саботажников и спекулянтов хлеб отбирали начисто; кулаков заставили продавать зерно государству по твердым ценам. После Петрограда и Москвы ивановцы направили в глубинные районы страны самые крупные продовольственные отряды. Наконец, появилась возможность выдавать работающим до фунта хлеба в день...

В это голодное время Михаил Васильевич жил, как и все его близкие друзья — в горении, в подвиге. И таял на глазах: иногда трудно было узнать в отошавшем бородатом человеке с густой шевелюрой, где с каждым днем прибавлялись серебристые нити, вчерашнего Арсения. На костистых висках нервно пульсировали голубые жилки, часто в глазах появлялся болезненный блеск. Через день, через два мучили его боли в желудке; он подбирал колени под подбородок и скрывал слезы, что-то мыча себе под нос. От боли стал искать спасения в соде. Боль затихала, но еще острее ощущался голод.

В небольшой бывшей гостинице на Напалковской улице, где устроили общежитие для работников исполкома, занимал он с Софьей Алексеевной две комнатки. Было в них пусто и холодно. У «генерал-губернатора» — солдатская койка с серым байковым одеялом, стул и письменный стол, заваленный книгами и журналами; у его жены — пружинный матрац на грубых самодельных ножках, ситцевое покрывало на нем; дубовое кресло у окна и на гвоздиках накрытые марлей от пыли три платья и потрепанное зимнее пальто.

Дома не столовались. Только изредка завтракали, если Фрунзе не уходил по делам до света: кусок тяжелого хлеба с примесью картошки и кипяток с сахарином. И как праздник — ломтик конины и две-три стекляшки монпансье.

В одно такое утро, в ранних сумерках рассвета, ввалились к Фрунзе четыре бородача в новых лаптях — ходоки от Суздальской коммуны. Огляделись, сели на край койки. И — за разговором — попросили наряд на четыре плуга и на пять ведер керосину.

— Плуги есть, вам выдадут, вот бумага, — Фрунзе написал распоряжение. — А с керосином — швах, может, перебьетесь до осени?

— Закавыка, товарищ Арсений! Бабы — в голос: обрыдло им сидеть при лучине. И все подзуживают: «Коммунары голодраные! Мало, что без порток сидите, так еще в потемках!» Оно бы можно и перебиться, как ты сказал. Одначе момент такой... сам понимаешь. Без керосину домой хоть и не вертайся!

— Ну коли так, будем искать! Идите ко мне в канцелярию, я — мигом!

Бородачи замаялись. Один из них вышмыгнул в коридор и вскоре вернулся с валенками и с мешком.

— Наслышаны, голодуешь ты крепко, товарищ Арсений. И знаем — взять тебе негде. А кабы и знал бы — не взял. Прислали тебе от коммуны с пудишко гречки. Ну, а валенцы — в придачу. Только ты не думай чегось — от души, ей-богу!..

Валенки оказались кстати: Софья Алексеевна недомогала всю зиму и не могла отогреться. А с крупой вышла история. Ее передали в столовую. Николай Жиделев распорядился тайком от Фрунзе: беречь ее пуще глаза, через день варить по тарелке для Михаила Васильевича и его жены. Растянулся пудишко на два месяца. И Фрунзе иногда допытывался у Жиделева:

— Что-то я не пойму, Николай Андреевич, где вы раскопали такие запасы?

— Сорока на хвосте принесла! Ешьте, пока дают!..

Трудной была передышка, но и она скоро закончилась.

Идеологическую диверсию против Советской России начала за рубежом печать правых социалистов. Особенно постарались три «апостола» из II Интернационала: Карл Каутский, Отто Бауэр и Рамсей Макдональд. Они кинули в Ленина теоретический «кирпич», чтобы оправдать интервенцию и ослабить влияние идей Октября в мировом рабочем движении.

Разговоры о социалистической революции в России — пустые бредни, рассуждали эти верные слуги капитала. Октябрь — всего лишь запоздалая буржуазная революция. Ее символ — Учредительное собрание. Роспуск собрания большевиками — насилие над демократией. А пролетарская революция просто невозможна в отсталой крестьянской стране, где семь человек из десяти не имеют понятия об алфавите. Советская власть временна, непрочна, она скоро погибнет. И не спасет ее красный террор против инакомыслящих, так как он признак бессилия и отчаяния!

Словом, «падающего толкни»! Такие выводы моментально сделала буржуазная печать Америки. Но в своих посланках пошла другим путем, чем выжившие из ума «апостолы»: надо спасать русский народ от большевиков и... от немцев.

Государственный департамент США с легкой руки посла в России Д. Френсиса весьма оперативно состряпал фальшивку. Так появились на свет пресловутые «Документы Сиссона» («United States. The German-Bolshevik conspiracy» — «Документы о германо-большевистском заговоре»).

Развесистая была «клюква»: Ленин еще до Октября заключил тайную сделку с германским командованием; немцы подсказали, и большевики осуществили Октябрьскую революцию; германский генеральный штаб финансировал их пропаганду в русской армии, что привело к разложению частей Западного фронта, и в дни Брестского мира Ленин и его товарищи действовали как германские агенты. Оставить Россию без помощи в данный момент — значит отдать ее под эгиду Вильгельма.

Под таким флагом и начались походы Антанты. В марте 1918 года англичане высадили десант в Мурманске, затем в Архангельске и на Онеге. В первых числах апреля японцы оккупировали Владивосток. Вслед за ними прибыли английские, французские и американские войска. Внутри страны начали плести заговоры и поднимать восстания эсеры, анархисты и меньшевики...

Михаил Васильевич сосредоточил всю полноту власти в новой губернии в своих руках и действовал быстро и смело. Эсеры и меньшевики не шли в счет: в Иваново-Вознесенске они были банкротами. Но оставались анархисты.

— Темная публика под черным знаменем! — говорил он. — Подонки, уголовники и скрытые враги революции. С ними надо кончать!

9 мая 1918 года в газете «Рабочий край» он обосновал свои меры против анархистов, которые захватили в Иваново-Вознесенске несколько особняков и натащили в них оружия. «Не для идейной борьбы, а для разгрома Советов и их организаций производились эти захваты, и не во имя идейных побуждений производились погромы и грабежи на улицах. В борьбе с такими лицами Советской власти приходится прибегать к мерам охранительного порядка...»

Операция против анархистов прошла блистательно, и через неделю в городе уже позабыли о «черных» погромщиках.

Словно заглядывая в будущее, где военной работе придется отдать весь пламенный жар сердца, Фрунзе торопился решить тысячи неотложных дел, связанных с экономикой и культурной жизнью новой губернии.

Он распределял рабочую силу по национализированным фабрикам, чтобы равномерно загрузить все станки; и успел добыть хлопок в Туркестане, пока не перерезали дорогу в Среднюю Азию восставший чехословацкий корпус и эсерово-меньшевистские путчисты в Самаре; и каждый день бился за топливо. На каком-то этапе помог ему техник Кашин из Шуи: он предложил отказаться от нефти, путь к которой уже был отрезан.

— У меня такая придумка, товарищ Арсений: давайте снимем форсунки и поставим к котлам шахтные топки. Тогда пойдут в дело древесные обрезки, смолистые пни, опилки.

— Золотой вы человек, Кашин! — Фрунзе готов был обнять умного, думающего мастерового. — Так выручили, что и слов нет!

А потом осенила Фрунзе мысль о торфе. Ведь почти вся губерния покоится на его мягкой подушке! Миллионы пудов топлива, ни дать ни взять — богатейшая кладовая солнца! Товарищи составили проект, Фрунзе переслал его Ленину. Совнарком отпустил средства, по узкоколейкам двинулся торф на фабрики. Это была важная победа.

Распустили «Общество фабрикантов». Старые промышленники рассосались по стране. А кое-кто из молодых не отказался сотрудничать с новой властью. Так, сын Мефодия Гарелина встал во главе одной из фабрик. За ним потянулись и другие.

Теперь надо было засесть за перспективный план развития губернии. Затем централизовать управление и подобрать большую группу людей на ответственные посты. В ближайшем окружении Фрунзе оказались крепкие кадры, в основном связанные подпольем: И. Любимов, Н. Жиделев, Ф. Самойлов, С. Балашов, П. Батулин, А. Воронений. И — из молодых — Д. Фурманов. В совнархозе подобрались отличные помощники: Климохин, Тимофеев, Никольский, Фирсов, Лопатин, Смородинов.

Александр Воронский и Дмитрий Фурманов, наделенные недюжинным литературным талантом, сохранили для нас свой тонкий рисунок Арсения тех пламенных дней.

Воронский был на год старше Фрунзе и в один год с ним вступил в партию. Он сидел в тюрьмах и отбывал ссылки и рассматривал Арсения как старый соратник по большевистскому подполью. «Мировая, безличная правда крутой и богатой современной революционной эпохи нашла в его личности одно из самых совершенных воплощений. Он был нашей гордостью, нашей надеждой, нашей защитой и нашей радостью».

Воронский отмечал в Арсении мужественное и доброе сердце, спокойную рассудительность и горячее человеческое чувство любви и содружества. «За людей своих надежд и идеалов он умел постоять до конца. Здесь он не знал пощады к врагу, изменникам и ренегатам. И он умел быть другом».

Горячо любил Арсений мир упорных ткачей, потомственных металлистов, мир ни с чем не сравнимого большевистского подполья, профессиональных революционеров. И его тоже крепко любили, уважали, и ему верили.

«Жизнь его была воистину героична. Жалкое себялюбие было чуждо ему. Он ценил полновесной ценой революционную отвагу, он всегда был в действии, слово не расходилось у него с делом, он любил то, что называют испытанием судьбы. Это о нем, о таких людях знаменитый пролетарский художник сложил своего «Буревестника», и «Песню о Соколе», и легенду о Данко».

Арсений не был романтическим подвижником: партия научила его сочетать отвагу и храбрость с разумным учетом. И при всем этом было что-то «уютное, домашнее в нем, давно знакомое и известное. На вершинах власти одни из выдающихся, замечательных людей управляют и руководят... другие сильны дисциплиной, третьи — деловитостью и практицизмом, четвертые — дипломатичностью и приспособляемостью... Товарищ Фрунзе создавал вокруг себя среду крепкого, сердечного и отрадного содружества».

Во всем он был прямодушен и открыт. «Он был слишком духовно богат, чтобы идти кривыми, окольными дорогами. Природа дала ему еще один богатый дар: щедрый инстинкт жизни. Не раз эти могучие силы спасали его от гибели в трудных и опасных положениях, не раз они подсказывали ему ясное, точное движение руки, глаз, мысли и чувства. Тщетно вытравили их в нем царские удавники, непосильная и непомерная работа... — соки жизни были в нем неиссякаемы».

Воронский хорошо знал Фрунзе: он редактировал газету «Рабочий край» и замещал Михаила Васильевича в губернском комитете партии, пока не возвратилась в Иваново-Вознесенск Ольга Варенцова. И его строки об Арсении оставляют сильное впечатление.

Хорошо знал Михаила Васильевича и трепетно учился у него Дмитрий Фурманов. Но Митяй — как звали его в кругу друзей — был молод и представлял поколение, идущее на смену подпольщикам.

В двадцать шесть лет он не сразу после Февраля и Октября стал большевиком. Поначалу верил в Керенского. Но контрреволюционный террор русского наполеончика летом 1917 года насторожил его и озлобил, потому что репрессии были направлены только против рабочих, а фабриканты и торговцы благоденствовали.

В поисках пути к революции Митяй барахтался то в тенетах эсеров, то в тенетах максималистов. Но... «жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в партию к большевикам в июле 1918 года — в этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе: беседы с ним раскололи последние остатки анархических иллюзий».

Одна из бесед была решающей.

— Мне кажется, Дмитрий Андреевич, что вы сложившийся большевик, — сказал Фрунзе. — В Совете вы проводите нашу линию. А почему не в партии? Или вам работа не по душе?

— Не говорите так, Михаил Васильевич! По душе, по душе! Она мне стала родной и близкой. Но у меня драма: как идти к большевикам, когда на мне пятно эсера и анархиста? С другой стороны, я не мыслю работы без вас. И скажу откровенно: я навсегда с вами!

— А знаете, я был в этом уверен, потому что внимательно следил за вашей деятельностью. И потому с легким сердцем рекомендую вас в партию...

С юношеских лет и до конца своей короткой жизни Митяй вел дневник, подкупающий искренностью и суровой правдой. И много страниц в нем посвящены образу Арсения — учителя и друга.

Вот первая запись о заседании вновь созданного губ-исполкома: «Председателем собрания избрали Фрунзе. Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взоров, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманны; решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды. С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом, значит что-нибудь будет сделано большое и хорошее».

Эти записи относятся к началу февраля 1918 года, к первым неделям знакомства Фурманова с Фрунзе. И служат абрисом тех воспоминаний, которые были написаны позднее.

«Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, темно-русые волосы, откиннутые назад густой волнистой шевелюрой. Движенья Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикация, и взгляд, и положение тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту; говорит спокойно — и движенья ровны, плавны и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспыхнут огнями серые глаза, выскочит на лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро перемывается на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как держит себя Фрунзе в узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, спало волнение и — вошли в берега передрожавшие страсти: снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, покойны движенья, только редко-редко вздрогнет в голосе струнка недавнего бурного прилива...

Обобщения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости, внимания к тебе, заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах».

С тех пор как начал себя помнить Фрунзе, он учился непрерывно: даже тюрьма, каторга и ссылка не смогли угасить жадного интереса к экономической науке, к философии, истории, языкам и военному искусству.

Только-только утвердившись в гимназии, затем в институте, на Талке и всюду, где окружали его товарищи, он учил других — давал уроки, читал лекции, вел беседы, говорил на митингах.

А теперь, когда была исправлена вековая ошибка в административном делении бывшей Российской империи и появилась новая индустриальная губерния в центре страны, давняя мысль Фрунзе — просветителя, пропагандиста, организатора — не давала ему покоя. И однажды он развил ее перед товарищами:

— Нельзя ни на минуту забывать о народном просвещении. Ткачи нам не простят, если мы не примем меры: дети и молодежь должны учиться, несмотря на тяжелую обстановку в стране. Предлагаю создать Политехнический институт. Именно он даст нам инженеров и мастеров для текстильной промышленности. А уж новая наша интеллигенция поставит производство на высокой технической основе и ликвидирует кустарничество и непосильный труд на фабриках.

Ивановцы горячо откликнулись на призыв Арсения и направили ходатайство в Москву. Луначарский и Покровский одобрили план в Наркомпросе, Владимир Ильич подписал декрет Совнаркома. И с осени 1918 года дети ткачей заполнили аудитории института.

Разумеется, не все было так просто. Наркомпросу надо было представить список преподавателей, а в Иваново-Вознесенске своих профессоров не оказалось. Фрунзе выехал в Москву за несколько дней до открытия V Всероссийского съезда Советов и сказал Луначарскому, что он наwerbует преподавателей в Москве.

— Но ведь их надо возить, надо кормить... Впрочем, я не сомневаюсь, что вы все это продумали. Помните, как мы ехали на четвертый съезд в Стокгольм на палубе грузового парохода? Момент был волнующий: пароход сел на камни, вода хлынула в котельную, от взрыва мы с вами едва не вылетели за борт. Как картинно изнывали в страхе меньшевики, ломая руки: «Измена! Измена!» А вы спокойно ловили разбежавшихся по палубе красивых цирковых лошадей: у них испуганные глаза горели фиолетовым светом. А потом умело распорядились возле насоса — им мы откачивали воду. В вас есть что-то... Символическое, окрыляющее... Идите к профессору Зворыкину — это нужный вам специалист текстильного дела. Пойдет навстречу — считайте, что люди у вас есть: у него масса коллег, они ему доверяют...

— Академический паек нашим ученым вы дадите, Анатолий Васильевич. А вагон для них я достану.

— Сдаюсь! И — в добрый час!..

За пять дней в преддверии V съезда Советов, в бывших барских квартирах, кое-где уже набитых до отказа разношерстной публикой, самостийно подселившейся к профессорам, не один раз видели коренастого человека в военной гимнастерке, синих брюках и навакшенных сапогах. По имени и отчеству он спрашивал то профессора, то доцента, то инженера. И те несказанно удивлялись, откуда их знает этот ивановский «губернатор», похожий лицом на ученого, костюмом — на красноармейца, чудом доставшего офицерский пояс и хромовые сапоги. Но говорил он убежденно, страстно, и столь чистыми были глаза у большевика, что с ним хотелось работать.

При открытии съезда Фрунзе снова встретился с Луначарским:

— Семнадцать пайков, Анатолий Васильевич! Прошу оформить. И вагон получен.

— Уже? — удивился Нарком.

— Да. И человек десять навербуем в Питере. Туда согласился поехать Зворыкин: он теперь наш посол по ученой части...

Фрунзе не удалось самому выехать в Петроград. Начался съезд — с отчетом Совнаркома и ВЦИК. Да еще стояли в повестке дня два важных вопроса: о первой Конституции РСФСР и о всеобщей воинской повинности для трудящихся. И работа съезда едва не была сорвана мятежом левых эсеров 6 июля 1918 года.

Съезд открылся 4 июля. И уже сразу было видно, что левые эсеры хотят дать крупный бой большевикам. От их партии выступил Камков и истерически призывал к войне против немцев и изгнанию из Москвы германского посла Мирбаха.

В ночь на 6 июля ощущение тревоги усилилось. Под сценой Большого театра, где занимал места президиум съезда на фоне декораций из первого акта оперы «Евгений Онегин», обнаружили адскую машину. Разрядить ее успели своевременно, и Яков Михайлович убедился в этом лично, когда ее выносили из здания.

Впервые левые эсеры не представляли на съезде Советов и третьей части делегатов. И они вели себя озлобленно: то демонстративно покидали заседание и где-то собирали свою фракцию; то доходили до рукопашной с охраной съезда за сценой и у входных дверей, то появлялись вновь, чтобы устроить обструкцию Ленину, Свердлову, Чичерину. Кац-Камков и Мария Спиридонова в голос кричали с трибуны, что большевики не получают хлеба в деревне и что их комбеды будут сметены восставшим крестьянством. И в их речах слышался лейтмотив:

— Холопствуйте перед немцами, просите у них хлеба, у их посла Мирбаха!..

По столице поползли слухи о мятеже в Ярославле в ночь на 6 июля, о найденной в театре адской машине. Какие-то вооруженные группы шатались по переулкам в районе Арбата.

В четвертом часу дня Ленин и Свердлов получили донесение о взрыве бомбы в германском посольстве в Денежном переулке. Как выяснилось позднее, туда явились два левых эсера — Блюмкин и Андреев с подложной бумагой за подписью Дзержинского.

Вызвали посла Мирбаха, бросили ему под ноги бомбу и успели уехать на автомобиле в Трехсвятительский переулок, где был штаб их партии.

Бумагу состряпал заместитель Дзержинского левый эсер Александрович. Своей опорой мятежники считали отряд ВЧК под командованием левого эсера Попова, который дислоцировался в казармах у Покровских ворот. Боевые группы Спиридоновой захватили телеграф и телефон и стали передавать известия о свержении Советской власти.

Все делегаты съезда — большевики были направлены в районы Москвы для ликвидации мятежа. Михаил Васильевич с группой товарищей прибыл в распоряжение первых Московских военных курсов возле Чистых прудов. И сейчас же собрал вокруг себя боеспособный отряд.

Фрунзе действовал решительно. Он объехал на броневике район Покровских ворот и обстрелял казармы, где содержался под арестом Дзержинский. У здания Главного почтамта удачно взял под обстрел эсеровскую охрану. Возле Лубянской площади встретил отряд из Латышской Дивизии Вацетиса, передал ему броневик и сообщил данные разведки, чтобы бойцы заняли наиболее выгодную позицию. А сам с тремя красноармейцами отправился за «языком» в Армянский переулок. Вылазка была столь удачной, что Фрунзе захватил в плен четверых. Их показания помогли очистить почтамт, Покровские казармы и освободить Дзержинского, Смидовича и Лациса. Так в третий раз за свою жизнь пришлось Фрунзе защищать революционную Москву.

На другой день, после полудня, сложили оружие все опорные пункты мятежников. Но съезд возобновил заседания только 9 июля. 7-го и 8-го почти непрерывно заседал Совнарком. Он заслушал отчет Феликса Дзержинского и подтвердил его временную отставку с поста руководителя ВЧК. Михаил Васильевич был на заседании СНК, когда Владимир Ильич продиктовал постановление:

«Ввиду заявления товарища Дзержинского о необходимости для него как одного из главных свидетелей по делу об убийстве германского посла графа Мирбаха отстраниться от руководства работой Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, Совет Народных Комиссаров назначает временным председателем названной Комиссии товарища Петерса.

Коллегия Чрезвычайной Комиссии объявляется упраздненной.

Товарищу Петерсу поручается в недельный срок представить Совету Народных Комиссаров доклад о личном составе работников Чрезвычайной Комиссии на предмет устранения всех тех ее членов, которые прямо или косвенно были прикосновенны к провокационно-азефовской деятельности члена партии «левых социалистов-революционеров» Блюмкина».

Ленин был холоден и суров. Он теребил граненый карандаш и резко стучал им по столу, когда кто-либо перебрасывался репликой с соседом. И строго обрывал оратора, нарушившего регламент. И изредка обменивался записками с Чичериным, который не скрывал удручения всей этой историей с графом Мирбахом.

— Ярославцам, костромичам и ивановцам надо немедленно покинуть съезд и возвратиться на места, — быстро и резко резюмировал Ленин. — В ярославском мятеже замешан Савинков, а этого господина голыми руками не возьмешь. Необходимо мобилизовать против его банды стойкие отряды коммунистов.

Фрунзе встал и направился к выходу. Ленин попросил его задержаться до перерыва.

Они остались с глазу на глаз в кабинете Ленина. Владимир Ильич высказал радость — товарищ Арсений избавился от опасных иллюзий и дал отличный бой Бухарину с Ломовым в Иванове.

— Мы собрали до тысячи коммунистов, практически всех, кто держался на ногах в эти голодные дни. Человек сорок с утра до ночи мылили шею «левым». Только три отщепенца проголосовали за них.

Ленин размашисто написал цифры на листке из блокнота. Затем перешли к событиям в Ярославле. Фрунзе сообщил:

— Я уже телеграфировал товарищам. Отряд будет готов завтра и двинется под моим командованием.

Ленин посоветовал ему остаться в Иванове и немедленно готовить второй отряд. И никакой пощады мятежникам, иначе эта зараза перекинется в другие районы.

Прощаясь, Михаил Васильевич сказал:

— У меня просьба, Владимир Ильич. Отдаю отчет, что момент малоподходящий. Но я так уверен в быстром разгроме мятежников, что невольно думаю о другом. Мы обратились с просьбой открыть в Иваново-Вознесенске Политехнический институт.

Владимир Ильич одобрил инициативу ивановцев. Декрет он подпишет, надо готовить помещение, приглашать преподавателей.

— Профессора уже здесь! — Фрунзе хлопнул левой рукой по нагрудному карману гимнастерки.

И уже напоследок спросил, не задумывался ли Фрунзе о военной деятельности.

— Нет, только по долгу службы военного комиссара губернии. А так-то я чистый штафирка.

В ночь, когда Фрунзе уезжал из Москвы, чекисты поймали и расстреляли левого эсера Александровича.

А ровно через месяц, когда в Иваново-Вознесенске было подготовлено здание института для приема студентов, пришел и долгожданный ленинский декрет.

«В целях удовлетворения спроса рабочих масс на образование и ввиду особой потребности в высшем техническом образовании для рабочих текстильной промышленности учреждается в Иваново-Вознесенске высшее техническое учебное заведение...»

Радушным хозяином встречал Михаил Васильевич молодую поросль любимых своих ткачей, пожимая им руки у широко распахнутых входных дверей. И не скрывал от Софьи Алексеевны, что он по-хорошему завидует им.

9 июля, прямо с вокзала, Фрунзе приехал в городской комитет партии, где его ждали товарищи, и открыл заседание. В повестке дня один вопрос — мятеж в Ярославле. К полудню собрались все коммунисты города, и организация объявила себя мобилизованной. Вечером четыреста человек, назвав себя Советским отрядом, выступили в Ярославль. Следом за ним двинулись отряды из Шуи, Кинешмы и Тейкова. Через сутки был сформирован и отправлен второй ивановский отряд — Коммунистический. Но мятежники сопротивлялись, и их террор продолжался шестнадцать суток.

Совершенно необъяснимой казалась Фрунзе позиция Троцкого и Наркомата по военным и морским делам, который он возглавлял. По мнению Фрунзе, хватило бы одной боеспособной дивизии, чтобы вынудить мятежников на немедленную капитуляцию. Вместо этого Троцкий произнес успокоившую делегатов V съезда большую речь, что мятеж уже выдохся. И командующий Московским военным округом Муралов недопустимо тянул с посылкой войск.

Два вестовых Фрунзе побывали в Ярославле и привезли тревожные известия: город задыхался в дыму пожарища; канонада не замолкала круглые сутки; зверства бандитов не знали границ. Они убили председателя городского Совета Давида Закгейма, и труп его валялся на улице. Был застрелен председатель губисполкома и окружной военный комиссар Семен Нахимсон; обезображенное его тело бандиты возили по городу на извозчике — напоказ ликующим контрреволюционерам, которые плевали в него и бросали камнями. Больше двухсот человек был арестовано и брошено в тюрьму: ею служила большая баржа-гусяна, установленная на якорь почти на середине Волги. И мятежники пускали по ней пулеметные очереди: то с пьяных глаз, то из озорства.

Удалось также установить, что общее руководство заговором в руках эсера-террориста Савинкова. Поднял восстание контрреволюционный «Союз защиты родины и свободы», который ярославские рабочие очень удачно окрестили «Союзом защиты родины от свободы». Во главе мятежников — лютый враг Советской власти полковник Перхуров. К нему стянулись за несколько недель до мятежа под видом нищих, крестьян и монахов

офицеры из Москвы, Калуги и Костромы. И полковник рассчитывал поднять мятеж одновременно в двадцати трех городах, включая Ярославль, Рыбинск, Кострому и Муром, чтобы расчистить дорогу войскам Антанты, занявшим северные районы России.

14 июля 1918 года Фрунзе написал тревожное письмо Муралову: «Многоуважаемый Николай Иванович! Решился послать Вам лично гонца, дабы поставить в известность о Ярославских делах. Мне сейчас ясно, что и Вы, и Троцкий, и вообще все мы в Москве были введены в заблуждение относительно их размеров. Когда Троцкий объявил на съезде, что они почти ликвидированы, то был совершенно неправ. К величайшему сожалению, я тоже по приезде сюда был под впечатлением этой информации и не принял сразу же мер к оповещению Вас об их подлинных размерах. С тех пор прошло уже 5 дней, а события все еще не ликвидированы. Начиная с позавчерашнего дня (12.VII) у нас в Иванове, т. е. на расстоянии 100 верст, слышна орудийная канонада.

Сейчас вернулись командированные мной туда для ознакомления с положением дел 2 товарищей. Одного из них посылаю с этим письмом к Вам.

Борьба длится уже 7 дней, значительная часть зданий разрушена, город горит в нескольких местах, а белогвардейцы все еще не сломлены. Это становится уже опасным, ибо является побудительным моментом к подобным выступлениям в других местах. Недалеко от Нижнего Новгорода уже организовалась тысячная банда деревенских кулаков, выступающая с оружием в руках. Всю эту историю надо кончать как можно скорее. По-видимому, тамошние силы с задачей справиться не могут. Главная причина — отсутствие надежного и опытного руководства. У отрядов не было даже связи; каждый действовал самостоятельно. В войсках началась деморализация, наблюдаются случаи грабежей. Необходимо: 1) послать хороших руководителей, 2) 2 или 3 броневика, 3) человек 500 хорошего войска.

Состав окружного штаба в лице Аркадьева, по-видимому, очень слаб. Черт их знает, зачем путались несколько дней в Иванове. Словом, имейте в виду, что без немедленной солидной помощи от Вас дело грозит затянуться. Я боюсь, что Вы в Москве склонны чересчур уже преуменьшать значение Ярославских событий. Конечно, не ими решится дело, но многое все же зависит и от них. А посему прошу лично Вас отнестись ко всей этой истории как можно серьезнее. Поставьте в известность и т. Троцкого.

Хотя я пишу Вам неофициально, но, по существу, я обращаюсь от имени всего Иваново-Вознесенского губисполкома. Всего лучшего.

Ваш *М. Фрунзе* ».

Муралов сдержал слово: послал войска. В ночь на 17 июля сбежал Перхуров. Он прихватил деньги в государственном банке и бросился на пароходе вверх по Волге к Толгскому монастырю. Монахи переодели полковника в крестьянскую одежду, в красную рубаху, и палач двинулся за помощью в Казань.

Четыре дня длилась агония белогвардейцев — 21 июля они капитулировали. Скелеты разрушенных зданий, дым пожарищ, битые стекла, бездомные, голодные горожане — вот что оставили в память о себе мятежники. И эпидемия тифа, вспышка холеры — с этим столкнулся Фрунзе, когда прибыл на день в Ярославль, чтобы воочию убедиться в размерах бедствия.

«Правда» дала высокую оценку действиям большевиков «Ситцевого края». «В критический, грозный для революции момент иваново-вознесенская организация коммунистов оказалась на высоте положения, выявила железную дисциплину, организованность и способность твердой пролетарской рукой до конца защищать дело пролетарской революции и социализма...»

Снова, как и в дни Брестского мира, главным стал вопрос о войне, о вооруженной защите социалистического Отечества. В каждой речи Михаил Васильевич говорил то о мятеже чехословацкого корпуса, то об измене эсера Муравьева, командовавшего Восточным фронтом, то о трех легендарных переходах Ворошилова, Блюхера и Ковтюха, добившихся соединения с основными силами Красной Армии. А когда эсерка Фанни Каплан тяжело

ранила Владимира Ильича Ленина, иваново-вознесенские коммунисты объявили себя поборниками «массового террора пролетариата по отношению к буржуазии...»

К этому времени Николай Подвойский и его товарищи обратились к Якову Свердлову с просьбой от имени Всероссийского бюро военных комиссаров использовать Фрунзе на военной работе. Свердлов дал заключение: «Ценный, преданный, честный работник, пригодный для занятия ответственных функций». Так Михаил Васильевич Фрунзе стал военным комиссаром Ярославского военного округа.

В последний раз выступал Арсений как лицо гражданское 5 августа 1918 года в Кохме. Это было на «Майской горке», где собралась уйма народу и трибуной служил высокий и широкий пенёк. Александр Киселев хорошо запомнил это теплое, солнечное утро. Арсений указал, что главное дело сегодня — отразить натиск восставших чехословаков, которые отрезали край текстильщиков от сырья, и нанести в рабочей среде удар по безразличию и упадку, вызванным безработицей и хроническим голодом. И не было конца ликования, когда вдруг пришло известие, что в Кохму возвратился продовольственный отряд и привез из Казани 135 тысяч пудов хлеба!..

Словно предчувствуя, что скоро он навсегда распрощается с любимым краем, Михаил Васильевич переложил партийную работу на Воронского, Балашова и Калашникова, советскую — на Жиделева и Самойлова, совнархозовскую — на Батурина, культурную — на Фурманова. А сам ушел с головой в дела военные.

Его округ включал огромную территорию — восемь губерний: Архангельскую, Северо-Двинскую, Вологодскую, Костромскую, Ярославскую, Владимирскую, Иваново-Вознесенскую и Тверскую. На севере округа шли бои с войсками Антанты, в иных районах нет-нет да и поднимали голову кулаки.

Вскоре пришлось забрать для агитационной работы в округе Дмитрия Фурманова. Помощниками по штабу и по строевой части стали бывший генерал Федор Новицкий и подпоручик Константин Авксентьевский.

Новицкий переехал из Ярославля в Иваново-Вознесенск, куда Фрунзе перевел штаб округа, еще не отстранив Аркадьева, о котором он месяц назад писал Муралову. На Федора Федоровича Новицкого сразу произвел приятное впечатление новый военный комиссар: «Отворилась дверь, и в зал вошел военный комиссар округа в сопровождении человека небольшого роста, в кожаной куртке, шатена, с небольшой бородкой и с чрезвычайно приветливым лицом... Так состоялась моя первая встреча с этим изумительным человеком...»

С первых же дней Фрунзе и Новицкого связала добрая, крепкая дружба, и Федору Федоровичу пришлось сыграть некоторую роль при назначении Михаила Васильевича командующим 4-й армией Восточного фронта.

А Константина Авксентьевского Фрунзе «нашел» в Вологде, когда приехал на смотр сформированных полков. Ему очень понравился порядок в частях Авксентьевского, выправка бойцов и их стремление немедленно двинуться на фронт.

Сотни неотложных дел решал новый начальник округа: формировал две дивизии — 1-ю и 7-ю — для Красной Армии; комплектовал курсы для подготовки командного и политического состава; привлекал и переаттестовывал тысячи офицеров и унтер-офицеров царской армии и развертывал всеобщее военное обучение рабочих и крестьян. Шуя дала 57-й полк. Маршевые роты уходили на фронт почти ежедневно. Фрунзе послал их шестьдесят пять вместо пятидесяти, как приказывала Москва. Да и добровольцев ушло из округа больше семидесяти тысяч.

Военная работа все больше и больше захватывала Фрунзе. Но ивановцы никак не верили, что их Арсений доживает среди них последние недели.

В конце ноября 1918 года, после первой губернской конференции коммунистов, они избрали Фрунзе председателем губкома РКП(б). Но обстановка в стране становилась столь удручающей, что Михаил Васильевич уже сделал выбор — только на фронт! И — против Колчака, который активно собирал антисоветские силы для похода на Москву.

«Как ни многогранна и интересна была работа по руководству военным округом, все же М. В. Фрунзе неудержимо тянуло туда, где шла борьба не на жизнь, а на смерть за торжество труда над капиталом, — вспоминал Новицкий. — И вот во время одной поездки по округу мы окончательно договорились проехать в Москву и поставить вопрос о нашем назначении на фронт.

М. В. Фрунзе мечтал получить, как он говорил, «полчишко», преимущественно конный, учитывая свою любовь к верховой езде и живость характера. Я же убеждал его не скромничать, а добиваться получения армии. Такая перспектива сместила Михаила Васильевича. Он не мог представить себя в роли командарма, так как считал, что не имеет никакой предварительной подготовки и боевой практики. Я же был совершенно другого мнения: за время четырехмесячной совместной работы сам увидел, как глубоко понимал Фрунзе военное дело; не раз поражался тем, как много он читал и как основательно был подкован в области военной теории. Личные его волевые командирские качества, глубокая марксистская подготовка политического деятеля широкого размаха представлялись мне идеальным сочетанием качеств, требовавшихся от крупного военного командира. Его революционное прошлое являлось самой надежной гарантией доверия к нему масс».

В Москве Новицкому объявили, что он назначается начальником штаба Южного фронта, а Фрунзе туда же — членом Реввоенсовета фронта.

Старый генерал оказался настойчивым человеком и горячо стал доказывать, что Фрунзе следует направить на крупный командный пост, а его оставить при нем на любой должности.

Эти шумные разговоры в Реввоенсовете республики стали известны в Центральном Комитете партии. Яков Михайлович Свердлов вызвал Фрунзе и Новицкого, правильно оценил обстановку и позвонил заместителю Троцкого Скиянскому:

— Кто у вас мутит воду? И почему вы не считаетесь с авторитетным мнением товарища Новицкого? Вы что, никогда не слыхали о Фрунзе?

Эфраим Скиянский промямлил что-то невнятное.

— Понимаю! — Свердлов бросил трубку. — Снова Троцкий! Но у нас есть на него управа!

Так Михаил Васильевич Фрунзе на основании решения Оргбюро ЦК стал командующим 4-й армией Восточного фронта, а Федор Федорович Новицкий занял у него пост начальника штаба.

Ивановцы с грустью отпустили своего любимца. «Уезжает на фронт М. В. Фрунзе, — писали они в газете «Рабочий край». — Утрата для нашего края по меньшей мере труднозаменимая. Глубокие следы оставит он как общественный деятель и партийный работник. Особенно как последний. С 1905 года он так сжился с нами и освоился в нашем крае, настолько стал необходим здесь, что долго еще для нас, местных аборигенов, будет заметно его отсутствие. Много сделал Михаил Васильевич для большинства из нас, местных работников-революционеров».

Общее собрание коммунистов Иваново-Вознесенска выразило Фрунзе глубокую товарищескую благодарность за работу в «Ситцевом крае». Оно высказало пожелание, чтобы Фрунзе вернулся в Иваново, когда будут разбиты враги пролетарской революции. И обратилось с призывом к ткачам — создать специальный военный отряд и послать его на колчаковский фронт в распоряжение командующего 4-й армией. По городу запестрели призывные лозунги: «Записывайтесь в отряд Фрунзе!» В него отобрали семьсот самых стойких, хотя желающих было больше четырех тысяч...

Софья Алексеевна радушно встречала друзей своего мужа в последний ивановский вечер. Они собрались не на разлуку, как писал Фурманов, — посидеть запросто, потолковать, обсудить обстановку в губернии: ведь с Фрунзе устремлялась на фронт масса ответственных партийцев. «Да, мы знали тогда, в этот прощальный вечер, что собираемся в последний раз... Сколько там выхлестнуто было пламенных речей, сколько было пролито дружеских настроений, сколько раскатилось гневных клятв, обещаний на новые встречи, какая цвела там крепкая, здоровенная уверенность в счастливом исходе боевой страды!»

Фрунзе не сомневался в победе над врагом. И строил добрые планы: как он «откупорит пробку» под Оренбургом, и целое море хлопка даст новую жизнь ивановским фабрикам.

— И будем помогать оттуда — глядишь, и дошлем нашим ткачам десятков-другой вагонов с хлебом.

Догорел длинный вечер, ночь перевалила за половину. И затянули боевые друзья тихо и слаженно любимую песню Фрунзе — прощальную, солдатскую, со счастливым концом:

Уж ты, сад, ты мой сад,
Сад зелененький,
Ты зачем, садок, отцвел,
Осыпашься?

Софья Алексеевна оставалась на какой-то срок в Иванове. И, не скрывая слез, собирала мужу в дорогу солдатскую сумку.

Падение Колчака

В апреле 1919 г., в момент наивысшего развития наступления колчаковской армии и создавшейся угрозы Казани, Симбирску и Самаре, был назначен командующим четырьмя армиями южного участка Восточного фронта (4-я, 1-я, Туркменская и 5-я). Организовал и провел удар во фланг наступавшим колчаковским армиям из района Вузулука, приведший к срыву наступательной операции Колчака и к быстрому отходу его армии на всем Восточном фронте.

Оставаясь командующим Южной группой, принял непосредственное руководство Туркестанской армией, действовавшей на уфимском направлении. Провел Уфимскую операцию и переправой через реку Белую 7–8 июня разбил войска противника, защищающие подступы к Уфе, и 9 июня занял последнюю. За эту операцию награжден орденом Красного Знамени.

В конце июня получил назначение командующим всеми армиями Восточного фронта. Руководил операциями армий фронта до момента захвата нами Челябинска и перехода через Уральские горы по всему фронту.

М. Фрунзе

Штаб 4-й армии размещался в Самаре. Михаил Васильевич прибыл туда 31 января 1919 года.

Унылым казался прифронтный город: в нем, как во взбаламученном море, еще не отстоялась пена и грязь после волнений и бури. На пустырях и площадях — обрывки ржавой и рваной колючей проволоки. На базарах — темные личности, промышляющие заграничным барахлом. В деревянных домишках — перепуганные обыватели, выглядывающие одним глазом на улицу в щелку ставен. Заснеженная станция забита составами: в одних — красноармейцы, в других — мешочники. Неприкаянные подростки то шныряют между вагонами, то кучками греются у костра. И в крошечной ночной тьме, на тропках в снегу — молчаливый ночной патруль.

Днем Фрунзе бывал у Куйбышева и с Новицким разбирался в делах армии; по ночам, надев валенки и накинув на плечи шинель, как детективный роман читал груды изданий, опубликованных в Самаре в долгие недели мятежа: он хотел понять, куда занесла его судьба и каков у него тыл в борьбе с Колчаком.

В начале июня Николай Подвойский взял на себя руководство ликвидацией чехословацкого мятежа. Но сдержать натиск врага не удалось, и 8 июня 1918 года Самару

пришлось сдать. Зарево освещало путь интервентам, и город утопал в дыму: на мельнице Соколова горело зерно и десятки тысяч пудов нефти.

Контрреволюционный переворот совершился. Власть перешла в руки комитета членов Учредительного собрания (Комуч) в составе пяти эсеров. Самарскую губернию представляли И. Брушвит, П. Климушкин и К. Фортунатов, Тверскую — В. Вольский, Минскую — И. Нестеров.

— Смотри, куда залетел, голубчик! — сказал себе Фрунзе. — Очень хорошо помню этого рыжего типа. Зверская была у него физиономия, когда белорусские старики несли меня на руках в президиум съезда и приговаривали: «Руководи нами, Михаил Александрович, не слушай болтунов, вроде Нестерова!..»

Вот и «Самарские ведомости», в них приказ № 1 этой эсеровской пятерки: «Именем Учредительного собрания большевистская власть в г. Самаре и Самарской губернии объявляется низложенной. Все комиссары отрешаются от занимаемых ими должностей».

Господа восстановили городскую думу и земскую управу. И начали формировать Народную армию. Советы распустили, но пообещали снова их выбрать на рабочей конференции в условиях свободы слова, печати, собраний и митингов. Демагогия выпирала из каждой строки приказа, который кончался словами: «Единая независимая свободная Россия. Вся власть Учредительному собранию» — вот лозунги и цели революционной власти».

Хитро сплели этот приказ господа эсеры! А действовать стали зверски: самосуд над председателем ревтрибунала Венцеком и над комиссаром жилотдела Шульцем. Убийство матроса Буданова, медицинской сестры Вагнер и молодого большевика Длуголенского. Расстрелы красноармейцев на мосту через Самарку, расправа на Николаевской улице и в темных переулках. И на фоне слов о свободе — царские флаги на балконах...

Верные себе, выворачивались наизнанку меньшевики, рабелепствуя перед эсерами по старой формуле Мартова: «Медленным шагом, робким зигзагом». В Комуч они не вошли и своим присутствием не удостоили земскую управу. Зато постарались захватить городскую думу и профсоюзы. Созвали рабочую конференцию в театре «Олимп» и вещали: «Буржуазного правительства не будет, как не может быть и возврата к большевизму». Союз кожевников, где главенствовали меньшевики, выступил за Советскую власть, но «без комиссародержавия». Меньшевики пели на своих собраниях: «Смело, товарищи, в ногу!» А в тюрьму на их глазах согнали 1680 политических заключенных. И выплачивали жалованье бывшим советским служащим за время антисоветской стачки.

Красная Армия теряла города по соседству с Самарой. Пала и станция Кинель, где держался Валериан Куйбышев с товарищами. Народная армия тем временем набирала силу и откровенно заявила о своей цели: активная борьба во всей России с большевиками за установление народовластия. И — война с Германией. В армию хлынули офицеры, прекрасно понимая, за кого они будут драться.

13 июня с войсками Комуча соединились уральские казаки. В городе слишком запахло белогвардейщиной. И к рабочим пришлось обратиться с просьбой: «Не выражать недовольствия по поводу ношения казаками погон».

Появились большевистские прокламации в Самаре. Но в упоении близкой победы ни эсеры, ни меньшевики не придали им значения, потому что Красная Армия сдала Ставрополь, Новоузенск и Бугуруслан.

Пышно расцвели торжественные приемы, чаепития, потому что пожаловали французские представители Жанно и Комо. А следом за ними — оренбургский казачий атаман Дутов. Он вошел в состав Комуча, оговорив автономию оренбургского казачества. Его чествовали казаки, белочехи и Народная армия. Произвели в генералы. И он, окрыленный, отбыл к своим частям.

Потом всплыл на поверхность подполковник Каппель. Он взял Симбирск, и ему Комуч выразил благодарность 22 июля. Затем Каппеля произвели в полковники и назначили командующим всеми действующими войсками Народной армии.

Вскоре был прием по случаю приезда представителей Уральского войскового правительства.

Не было лишь на этом пиру Комуча «свадебных генералов». Но и они скоро появились: «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская, Авксентьев, Аргунов, Павлов и будущий товарищ министра продовольствия у Колчака — Знаменский. Большевики истребовали на свою областную конференцию члена ЦК Майского. Белочехи и Народная армия взяли 19 августа Николаевск, но через два дня сдали его Василию Чапаеву.

Окреп и стал реальной силой в городе подпольный Самарский комитет РКП (б). Он призвал рабочих к политическим забастовкам и считал неизбежным «поддержать и развить проявление гражданской войны, не останавливаясь перед боевыми задачами для восстановления Советской власти в Самаре».

В Комуче кое-кто стал понимать, что «свадебный пир» может обернуться похоронами. По этой причине эсеры захлопотали о консолидации. После политической «чашки чаю» у французского вице-консула Комо, где заседали Брешко-Брешковская и Авксентьев, уполномоченный Чехословацкого национального совета доктор Влассак, консулы США Гадлей и Вильям, представители Польской рады Вержбицкий и Уральского войска — Фомичев, кадет Кудрявцев и меньшевик Лепский, оформился союз «Возрождения России».

И хоть прибыл после этого в Самару председатель Учредительного собрания В. Чернов — лидер эсеров, но и он не мог спасти положения: Комуч издал приказ о создании высшей эвакуационной комиссии для разгрузки Самары. И уже мало кто слушал басни Комуча о том, что «успехи советских войск кончаются» и что «Казань и Симбирск скоро будут взяты обратно». В городе началась паника: поспешно снялись промышленники, купцы, помещики; за ними крупные чиновники, спекулянты и кое-кто из офицеров. Наконец, побежали к Колчаку вожди Комуча и шумная свора меньшевиков...

Ветром революционной бури пахнуло на Фрунзе со страниц газет и журналов, когда он увидел телеграмму председателя РВС 4-й армии и члена ВЦИК Линдова в адрес Ленина и Свердлова:

«7-го октября доблестная 4-я армия вступила в Самару, белочехи и все другие белогвардейцы бегут. Мосты через реку Самарка были взорваны. Красноармейцы перешли по понтонному мосту и, приветствуемые многочисленными рабочими массами, вступили в Самару. Трудно описать встречу, которую устроили нашей Красной Армии рабочие, население. У многих рабочих были слезы на глазах. Вечером в городе проходили манифестации. Рабочие празднуют свое освобождение от белогвардейского плена».

Фрунзе, взволнованный, ходил по салону вагона.

— Как обидно, что погиб такой коммунист! — сказал он своему адъютанту Сергею Сиротинскому.

— Кто, товарищ командарм?

Странно было слушать в устах Сергея такое обращение. Фрунзе знал своего адъютанта больше десяти лет, еще по Шуе, когда тот после окончания владимирской духовной семинарии учительствовал в Воскресенской рабочей школе. Но, видимо, так положено! Теперь даже самые близкие друзья в обстановке службы не назовут его Арсением или Мишей.

— Ты хоть с глазу на глаз называй меня по имени-отчеству... А речь идет о Гаврииле Линдове, которого убили свои же парни, одураченные эсерами, десять дней назад. Мы должны побывать в той части...

— Не опасно ли, Михаил Васильевич? Только вступили в должность — и уже ищете петлю для шеи!

— Это разговоры не по уставу, Сергей Аркадьевич! Мы будем искать опасность каждый день. Где опасно, там и должен быть командующий. Французы прекрасно выразили это поговоркой: «На войне как на войне!»

Ближайший тыл не казался надежным. Многие эсеры и меньшевики после взятия Самары не добежали до Колчака, рассеялись по казачьим станицам, по селам, городам и деревням, проникли в части 4-й армии и сеяли смуту.

Обстановка для них была подходящая. Армия сформировалась летом 1918 года из партизанских и красногвардейских отрядов, куда проникли кулаки и другие враждебные элементы. В командном составе встречались люди нестойкие, и среди них можно было развивать настроения партизанщины, зазнайства и недооценки военных специалистов старой армии.

Надо сделать армию боеспособной. Но как? И в какой мере укрепить ее верными людьми и оснастить вооружением? Ведь против нее по фронту в 350 верст действовала Отдельная Уральская армия: почти 11 тысяч бойцов, и среди них больше половины конников. Белые отлично экипированы и не знают голода. И, судя по всему, скреплены железной, палочной дисциплиной. И действуют в родном краю, где всюду им уготован и стол и кров.

Конечно, командарму-4 было нелегко. Ведь никто из гражданских лиц в партии не начинал командную военную деятельность с такой высокой должности — почти все вступали в дело на роли комиссаров. Но с помощью опытных военных специалистов Федора Новицкого и Дмитрия Карбышева Михаил Васильевич быстро разобрался в штабных и оперативных документах армии.

В общем-то обстановка в полосе дислокации войск была и сложной и тяжелой, но не в такой мере, чтобы не видеть моментов и благоприятных.

Колчак еще не перевалил через Уральские горы: он собирал свои армии в кулак на просторах Сибири. После славных ударов Красной Армии осенью 1918 года Волга была очищена от противника на всем протяжении. Крепкие коммунисты держали на ней ключевые позиции: в Симбирске — Иосиф Варейкис, в Самаре — Валериан Куйбышев.

Но упорно держались оренбургские и уральские казаки. И стремительными налетами конницы расстраивали тыл 1-й и 4-й армий.

Крепким орешком оказался Уральск. Три раза штурмовали его красные бойцы. Но в суровую уральскую зиму победы не добились. «Много доблести проявлено было, особенно в этом районе, военными комиссарами и вообще политическими деятелями, — писал Фрунзе через год. — Много тяжких потерь понесла здесь партия коммунистов. Среди них погиб один из просвещеннейших и доблестных политических вождей... товарищ Линдов».

Но не напрасными были эти жертвы. За девять дней до приезда Фрунзе в Самару, 22 января, был взят Оренбург. А через два дня решилась и судьба Уральска — штурмом взяли его красные части.

Теперь надо было развивать победный прорыв на Туркестанском направлении — к хлебу, к нефти, к хлопку!

Но армия была раздроблена. Отдельный крупный отряд — в отрыве от других частей — действовал в районе городка Александров-Гай (250 верст на юго-запад от Уральска); Николаевская дивизия выдвинулась чуть восточнее Уральска — к Илецкому городку. Малые гарнизоны раскинуты по всему фронту. И из Уральска шли тревожные вести о партизанских выходках бывшей чапаевской вольницы и о какой-то непонятной междоусобице между двумя комендантами города.

Фрунзе распространил приказ о своем вступлении в должность. Дал в нем политическую оценку событиям момента и заявил, что он намерен последовательно и строго консолидировать все здоровые силы армии. «Вступая ныне в командование 4-й армией, я уверен в том, что сознание важности и святости лежащего на нас долга близко сердцу и уму каждого красноармейца.

Невзирая на все попытки черных сил посеять рознь и смуту в ее рядах, армия должна пробить дорогу к хлебу, хлопку, железу, нефти и углю, должна проложить тем самым путь к постоянному прочному миру. Я надеюсь иметь в каждом из вас верного товарища и

сотрудника по исполнению этой великой задачи, возложенной на нас страной. Чем дружнее будет наш напор, тем ближе желанный конец.

Я надеюсь, что совокупные усилия всех членов армии не дадут места в рядах ее проявлению трусости, малодушия, лени, корысти или измены. В случае же проявления таковых суровая рука власти беспощадно опустится на голову тех, кто в этот последний решительный бой труда с капиталом явится предателем интересов рабоче-крестьянского дела.

Еще раз приветствую вас, своих новых боевых товарищей, и зову всех к дружной, неустанной работе во имя интересов трудовой России.

Командующий 4-й армией, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, бывший окружной военный комиссар Ярославского военного округа *Михаил Михайлов — Фрунзе* ».

Михаил Васильевич не отметил в приказе, что он старый коммунист и каторжанин, посланный на фронт партией. Партизанская вольница увидела в его обращении к войскам только ограничение своего своеволия и сейчас же пустила слух, что сел ей на шею царский генерал, из немцев, какой-то фон Фрунзе. И нетрудно было понять, откуда дует ветер: белогвардейцы клятвенно утверждали, что на Западном фронте в 1916 году им был знаком бригадный генерал Михайлов, почему-то именуемый себя Фрунзе...

— Что слышно в Уральском районе, Федор Федорович? — как-то спросил командующий.

— Мятаж на станции Озинки подавлен. Взяли кучку эсеров в 22-й стрелковой дивизии. Красноармейцев не трогали: им передано, что свой позор они смогут смыть только кровью в бою.

— Отлично! Через два дня едем в Уральск!

Федор Федорович крепко привязался к командующему и, боясь на первых же шагах поставить его под угрозу самосуда в беспокойных частях, молитвенно сложил руки на груди.

— Сначала Сиротинский, теперь — вы! Мы же не в куклы играем, мой генерал! Черт возьми! Я приехал командовать армией, а не просиживать штаны в штабе или заливать его слезами!

— Слушаюсь! Как с охраной?

— Поедем втроем! Вы, я и Сиротинский. Пусть уж Троцкий возит в своем поезде едва ли не полк. А наша охрана — доброе расположение к бойцам и искреннее слово. Готовьтесь. Для всяких срочных дел — я у Куйбышева...

Валериан Владимирович не скрывал своих симпатий к командарму-4. Но, к сожалению, встречи с ним были мимолетны, и всякий раз разговор проходил в телеграфном ключе.

— Я забираю вас в свою армию, — сказал Фрунзе. — Ленин и Свердлов уже информированы.

— И это за моей спиной?

— Так ведь в интересах фронта!

— Понимаю. И не протестую. Только у меня в марте губернская партийная конференция.

— Я подожду. И Колчак до того времени не двинет свои армии. Самарским коммунистам я скажу речь, и они временно отдадут Куйбышева. Сожалею, что у вас погиб отличный помощник Мягги. Но есть же люди, способные руководить губернией: Галактионов, Струппе, Сперанский, Милонов и другие.

— И — Владимир Тронин.

— Этого уже нет: я забираю его немедленно.

— Вот не знал за вами такого! — Куйбышев развел руками. — Просто разоритель губернии!

— Будем живы, все вернемся к родным пенатам. Кстати, мне нужны кое-какие самарские фонды для наградных за взятие Уральска. Что посоветуете?

— Шашек нет, все револьверы у вас. Кажется, есть на складе сотни часов: и золотые, и серебряные, и чугунные «луковицы» от Павла Буре. Могу отдать.

— Часы — это хорошо! И есть еще просьба, Валериан Владимирович. Прибудет без меня отряд ивановцев. Прошу встретить его и направить ко мне в Уральск Андреева, Волкова, Фурманова и Шарапова...

Через день самарские часовщики и граверы подготовили большую партию карманных часов с красивой вязью на крышке: «За Уральск», «За храбрость». И Сиротинский заполнил ими поместительный портфель.

7 февраля 1919 года, на рассвете, командарм-4 на перекладных тронулся в сторону Уральска. Бескрайная степь четыре дня то слепила глаза при ярком солнце, то густо накрывала метелью. Скрипели сани на наезженной дороге, вязли в чичерах, проваливались в снежные заметы по оврагам.

Через несколько дней проехал по этой же дороге и Фурманов, записав в дневник свои впечатления. «Мы ехали степями... и дивились на сытую жизнь... богатых сел, деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а картошку ели в засос и на закуску, нам после этого сурового голода степная жизнь показалась сказочно привольной, удивительной и не похожей ничуть-ничуть на ту жизнь, которою жили мы вот уже полтора голодных года.

Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь была как вооруженный лагерь: она полна была и людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом — мобилизована для фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про казачьи сотни, про недавние бои, про смерть близких людей. Попадались то и дело раненые, приехавшие в семьи на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в новую жизнь».

Так же ехал в новую жизнь и командарм-4, постепенно вживаясь в обстановку уральской степи, где вот-вот придется бросать в бой массы людей, и пристально вглядывался в ландшафт, и жадно прислушивался к разговорам при ночевках. Бойцы, находившиеся на побывке, старались не задерживаться дома. Это радовало: боевое товарищество окрепло в битвах с беляками, и обстрелянные красноармейцы не желали пропустить «последний и решающий» бой с контрой. Но чем ближе был Уральск, тем чаще критиковали бойцы кой-кого из командиров: мол, и голова у них идет кругом при самой малой победе; и с соседними полками на ножах, словно разным богам молятся; и в загул идут легко, только помани их самогоном; и, бывает, мужика обижают без надобности; а есть и еще похлестче — таскают за собой бабу в обозе. И после откровенной беседы, когда боец выкладывался начистоту, не скрывал он вздоха, что нет над командирами в уральской степи славного рубаки Чапаева...

— А что с ним, Федор Федорович?

— Учится в академии.

— Это я знаю. Меня интересует, почему учиться послали, если о нем так одобрительно отзываются на каждом нашем привале?

— Боюсь, все дело в этой популярности: она и стала для него роковой. Кому-то это не нравилось. Тем более что при крутом нраве он резко отзывался о позиционной тактике войны и требовал большой маневренности.

— Так это то, что нам нужно!

— Вам нужно, и мне, пожалуй, потому что я не расхожусь с вами во взглядах. А кому-то это не нравилось, к примеру, моему коллеге по Отдельной армии Хвесину. Чапаев был с ним на ножах. И об их неприязни сложили анекдот: «Один тонко режет, другой толсто рубит!»

— Не понимаю!

— Хвесин до военной службы был парикмахером, а Чапаев — плотником... Но расстались с Чапаевым чин чином. Я нашел в штабе характеристику. В ней есть все: и умение в боевой обстановке владеть современной массой, и личное обаяние героя,

отличающегося беззаветной храбростью, и понимание маневра и удара. Даже сказано, что он обладает военным здравым смыслом.

— Но мне не нравится «здравый смысл» тех, кто усадил за парту образцового командира в такое время. Тут явная ошибка, Федор Федорович! Напомните мне о Чапаеве, когда вернемся в Самару...

А возок все катил и катил. Чем богаче встречались села, тем крепче гуляли там мужики, бабы и подростки по случаю масленицы, открыто гнали самогон в банях и горланили пьяные песни. И под хмельком многие держали себя дерзко и отзывались о войне так, словно не было у них думки в голове, какая им власть лучше. А в бедных деревеньках почти каждый давно определил свое место в строю: сломить бы шею треклятой казаре да взяться за плуг, не опасаясь налета беляков. И Фрунзе задерживался в таких селениях с большей охотой и разговаривал с крестьянами долго, сердечно, объясняя им обстановку в уральских степях. И удивлял Новицкого таким интересом к людям, которые никак не могли решить судьбу победы сегодня, завтра.

— Это от старой привычки агитатора, — посмеивался Михаил Васильевич. — И, между прочим, агитаторы прекрасно знали настроение массы и помогали комитетам выбирать наилучший момент для нанесения удара... Человеку, Федор Федорович, всего дороже человек, особенно когда он с тобой в одной упряжке. Старых генералов не учили такой премудрости, а для нас она — один из путей к победе.

И совсем уж удивился Новицкий, когда в глухой казахской деревеньке командарм привычно расселся на ковре с подушками, подвернув ноги калачиком, с наслаждением пил кирпичный чай с бараньим салом, с молоком и непринужденно беседовал с хозяином на родном его языке.

Раскрывая новые грани в этом удивительном — молодом еще, но седеющем — человеке, бывший генерал не раз высказывал Сиротинскому опасения: доверчив Михаил Васильевич к встречным людям в селах, мало думает, чему подвергает себя в прифронтовой полосе. И торопил возницу, чтобы засветло добраться до селения, где мог стоять хоть и малочисленный, но свой отряд. И все возвращался в подробностях к печальной судьбе Линдова и его товарищей, чтобы Фрунзе сделал для себя серьезные выводы из трагедии на станции Озинки.

События начались там в ноябре 1918 года. 22-я стрелковая дивизия 4-й армии держала фронт против Уральска, прикрывала подступы к Саратову. В самом ее центре, у станции Озинки, располагался Орлово-Куриловский полк. Он пополнился осенью окрестными крестьянами. Но отбор бойцов был плохой, и под ружьем оказалась группа кулаков, которая легко поддавалась агитации эсеров.

В декабре полк восстал, командир и комиссар были убиты. Командование армии растерялось, и, пока решало, что делать с мятежниками, их поддержали Туркестанский полк и команда бронепоезда. И важнейший участок фронта в дни решающего наступления на Уральск оказался прорванным.

Линдов был в Москве. Вернувшись в Самару, он немедленно выехал в восставшие части. С ним была группа товарищей по политической работе: П. Майоров, недавно избранный членом ВЦИК, помощник Куйбышева В. Мягги, секретарь РВС армии В. Савин, новый комиссар Орлово-Куриловского полка Н. Чистяков, начальник 1-й Самарской дивизии С. Захаров, комиссар 4-й армии П. Баранов, шофер, связные и конные ординарцы.

Чистяков был очень молод — ему недавно минуло двадцать — и казался болезненно-вялым, хотя в дни Великого Октября большевики Питера сумели оценить его энергию, благородный порыв и прекрасную сметку: у него было горячее сердце большевика. И пока Линдов с товарищами разбирался в донесениях оперативного отдела, он немедленно отправился в полк.

На общем собрании бойцов речь его была страстной. Он потребовал назвать предателей и отдать их под суд. Малая часть бойцов пошла за ним. Но вожаки не дали ему

добиться перелома в настроении массы. Его стащили с трибуны, жестоко избили. И при сильном морозе, босого, в одном белье, повезли за пятнадцать верст на хутор Жемчин, где стоял мятежный Туркестанский полк. Обмороженный, с перебитой рукой, он нашел силы, чтобы отдать приказ об аресте зачинщиков. Озверевшие бандиты зарубили его шашками.

Это случилось вечером 20 января. Линдов еще не знал о гибели Чистякова и не успел принять мер для наведения порядка в мятежной команде бронепоезда, которая располагалась рядом с его вагоном. А враги не теряли времени. И в пять часов утра 21 января эта команда захватила вагон Линдова, взяла его на буксир и потащила в расположение Орлово-Куриловского полка. Линдов, Майоров и Мягги сбили охрану в тамбуре и с двумя ординарцами выпрыгнули на ходу поезда в снег. Первой же пулеметной очередью с бронепоезда насмерть подкосили Майорова и Мягги. Линдов с ординарцами пытался бежать, но был сражен второй очередью.

Замешкались Петр Баранов и Савин с Захаровым. Они не успели добраться до подножки, так как подбежала охрана из другого тамбура. Их сбили с ног, арестовали, и, на диво, это спасло им жизнь. Баранов горячее других стал доказывать охране, что за смерть Линдова с товарищами красный террор падет на голову восставших и никому из них спастись не удастся, потому что власть рабочих и крестьян не прощает измены и предательства.

— Сегодня вы убьете нас, завтра вороны расклюют ваши глаза, потому что поганую сволочь мы хоронить не позволим! Выдайте главарей — Гольцева и Богданова, тогда я буду просить сохранить вам жизнь!

Баранов с товарищами были доставлены в мятежный полк. Но охрана в их вагоне не дала чинить над ними самосуд. Да и подавляющая масса в полку уже поняла, что она зашла слишком далеко и что главари мятежа ее предали: Гольцев и Богданов сбежали, сообразив, что им грозит за убийство группы крупных политических работников. Баранов, Захаров и Савин уговорили одураченных бойцов повернуть оружие против беляков в Уральске.

И опять пришла пора удивиться бывшему генералу Новицкому. Фрунзе не перебивал его, не расспрашивал. А затем сказал спокойно:

— Найдите Баранова, Федор Федорович, такой человек нам нужен.

А уж оценку трагедии на станции Озинки он сделал молча, ни с кем не делаясь своими выводами. Он знал Линдова, когда была первая встреча с Владимиром Ильичем на даче «Ваза», разговаривал с ним и проникся уважением к этому человеку. Он был с головой Сократа, минутами очень похожий внешне на Ленина; умный, мыслящий врач с дипломом Сорбоннского университета, позднее — крупный агент Русского бюро ЦК. Арестовали его ранней весной 1911 года в Туле вместе с Виктором Ногиным и отправили в ссылку. Он отходил на время от революции, но вернулся в Питер в 1917 году и снова сблизился с Лениным. Владимир Ильич и направил его в Реввоенсовет 4-й армии.

И Петра Майорова знал Фрунзе еще по Питеру в 1905 году, когда тот работал в снарядной мастерской завода «Лесснер» и шустро выполнял обязанности связного между комитетами. Да и недавно виделись они в Москве, в дни V Всероссийского съезда Советов: Петр был секретарем крестьянского отдела ВЦИК и создал в столице газету «Голос трудового крестьянства».

1 февраля 1919 года, неделю назад, похоронили его и Линдова в Москве. А питерцы именем своего боевого друга Майорова назвали бывший Вознесенский проспект.

«Как решает нашу судьбу одна роковая минута, — думал Фрунзе. — Баранов спасся, потому что не выпрыгнул из поезда. Зачем Линдов искал спасения в бегстве? Не поверил в какой-то миг, что мятеж уже захлебнулся после смерти Чистякова? И что решительное слово большевика могло отрезвить опьяненные бунтом головы? Нет, все это куда сложнее, чем кажется мне сейчас!..»

— А как нас встретит уральская «вольница», Федор Федорович?

— Боюсь, что без энтузиазма, — мрачно ответил Новицкий.

К Уральску подъехали после полудня.

Новицкий дал знать о приезде командующего, но никто не поверил его депеше: командармы на передовой никогда не появлялись. И Фрунзе остановился у заставы как частное лицо.

Два красноармейца, живо переговариваясь, небрежно проверили документы, не вызвали караульного начальника. И один из них махнул рукой в сторону города:

— Давай!

Новицкий был шокирован: он беспокожно ерзал на месте и пощипывал рыжеватую эспаньолку, заиндевевшую от морозного ветра. Фрунзе поглядывал на него, лукаво щуря глаза. Он еще не привык к рапортам и мало был озадачен таким приемом. Ему бросались в глаза другие вещи: многие бойцы, распахнув шинели, явно щеголяли кожаными куртками, и брюками, и новыми хромовыми сапогами, а на каждом перекрестке и почти у каждого дома военная молодежь палила из винтовок, хохоча и выхваляясь друг перед другом.

Федор Федорович глянул на часы: за одну минуту грохнули столько раз, что он сбился со счета, успев засечь две сотни выстрелов. Он поманил бойца, который с упоением посылал пули в небо, раскидывая вокруг себя пустые гильзы:

— Что за пальба, товарищ?

— Душа горит! От победы! С прошлой весны начали сюда рваться, товарищей потеряли — страсть! Ну и казару пужаем, она намедни два раза налет делала, чуть город у нас не отбила!

Ответ бойца понравился командарму. Но он видел дальше: нет твердой руки в Уральске, кому-то по душе эта «вольная» жизнь, без дисциплины и порядка. Он еще не знал, что среди начсостава были люди, которые даже поощряли этот ералаш: поглядим, мол, как поведет себя в такой обстановке его немецкое превосходительство генерал Фрунзе!..

В городе не было старшего начальника — командира 22-й дивизии Дементьева: он приехал позже Фрунзе, под вечер. А два временных комбрига, да еще из соседних дивизий, никак не могли поделить власть.

Начальником гарнизона объявил себя Плясунков из 25-й дивизии. Он первым завязал бой в Уральске и захватил в предместье вещевого склад беляков: это его бойцы поскрипывали новым кожаным обмундированием, разгуливая по улицам героями. Но начальником гарнизона объявил себя и Ильин — из 22-й дивизии: он первым прорвался к центру города.

Дальше — больше, междоусобица захватила и бойцов: внутренний порядок не соблюдался, караульную службу несли только в своих частях. Город был во власти стихии. При этом Ильин вел себя тише, а Плясунков любил шум.

Как только появился в городе Дементьев, Фрунзе направился в штаб его 22-й дивизии. И со свойственной ему мягкостью сразу же завоевал уважение начсостава.

«В штабе 1-й бригады 25-й дивизии внимательно следили за действиями нового командарма, — записал в своих воспоминаниях Иван Кутяков. — Напряженно ждали его к себе. Велись уже жестокие споры, что «немец» должен в первую очередь приехать сюда. День клонился к вечеру, но Фрунзе все не появлялся. Так время прошло до глубокой ночи. Начсостав с чувством недовольства разошелся по квартирам.

Наутро Фрунзе отдал приказ о смотре войск Уральского гарнизона.

Командиры 25-й дивизии с недовольством строили свои части для похода на площадь; хотя и неохотно, но пошли на парад. Командиры полков были убеждены, что их поставят на правом фланге, но командующий парадом начдив-22 поставил их на левом фланге, за обозами своих войск.

Февральский день был ясный, но мороз крепко щипал руки и ноги. Красноармейцы начали выражать недовольство, что их заставляют мерзнуть на площади. В приказе было сказано, что Фрунзе будет принимать парад ровно в одиннадцать, но почему-то Михаил Васильевич задержался в партийном комитете минут на тридцать-сорок.

Глухой ропот стал выливаться в громкие возгласы, что, мол, старый режим вводят генералы в Красную Армию, опять по-старому приходится целыми часами ждать на морозе

генерала. Врид комбрига Плясунков якобы для успокоения красноармейской массы подал команду: «По зимним квартирам — марш». И полк за полком разошлись...

По прибытии на квартиры все комиссары и часть более уравновешенных командиров начали истолковывать этот поступок как неповиновение Советской власти, как бунт. Настроение ухудшилось».

На параде осталась одна бригада 22-й дивизии. Гремел оркестр, отобранный у Плясункова (он взял его в бою у беляков), но безотрадной была картина на площади. И Новицкий не скрывал огорчения, что первый парад у Фрунзе похож на такое неприглядное сборище «племен, народов, состояний».

Люди так и не смогли навести строй по струнке и винтовки держали кто как: на ремне, на плече, у ноги. Почти не было поясов на шинелях, а папахи либо откинута набекрень, либо нахлобучены на глаза. Обувка плохая. И в довершение ко всему кто-то даже курил самокрутку во втором ряду.

Но прошли бойцы лихо, и конники прогарцевали красиво. Видно было, что все они обстреляны и смелости им не занимать, но дисциплина и порядок им незнакомы. И в их присутствии Михаил Васильевич начал строгий разбор «парада». Пора кончать со всей этой анархией, с «вольницей». Бои предстоят суровые, противник сильный, и залог нашей победы в революционном порядке... Затем он наградил группу отличившихся бойцов и командиров часами за взятие Уральска. Но у всех остался тяжелый осадок после такого неудачного смотра.

Говорят, Плясунков потерял самообладание и направил командующему дерзкую записку: «Предлагаю прибыть на собрание командиров для объяснения по поводу ваших выговоров нам за парад».

Правда, Плясунков ушел с парада до того, как Фрунзе учинил разнос комдиву Дементьеву за расхлябанность в частях. И гнев свой он должен был обратить прежде всего на Дементьева: именно тот отобрал у него оркестр и указал место его бригаде за своим обозом. К тому же Фрунзе наградил Плясункова часами, на другой же день принял живое участие в его личной судьбе и всегда считал его наряду с Чапаевым и Кутяковым своим ближайшим боевым товарищем.

Но что было, то было. И через три недели сам Фрунзе вспомнил в приказе о досадном инциденте в Уральске: «Так, был случай, когда один из командиров бригады, получив от меня за несколько недозволительных проступков словесный выговор, апеллировал к своим подчиненным, и в результате командный состав этой бригады, во главе с бригадным военным комиссаром, потребовал меня для объяснений. Такое же требование было затем мне предъявлено и самим командиром бригады».

Иван Кутяков, отлично наслышанный об этом, описал события того памятного дня в спокойном тоне:

«Вскоре было получено приказание Фрунзе: собраться начсоставу 25-й дивизии в штабриге-1.

Начало темнеть. Весь комсостав был в сборе. Раздавались голоса: «Если придет с охраной, то нужно на всякий случай вызвать дежурные части». Все были в этом уверены, так как по опыту прошлых приездов командующих знали, что их всегда сопровождает сильная охрана (так обычно приезжал Троцкий), и это недоверие глубоко оскорбляло бойцов. Они говорили: «Боятся нас, как бандитов».

Настроение бойцов и начсостава бригады Михаилу Васильевичу было известно. Несмотря на это и всю напряженность обстановки, Фрунзе пришел на собрание без сопровождающих. Командный состав этим поступком был ошеломлен: один, без всякой охраны, пришел в штаб бунтующей бригады.

Плясунков сознательно не скомандовал «встать» и «смирно», не подошел с рапортом. Таким образом, с появлением Фрунзе на собрании воцарилась могильная тишина, хотя до его появления велись громкие, возбужденные споры.

Михаил Васильевич молча прошел вперед, где сидело командование бригады. Спокойно и ласково со всеми поздоровался, как будто ничего не произошло. Командирская аудитория молча, но внимательно, не пропуская ни одного движения Фрунзе, за всем следила. С минуту продолжалась напряженная тишина. Затем Михаил Васильевич спокойным голосом, с неизменной улыбкой в глазах, обратился якобы к Плясункову, а сам встал лицом к собравшимся командирам и попросил слова. Собрание глухо ответило «просим».

Фрунзе начал речь о положении на фронтах республики. Ярко обрисовал тяжесть Северного и Южного фронтов, затем перешел к Восточному. Он раскрыл стратегическую обстановку на фронте, весьма лестно отозвался о героизме старых бойцов 25-й дивизии, закончил призывом к наступлению на Лбищенск.

Речь длилась около полутора часов. Никто не прерывал, слушали внимательно. Один из артиллеристов задал вопрос: «Расскажите о себе, кто вы?» Михаил Васильевич кратко, сжато рассказал, что он сын фельдшера, два раза был приговорен царем к смертной казни, много сидел в тюрьме, никогда не был генералом.

Раздались громкие аплодисменты, крики: «Да здравствует свой командир! Ура!» После этого командиры начали в своих выступлениях уверять товарища Фрунзе, что вся бригада по первому его приказу выступит не только на Лбищенск, но пойдет до самых берегов Каспийского моря. Потом почти каждый подходил к Михаилу Васильевичу и задавал ему какие-либо вопросы. Собрание превратилось в дружескую беседу и затянулось далеко за полночь. Командиры разошлись по домам с глубоким убеждением, что ими командует свой человек».

Эти записи Ивана Кутякова мало согласуются с воспоминаниями Сергея Сиротинского. Тот говорил, что Фрунзе держал речь в резком тоне; подчеркивал, что выступает он не как командующий, а как член партии; якобы угрожал расстрелом за бунтовщические настроения в бригаде и давал понять, что он никого не боится, почему и пришел без охраны.

Все это не в образе Фрунзе. Михаил Васильевич был удивительно скромным человеком. Он никогда не скрывал горячей любви к рабочим и крестьянам, одетым в шинели, всегда был деликатен в делах, где решало судьбу пламенное слово большевика, а не угроза лишить жизни человека, сбитого с толку вражеской агитацией, гнусной сплетней или просто не разобравшегося в сложной обстановке фронтовых будней.

И Кутяков, безусловно, прав: таким и оставался Фрунзе в роли командующего. Он не выхватывал пистолет из кобуры в состоянии аффекта и не приканчивал на месте непокорного человека, как это случалось у Василия Чапаева и его товарищей. И по делу Линдова не подписал смертного приговора ни одному бойцу. Более того, на Восточном фронте известен лишь один его приговор о расстреле. Он был вынесен бывшему офицеру Авалову, который предательски покинул пост комбрига-74 и выдал врагу секретный приказ о наступательных операциях против колчаковских генералов. Но и этот приговор не был приведен в исполнение, потому что предатель укрылся в логове белогвардейцев.

В Уральском гарнизоне дисциплина восстановилась скоро: новый командующий был образцом революционного порядка и строго взыскивал за партизанщину. И Плясунков — живое воплощение былой «вольницы» — взял себя в руки; он так полюбил командарма, что не раз выказывал ему безграничную преданность.

Крепко ругал он себя, что поддался сплетне — принял коммуниста-подпольщика, каторжанина и смертника за старого генерала из немцев. Он был молод — по двадцать четвертому году, но с осени 1915 года хлебнул горя в царских окопах на Западном фронте. И слышал краем уха о выдающемся большевистском агитаторе Михайлове, который на диво предстал теперь перед ним в образе командарма-4.

— Вот промашку я сделал! — сокрушался он.

Замечательная троица из самарских партизан — Василий Чапаев, Иван Кутяков и Иван Плясунков — начала борьбу с беляками в разных местах, в своих отрядах. Но вскоре она

свела их в одну группу, и вожаком стал Чапаев. Вместе они освобождали Николаевск и дважды ходили на Уральск, пока Чапаев не уехал в академию. Плясунков, как и Чапаев, потерял в бою любимого брата Матвея. И у него счета с беляками были и классовые и сугубо личные. Он горел в бою, и геройство его передавалось бойцам: очертя голову они шли за своим любимым командиром.

Плясунков словно переродился после долгой вечерней беседы с командармом. Он пригласил Фрунзе к себе в штаб, чтоб ознакомить его с задуманной операцией и заодно отобедать в кругу командиров.

Михаил Васильевич не отказался: он любил людей смелых, даже дерзких в своем деле, и хотел поближе познакомиться с одним из друзей Чапаева. К тому же был и служебный интерес: 25-я дивизия, где служил Плясунков, только что была передана ему из 1-й армии.

Плясунков собрал командиров полков и разбирал с ними задачу, поставленную перед бригадой приказом Фрунзе в день неудачного парада 12 февраля 1919 года.

Выходило так: бригада остается в армейском резерве, удерживает Уральск и хутор Круглоозерный. А одним полком с конницей наступает на Барбастау и выдвигается вперед, чтобы прикрывать с тыла и с левого фланга 22-ю Николаевскую дивизию, идущую с боями на Лбищенск.

Плясунков и Ильин, захватив Уральск, ограничились этим и не бросились в погоню за казаками. Фрунзе давал в приказе новую ориентировку: не только брать города, но и не давать наиболее жизненному контрреволюционному ядру Уральского войска ускользнуть из-под ударов 4-й армии.

И Плясунков особенно подчеркивал товарищам эту мысль командующего: «Горячо зову всех своих боевых товарищей проникнуться важностью минуты... и ставлю вверенным мне геройским войскам задачу: окончательно разгромить противника, захватить его главные силы и их руководителей, мешающих трудовому населению области приступить к мирной производительной работе...»

В этот момент и влетел вестовой. И выдохнул у порога:

— Ко-ман-дарм!

Приосанились командиры полков, молодежато отдал рапорт комбриг. И толково показал на карте, как бригада думает решить задачу. Фрунзе похвалил командиров.

— Главное же — наступать и наступать! Зима — наша противница, но и наша союзница. Казаки сейчас отсиживаются по куреням. Вот и брать их врасплох!

И Новицкому понравилось решение задачи. И он вдруг увидел в комбриге — высококом, статном, подтянутом — хорошего мастера ратного солдатского труда. «Молод, молод и горяч, — подумал он. — Но что поделаешь: таково время! Я в его годы был подпоручиком. Да и командарму две недели назад минуло тридцать четыре. Дети, ей-богу, дети!»

Поговорили у карты, и подошло время обеда. Из комнаты, что была обочь со штабом, вышла молодуха с оренбургским платком на крутых плечах, запросто поздоровалась с гостями и пригласила к столу:

— Прошу откусать чем бог послал!

За разговором о всякой всячине решили и неотложные дела. Фрунзе с Новицким и Сиротинским собирались в район хутора Щапово, где завязала бой Николаевская дивизия. Нужен был проводник.

— Он будет, — сказал Плясунков. — И охрана моя.

— Охраны не нужно, не по чужой земле поедем, — спокойно сказал Фрунзе.

Не хотелось за обеденным столом говорить хозяину неприятные вещи. Но Фрунзе не любил неправду.

— Кожаное обмундирование сегодня же соберите у своих бойцов и сдайте в цейхгауз. И чтоб впредь такого самоуправства не было!

— Слушаюсь, товарищ командующий!

В разговор хотела вступить жена Плясункова, но он ее оборвал:

— Анна! Остепенись!

— А в чем дело? — обратился к ней Фрунзе.

— Не хочу, чтоб мужа моего корили! Я при нем — как цыганка в таборе и у всех — как бельмо на глазу. Домой бы меня отправить: не женское это дело — колготиться одной среди мужиков!

— Да угомонись ты! Я ведь тебя за три года считанные недели видел: все фронт да фронт!

— Дело семейное, решайте его сами, — Фрунзе откланялся. — Моя жена скоро приедет в Самару, но на передовую я ее не возьму...

Надо думать, что молодые успели доспорить за три дня. Во всяком случае, перед отъездом из Уральска Михаил Васильевич получил от Плясункова доверительное письмо: «Дорогой товарищ Фрунзе! Так как красному командиру иметь при себе жену нецелесообразно, прошу взять ее с собой и отправить на родину...»

— Видите, Федор Федорович, и в этом щекотливом деле Плясунков разобрался правильно... Что ж, возьмем эту «нецелесообразную» жену и доставим ее по назначению — в Николаевск...

Но Плясунков правильно решил и еще одно дело. Он опасался за жизнь Фрунзе и дал распоряжение конному отряду: от хутора Круглоозерного до передовой цепи Орлово-Куриловского полка скрытно двигаться за командующим. И — в случае опасности — поддержать его огнем.

— Смотрите! — кричал в трубку комбриг. — Такой человек, он и в пекло полезет. Не доглядишь — голову сниму!..

Плясунков как в воду глядел.

Когда Фрунзе появился на командном пункте полка, там было не далеко от паники. Атака на хутор Щапово захлебнулась, боем овладели беляки, плотным огнем прижимая к земле красноармейские части.

Командарм поднялся по скрипучим ступеням под крышу ветряной мельницы и с горечью отметил, что красноармейцы уже неспособны наступать — они откатываются назад, в надежные укрытия.

— Ну что, мой генерал? — мрачно спросил он Новицкого, который уже нервно теребил эспаньолку.

— Так не воюют, Михаил Васильевич, когда хотят победы! Это экскурсионная прогулка со смертельным исходом, а не бой. Нет ни единой воли, ни согласованности, ни поддержки. Артиллерия молчит, когда каждый снаряд нужен до зарезу. Части никудышные, их надо перетрясти, влить в них новые силы. И конечно, укрепить командный состав. Пока это не сделаете, о наступлении нечего и думать... Да вот вам и живой пример! Глядите! Вы на мельнице, об этом все знают, и никто не задерживает казаков. А ведь они рвутся к нам. Ну и положение!..

— Сиротинский, примкните входную дверь и дайте нам по паре гранат! Будем держаться! — Фрунзе выхватил пистолет из кобуры и встал за стропилину.

Казаки скинулись с бугра в лощину, с гиком вылетели на бугор возле мельницы, лихо размахивая шашками. Редкие выстрелы щелкнули в морозном воздухе, два казака вылетели из седел. Но остальные держались строем, и уже слышно было, как храпят и тяжело дышат их кони.

Вдруг с фланга ударил по ним пулемет, и красные конники вылетели из-за мельницы, с ходу врезались в бой.

— Ах молодцы! — едва успел сказать Фрунзе.

Казаки, оставив убитых, спешно скрылись за бугром.

— Ручаюсь, что это не куриловцы, — сказал Новицкий, осторожно спускаясь по ступеням. — Не их это почерк, Михаил Васильевич.

Теперь пришла очередь удивляться командующему:

— Ничего не скажешь — дальновиден Плясунков. Выручил вовремя!..

В Уральске Фрунзе подписал три приказа. Один из них давал оценку боя в районе хутора Щапово: полки сорвали ночной штурм; они замешкались и даже ранним утром не воспользовались моментом внезапности, которому благоприятствовала начавшаяся метель. Полкам предписывалось все боевые приказы выполнить в точности, «ставя в первую очередь в этих приказах такие требования, кои являются безусловно выполнимыми».

Второй приказ касался всей Николаевской дивизии, которая из рук вон плохо показала себя в Щаповском бою: «Назначаю командира 1-й бригады 25-й стрелковой дивизии Плясункова начальником всей Уральской группы войск с подчинением ему Николаевской дивизии. Начдив Дементьев до прибытия заместителя в лице Сапожкова или Петрова остается во главе дивизии с подчинением Плясункову».

В такой форме был отстранен Дементьев от командования дивизией. Плясунков успел лишь навести порядок в войсках гарнизона. Вскоре прибыл Сапожков, и у него Плясунков стал командовать 1-й бригадой. А свою бригаду в 25-й дивизии сдал Ивану Кутякову, вернувшемуся из отпуска.

Третий приказ относился к Иваново-Вознесенскому особому отряду, который прибыл в Самару. Фрунзе предписал развернуть отряд в полк и ввести его в состав 2-й бригады Александрово-Гайской дивизии. Расквартировать его до особых распоряжений в Уральске, обучить боевой стрельбе всех неподготовленных и снабдить всем необходимым.

Этот приказ появился после встречи Фрунзе с головной группой ивановцев в Уральске.

Дмитрий Фурманов на всю жизнь запомнил эту встречу с любимым Арсением в прифронтовом городе.

«Мы, как только приехали в Уральск, заторопились увидеть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только ввечеру. И, помним, рассказывал... Федор Федорович:

— Насилу его удержишь, Михаила Васильевича: все время выскакивает вперед... Мы уже спрятались за сарай, оттуда и наблюдали... а его все придерживали около себя... Да и бой-то вышел нам неудачный... чуть в кашу не попали...

Мы входили в комнату Фрунзе, он сидел, склонившись над столом, на столе раскинута карта, на карте всевозможные флажки, бумажки, пометки. Кругом в почтительных позах старые полковники — военные специалисты — обсуждали обстоятельства минувшего неудачного боя, раскидывали мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо сжал руки, кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, когда кончится совещание. И потом, когда спецы ушли и мы остались одни, он подсел к нам на диван, обернулся из командующего старым милым товарищем, каким знали, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем иные разговоры — про родной город, про наши фабрики, расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отрядом, узнавал, какое настроение в степи, как мы сами тут устроились, в Уральске. Рассказывал про сегодняшний неудачный бой, про новую, замышляемую нами операцию, прикидывал, кого из нас куда послать. Мы просидели, проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, беседовали:

— А под глазами-то кружки... осунулся.

— Пожелтел...

Мы не видали его всего-навсего два месяца, а перемена была уж так заметна. Дорого досталась ему боевая работа».

Фрунзе воспрянул духом, когда подписывал приказ об ивановцах. В ткачах и политических работниках он видел и пролетарский костяк в своей армии и верных помощников в дивизиях, бригадах и полках. И не просчитался!..

Из Уральска он отправил телеграмму Свердлову: «Прибыл лично в расположение армии, ознакомился с составом и настроением, а равно с командным составом и политработниками. Требуется большие персональные изменения. Необходимо тщательное расследование всей деятельности не только мятежных частей, но и всего руководящего персонала армии...»

19 февраля Фрунзе уехал поездом в Самару через Саратов. И увез с собой «нецелесообразную» жену Плясункова, доставил ее в Николаевск. Со станции Деркуль снова дал предписание Дементьеву об укреплении правого фланга войск. Но приказ не был выполнен. И Фрунзе рассвирепел:

— Чтоб я больше никогда не слышал об этом человеке! — сурово сказал он Новицкому. — Разжаловать в рядовые! Его преступное поведение дает врагу лазейку для наступления!

И Фрунзе не ошибся: противник начал наступление и завлек в ловушку батальон Пензенского полка...

В Николаевске застала командующего первая годовщина Красной Армии. И сохранился его приказ по войскам 4-й армии, словно написанный одним дыханием. В нем — твердая вера большевика в победу Красной Армии, которая создана не для завоевательных целей, а для защиты прав народа и плодов его усилий в мирном труде. Трудовая Россия «своей Красной Армии вверила... судьбы всех трудящихся и в своих надеждах не обманулась. Среди невероятных лишений, терпя недостатки во всем, Красная Армия, сильная верой в святость своего дела, творит чудеса. Одно за другим уничтожаются гнезда контрреволюции; убиваются надежды врагов видеть у своих ног поверженных в прах детей труда. Час конечного торжества уже недалек».

В нем — и братский привет войскам армии и горячий призыв напрячь все силы в решающем наступлении. «Шлю свой привет и я вам, боевые товарищи. Еще одно — два усилия, и враг будет разбит окончательно. Смелее же вперед! Победа близка! Дело труда восторжествует. Утвердите его победу всей мощью ваших штыков. Дайте рабочему люду спокойно и мирно устраивать по своей воле, а не по указке врагов новую жизнь».

Но суровым прибыл Фрунзе в Самару после первой инспекционной поездки. Надо было срочно ликвидировать в армии расхлябанность, менять многих командиров и комиссаров, заново ставить политическую работу во всех звеньях. И подчинить все усилия одной цели — наступать активно, пока нет весенней распутицы, и наносить сокрушительные удары по живой силе врага...

— Я с нетерпением жду губернской партийной конференции, чтобы заполучить вас в армию! — сказал он Куйбышеву. — Тронина прошу завтра же отпустить из наробраза: я ему отдаю пост начальника политотдела Четвертой армии.

— Хорошо, хорошо, Михаил Васильевич! — успокоил его Куйбышев. — Тут вас ждет хорошая писулька от Чапаева. Просит отозвать его из академии.

— Беру, беру Чапаева!..

Чапаев не в ладах был с грамотой. И нацарапал заявление Гавриилу Линдову, когда еще не получил известий о его смерти, не согласованное с нормами грамматики и синтаксиса. Но смысл был ясен — он просился на фронт.

— Да, толсто рубит Василий Иванович! — горько сказал Фрунзе. — Два класса сельской школы. Плотником пошел на фронт. Герой в царской армии — кавалер четырех «георгиев» и даже подпрапорщик. Грамоты не знает, а как бить контру — знает отлично. Пошлите ему вызов! Поставим при нем грамотного комиссара, вот и выход!..

«...понятны были наши радость и интерес, когда однажды, в конце февраля 1919 года, дежурный по штабу доложил командарму о прибытии Чапаева, — вспоминал Новицкий. — Михаил Васильевич предполагал, что он сейчас увидит партизана с разухабистыми манерами. Однако в кабинет медленно и очень почтительно вошел человек лет тридцати, среднего роста, худошавый, гладко выбритый, с закругленными тонкими черными усами и с аккуратной прической. Одет Чапаев был не только опрятно, но и изысканно: великолепно сшитая шинель из добротного материала, серая мерлушковая папаха с золотым позументом поверху, щегольские оленьи сапоги-бурки, мехом наружу; на нем была кавказского образца шашка, богато отделанная серебром, и аккуратно пригнанный сбоку пистолет-маузер.

Фрунзе с радостной, приветливой улыбкой встал навстречу Чапаеву, усадил его и спросил о дальнейших намерениях. И сел Чапаев очень деликатно, и голос у него оказался

тихий, а ответы весьма почтительные... Михаил Васильевич сразу же предложил ему должность начальника Александров-Гайской группы».

Приехал Куйбышев, повидался с Чапаевым, одобрил назначение его в Александров-Гай. Поговорили о комиссаре:

— Я подберу вам хорошего человека, из моих верных товарищей, из ивановцев. Не исключено, что они всем полком будут включены в вашу группу. Люди надежные, многих я знаю еще по 1905 году, — сказал Фрунзе.

Разговорились о Москве, о новых друзьях Чапаева.

— И никто из них не удержал вас в академии?

— Да как сказать... Демьян Бедный старался, да я его не послушал. Он еще прошлой осенью, под Самарой, дудел мне в уши: «Учись, учись! А то ведь непорядок: рубака лихой, а на каждой букве спотыкаешься, как загнанный конь!» Но есть дела поважнее...

Иваново-Вознесенский отряд несколько дней нес гарнизонную службу в Уральске. Затем Фрунзе испытал его в первых боях в районе соленых озер Эльтон и Баскунчак. Там ивановцы крепко пощипали банды белых и прибыли в Самару для формирования своего полка.

Фурманов не застал Чапаева — тот уехал в Уральск, чтобы отобрать для себя группу командиров. И новый комиссар один уехал в Александров-Гай.

А Чапаев уже разворачивался в полную силу. Горяча была его встреча со старыми друзьями — Потаповым, Кутяковым, Плясунковым и Бубенцом. Они уговорили его сказать речь командирам и бойцам на митинге.

— Скоро мы все стянемся под знамена одной дивизии: Фрунзе и Куйбышев обещали мне! Такие это люди, давно мы о них мечтали! Под их руководством — только вперед! Развернемся так, что белым казакам скоро гроб без крышки!.. В Уральске остается пока Плясунков. Не горюй, Ваня, вызволим тебя, дай только час! Потапова, Кутякова и Бубенца забираю с собой. Да еще: Исаева, Чехова, Долгушова, Бабенина, Васильева, Володихина, Аброскина, Шапошникова и Евтехова. Завтра спозаранку — в поход! И чтоб все было по форме!..

Фрунзе торопился: зима была его союзником, он боялся упустить время. Ясна была ему основная цель 4-й армии: не допустить противника к магистральным путям, ведущим к Средней Волге на огромном протяжении — от Саратова до Сызрани. И ближайшая задача не вызывала сомнений: неустанно расширять плацдарм к юго-востоку от Уральска, чтобы овладеть Актюбинским направлением, и очистить весь юго-запад, где еще держались опорные пункты белых в станице Сломихинской и в Лбищенске. С победой на юго-западе тыл и правый фланг армии освобождались от набегов казачества. И все усилия можно было направить на полное освобождение Уральской области...

К началу марта 1919 года армия еще не была приведена в боевую готовность. Но Фрунзе не мог мириться с налетами белых банд на южном участке фронта и уже выработал определенную тактику: не обороняться малыми силами, а наступать большими группами; бить врага фронтально и смелыми рейсами конных частей охватывать его с обоих флангов. И внимательно наблюдать за боевыми действиями соседних армий Восточного фронта.

В ночь на 1 марта 1919 года по прямому проводу вызвал Фрунзе командующий Восточным фронтом Сергей Сергеевич Каменев. Они не были знакомы близко, но Фрунзе видел в Москве этого бравого полковника старой армии — подтянутого, с пышными усами Александра Второго. Каменев не был в чести у Троцкого, и это настраивало Фрунзе по отношению к нему благожелательно.

— Доложите обстановку, — бежала лента в аппарате Бодо. — Как там у вас? — спрашивал Каменев.

— Не считаю армию совершенно оздоровленной, — отвечал Фрунзе. — Был почти во всех частях, лично убедился, что очень плох состав комиссаров, слаб и командный состав. Особенно плохо у нас с такими специальными родами войск, как артиллерия.

— Постараюсь помочь вам. Но и у меня плохо. Центр на все заявки отвечает отрицательно. Сколько у вас штыков?

— Шесть тысяч, не более. В отдельных полках людей очень мало — человек двести пятьдесят. Но мы делаем все, чтобы довести действующие части до состояния боеспособности. Я снял с тыла и отправил на фронт все, что было под рукой. Самарские коммунисты срочно мобилизуют и обучают новые подразделения. Оружия в новых частях армии нет. Нет и запасных частей...

— Понимаю. Пошлю все, что поступит ко мне. Какие у вас планы?

— Пользуясь затишьем на Восточном фронте, завтра начинаю наступление. Задача: освободить междуречье Волги и Урала, закрепить тыл, чтобы развязать руки для операций на севере. В ударной группе у меня Чапаев. Он начинает операции в районе Александрова-Гая.

— Где вы нашли Чапаева? И можете ли вы ручаться за него?

— Он приехал сам... Но по моему вызову... Ручаюсь за него головой!

— Ну добро! Об операциях доносите своевременно...

Михаил Васильевич отдал приказ о наступлении 2 марта. Чапаев блестяще применил тактику командарма: 10 марта он фронтальной атакой выбил белоказачков из Сломихинской; неделю спустя взял в клещи Лбищенск. При этом Плясунков нажимал со стороны Уральска, а Кутяков отчаянным рейдом в тыл беляков ударил с юга и с запада. Операция прошла столь удачно, что Фрунзе наградил Ивана Кутякова орденом Красного Знамени.

Междуречье стало советским. Главные силы уральского казачества были сломлены, их остатки разметались по снежной предвесенней степи. И никто не мог предполагать, что это казачество сумеет возродиться и снова начнет ожесточенную борьбу с Красной Армией, как только Колчак соберет в кулак свои силы и обрушится из-за Уральских гор на 5-ю армию.

От перебежчиков и пленных Фрунзе исподволь собирал данные о грозной силе за Уралом, а Новицкий скрупулезно составлял досье на адмирала Колчака и командиров его армий. Все у врага было в ажуре, «верховный правитель» России дождался какого-то удобного момента, чтобы предпринять рывок к Волге, а затем устремиться к Москве. «Все яснее и яснее вырисовывались Михаилу Васильевичу те меры, которые должен был принять фронт для резкого перелома в обстановке, меры, которые со временем и легли в основу контрудара, осуществлявшегося М. В. Фрунзе, — записал Новицкий. — Он как будто чувствовал, что именно ему придется расхлебывать заварившуюся кашу, и потому, тщательно изучая оперативную обстановку, вел подготовительные мероприятия, чтобы не быть застигнутым врасплох».

Командарм работал лихорадочно: выступал перед частями, идущими на фронт из центральных районов России; проверял учебные стрельбы новобранцев на полигоне всеобуча; на рабочих митингах призывал напрячь силы, чтобы больше дать армии одежды, сапог, снаряжения. И торопил военного инженера Карбышева, который возводил укрепления на Волге от Самары до Сызрани. И рассылал в Москву и в штаб Восточного фронта требования о присылке резервов, чтобы укрепить действующие части и сформировать новые полки.

«Но кто-то невидимый мешал командарму Фрунзе, — вспоминал Сиротинский. — Боевые припасы в его армию поступали медленно и в смехотворно малых количествах. Новые формирования не утверждались. Никакого снаряжения и обмундирования для армии нельзя было добиться... Фрунзе чувствовал чью-то злую волю. Кто-то упорно не желал усиления его армии и мешал повышению ее боеспособности. Но Фрунзе не сдавался. Вместе с В. В. Куйбышевым он упорно перестраивал и укреплял свою армию».

Злым духом Фрунзе — объективно и субъективно — был Троцкий. Он долго не хотел понять, сколь грозен для Красной Армии вооруженный до зубов союзниками адмирал Колчак, и главную опасность видел на юге и на севере, где действовали Деникин и Юденич. Поэтому армию Фрунзе он считал заштатной, а опасения командарма-4 — полетом

фантазии. Кроме того, он признавал авторитет военных специалистов и не желал видеть во Фрунзе пролетарского полководца нового типа. Да ведь и назначение этого «штафирки» произошло вопреки его желанию...

Не рассчитывая получить поддержку у Троцкого, Фрунзе написал письмо в ЦК РКП(б). Он высказал мысль, что Колчак — главная опасность. И получил в ответ письмо Владимира Ильича, которое ориентировало партию и страну: Колчака за Волгу не пускать, Волга должна быть советской!

При первом же выступлении Колчака в районе Камы Фрунзе вызвал Чапаева и Фурманова. Он решил держать в своем резерве 25-ю дивизию во главе с Чапаевым. Но тот ужасно рассорился со своим комиссаром. Их надо было помирить и четко определить их новую задачу.

Поругались Чапаев и Фурманов наотмашь, сплеча, не жалея своей дружбы. «Распалились до того, что похватались за наганы. Но вдруг поняли, что стреляться рано — одумались, смолкли», — записал Фурманов. Отношения изменились, и экспансивный Чапаев написал рапорт об отставке. И дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему для доклада. Комиссар, в свою очередь, послал телеграмму: «Не разрешайте Чапаеву приезжать без меня!..» И вот друзья-враги в Самаре.

«Звоним из штаба на квартиру:

— Михаил Васильевич дома?

У телефона жена Фрунзе Софья Алексеевна.

— Дома. Лежит больной, но вас примет. Только, пожалуйста, недолго, не утомляйте его...

Приехали. Входим. Михаил Васильевич, бледный, замученный, лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, усадил около, стал расспрашивать.

Говорит о положении на фронте, о величайших задачах, которые поставлены нашим восточным армиям, спрашивает о наших силах, о возможностях, рассказывает про Москву, про голод северных районов, про необходимость удешевить наш нажим, столкнуть Колчака от Волги. Говорит, говорит, а про наше дело, про ссору нашу ни слова — будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся сами заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего не выходит — он то и дело уводит беседу к другим вопросам, переводит разговор на свой, какой-то особенный, нам мало понятный путь. И когда рассказал, что хотел, выговорился до дна, кинул нам, улыбаясь:

— А вы еще тут скандалить собрались? Да разве время, ну-ка подумайте... Да вы же оба нужны на своих постах — ну, так ли?

И нам стало неловко за пустую ссору, которую в запальчивости подняли в такое горячее время. Когда прощались, мы чувствовали оба себя словно прибитые дети, а он еще шутил, напутствовал:

— Ладно, ладно... Сживетесь... вояки!

Мы с Чапаевым уходили опять друзьями — мудрая речь дорогого товарища утишила наш мятежный дух».

— Вы не встречались ли с Колчаком, Федор Федорович? — как-то спросил Фрунзе. — Что за человек? Я ведь к тому говорю, что война не просто стихия. Она может быть и очень целенаправленным процессом, если ее ведет талантливый полководец.

— Колчака я видел однажды, на приеме у императора. Высок, горбонос, чванлив. Галантный кавалер и, я бы сказал, с актерскими манерами. Но это не то, что вас интересует... Тогда говорили, что он делает блестящую карьеру: из командира минной флотилии на Балтике он быстро обернулся командующим Черноморским флотом. Никаких громких побед за ним не числилось, и его возвышение истолковывали как победу самых крайних течений при дворе. Он монархист чистой воды и активно действующий. После Февраля матросы изгнали его с флота. А в прошлом году, по возвращении из Америки, где на него сделали крупную ставку, он был военно-морским министром «Уфимской директории». Но об этом вы знаете. Конечно, для масштабов всей России — это не фигура. И

он, и Деникин, и Юденич — марионетки, правда с большим самомнением. По шкале бывшего генерального штаба — они люди второго или третьего эшелона, и их выдвижение — прямое следствие социального катаклизма... Ведь и у нас на Восточном фронте выдвинулись люди, о которых я прежде не слыхал: Тухачевский, Гай, Шорин, Меженинов. Сергея Сергеевича Каменева хоть немного помню: мы были в соседних дивизиях. Слыхал и о Вацетисе, нашем главкомверхе. Правда, он звался Вацетисом, это на языке латышей «немец». Видимо, по соображениям германофобским, он выкинул из фамилии одну букву и стал Вацетисом... Словом, заговорил я вас по-стариковски. Но одно несомненно: Колчак не фигура для России, и народ никогда его не примет. И в его блестящее командование я не верю. Однако у него крепкая армия, и его генералы наступают почти безостановочно...

— У меня вызрел план. Думаю, что вы его поддержите. И тогда мы немедленно снесемся с командованием фронта...

Время летело так стремительно, что дни и ночи перемешались начисто. И надвигались те самые сорок пять — пятьдесят дней небывалого в истории Красной Армии контрнаступления Фрунзе, которые решили судьбу «непобедимых» армий Колчака.

Марионеточный «верховный правитель» не стал дожидаться теплой весенней погоды, как думали в кабинете у Троцкого. Адмиралу нужна была Волга зимняя, скованная льдом, чтоб форсировать ее без понтонных переправ. Да и пользовался он информацией о плохом снаряжении Красной Армии, о голодном пайке разутых и раздетых красноармейцев и о том, что командуют на Восточном фронте против его генералов всякие прапорщики, капитаны и «штафирки», «шпаки» и «рябчики».

Но по своей монархической сущности не понимал адмирал: непобедим народ, который сплотился под лозунгами Советской власти, и не позволит он посадить себе на шею царского сатрапа.

И уж никак он не мог взять в толк, что Советская Россия ошетибилась против него в едином военном лагере и что Верховным главнокомандующим красной Москвы стал штаб большевиков — Центральный Комитет партии во главе с величайшим стратегом пролетарской революции и гражданской войны Владимиром Ильичем Лениным. Он руководил Советом рабочей и крестьянской обороны и внушал каждому партийцу, каждому человеку с ружьем: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...»

Конечно, страшным ударом была безвременная смерть Якова Михайловича Свердлова 16 марта 1919 года. Ленин, партия и лично Фрунзе потеряли человека удивительного ума, решительного и стойкого, прекрасного организатора: он знал все подпольные кадры партии, ценил их и умел использовать с полной отдачей сил. И памятью по нему могла быть только победа. И Фрунзе уже начал готовить ее: у него была в запасе неделя-другая, так как армада из-за Урала бросилась не на его армию.

Колчак раскрыл карты и выступил 4 марта 1919 года. Он сосредоточил четыре мощные армии: 130 тысяч штыков и сабель, 1300 пулеметов и 210 орудий. Сибирской (северной) армией командовал генерал Гайда, Западной — Ханжин, Оренбургской — атаман Дутов, Уральской — Толстов. Левый фланг замыкала южная группа генерала Белова.

Сдерживали его натиск шесть армий Восточного фронта: 1-я (Г. Гай), 2-я (В. Шорин), 3-я (С. Меженинов), 4-я и Туркестанская (М. Фрунзе), 5-я (Ж. Блюмберг. Его вскоре заменили М. Тухачевским). Длина фронта составляла 1800 километров, боевой состав и вооружение — 101 тысяча штыков и сабель, 1817 пулеметов и 365 орудий.

Если бы Колчак одновременно двинул все свои армии, была бы возможность противостоять его натиску. Но он обрушил против 11 тысяч бойцов у Блюмберга армию Ханжина, где офицеров и солдат было почти вчетверо больше. И 5-я армия, пятясь и ожесточенно отбиваясь, оставила на протяжении месяца Уфу и продолжала откатываться к Симбирску и Самаре. Дрогнули части и 2-й армии: они отодвигались к Сарапулу. Пришлось

и армии Гая увести свои войска с Южного Урала. Наступил момент, когда и армия Фрунзе соприкоснулась с авангардными отрядами противника возле Оренбурга и Уральска.

Фрунзе быстро разгадал стратегический план Колчака — соединиться с Деникиным на Средней Волге и вместе наступать на Москву. И уже ясно видел, что ему скоро быть в фокусе самых главных военных событий. Поэтому он не выехал в Москву, на VIII съезд партии, а остался в своем самарском штабе.

Еще в феврале 1919 года Совет Народных Комиссаров РСФСР, в предвещии наступления Колчака, обратился к правительствам Антанты с предложением мира на кабальных условиях. Советская власть признавала займы прежних правительств России; отдавала в залог российское сырье в уплату процентов по займам; предоставляла широкое право концессий и даже соглашалась на оккупацию некоторых районов военными силами Антанты.

В дни триумфального шествия армий Колчака к Волге в голодной Москве, где не было света и топлива, появился в ранге посла американец Буллит.

Страшные минуты провел в общении с ним Георгий Чичерин. Буллит предложил ему чудовищные условия мира: Советы прекращают вооруженную борьбу с фактическими правительствами белых, которые существуют в России.

— Мы готовы немедленно демобилизовать армию, — говорил Чичерин глухо, едва слыша свой голос. — Принимаем на себя часть государственного долга, разумеется, соответственно занимаемой нами территории. Наконец, господин Буллит, правительство отказывается от возврата захваченного чехословаками золотого запаса: он может быть зачислен в счет платежа по государственному долгу.

Буллит покуривал гаванскую сигару, а на большом его холемом и сытом лице блуждала самодовольная улыбка. Смешным казались ему усилия советских руководителей любой ценой удержаться у власти. Эти люди, умученные голодом и титанической борьбой, сидели перед ним в дешевеньких пальтишках, стоптанных башмаках, с коченеющими от холода руками и почему-то фанатически верили в строительство нового, свободного, светлого мира.

Он побывал на вокзалах. Красноармейцы отбывали на фронт в лаптях; возле эшелонов суетились командиры и комиссары в шинелишках не по росту, в нестиранных бумажных гимнастерках. Он погулял по городу. Граждане, закутанные в тряпье, стояли в неизбывных очередях за осьмушкой хлеба; мертвые трамваи длинными шеренгами мерзли на путях; на фабриках и на заводах кое-где теплилась жизнь в одном цехе, а в других ржавели станки. И обессиленные рабочие иной раз выкидывали над воротами белый флаг — знак полного отчаяния.

— Такая страна стоит одной ногой в гробу! — резюмировал Буллит. — И всякие переговоры с ней бессмысленны!

И в этой мысли окончательно убедили его победные реляции Колчака. Из его ставки шли прекрасные вести:

«Ударами наших армий противник на всем фронте разбит, деморализован и отступает. Уральские казаки продолжают борьбу... Генерал Деникин начал теснить красных в Донецком каменноугольном бассейне. Генерал Юденич теснит большевиков на Псковском и Нарвском направлениях. Верховный правитель и верховный командующий повелел действующим армиям уничтожить красных, оперирующих к востоку от рек Вятки и Волги, отрезав их от мостов через эти реки... Сибирской армии преследовать красных... Западной армии, продолжая преследование, отбросить красных на юго-восток, в степи...»

— Дядя Сэм показал нам кукиш! — Фрунзе откинул донесение из Москвы о провале переговоров с Буллитом. — А может быть, это и к лучшему? Я не верю, что мы не найдем выхода. Беяки рвутся вперед, забывая о тыле и флангах. Нащупаем мы у них слабое место. Ведь недаром говорят люди: «Кому суждена погибель, у того отнимается разум!» А я в разум Колчака и его генералов верю слабо, Валериан Владимирович!..

Ночь была на исходе. И Фрунзе с Куйбышевым, обессилив от работы в последние дни, пробавлялись морковным чаем в кабинете у командарма. Штаб его располагался в бывшей

земской управе, и на стеклянной двери красовалась травленая надпись: «Председатель Самарской губернской земской управы».

— Я переоденусь, — сказал он Куйбышеву и ушел за ширму.

Сшили ему недавно новый костюм. Старенький, диагональный, еще времен земгусара Михайлова, заметно поизносился, особенно на коленях, и Софья Алексеевна прилагала много стараний, чтобы залатать трещины. Но в новом костюме работать было нескладно: в узких карманах тесно было рукам, а он любил так ходить по кабинету, когда принимал донесения. Да и мотаться по частям и по случайным хатам на передовой в добротном костюме было не с руки. И даже пить морковный чай с боевым другом. И он почувствовал себя куда вольготнее, когда переоблачился в старый наряд и свободно распахнул ворот.

Редко выдавались такие минуты отдыха. И они предпочитали говорить не о войне — о литературе. Оба они очень любили поэзию и в юности сами сочиняли стихи — в тюрьме, в ссылке. Куйбышев читал Некрасова, а по-немецки — Генриха Гейне и просил Михаила Васильевича прочитать что-либо из Адама Мицкевича: ему нравился красивый строй шипящей и напевной польской речи. И Фрунзе читал, иногда запинаясь: в мыслях все еще была война. Условившись не говорить о ней хоть час, они снова возвращались к делам военным.

Самара уже переходила из рук в руки в прошлом году, и сейчас, когда до колчаковских авангардов было верст семьдесят, обывателя начал бить озноб: он всегда колотит, когда в голову лезет мысль об эвакуации.

— Надо распорядиться, Валериан Владимирович, о трамвае. Пустите его немедленно, это успокоит горожан. И о театре: игра актеров поднимет дух.

— О трамвае я распорядился, он пойдет завтра. А в театральных планах, кажется, одна «Русалка».

— Чем же плоха «Русалка»? Сиротинский, распорядитесь отпечатать афиши. И пусть тыловая публика хоть неделю ходит бесплатно!.. Но вторую неделю нет ответа на наш запрос об одежде для новых пополнений.

— Кое-что дадут самарцы. Но это капля в море!

— Проследите, пожалуйста, послали ли в Иваново-Вознесенск эшелон хлеба и вагон рыбы?

Куйбышев навел справки по телефону.

— Да, вагоны ушли нынче ночью. И с хорошей охраной.

— Мои товарищи умирают от голода.

Фрунзе глянул на часы, устало провел рукой по глазам:

— Уже шестой! Отдых наш закончился, пошли к карте.

Карта висела в широком простенке, вся истыканная за Волгой красными и синими флажками. Синие шли густо, образуя три стрелы: на Симбирск, Самару и Оренбург. Красные были рассыпаны в беспорядке.

— Колчак зарывается! Поглядите, как растянулись у него тылы и начинают обнажаться фланги. И атака, не поддержанная интендантами, вот-вот захлебнется от недостатка снаряжения и провианта. В истории войн — сплошь и рядом такие случаи. Найти бы самое слабое место на его флангах да нанести туда смертельный удар. Мне это ясно, и у меня готов план контрудара. Но чертовски плохо работает разведка!

— Уж очень большим треугольником разбросаны по степи наши силы: Самара — Оренбург — Уральск. Два направления удара исключены. Если же мы ослабим напор на Туркестан, не нащупают ли Дутов и Белов разрыв в частях Четвертой армии?

— Не исключено! И все же Туркестан пока отставим. Надо срочно поворачивать на север, в разрыв армий или корпусов Колчака. Риск большой: ведь и у белых может появиться такая мысль. Но хорошо рискует тот, кто выполняет маневр внезапно и не оголяет свои фланги. Я все это учел. За Оренбург и Уральск беспокойства пока нет. Там вооружены поголовно все рабочие, они подкреплены надежными гарнизонами и смогут выдерживать

длительную осаду. Куда хуже, что медленно растут наши резервы. Да и частям на левом фланге передаются панические настроения Пятой армии.

— Что намечаете делать в ближайшие дни?

— Собрать в мощный кулак все резервы! Придется, видимо, брать в свои руки отступающую армию Блюмберга. Проведем парад войск в Самаре, поглядим на полки, поднимем их дух. И заставим разведку пробраться в логово Колчака!..

С 5 марта 1919 года Фрунзе командовал Южной группой малого состава. В нее входили 4-я армия и войска, пробившиеся через заслон белых из Средней Азии (из них вскоре была образована Туркестанская армия).

До наступления Колчака у командарма была одна заветная цель, простая и ясная: пробивать дорогу к хлопку для «Ситцевого края». Теперь эта цель отодвинулась. Надо было думать, как задержать Колчака, а затем нанести ему ответный удар.

Но у Фрунзе почти на две недели сковали руки кулацкие мятежи: они вспыхнули в тылу его армий. И еще до взятия Лбищенска пришлось перекинуть не один полк на их подавление. Части его действовали столь решительно, что он не сомневался в быстром и благоприятном исходе операции. И выбрал два дня для поездки к Блюмбергу в Белебей.

Тягостная была картина! Блюмберг, отступавший с тяжелыми потерями, кое-где пытался развернуть наступление. Но у него не было ни ясного оперативного плана, ни обнадеживающей перспективы.

— Надо уходить за Волгу! — говорил он с надрывом. — С такой армией нечего думать о победе на левом берегу!

Фрунзе нервно сжал кулаки, боясь не сдержаться, сорваться на грубость. Так и хотелось выпалить в лицо растерявшемуся командарму: «Умный винит себя, а дурак — товарищей!» Но сказал не менее резко:

— Выбросьте эти мысли из головы, иначе вас завтра же выбросят из армии!

В штабе он ознакомился с приказами Блюмберга: писаны они были казенным языком, без живинки и шли вразрез друг другу. В городе не было хорошего коменданта, чтоб навести элементарный порядок: улицы забиты до отказа людьми, лошадьми, повозками, артиллерией. Шум, гвалт, обрывки команд; ржание коней, какая-то стрельба: не армия, а цыганский табор после землетрясения!..

Фрунзе возвращался в Самару удрученный. И одновременно просветленный: он воочию убедился, как не надо воевать с Колчаком. И в одном из приказов перечислил обнаруженные у соседей упущения и ошибки. Войсковая разведка была очень слаба, из-за чего силы противника неоднократно оценивались на глазок; штаб оторван был от частей настолько, что командиры не знали его ближайших планов и не имели ясного представления о районе своих действий. Пехота билась активно и иногда отбивала у противника населенный пункт. Но ее успех развивался плохо: бойцы успокаивались на достигнутом, разбредались по соседним селам в поисках продовольствия, мало думали об охране и нередко попадали под губительную контратаку белых. Конница действовала смело, но оставалась без связи с пехотными полками и не всегда получала задание заглянуть поглубже в тыл врага с открытого фланга. И совсем уже неумно использовались бронепоезда. Эти передвижные крепости зачастую оказывались в глубоком тупике, вместо того чтобы действовать на свободном пути и смелым маневром сеять панику в частях беляков.

— Досадные промахи у соседей, если не сказать точнее: ошибки и преступное небрежение. Давайте хоть мы научимся на них воевать с соблюдением строгого порядка и дисциплины! — сказал он Куйбышеву и Новицкому.

Он уже мыслил масштабами фронта и обратился с братским письмом к правительству Советской Украины: «Армия, перед которой поставлена чрезвычайно сложная и спешная задача, к сожалению, слабо подготовлена к ее осуществлению. Самым большим местом является огромный недостаток в предметах вооружения, артиллерийского, интендантского и инженерного снабжения. Отсутствие такового в данное время у центральных органов

Советской России не позволяет надеяться на помощь оттуда. Захват доблестными Украинскими советскими войсками значительной военной добычи, быть может, позволит оказать нужную нам помощь».

Центральный Комитет РКП(б) подослал в Самару большую группу коммунистов и комсомольцев. Для них были созданы краткосрочные курсы политических работников. И наука им преподавалась на конкретных примерах поведения в бою и на биваке.

В записях Дмитрия Фурманова сохранился этот «кодекс» поведения коммуниста в армии. Он изложен в письме комиссару 74-й бригады Петру Брауцаю.

«Товарищ! Я не буду тебя учить тому, что надо делать: работа сложна и разнообразна, всего не предусмотреть. Требую лишь следующего: 1) точной исполнительности; 2) напряженности в работе; 3) спокойствия; 4) предусмотрительности.

I. Используй всех подчиненных тебе работников так, чтобы у них не было и минуты свободной. Вмени в обязанность комиссарам мелких частей не спать по деревьям, а проверять и помогать Советам, беседовать с крестьянами и пр. О сделанном требуй систематических отчетов.

II. Внуши и укажи им, как сохранить авторитет, ибо некоторые комиссары унижают свое звание несерьезностью и слабостью.

III. Обращение комиссара с бойцами должно быть образцовым: спокойным, деловым, внимательным. Внушай к себе уважение даже обращением. Не позволяй оскорблять красноармейцев, тем более плеткой или кулаком: притягивай негодяев к суду.

IV. Не позволяй грабить, разьясни, как позорно это для Красной Армии рабочих. Нахальных грабителей твни к суду, а с мародерами расправляйся еще короче: расстреливай на месте.

V. Держись ближе к организациям (судам и комиссиям), помогай им советом и проверяй работу.

VI. Притягивай всемерно красноармейцев к библиотеке: хоть раз в неделю — пусть почитают. Читай, объясняй сам, когда можешь, не смущайся тем, что мало слушателей.

VII. Строго наблюдай за техническими работниками, будь недоверчив, но не показывай своего недоверия, не оскорбляй, тем более не схватывайся ругаться: комиссар не должен ронять себя до ругани.

VIII. Отдельные эпизода боевой жизни записывай. Раз в неделю присылай мне в двух экземплярах. Пусть будет кратко — зато свежо и интересно для газеты».

18 марта, после поездки в Белебей, Михаил Васильевич послал письмо в Реввоенсовет республики, а копию — В. И. Ленину.

Он говорил, что в средней и южной части Восточного фронта создалось очень серьезное военное и политическое положение. И обращал особое внимание на 5-ю армию. Она «почти утратила боеспособность. Полки ее откатываются назад при первом натиске противника и сразу очищают большие пространства. В штабе армии (5-й) высказывались опасения за возможность отхода к Самаре и Симбирску. Этим все сказано...

Положение дел в настоящее время я считаю очень серьезным. Но в то же время уверен, что если центр в достаточной мере серьезно оценит его и примет соответствующие меры, то всякая опасность нами будет избегнута...».

Одна из мер была принята немедленно: по рекомендации Владимира Ильича Блюмберга заменили Михаилом Тухачевским.

В тот же день — 18 марта — Фрунзе доложил командующему Восточным фронтом Каменеву, что Лбищенск взят, и просил прислать ордена Красного Знамени для награждения отличившихся командиров и бойцов. А в приказе о взятии Лбищенска лестно отозвался о героях-чапаевцах: «Россия труда может быть гордой своими товарищами».

На фоне удручающего отступления армий Восточного фронта эта победа Чапаева была впечатляющей. И Каменев высоко оценил ее: «Работа вашей армии превзошла все ожидания, это единственная светлая страница нынешних дней фронта».

План разгрома Колчака созревал. И Фрунзе с Куйбышевым информировали ЦК РКП (б), что свою задачу они видят в нанесении удара по противнику, чтобы не допустить его к Волге. И об этом же сообщили Каменеву 25 марта. И уже никто не мог поколебать Фрунзе, что именно он должен бить по левому флангу центральной группы войск Колчака: она уже очень заманчиво нависла с севера над 1-й, 4-й и Туркестанской армиями.

— Ножом бы ее! Как арбуз рассечь! — потирал руки Фрунзе, захваченный своим смелым планом.

«Верховный правитель», опьяненный победами Гайды и Ханжина, двинулся из-за Урала к Уфе, чтобы быть ближе к доблестным войскам. И впервые прочитал в сводке фамилию Фрунзе: «Фрунзе проявляет большую активность, однако действия его сковываются его же высшим командованием и сами по себе неубедительны и сомнительны. Продвижение наших частей в сторону Бугульмы и Белебея по-прежнему развивается успешно...»

Видимо, до Колчака докатились сведения о том, что Фрунзе на свой страх и риск стал подтягивать ударную группу командарма Туркестанской Зиновьева в район Бузулука. В эту группу он включил 73-ю бригаду Ивана Кутякова из 25-й стрелковой дивизии, а самого Чапаева с Плясунковым передал в 5-ю армию Тухачевского для укрепления его правого фланга. Дивизия Чапаева, разрезанная линией разграничения между армиями, все же могла действовать как одно целое.

Почин был сделан. Но за контрудар пришлось еще побороться и Фрунзе, и Куйбышеву, и Новицкому.

Три варианта определяли теперь направление действий Восточного фронта. Главком Вацетис правильно видел угрозу на Самарско-Уфимском участке. Но ничего конкретного не определял, кроме нанесения флангового удара силами одной 1-й армии Гая. Командарм Гай не верил, что он может справиться с этой задачей, и всячески противился ее выполнению. План Каменева переносил действия в район Бугульмы, потому что исходил из презумпции, что главная опасность грозит на линии Симбирск — Казань. И его помощники предлагали перевести штаб фронта в Муром. Но под нажимом члена РВС Сергея Гусева он не отрицал и третьего плана, разработанного Фрунзе: нанести мощный контрудар очень сильной группой войск с юга на север, чтобы отсечь клин Ханжина от других сил Колчака. Четкость наступательного плана Фрунзе и революционный энтузиазм командарма импонировали Ленину. Но на какое-то время в дело вмешался Троцкий.

В день, когда был оставлен Белебей, 6 апреля, Троцкий назначил парад войск Самарского гарнизона. И картинно принимал его на площади: весь в черной блестящей коже от фуражки до сапог; черная свита — под стать наркому, торжественный марш, застывшие ряды красноармейцев. Троцкий знал себе цену и каждым взмахом черной перчатки показывал самарцам величие своей личности.

Фрунзе командовал парадом. И подскакал с рапортом на стройной гнедой Лидке, не горяча ее, в меру работая поводом и шенкелями.

Михаил Васильевич пригласил на парад Тухачевского, и они держались обочь, в сторонке от черной свиты наркома, пока проходили войска. Разговорились непринужденно, и Фрунзе с удовольствием отметил, что 5-й армии достался достойный командующий. Был он молод, держался с хорошей выправкой, отличали его завидное здоровье и то спокойствие и уверенность, которые так ценил в людях возмужавший Арсений. И судил он о делах своей армии четко, смело. И глядел на Фрунзе большими серыми глазами, не уводя их в сторону. И захлопал в ладоши, когда с площади ушла последняя колонна.

— Bravo, Михаил Васильевич! Вы сумели создать прекрасные части! Да разве можно с ними отступить за Волгу!..

Вечером Троцкий созвал в губернском комитете партии широкое совещание. Он дал высказаться Фрунзе по поводу его плана контрудара, но своего мнения не определил и ночью отбыл в Симбирск в штаб Восточного фронта. Фрунзе, Куйбышева и Тухачевского не пригласили.

Но на другой день нарком по прямому проводу обратился лишь с одним вопросом: могут ли Фрунзе и Куйбышев взять на себя ответственность за отказ от гражданской и военной эвакуации Самары?

Они ответили утвердительно. Но их возмутило, что и после такого категорического ответа не последовало одобрения плана контрудара. И они тотчас же снеслись с Лениным и сообщили ему о странном поведении Троцкого, который не утверждает единственно возможный план победы.

Центральный Комитет партии в тот же день предложил наркому обороны не стеснять инициативы Фрунзе и передать в его распоряжение южную половину Восточного фронта. 10 апреля 1919 года Троцкий подписал в Симбирске приказ о назначении Фрунзе командующим Южной группы войск расширенного состава. Теперь у Михаила Васильевича было четыре армии: Туркестанская, 1-я, 4-я и 5-я. А в Реввоенсовете группы — Валериан Куйбышев и Федор Новицкий.

— Ну, Валериан Владимирович! Ну, Федор Федорович! Теперь у нас руки развязаны, план готов, дело — за пустяком: сломать хребет адмиралу!.. Я еду на станцию Кинель, вы остаетесь душой армии в Самаре... Но не будем обольщаться: пока все не сделано, значит ничего не сделано!..

Фрунзе не сомневался в Тухачевском: молодой командарм одобрил план контрудара и почти ежедневно присылал донесения о том, как он реорганизует свою армию и поднимает в ней боевой дух. Не вызывал сомнений и Зиновьев, которому была передана Туркестанская армия. Но неожиданно заартачился Гай, возглавлявший 1-ю армию.

11 апреля он заявил Фрунзе по телеграфу:

— Пятая армия отступает энергично, и никакие мои маневры делу помочь не смогут. Я нахожу нужным спасти армию отступлением. Базировать мне на Бузулук и Самару уже поздно. Каждую минуту ко мне обращаются начдивы с просьбой разрешить отступление... Я иного выхода не нахожу и снимаю с себя всякую ответственность.

— Я осуждаю панические настроения в ваших частях, они нетерпимы, и их надо срочно ликвидировать. А вам указываю: вы подчиненный мне командир и не имеете никакого права снимать с себя ответственность в такой решающий момент. И не ссылайтесь на весеннюю распутицу: она в одинаковой мере сказывается и на противнике...

Фрунзе терпеливо объяснил Гаю, что вот-вот начнется удар очень сильной группы; этот удар остановит нажим противника на 5-ю армию и решит его судьбу. И что Центральный Комитет партии мобилизует сейчас лучших работников на Восточный фронт.

— Еще раз повторяю, что положение отнюдь не таково, чтобы поддаваться панике, — диктовал Фрунзе. — Выполняйте неуклонно раз принятый план, и я надеюсь, что мы с вами увидим крушение надежд противника. Я кончил. Ожидаю от ваших войск исполнения долга и приказа...

На пороге переговорной показался Куйбышев. Фрунзе передал ему ленту.

— Что с ним, Валериан Владимирович? Что-то я не узнаю вашего друга. Он же командир отличный, и его Железная дивизия недавно была украшением армии.

— Он очень экспансивен, Михаил Васильевич. Кругом неудачи, да еще мутят воду в дивизиях и в полках его боевые дружки. И не было над ним крепкой руки в последнее время, а вас он еще не знает. Но я не сомневаюсь в его доблести, дайте только срок!

— Пусть сбудутся ваши предсказания! Но во главе ударной группы я все же поставил Зиновьева: с ним не надо объясняться, он понимает меня с полуслова...

Но фактически пришлось собрать для контрудара по Колчаку три группы: в центре, у Бузулука, — Зиновьев, справа — Гай, слева — Чапаев.

Разведка донесла, что наконец-то удалось достигнуть превосходства сил против белых на основном направлении и в решающий момент.

Но начинать было трудно: реки разбушевались в половодье; в вязком черноземе застревали по ступицы армейские повозки и орудийные лафеты. И бойцы не успевали обсушиться за ночь в хатах или у костров.

Конечно, и у врага не лучше! И если он воевал в традициях старых русских генералов, можно было предполагать, что его части какое-то время будут топтаться на месте.

Но не это было главным. Как говорится, даже папаха командующего не знала о его сомнениях: он еще не решил, куда обрушить свои войска для решающего удара. Был уже подписан секретный приказ № 021 от 10 апреля 1919 года, где подробно расписывалась дислокация войск. Но Фрунзе не торопился разослать его в армии и в дивизии.

И вдруг все сомнения решила одна ночь, 18 апреля. Чапаевские разведчики из 218-го полка перехватили в селе Карамзихе трех колчаковских вестовых, которые везли два оперативных приказа Колчака. Чапаев быстро сообразил, сколь важны для Фрунзе перехваченные документы, и немедленно вызвал его к прямому проводу.

— Дорогая добыча, товарищ командующий! Армия Ханжина растянулась по фронту на двести семьдесят верст от Волго-Бугульминской железной дороги до тракта Стерлитамак — Оренбург...

— Погодите, Василий Иванович, гляну на карту!

Быстро прошел по кабинету, в красно-синюю «клумбу» воткнул два больших белых флажка и продиктовал телеграфисту:

— Продолжайте!

— От Ратчины до Бугуруслана болтается лишь Шестой Уральский корпус по фронту в сто шестьдесят верст. Между его дивизиями и соседним Третьим Уральским корпусом неминуемо должен быть разрыв верст в пятьдесят. Вот бы ударить в эту дыру и с тыла растрепать оба корпуса!..

Многие запомнили Фрунзе в ту ночь. Он был подобен художнику, который в счастливом озарении увидел, как хороша композиция заветной его картины. И каждый мазок ложится уверенно, точно. Но напряжение сил достигло предела: командарм накидал кучу окурков, два-три раза пил соду. Сиротинский послал за доктором, вызвали Софью Алексеевну. И пожалуй, только одна она поняла, что не болен муж, а озарен картиной предстоящей битвы, которую в условиях нечеловеческих готовил он все последние месяцы. Она увидела в глазах его и страшное волнение мужественного бойца и чистую — по-детски — радость. Ведь это был волшебный миг: на плечи Фрунзе легла ответственность за судьбы новой России — разбить и уничтожить самого сильного врага Советской власти...

— Однако, Соня, ты иди! — Он подал ей пальто, обнял за плечи и проводил до двери. — Тут дело не женское. И прости, что я не могу уделить тебе и одной минуты!..

И тотчас же величие задачи обернулось будничным делом штаба. Все завертелось под знаком прорыва, удара, ближнего и дальнего боя.

— Распространить в армиях и дивизиях приказ № 021! Вызвать к аппарату командарма-пять. Всем быть в штабе неотлучно. Товарищу Новицкому — немедленно образовать полевой штаб малого состава, который будет двигаться со мною в глубину прорыва. Товарищу Карбышеву — навести мосты, чтобы обеспечить выдвижение броневых частей в Бузулукский район... Валериан Владимирович, глянем еще раз на наше обращение к войскам и срочно тиснем его в газеты...

В самарских и армейских газетах появилось это «Обращение к войскам Южной группы Восточного фронта». В нем был краткий обзор боевых успехов на всех фронтах России, указание на временные неудачи за Волгой и горячий призыв уничтожить Колчака.

«Чужая близость позорного конца, видя рост революции на Западе, где одна страна за другой поднимает знамя восстания, колчаковцы делают последние усилия. Собрав и выучив на японские и американские деньги армию, заставив ее слушаться приказов царских генералов путем расстрелов и казней, Колчак мечтает стать новым державным венценосцем.

Этому не бывать. Армия Восточного фронта, опираясь на мощную поддержку всей трудовой России, не допустит торжества паразитов. Слишком велики жертвы, принесенные

рабочим классом и крестьянством. Слишком много крови пролито ими, чтобы теперь, накануне своей полной победы, позволить врагу снова сесть на плечи трудового народа.

Дело идет о его настоящем и будущем. Не место малодушию и робости в наших рядах перед лицом неудач. Эти неудачи временны и объясняются главным образом тем, что нам пришлось отвлечь часть сил наших на Южный фронт. Ныне наша задача близка к завершению, и глаза России вновь обратились к нам, на восток.

Помощь идет. Вперед же, товарищи, на последний решительный бой с наемником капитала — Колчаком!

Вперед за светлое и счастливое будущее трудового народа!

Командующий войсками Южной группы Восточного фронта — *Михайлов-Фрунзе* .

Член Реввоенсовета — *Куйбышев* ».

Тухачевскому было передано:

— Приказываю готовиться к удару в разрыв между третьим и шестым корпусами противника... Он перебрасывает сюда части пятого корпуса со Стерлитамакского направления, но еще не заполнил разрыва. Надо ударить по седьмой дивизии белых. Одновременно Бузулукская группа двинется в разрыв между седьмой дивизией и шестым корпусом, с выходом в тыл, к Бугуруслану...

И еще один вопрос решен был в ту памятную ночь — о денежном довольствии армий, изготовившихся к удару. Фрунзе и Куйбышев адресовали Владимиру Ильичу Ленину депешу с просьбой об «экстренной отправке подкрепления Самарскому народному банку в размере двухсот миллионов рублей».

У Тухачевского, Чапаева и Зиновьева началось спешное передвижение войск в район контрудара. Беспокоил лишь строптивый Гай. Он жаловался на Фрунзе командующему фронтом и задумывал вывести штаб 1-й армии из Оренбурга. Необходимо было подкрепить его надежным комиссаром. Куйбышев срочно разыскал Петра Баранова, уцелевшего в день убийства Линдова, и его направили членом Реввоенсовета в армию Гая.

В сложном деле контраступления, да еще в такой момент, когда многие потеряли веру в победу от сплошных неудач последних недель, нет цены лихой решимости и отчаянной смелости.

Этими качествами и обладал чапаевец первой руки, командир 73-й бригады Иван Кутяков. Именно его разведчики захватили колчаковских вестовых в Карамзихе. И он, формально подчиненный Зиновьеву, отправил приказы Колчака своему «батьке» Чапаеву в Бузулук. Он же и начал прощупывать беляков с 16–17 апреля, да так удачно, что его локальная победа стала началом прорыва фронта белых.

На малом плацдарме Кутяков развернулся отлично и обнаружил все те качества, которые Фрунзе считал залогом победы: и толковую разведку, и крепкую связь между полками, и дерзкий фронтальный бой, и глубокие рейды по тылам врага, и политическую работу среди крестьян в освобожденных районах. 11-я дивизия белых, потеряв два полка, начала пятиться.

Вслед за Кутяковым бросил в бой две свои бригады Василий Чапаев. Но это было 28 апреля 1919 года, когда Фрунзе начал контрудар по Колчаку, обрушив на армию Ханжина 40 тысяч штыков и сабель.

И начались три славных этапа наступления Красной Армии на Восточном фронте: операция Бугурусланская (28 апреля — 13 мая), Белебейская (15–19 мая) и Уфимская (25 мая — 19 июня 1919 года).

На каждом этапе Фрунзе был в гуще боя, следуя суворовской тактике: быстрота, глазомер, натиск, победа. «Неприятель думает, что мы за сто, за двести верст, а ты налети на него как снег на голову: стесни, опрокинь, гони, не давай опомниться...»

С командармом сроднились бойцы и командиры, потому что видели, «с какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до последнего, отдавал — и мысль, и чувство, и энергию в такие исключительные дни», — отмечал в дневнике Дмитрий Фурманов.

Появлялся Фрунзе в части неожиданно, как ясный день при долгом ненастье. Кого-то благодарил, отмечал в приказе, награждал орденом; кого-то разносил в пух и в прах — перья летели по всей дивизии. Но делал это с тактом, потому что был в кругу близких товарищей, единомышленников: и не перехвалялся и не втапывал в грязь. И бойцы словно перерождались. Когда же в трудный час боя кто-то замечал командарма в самом жарком месте и кричал восторженно: «Братцы, Фрунзе с нами!» — порыв наступающих не знал предела.

Но на каждом этапе контрудара подстерегали Фрунзе досадные огорчения, обида. То приходилось преодолевать упорное сопротивление Троцкого и его чиновников. То бороться с головотяпством работников штаба фронта и нерасторопностью подчиненных командиров. А однажды пришлось пережить и горечь измены.

В самый разгар Бугурусланской операции его предал командир 74-й бригады Аваров и едва не поставил под угрозу весь план контрудара.

Этот бывший полковник — дюжий, бравый, но с хитрыми бегающими глазами — появился в Самаре с рекомендательным письмом Троцкого. И при первой встрече с Фрунзе дал понять, что ему по силам было бы руководить 4-й армией, где должность командарма оставалась вакантной.

Михаил Васильевич — человек кристально-чистый, иногда излишне доверчивый к военным специалистам, которые шли под его руку, — на этот раз насупился и замкнулся. То ли хвалебное письмо Троцкого насторожило; то ли не в меру самонадеянным показался полковник; то ли не вызывали доверия его плутовские глаза и ничем не скрытое желание новичка получить как можно больше секретной информации о Южной группе войск.

Сам Фрунзе не мог объяснить причины явного недоверия. И по совету с Куйбышевым дал ему 74-ю бригаду в Чапаевской дивизии и оставил ее до времени в самарском резерве.

Когда же вошел в силу секретный приказ № 021 и 74-я выдвинулась на передовую, Авалов перебежал к белым с оперативными планами Фрунзе.

Омерзительной была эта минута, словно больному командарму вместо соды всыпали в стакан лошадиную дозу яда!

Он схватился за голову, мучаясь от приступа боли, и крикнул страдальчески:

— Расстрелять без суда, как только этот мерзавец окажется в наших руках!

Колчак знал теперь замыслы Фрунзе и торопился сделать прорыв на Сергиевск, в слабом месте Северной группы Шорина. Но события на фронте Южной группы развивались неотвратно, и нельзя было думать о том, чтобы пересечь или изменить инерцию движения вперед. Выход был один: подстегивать наступление, выполнять за сутки то, на что отводилось три дня, и с ходу менять направление к северо-западу. А командарму не слезать с коня, забыть даже о кратком сне и подписывать приказы не в самарском штабе, а на командных пунктах дивизий, бригад и полков.

Фурманов был направлен в 74-ю бригаду для расследования. К счастью, предатель действовал в одиночку, и о его преступном замысле не знали даже ближайшие помощники. Бойцы горели желанием поймать гадину и повесить на первой осине. Часть оказалась боеспособной и в районе реки Ик с честью выполнила свою задачу.

Западная армия генерала Ханжина великолепно научилась отступать. Она кое-как вырвалась из мешка и сдала Чапаеву Бугуруслан (при взятии города отличился Иваново-Вознесенский полк). Очистила пространство до ста пятидесяти верст в глубину и стремилась удержаться на двух рубежах: на севере — у Бугульмы и на востоке — у Белебея.

Возле Бугульмы Колчак задумывал создать новую группу. Но натиск Чапаева, поддержанный соседней, 27-й дивизией, расстроил планы «верховного»: 13 мая он сдал город.

Возле Белебея скапливался корпус генерала Каппеля. И удар по нему был вторым этапом наступления Фрунзе.

11 мая 1919 года Михаил Васильевич писал в донесении командующему Восточным фронтом:

«Я сейчас вместе с членом Реввоенсовета Куйбышевым на пути из расположения 25-й дивизии в Туркестанскую армию. Сегодня на фронте 25-й дивизии закончился полным разгромом врага встречный бой с его частями, сосредоточившимися в районе к востоку от Бугульмы и обрушившимися на 25-ю дивизию. Нами разгромлена 4-я Уфимская дивизия; целиком уничтожена Ижевская бригада и разбита отдельная Оренбургская бригада. Взято свыше 2000 пленных, три орудия и много пулеметов. Преследование врага энергично продолжается.

Настроение войск выше похвалы: крестьянство, озлобленное поборами белогвардейцев, отбиравших без всякой платы хлеб, фураж и лошадей, оказывает Красной Армии всемерную помощь. Войска Южной группы уверены в близости полного и окончательного крушения колчаковщины».

Правда, окружить и полностью уничтожить врага пока не удалось. Но его «почерк» беспорядочного драпа на восток давал право заявить: «Инициатива у нас!»

В умах бойцов и командиров наступил перелом: значит, можно бить «верховного» в хвост и в гриву и успешно гнать его «непобедимую»; значит, можно уводить в плен тысячи беляков с офицерами и генералами. И можно вливать в свои ряды сдающиеся части, насильно мобилизованные Колчаком, и привлекать под красное знамя русских и башкирских крестьян, вырвавшихся из неволи.

Так и оценил Фрунзе значение первого этапа. И когда навалились на него корреспонденты и забросали вопросами, может ли еще Колчак угрожать Самаре, перевалить через Волгу, он отмахнулся от них:

— Ну какая там Самара! Какая Волга! До скорой встречи в Уфе!..

В самарских и московских газетах появилось его краткое интервью:

«До сих пор еще в центре России чувствуется сильная тревога и опасение за участь Поволжья. Я заявляю определенно, что Колчаку Волги не видать. Перелом в настроении частей и в ходе операции определился. Наши армии переходят в решительное наступление. Их задача — уничтожить живые силы зарвавшегося врага. Задача эта осуществляется вполне успешно. Разбиты и отброшены 11-я и 12-я дивизии противника. В районе к югу от Сарай-Гира нашей кавалерии сдался только что прибывший на фронт Украинский полк с орудиями и пулеметами, предварительно перебив большинство своего командного состава. Полк выразил твердое и горячее намерение сражаться против Колчака на стороне Красной Армии и просит переименовать его в полк имени Ленина».

— И где только Владимир Ильич выискивает таких фантазеров? — бросил газету Троцкий, прочитав это интервью Фрунзе.

Своенравный, резкий и на расправу крутой, как все сильный вотчинник, Троцкий усмотрел в действиях Сергея Сергеевича Каменева откровенную поблажку «фантазеру» Фрунзе.

Действительно, Каменев вдохновился планом Михаила Васильевича и пришел к убеждению, что Симбирск оставлять не следует, хотя на этом продолжали настаивать нарком Троцкий и главком Вацетис, видя, с каким успехом стремится к нему Северная армия генерала Гайды. Да и вообще эти московские «стратеги» были убеждены, что сначала надо разделаться с Деникиным, а затем уже браться за Колчака: он, мол, докатится до Волги и остановится.

И когда пришел еще один приказ об оставлении Симбирска, Каменев ответил категорическим отказом. «Такого нарушения дисциплины Троцкий не перенес, — записала дочь Сергея Сергеевича Наталья. — Он явился в Симбирск, окруженный свитой людей, одетых во все черное, сам кожаночерный. Буквально ворвавшись в кабинет отца, откуда тотчас же стал доноситься возбужденный разговор, перешедший в крик, Троцкий, не сдерживаясь, прямо угрожал отцу, затем, круто оборвав на высокой ноте, он так же стремительно выскочил из кабинета и почти бегом удалился со всей своей свитой... И, несмотря на то, что наступил несомненный перелом к лучшему — армия покатила назад, и

городу, в котором родился Ленин, перестала угрожать опасность, и, наконец, несмотря на хорошую старинную поговорку «победителей не судят», очень скоро пришло телеграфное распоряжение Троцкого снять отца с должности командующего Восточным фронтом.

Я не могу забыть тот день, когда отец вернулся домой много раньше обычного, удрученный и задумчивый.

— Не знаю за что, но с должности командующего меня сняли, — как-то тускло и недоуменно произнес он...»

Это было 9 мая, когда Фрунзе готовился начать Белебейскую операцию. Он понимал, что смена командования в такой исключительно важный момент чревата всякими неожиданностями. И не ошибся.

Пост Каменева занял генерал Самойло, переведенный с Северного фронта. Он сразу понял, что Симбирск уже сдавать врагу не придется. Но Троцкий убедил его, что тревогу вызывает обстановка на левом, северном крыле фронта. И генерал подписал директиву, по которой центр операций переносился от Белебея и Уфы к северу от Камы.

— К черту летит весь наш план! — Фрунзе водил указкой по карте, и рука у него дрожала. — Самойло забирает у нас армию Тухачевского и заставляет заниматься такой перегруппировкой, которая на руку Колчаку. Федор Федорович, немедленно заберите у Тухачевского Чапаевскую дивизию, она должна действовать в районе Белебея! А генералу я напишу несколько неласковых слов!

10 мая Фрунзе сообщил в Симбирск, что он не согласен с директивой командующего фронтом:

«Должен откровенно сознаться, что директивой и запиской я сбит с толку и поставлен в самое неопределенное положение... Я глубоко не согласен и с основной идеей нанесения удара на север от Бугульмы, ибо уверен, что он в лучшем случае даст лишь отход противника, а не его уничтожение. Удар должен быть нанесен глубже, с тем, чтобы отрезать противнику пути отхода на восток... Свое теперешнее положение считаю ложным и вредным для дела...»

— Надо бы съездить в Симбирск, — заметил Валериан Владимирович. — Одно дело — бумага, другое — поглядеть Самойло в глаза. И снять с его носа черные очки!

— Я так и думаю! Но нам надо побывать у Чапаева. Завтра и выедем!..

Они приехали в село Елатомку, где вместе с бойцами Сызранского полка собрались на митинг местные жители.

Красив был Чапаев на двуколке, горяч и страстен в пылу большой речи. Он говорил обо всем: и о мировой буржуазии, и о «верховном», которому скоро крышка, и о том, что неча лежать на печи здоровым мужикам, когда беляки так рьяно драпают от красных, подставляя зады под удар.

— Бить их и бить, хлопцы, вот и весь сказ! Истинно говорю вам — дождались светлого дня! Храбрым — дорогу, а трусов — к чертовой матери!

Народ был опьянен страстной речью Василия Ивановича. Ведь говорил равный с равным, на языке живом и образном. Но все знали, что не каждый подравняется с этим лихим, смелым и стремительным в бою николаевским плотником.

Фрунзе попросил не говорить о своем приезде, пока не закончится митинг. И объявился, когда на площади отгремели крики:

— Ура Чапаеву! Ура!..

Объяснять Чапаеву обстановку не пришлось: он уже расставлял силы, и с радостью принял весть, что вся его дивизия переходит от Тухачевского в Туркестанскую армию. Фрунзе ему сказал:

— Стремительно ударите севернее Белебея для глубокого охвата противника. Тридцать первая дивизия Зиновьева и двадцать четвертая Железная дивизия Гая будут атаковать одновременно с вами с востока и с юга.

— Ну просто с языка сняли, товарищ командующий! Так и я прикидывал! — Чапаев лихо расправил усы указательным пальцем правой руки. — Значится, как говорят в народе,

покажем контре, где раки зимуют!.. А уж вы там, — указал он на север, в сторону Симбирска, — объясните им, что нам топтаться на месте совсем не с руки... Беляки сейчас отбиваются как заяц, когда налетит на него степной орел. На спину откинется, задними ногами так разделяет, что иной раз и орлу смерть. Только это редко бывает, Михаил Васильевич. И по недосмотру, коли орел зазевается. А чаще-то конец зайчишке!..

До Самары — поездом, оттуда — быстроходным военным катером. Домой — в маленький дачный деревянный домик — заглянул на минуту, чтоб повидаться с женой и надеть новый костюм.

Весна буйствовала: в деревеньках доцветала сирень, в лозьях — соловьиные трели; зелена подбирались в трубку, в полях копошились старики, женщины и дети, совсем как пятнадцать лет назад, когда он впервые увидел Волгу в дни японской войны. Солнце уходило назад и появлялось спереди, когда огибали живописную жигулевскую луку. В Ставрополе — голодные дети, беженцы, и кругом зелено от гимнастерок: очередной полк выгружался из барж на левом берегу и разводил пары на походной кухне.

Кажется, впервые за все дни 1919 года выдалось два-три часа для приятного кейфа — без вызова в аппаратную, без спешной диктовки приказов. И как ни красива была бегущая весенними струями полноводная Волга, Михаил Васильевич прилег отдохнуть, чтобы со свежей головой вести разговоры в Симбирске... И спал мертвецки, пока Сиротинский не положил ему руку на плечо:

— Подходим, Михаил Васильевич!..

Первой была встреча с Даннемарком питерских времен 1905 года, с Сергеем Ивановичем Гусевым.

Человек еще не старый — ему шел сорок шестой год — заметно сдал: и похудел, и ссутулился, и сединой были пересыпаны коротко остриженные волосы. И неизменными остались только пенсне да черный шнурок к нему от правого ушка.

— Бог мой! — он с удивлением разглядывал Фрунзе. И этот плотный шатен с бесхитростным лицом — простым и светлым, этот славный теперь командующий — тот самый мальчик, который был связным у Оли Генкиной и что-то порывался сделать в студенческой среде!

— Почему вы пошли на поводу у Троцкого и согласились пожертвовать Сергеем Сергеевичем? — спросил Фрунзе в упор.

— Каменев — полковник, Самойло — генерал. У меня были шаткие основания не соглашаться на его приезд, тем более что о нем есть решение ЦК. Но я вижу, что мы променяли ястреба на кукушку, и потому держу Каменева в резерве и сыграю им ва-банк, когда сочту необходимым.

— Это деловой разговор! А как быть с моей группой? Ведь отбирают целую армию, хотя разгром Колчака не за горами.

— Гусев пока не будет дразнить гусей в штабе фронта. Но не остановиться ли нам на компромиссе: левую половину армии Тухачевского отдать Шорину, правую — вам?

— Жаловаться на вас у меня язык не повернется! Однако так ли слаб Шорин, что не может своими силами разделаться с Гайдой?

— Давайте все обсудим спокойно. Надо испробовать Самойло с его новым планом. Он хочет забрать всю Пятую, дадим половину. Уверен, что вы обойдетесь. Чапаева вы успели взять сами, еще перейдет к вам вторая дивизия. Генерал носился с идеей вообще ликвидировать Южную группу, но мы его успокоили. Так что соглашайтесь с моим предложением и действуйте в белебейском направлении. Понимаю, что легко вам не будет: вокруг Оренбурга восстание, к городу рвется Дутов. Кстати, мне передали из ЦК, что Ленин послал вам телеграмму по этому поводу.

— Что в ней сказано?

— Не знаю. Запросите свой штаб. Но что бы ни было, Самойло не помешает вашей операции на Белебей — Уфу...

В кабинете у Самойло спорили два дня. Генерал казался туповат. И — напуган: пока был у него Фрунзе, трижды телеграфировал Троцкий об Оренбурге и Уральске, о Чистополе и Сарапуле, ни разу не упомянув Южной группы. Но Гусев исподволь делал свое дело, и договорились, как решил он.

Новицкий 14 мая сообщил по телеграфу текст депеши Владимира Ильича: «Знаете ли вы о тяжелом положении Оренбурга? Сегодня мне передали от говоривших по прямому проводу железнодорожников отчаянную просьбу оренбуржцев прислать 2 полка пехоты и 2 кавалерии или хотя бы на первое время 1000 пехоты и несколько эскадронов. Сообщите немедленно, что предприняли и каковы ваши планы. Разумеется, не рассматривайте моей телеграммы, как нарушающей военные приказания».

Хорошо, Федор Федорович, я отвечу сам, как только прояснится положение. Выезжаю сегодня в десять часов вместе с двумя батальонами Казанского полка. Буду в Самаре утром пятнадцатого. На шестнадцатое число подготовьте состав Казанскому полку для отправки на Оренбург.

В Самару он вернулся с твердыми решениями: после Белебея сразу же брать Уфу, гнать Колчака за Урал; самому возглавить Уфимскую операцию в качестве командующего Туркестанской армией.

И Куйбышев и Новицкий не вдруг поняли, что в его сокровенных планах «верховный» был уже разбит на главном направлении наголову. И уже теперь настало время готовить либо всю Южную группу, либо одну армию для боев на линии Оренбург — Уральск — Ташкент.

Фрунзе наглухо закрылся в своем кабинете и в двадцать два часа тридцать минут положил на стол Новицкому новый приказ. В нем предусматривались две важные операции: разгром белебеевской группы Ханжина и подавление восстаний в окрестностях Оренбурга и Уральска.

— Отдыхайте, Федор Федорович, завтра на передовой мы порадуем сердца победным маршем войск нашей группы!..

Но Федор Федорович не смог уснуть в ту ночь. Все вспоминал, по каким незримым ступеням так уверенно шагал молодой командующий, для которого был он крестным отцом. И как появился полгода назад в его кабинете этот бородастый крепыш, и как они ездили в Москву «наниматься» на фронт и Михаил Васильевич не поднимался в мыслях выше «конного полчишка», и какой твердокаменный характер большевика обнаруживал всякий раз, когда ему шли наперекор, и как неуклонно продолжал свое дело в интересах революции.

— А все же, Федор, ты пророк! — говорил он себе. — Но... дорогой мой, плохой пророк! Не догадался, что Михаилу Васильевичу давно бы пора отдать весь Восточный фронт!

К вечеру 16 мая Фрунзе был завален донесениями. В районе Талды — Булак 31-я стрелковая дивизия размолотила крупный отряд полковника Мандрыки; от Чапаева шли вести одна лучше другой. Командир 75-й бригады Потапов разбил Стерлитамакский полк белых; Домашкинский и Пугачевский полки форсировали реку Ик и ликвидировали пехотный Уфимский полк; под Баймурзином Василий Иванович разнес Уфимский гусарский полк и разведывательные части 50-го Орского полка Капнеля.

День был светлый: враг дрогнул и побежал к Уфе.

И только одно сообщение опечалило Фрунзе: на реке Ик погибла молодая ткачиха из Иваново-Вознесенского полка Маруся Рябинина. Она была отличным политбойцом и первая ворвалась в окопы беляков...

Белебейская операция победно окончилась на исходе 18 мая: генерал Каппель не принял решительного боя и успел вывести часть своих войск из-под удара. Начался неожиданный для Самойло перелом на позициях Северной группы Шорина — генерал Гайда остановился и все чаще поглядывал назад, опасаясь, что ему вот-вот отрежут путь к отступлению.

Фрунзе немедленно информировал Самойло: «Для ликвидации корпуса Каппеля и вообще всех сил противника, отступающих на восток... представлялось бы необходимым безусловно теперь же решиться на овладение Уфой».

Однако Самойло, инспирированный Троцким, ночью 18 мая дал указания нанести главный удар на севере, чтобы обеспечить успех Шорина, а наступление на Уфу остановить. И одновременно требовал перебросить максимум сил для поддержки 1-й и 4-й армий в районе Оренбурга и Уральска.

Михаилу Васильевичу пришлось объясняться по прямому проводу с Гусевым. Тот дал понять, что завтра Реввоенсовет фронта примет решение наступать на Уфу. И одновременно сообщил, что посылает с нарочным письмо, из которого Фрунзе подробно узнает о его замыслах.

Действительно, 19 мая пришло распоряжение РВС фронта: «Продолжая преследование противника, овладеть районом Уфы». А вслед за ним и письмо Гусева. Сергей Иванович сообщал, что он по своей воле направил Каменева в Москву и рекомендовал ему встретиться с Лениным, о чем он написал Владимиру Ильичу. Между строк Гусев давал понять, что Каменев скоро вернется в Симбирск, потому что Самойло показал себя путаником и чудовищно беспартийным человеком. А в конце письма была приписка: Троцкий не ограничился снятием Каменева, теперь он готовит отстранение от должности Фрунзе. Но РВС в лице С. Гусева, М. Лашевича и К. Юренева категорически протестует против расправы с командующим Южной группой.

Словом, настроение Фрунзе в момент самой важной — Уфимской операции было испорчено. Но он не подавал виду и продолжал из Бугуруслана готовить задуманный удар на Уфу, не ослабляя мер и по укреплению фронта возле Оренбурга и Уральска. И только однажды, в письме к Гусеву и его товарищам, сказал о своей обиде: «Вы знаете, какую атаку приходится выдерживать мне, и совершенно незаслуженно, со стороны Троцкого по части обеспечения Оренбург-Уральского района... Ряд телеграмм Троцкого только нервирует и лишает возможности спокойно и основательно подготовить и провести операцию».

Это письмо стало известно Ленину. 29 мая он вернул Сергея Сергеевича Каменева на Восточный фронт, а членам Реввоенсовета в Симбирске телеграфировал, что врага надо срочно гнать в Сибирь. «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы».

Случилось так, что Михаил Васильевич не успел ответить на первую телеграмму Ленина. И через десять дней получил разнос от Владимира Ильича: «На мою телеграмму от 12 мая об Оренбурге до сих пор от Вас ответа нет».

Что значит Ваше молчание? Между тем из Оренбурга по-прежнему идут жалобы и просьбы о помощи. Прошу впредь более аккуратно отвечать на мои телеграммы. Жду ответа».

Михаил Васильевич хотел ответить подробным письмом: как интригует против него Троцкий, как бездарен Самойло, как беспомощен храбрый Гай и как гарнизон Оренбурга уже усилен 3-й бригадой 20-й стрелковой дивизии. Но Чапаев уже изготовился к удару, надо было быть в его частях. Фрунзе ограничился сообщением по телеграфу.

«На Вашу телеграмму от 22 мая сообщаю следующее: по существу Вашего требования в отношении Оренбурга все, что только позволили сделать средства, находившиеся в моем распоряжении, сделано. Должен доложить, что этих средств для исчерпывающей помощи Оренбургу и одновременно с этим разрешения задач на основном Уфимском направлении совершенно недостаточно. Но, во всяком случае, помощь для удержания самого Оренбурга вплоть до решения вопроса на основном направлении была подана достаточная, как это и подтверждают сообщения последних дней. Считаю, что поток оренбургских слезниц по бесчисленным адресам в значительной степени объясняется собственным неумением правильно использовать силы и средства, бывшие в распоряжении Оренбурга. За несвоевременность ответа извиняюсь. Объясняется это тем, что в момент получения Вашей телеграммы я был на фронте».

Да, он беспрерывно был на фронте! И в Бугуруслане подписал приказ по войскам Туркестанской армии ночью 23 мая 1919 года о третьем — и завершающем — этапе наступления. И весь он в этом приказе — без аффектации и пустых слов, подтянутый, уверенный в победе.

Начал он с деловой информации: «По приказанию командующего Восточным фронтом я с сегодняшнего дня вступаю в непосредственное командование войсками Туркестанской армии, оставаясь в то же время командующим всеми войсками Южной группы фронта».

Затем определил цель: «Высшее военное командование возложило на нас задачу окончательного разгрома белогвардейских банд, прикрывающих путь на Урал, и ликвидации этим всей колчаковщины».

И обратился с добрым словом к ветеранам и новичкам: «У меня нет и тени сомнения в том, что закаленные в битвах славные бойцы 24, 25, 31 и 3-й кавалерийской дивизий с указанной задачей справятся в кратчайший срок. Порукою в этом являются блистательные страницы их прежней боевой работы, завершившейся недавно разгромом ряда корпусов противника на полях Бузулука, Бугуруслана, Бугульмы и Белебея. Уверен, что и молодые войска 2-й дивизии, впервые получающие боевое крещение, пойдут по стопам своих славных соратников и учителей».

В духе старых листовок Арсения дана была политическая и государственная оценка ратного подвига, к которому он призывал товарищей по фронту:

«России труда пора кончать борьбу с упорным врагом. Пора одним грозным ударом убить все надежды прислужников мира капитала и угнетения на возможность возврата старых порядков. Начало, и начало хорошее, вами уже сделано. Колчаковский фронт затрещал по всем швам. Остается довести дело до конца. Бросая вас ныне вновь в наступление, я хочу напомнить о том, что вы им решаете окончательно спор труда с капиталом, черной кости с костью белой, мира равенства и справедливости с миром угнетения и эксплуатации. В этой великой, святой борьбе Рабоче-Крестьянская Россия вправе требовать от каждого из своих детей полного исполнения своего долга. И этот долг мы исполним!

Наш первый этап — Уфа; последний — Сибирь, освобожденная от Колчака. Смело вперед!»

Пять-шесть лихорадочных дней ушло на подтягивание частей наступления и прикрытия. Круглые сутки в бугурусланском штабе Фрунзе кипела страстная работа. Фурманов отмечал, как сгонялись в тыл красные полки, у которых «наглухо схлопнулись боевые крылья»; как вливали свежие роты, где еще теплился боевой дух, ставили новых, крепких командиров, «гнали из тыла в строй отряды большевиков, целительным бальзамом оздоравливали недужный организм армии»; как перекидывали к Чишме, к реке Белой «ядренные, испытанные части, в лоб Колчаку ставили стальную дивизию Чапаевских полков». Столь велико было передвижение артиллерийских резервов, столь быстро перегоняли патроны, винтовки, пулеметы, динамит, что Колчак поверил в полководческий гений Фрунзе. И объявил по своей армии: коль попадетя в плен командующий красными Михайлов, ныне именуемый Фрунзе, целехоньким доставить его в ставку «верховного».

А у Михаила Васильевича тем временем план отшлифовался. Чапаевская дивизия переправится через реку Белую и сделает рывок к Уфе с севера; Тухачевский прикроет ее со своего правого фланга силами 26-й стрелковой дивизии; 2-я и 24-я дивизии переправятся южнее Уфы и отрежут путь отхода белым по железной дороге к Челябинску; Гай поддержит эти дивизии левым флангом своей 1-й армии; 31-я дивизия — возле Бугуруслана, но ее задача — быть резервом у Чапаева.

Василий Иванович 26 мая огласил приказ по дивизии: «Для задержки нашего движения противник ухватился за узел Бугурусланской и Бугульминской железной дороги в Чишме. Но мы будем бить противника не так, как он хочет, а так, как мы хотим. Дружным одновременным ударом с запада на Ново-Царевщину, Верхнее Хозятово, Нижнее Хозятово, Московку, Чишму, Илькашево, Марусино и Алкино столкнем белогвардейцев с железной

дороги, для большего удобства топить последних в реке Белой и тем самым очистить себе путь к Уфе и дальше».

С утра 28 мая все части дивизии пошли в наступление. И сразу же выяснилось, что пути к Уфе нет: мосты разрушены, магистральные дороги испорчены, каждый населенный пункт надо брать в упорном бою. А Фрунзе требовал героизма: «...Несмотря ни на какие трудности, ни на какую усталость... напрячь все усилия, чтобы быстрее прижать противника к реке Белой и на его плечах перебраться на правый берег реки».

2 и 3 июня чапаевцы вышли к западному берегу Белой. Она еще не вошла в берега после весеннего половодья, и широкий поток ее — метров триста — был серьезным препятствием: ни лодок, ни парома; белые все уничтожили, отступая на правый берег.

Фрунзе 4 июня прибыл в расположение чапаевских частей возле Красного Яра и находился в них пять дней, пока белые не сдали Уфу.

Именно в эти дни не только Чапаев с Фурмановым или Иван Кутяков со своими командирами полков, но и каждый красноармеец мог убедиться, какой замечательный человек направляет их волю. Смелость и беззаветность отличали командующего. «...Самым пленительным в нем была легкость и простота, с которыми он шел навстречу опасности, — вспоминал Воронский. — Они доходили у него до детской непосредственности. Он знал цену революционному долгу, но лично его это слово не определяло: так естественно и неразложимо прямо он действовал и совершал героическое».

Красив был ландшафт возле Красного Яра: живописны озера, нарядны зеленые леса на холмах и в огромной пойме; вдоль реки — густые купы кустарников.

Но не было времени любоваться буйством раннего лета. И, появившись у Чапаева, Михаил Васильевич немедленно созвал совещание командиров и комиссаров для уточнения задачи по формированию реки Белой. Снова предлагался блестящий фланговый удар! И Василий Иванович просто и четко доложил обстановку.

В тот вечер — 7 июня — на карту бросили всё. И всё взвесили: и свои силы и силы врага. Не забыли и о случайностях, которые могли помешать операции. Фрунзе, по образному выражению Фурманова, дал клятву взять Уфу. Колчак еще раньше дал клятву въехать в Москву. Две клятвы скрестились на уфимской горе.

Михаил Васильевич предложил послать авангардом через Белую Иваново-Вознесенский полк Горбачева и комиссара Капустянского: хотел он в такой ответственный час опереться на боевую и пролетарскую сплоченность своих ткачей. Чапаев согласился. Кстати, конная разведка ивановцев и кавалерийский эскадрон Дмитрия Здобнова из 217-го полка удачно перехватили четыре дня назад Два пароходика и буксир белых.

— Вот на них и перекинем побатальонно, — высоким тенорком сказал Чапаев. И закрыл совещание: — Ну, ребята, разговорам конец, час пришел решительному делу!..

Втроем вышли к реке послушать тишину короткой июньской ночи: Фрунзе, Чапаев, Фурманов.

Потом поговорили о разном, чтобы хоть на миг отвлечься от мысли, что пронзила всех. Посудачили о дружбе начальника и комиссара дивизии. Крепко притерлись они один к другому в жарких боях и завтра неразлучно глянут в глаза смертельной опасности. И не хотел Фрунзе омрачать им день великого боя. Он-то глядел далеко-далеко, на юг и на восток, где надо добивать Дутова и Белова, и еще дальше — в палящую зноем Среднюю Азию, на пороге которой друзья расстанутся: Фурманова он заберет в свой штаб, а Чапаеву даст взамен Митяя своего старого друга Павла Батурина...

Многими описана битва у реки Белой. Но ярче других и с какой-то неистовой страстью описал ее Фурманов.

«И ночью, в напряженной, сердитой тишине, когда белесым оловом отливали рокотные волны Белой, погрузили первую роту иваново-вознесенских ткачей. По берегу в нервном молчанье шныряли смутные тени бойцов, толпились грудными черными массами у зыбких,

скользких плотов, у вздыхающих мерно и задушевно пароходов, таяли и пропадали в мгlistую муть реки и снова грудились К берегу и снова медленно, жутко исчезали во тьму.

Отошла полночь — тихой походью, в легких шорохах шел рассвет. Полк уже был на том берегу.

Полк перебрался неслышим врагом — торопливо бойцы полегли цепями: с первой дрожью синего мутного рассвета они, неожиданные, грохнут на вражьи окопы».

На берегу Фрунзе на своей гнедой Лидке, которая кажется черной. Рядом Чапаев — он сам отвечает за переправу. А за рекой правая его рука — Иван Кутяков, он уже неслышно пробирается по рядам ивановцев и поджидает, когда двинутся еще три полка: Пугачевский, Разинский и Домашкинский.

«Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу — они по чапаевской команде ухнут враз, вышвырнут врага из окопов и нашим заречным цепям расчистят путь. Время замедлило свой ход, каждый миг долгод, как час. Расплетались последние кружева темных небес. Проступали спелые травы в изумрудной росе. По заре холодок. По заре Мишина. Редующий сумрак ночи ползет с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжело гигантские жерла, взвизгнула страшным визгом предзорная тишина: над рекой и звеня, и свистя, и стоная шарахались в бешеном лете смертоносные чудища, рвалась в глубокой небесной тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером искр рассыпалась в жидкую тьму.

Ох... Ох... х... Ох... х... — били орудия.

У... у... з... з... и... и... и... — взбешенным звериным табуном рыдали снаряды.

В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов».

Поднялись, пошли ивановцы. Артиллерия перенесла огонь дальше. И пока она не замолкла и пока ее не двинули к переправе, был уже на правом берегу Пугачевский полк и перемещался кустистым берегом, по течению реки, чтобы охватить беляков с фланга».

«Иваново-вознесенцы стремительно, без останова гнали перед собою вражью цепь и ворвались с налету в побережный поселок Новые Турбаслы. И здесь встали — безоглядно зарваться вглубь было опасно. Чапаев быстро стягивал полки на том берегу. Уж переправили и четыре громады броневиков — запыхтели тяжело, зарычали, грузно поползли они вверх — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких колеях, в рыхлом песке побережья сразу три кувырнулись — лежали бессильные, вздернув вверх чугунные лапы. Отброшенный вверх неприятель пришел в себя, осмотрелся зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые батальоны — и, сверкая штыками, дрожа пулеметами, пошел в наступление. Было семь утра».

За четыре часа ивановцы растрясали запас патронов. А новых не было: пароходики перебрасывали то артиллерию, то другие батальоны.

«Иван Кутяков отдал приказ:

— Ни шагу назад! Помнить бойцам: надеяться не на что — сзади река, в резерве только... штык!

И когда неприятель упорно повел полки вперед, когда зарыдали Турбаслы от пулеметной дробы — не выдержали цепи, сдали, попятнулись назад.

— Берегите командующего! В пекло его не пускайте! — крикнул Чапаев артиллеристам, а сам вместе с Фурмановым переправился на правый берег и поскакал вдоль цепей.

— Ни шагу назад! Принять атаку в штыки! Нет переправ через реку! Ложись до команды! Жди патронов!

Фрунзе увидел в бинокль, как качнулись его части; переправился с Трониным, подскакали к передней цепи, прыгнули с коней.

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед! Ура!

«И близкие узнали и кликнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!

Словно током, вдруг передернуло цепь. Сжаты до хруста в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рванулись слепо, дико вперед, опрокинули, перевернули, погнали недоуменные, перепуганные колонны».

Рядом с Фрунзе — Тронин. И меткая пуля пробилась ему грудь навывлет. Фрунзе приказал отнести раненого товарища к переправе. Только теперь Кутяков узнал, что командующий в передней цепи, с винтовкой. Он послал гонцов, чтоб прикрыли его. И «наказал под дулом нагана:

— Следить все время. Быть около. Живого или мертвого, но вынести из боя, к переправе, на пароход!

Берегом уже гнали повозки патронов — их, ползком волоча в траве, разносили по цепям, как только полегли они за Турбаслами. И когда осмелели, окрепли наши роты — поскакал обратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь: коня — наповал, Фрунзе сотрясся в контузии. Живо ему на смену другого коня, с трудом посадили, долго не могли сговорить-совладать, чтобы справиться к пароходу, — он, полубеспамятный, уверял, что надо остаться в строю...

Чапаев командовал на берегу: всю тонкую, сложную связь событий держал в руках. Скоро и он выбыл из строя — пуля пробилась голову. Взял командование Иван Кутяков. Жарок шел до вечера бой. Ночью искрошили офицерские батальоны и лучший у врага каппелевский полк...

Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настезь».

Да, роковой был день 8 июня 1919 года, накануне взятия Уфы. Тронина увезли в Бугуруслан — к счастью, пуля не задела сердца, и его удалось спасти. Пудовая бомба с самолета белых упала позади Фрунзе, перед крупом трепетной Лидки, когда она взвилась под всадником на дыбки и круто разворачивалась на задних ногах. Ее разорвало. Падая, она придавила боком хозяина, которого взрывной волной ударило в левый бок — в щеку и в руку. Из уха пошла кровь, рука онемела. Его вытащили из-под коня, подсадили на другую лошадь и кое-как уговорили переправиться, пока самолеты не сделали очередной заход. По Чапаеву дали очередь из пулемета с большой высоты. И пуля, пробив сукно фуражки, засела в черепе. Но неглубоко. Когда вынимали ее, Василий Иванович сидел на табуретке, стиснув зубы, не жаловался и не стонал. А как только перевязали, растолкал «медицину» и снова поскакал в бой. На диво щадили пули Ивана Кутякова, и он сделал все: выдвигал и выдвигал полки, кидал в тыл конницу и отбивал «психическую атаку» каппелевцев. И призывал сделать последний рывок на Уфу, которая так манила второй день чапаевцев, сверкая куполами на высоком бугре междуречья.

Фрунзе, придерживая у груди левую руку, прискакал раньше арьергардных отрядов. Его встретил перевязанный Чапаев в простреленной фуражке, сдвинутой к правому уху. И отрапортовал:

— С победой, товарищ командующий! — Глаза его горели, конь под ним гарцевал.

— Благодарю, Василий Иванович!.. Откровенно говоря, не ожидал тут встречи с вами. Я дал указание врачам предписать вам покой. А вы опять за свое? В нарушение?

— Вы уж не сердитесь, Михаил Васильевич! Ей-богу, покойно мне будет только среди своих, в Уфе... А вот вам бы... не стоило!

— Ладно, ладно! — улыбнулся Фрунзе. — Оба нарушили, вместе и ответ держать. Хотя победителей не судят; да и за этот бой под городом врачи нам сделают скидку...

Среди ликующих чапаевцев Фрунзе и Чапаев добрались до Большой Сибирской гостиницы. И самостийно начался парад: не по форме, без равенства в рядах; пешим строем, на двуколках, на орудийных лафетах, на конях, с шашками наголо.

Войска шли и шли, и командующий, поднимая здоровую руку, горячо благодарил их за верность Родине.

Федор Федорович Новицкий правильно отмечал, что контрудар по Колчаку представляется «настолько искусным, а результаты его явились настолько большими, что, не будь впоследствии победной операций на Туркестанском и, особенно, на Южном фронтах, все равно за М. В. Фрунзе была бы обеспечена слава великого пролетарского полководца».

Партия так и оценила действия Михаила Васильевича, и он был награжден орденом Красного Знамени за блестящую организацию и проведение победоносного контрудара, за личное мужество и храбрость в боях под Уфой. Орденом был награжден и Чапаев и группа его товарищей.

Фрунзе отчетливо видел, что развитие удара по Колчаку неизбежно, потому что «верховный» уже не мог противостоять красным силам ни в одной точке. Он уже уступил территорию до 300 верст в глубину в центре своей группировки и на северном участке, сдал в плен 12 тысяч солдат, 220 офицеров и генералов. 25 тысяч белых усеяли костями гигантское поле битвы. И, огрызаясь, продолжал пятиться к Уралу.

Правда, весьма оживились Деникин и Юденич, спасая Колчака от разгрома. Троцкий и его ставленники, действуя по способу Тришки, который так латал свой дырявый кафтан, что стал притчей во языцех, отобрали у Фрунзе 2-ю и 31-ю дивизии, перебросили их под Петроград, Царицын и Воронеж. И выдвинули план, который Фрунзе считал странным, нелепым, чудовищным: Колчака дальше не гнать, очистить лишь от него районы возле Оренбурга и Уральска и этим ограничить свои усилия на Восточном фронте.

— Валериан Владимирович, это же равносильно предательству! Сейчас мы перекинемся на Деникина, а Колчак окрепнет на Урале, использует мощь его заводов. Через полгода — все начинай сначала!

— Сергея Ивановича Гусева перевели в Москву. Он изложит Ленину нашу точку зрения!

Действительно, Гусев приложил силы, чтобы дезавуировать план наркома обороны и главкома. 13 июля 1919 года, на пленуме ЦК РКП(б), победила ленинская мысль: освободить Урал до зимы! Главком Вацетис был заменен С. С. Каменевым. Фрунзе стал командующим Восточным фронтом. Троцкий демонстративно отстранился от военных дел на востоке.

Теперь у Михаила Васильевича образовалось два обособленных направления: на Сибирь и на Среднюю Азию. И он очень торопился из Москвы в Симбирский штаб. Но его вызвал Владимир Ильич.

С глазу на глаз встретились они в кремлевском кабинете Ленина. Очень трудно было Ильичу — это Фрунзе понял с первой минуты: никогда еще революция не переживала такого страшного момента. Ленин взволнованно ходил из угла в угол, не присаживался и Михаил Васильевич. То они подходили к карте, и Фрунзе объяснял обстановку в предгорьях Урала, то останавливались у окна: на площадке сменялся караул; то снова подходили к карте: Россия казалась шагреновой кожей на ущербе, оборванной почти со всех сторон когтями хищников, и слишком близко от Москвы и Питера пролегла волнистая, зловещая линия фронта.

Ленин говорил и спрашивал, пытливо глядя Фрунзе в глаза. Командующий отвечал уверенно. Ленин подходил к столу и что-то записывал на листке из блокнота. Но Михаил Васильевич еще не знал, что из этой долгой беседы рождались некоторые положения знаменитого ленинского «Письма к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком».

Владимиру Ильичу нравилось, что Фрунзе не вешал головы и говорил непреклонно:

— Через месяц я доложу вам, что Урал очищен!

— Не так круто, батенька! Я хотел бы верить вам, но вы же понимаете карту лучше меня и видите, как замыкается опасный круг. Пал Царицын, Деникин захватил весь юг России, его войска на линии Балашов — Поворино — Новохоперск — Белгород — Александровск. На Украине — Петлюра, немцы, бандиты-атаманы и всякие «батьки». Шесть тысяч под ружьем в Северном корпусе Юденича. С ним и «папа Родзянко»: он накаливает банды Булак-Балаховича. Заговор в Питере, и перепуганный Григорий Евсеевич Зиновьев замыслил эвакуировать заводы. Хаос в Москве: ни грамма запасов продовольствия, почти

поголовно стоят заводы... А вы — Колчака через месяц! Не увлекайтесь. Оптимизм — отличнейшая штука, но вам с Куйбышевым не все бы надо видеть в розовом свете!

— Владимир Ильич, никто не знает Колчака лучше меня. Честное слово! — непосредственно и простодушно сказал Фрунзе. И Ленин улыбнулся. — Да и не было еще оснований обвинять меня в прожектерстве!

— Не было. Вы правы. А как с Актюбинским направлением?

— Там хуже. Тухачевского я направлю Колчаку в лоб, Чапаевскую дивизию — на юг. Но одного Чапаева недостаточно. Однако я не прошу новых подкреплений, справлюсь сам. Только запретите выхватывать из моих армий боевые соединения. Хотя бы на один месяц. И дайте больше пулеметов и патронов к ним. Часть винтовок я получил, их мало. Но как-либо обойдусь.

— Ну, пора! — Ленин глянул на часы и привычным жестом опустил их в карман жилета. — Сейчас у меня Политбюро. — Он взял бумажку, на которой делал пометки. — Один лишь вопрос: каковы у вас планы после разгрома Колчака?

— Я скоро не буду нужен на Восточном фронте: дело довершит Тухачевский. И Филипп Голощекин со своей партизанской армией за Уралом. Необходим Туркестанский фронт — пробивать дорогу к хлопку и нефти. Вот и отдайте его мне, а там — поглядим.

— Мысль интересная! И Куйбышев останется с вами?

— Обязательно! И — Элиава, Баранов, Новицкий. Впрочем, обо всем я доложу вам подробно.

— До свидания, товарищ Арсений! Вижу, что не ошибся, когда рекомендовал вам подумать о военном пути...

Поезд шел медленно, и снова выдалась относительно спокойная, хоть и короткая летняя ночь — почитать, поразмыслить. У Елены Дмитриевны Стасовой, недавно переехавшей из Петрограда после смерти отца, удачно перехватил он кипу французских и английских газет. Далеко не все было утрачено из былого увлечения языками — он свободно обходился без словарей.

То, что касалось Советской России, было писано так, будто она уже закрыла глаза и готовилась испустить последний дух. Хвастливо болтали о великих победах белого оружия заправили Антанты. Словоохотливые генералы делали «секрет полишинеля» из военных приготовлений Колчака, Деникина, Врангеля и Юденича. Каутский и Ко раздавали интервью, из которых разбойники пера мастерили всякие измышления.

В этой грязной куче мусора попадались и строки деловой информации. Так, он обнаружил заметку о первой почтовой корреспонденции, отправленной самолетом в августе прошлого года из столицы Франции в Сен-Назер: он был конечным пунктом авиалинии Париж — Ле-Ман — Сен-Назер. И Фрунзе пожалел, что в беседе с Ильичем упустил вопрос об авиации. После того как десять «летающих гробов» Колчака едва не сорвали переправу через Белую, он твердо решил сформировать на Восточном фронте два-три новых авиационных отряда.

Много было сообщений о гражданской войне. Уинстон Черчилль откровенно похвалялся в парламенте, что сколотил блок четырнадцати государств против большевистской России, и Колчаку недавно сообщил, что переслал Деникину для закупки вооружения почти 15 миллионов фунтов стерлингов. И что в армии Деникина работает обширная британская миссия — 2000 офицеров и сержантов.

С восторгом описывалась «московская директива» генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина. Как он задумал нанести главный удар по Москве через Курск и Воронеж. И как Кавказская армия барона Врангеля двинется к Белокаменной от Саратова и Балашова через Пензу, Нижний Новгород и Владимир, поддержанная на Нижней Волге уральским казачеством. И Донская армия генерала Сидорина проложит путь через Рязань, а добровольческая армия генерала Май-Маевского — через Орел, Тулу. И еще заявит о себе группа войск генерала Добровольского — от устья Днепра до Александровска. А всю сухопутную армаду Антона Ивановича активно поддержит Черноморский флот.

Да, картина складывалась безрадостная!

Но на своем Восточном фронте он мог кое-что сделать, чтобы «московская директива» Деникина, хоть в одной части, осталась страшной только на бумаге. Срочно надо наводить порядок в оренбургских и уральских степях, чтобы Дутов, Белов и Толстов не сомкнулись с бароном Врангелем и не использовали волжскую магистраль для движения к Москве. План этой операции он и разрабатывал в деталях.

В черной туче, что двинулась на него с газетных страниц, мелькнул и луч света: партизаны здорово досаждали тылам Колчака. Их было тысяч сорок на просторах Си-Вири и Дальнего Востока. За головы их руководителей — Голощекина, Вострецова, Щетинкина, Кравченко, Мамонтова, Громова и Лазо — были обещаны крупные суммы. В этом перечне попала Фрунзе и фамилия Постышева.

Как и предполагал Фрунзе, Оренбург держался стойко. В Уральске было хуже: Иван Плясунков не сдал город белым, но силы были на исходе: кончались патроны, гарнизон доедал ослабевших лошадей; тревожные, бессонные ночи всех бойцов вымотали так, что они бродили как тени. Но туда двигался Чапаев, и ключ от Уральска был в его надежных руках.

Тухачевскому сообщил Фрунзе, что Ленин одобрил его план разделения Восточного фронта, как только Колчак откатится за Уральский хребет.

— Я беру Туркестанский фронт, вам — гнать «верховного» безостановочно.

1 июля Колчак сдал Пермь, через две недели — Екатеринбург. Освобождение Уральска от блокады Фрунзе ожидал 15 июля. Чапаев, освободив свой родной город Николаевск, пробился на четыре дня раньше. И Михаил Васильевич 11 июля телеграфировал Ленину: «Сегодня в двенадцать часов дня снята блокада с Уральска. Наши части вошли в город».

— Привет тебе, Плясунков, от Михаила Васильевича! — сказал Чапаев отошавшему комбригу. — Он в тебя верил — и не ошибся!

Тухачевский развивал наступление с блеском: 25 июля он взял Челябинск, вслед за ним — Троицк. Теперь адмирал бежал по Великому Сибирскому пути, бросив на произвол судьбы Дутова, Белова и Толстова.

Генералы вскоре поняли, что они обречены. Но не сдавались и часто не принимали открытого боя, стараясь нападать подвижными группами кавалерии на зазевавшиеся гарнизоны красных. Фрунзе разгадал их тактику и дал директиву командарму-1: «Последнее время в армии наблюдаются случаи внезапных нападений противника. Причем части захватываются врасплох и несут бессмысленные потери. Приказываю срочно расследовать эти случаи и донести мне, почему это происходит и как поставлена служба сторожевого охранения. Обратите строгое внимание на постановку связи в частях и на отсутствие долгое время сведений о развитии боевых действий».

Но, к великому несчастью для Красной Армии, в такую засаду попал и легендарный Чапаев со своим штабом.

Он двинулся от Уральска в сторону Каспийского моря по тракту на Лбищенск. Положение у него было очень трудное: жара, бескрайняя степь без кустика и деревца, чтоб укрыться от зноя. Бойцов мучила жажда: отступающие казаки отравляли колодцы или забрасывали их трупами людей и лошадей. Фурманов сообщал Реввоенсовету 4-й армии: «Объезжая цепи в течение последних дней, вижу невероятно трудное положение красноармейцев. Нет белья, лежат в окопах нагие, сжигаемые солнцем, разъедаемые вшами. Молча идут в бой, умирают как герои, даже некого выделить для наград. Все одинаково честны и беззаветно храбры. Нет обуви, ноги в крови, но молчат. Нет табаку, курят сушеный навоз и траву. Молчат. Но даже молчанию героев может наступить конец. О благороднейших героях мы заботимся не по-геройски. Мы, несомненно, неправы перед ними. Сердце рвется, глядя на их молчаливое терпение. Не допустим же до разложения одну из самых крепких твердынь Революции. Разуьте и разденьте кого хотите. Пришлите материал, мы сошьем сами, только дайте теперь что-нибудь. Мобилизуйте обувь и белье у населения».

Кое-что выслали срочно. Но с боеприпасами все шла задержка. И когда Чапаев побывал в 3-й бригаде, он написал в штаб армии гневное письмо: «Такой участок для одной бригады охранять невозможно. Распыленная по одной роте, она не в силах охранять данный участок. Части могут быть легко разбиты противником, а поддержка ниоткуда не придет... Я нахожусь в совершенном неведении, что за задачи 25-й дивизии? Боевой задачи нет никакой. Отдыху тоже нет, и распылили всю дивизию мелкими частями, командному составу не в силах следить за порядками в частях и отдавать срочные распоряжения. Таким образом, дивизия доводится до разложения... Все войска... на протяжении 250 верст лежат в цепи под палящим солнцем и более двух месяцев не мыты в бане. Некоторых паразиты заели. Если не будет дано никакого распоряжения, я слагаю с себя обязанности начдива, мотивируя нераспорядительностью высшего командного состава, передачей некоторых частей в другие армии...»

Положение выправлялось медленно. И вскоре он написал, как он бедствует с боеприпасами: «Из-за отсутствия патронов я не в состоянии двигаться дальше. В передовых базах имеется 5 тысяч патронов, на складе в Уральске — 3 тысячи. До получения патронов я не отдам никакого оперативного приказа, за исключением, если обстановка заставит отступить, о чем я говорить могу смело. С патронами я никогда не отступал, а без них не стыдно отступать. Держаться на занимаемых позициях нельзя без патронов, можно погубить всю дивизию».

К сожалению, Фрунзе, занятый формированием Туркестанского фронта и нанесением решающего удара по Южной армии противника (было взято 45 тысяч пленных и открыта дорога в Среднюю Азию), узнал о бедственном положении Чапаева слишком поздно. Он послал к Василию Ивановичу комиссаром Павла Батурина взамен Фурманова. Пока же Дмитрий Андреевич добрался до Самары и дождался возвращения командующего из Оренбурга, Чапаев был мертв...

И эта весть о гибели славного боевого товарища омрачила радость победы на Туркестанском направлении. В приказе по войскам фронта от 4 октября 1919 года Фрунзе почтил память Чапаева: «Пусть не смущает вас ничтожный успех врага, сумевшего налетом кавалерии расстроить тыл славной 25-й дивизии и вынудить ее части несколько отойти к северу. Пусть не смущает вас известие о смерти доблестного вождя 25-й дивизии товарища Чапаева и ее военного комиссара товарища Батурина.

Они пали смертью храбрых, до последней капли крови и до последней возможности отстаивая дело родного народа. Я ожидаю от всех войск 4-й армии строгого и неуклонного выполнения их революционного долга. Ожидая, что их мощный, сокрушительный удар разобьет все надежды врага и отомстит за гибель своих вождей. Теснее смыкайте ряды, товарищи, крепче сжимайте винтовки в руках и смело вперед на полуиздыхающего, но все еще дерзко сопротивляющегося врага.

В увековечение славной памяти героя 25-й дивизии товарища Чапаева Революционный Военный Совет Туркестанского фронта постановляет:

1. Присвоить 25-й дивизии наименование: «Дивизии имени Чапаева».
 2. Переименовать родину начдива Чапаева гор. Балаково в гор. Чапаев.
- Вечная слава погибшим борцам! Мщение и смерть врагам трудового народа!»

За Советский Туркестан

В августе 1919 г... был назначен командующим армиями Туркестанского фронта (11-я, 4-я, 1-я и войска в Туркестане). В течение сентября... провел операцию по окружению и уничтожению южной армией Колчака под командой генерала Белова. В результате... были восстановлены связи с Туркестаном и обеспечен переход оренбургского казачества на сторону Советской власти.

В течение декабря руководил операциями по ликвидации Уральского фронта, что и закончил в конце декабря со взятием нами г. Гурьева и занятием берегов Каспийского моря.

Оставаясь командующим армиями Туркестанского фронта, был назначен членом комиссии Всероссийского центрального исполнительного комитета по делам Туркестана, а также членом комиссии Центрального Комитета РКП по делам Туркестана.

С 15 февраля по август 1920 г. работал в Туркестане. Руководил операциями по ликвидации Семиреченского белогвардейского фронта. В конце августа руководил операциями по ликвидации бухарского эмирата и по созданию Бухарской народной Советской республики.

М. Фрунзе

Отъезд в Среднюю Азию задерживался.

В августе 1919 года, когда был создан Туркестанский фронт, железную дорогу на Актюбинск перерезали оренбургские казаки. И больше месяца ушло на то, чтобы разложить их части и окончательно ликвидировать их сопротивление.

Эти казаки воспользовались тем, что Фрунзе обрушил все свои главные силы против армии Ханжина в районе Уфы, перешли в наступление и подняли восстание в тылу Южной группы, чтобы вернуть Оренбург.

Их яростные атаки на осажденный город не имели успеха: вооруженные рабочие и очень малый гарнизон, рассылая в Москву и в Самару призывы о помощи, кое-как выдержали осаду. Положение было ужасное: беляки стояли в трех-четыре верстах от городских окраин, почти два месяца непрерывно атаковали конными отрядами, били по центру из орудий. Голод, истощение, тиф — они помогали белым. Но как писал Фрунзе в одном из приказов, «вооруженные рабочие доказали, что здоровый подъем духа, воодушевленный идейной борьбой, может не уступать порою вековому искусству казаков владеть шашкой и ружьем...».

Умело воспользовался Фрунзе и авиацией: с самолетов снежным вихрем падали сотни и тысячи листовок над каждым скоплением белых конников. И они тайком от офицеров жадно приобщались к большевистской правде. И страшно становилось им от известий, что Колчак одной ногой уже в могиле, а Красная Армия гонит его по Сибири в хвост и в гриву. И оставил он оренбургских рубак на произвол судьбы. А ведь им скоро капут в безводных пустынных степях Киргизии. И не вернуться им к своим куреням, над которыми уже реет знамя новой жизни. Но и радостно было узнать, что ждет их полное прощение, если они вернуться с повинной. И можно стать «красным казаком», чтоб никакой Колчак или Деникин не осквернял земли Оренбургского края; и можно три недели до зачисления в красную часть побыть дома, да еще и получить за коня, отобранного для нужд Красной Армии, 6000 рублей да за каждый седельный убор — по одной тысяче. А если перевалило за сорок годов, то и вовсе можно остаться в семье, на поруках у станичного общества.

И чем дальше уходили казаки от своих куреней под натиском войск Фрунзе, тем острее работала их растревоженная мысль. И они сначала единицами или кучками, а затем целыми эскадронами и полками начали сдаваться в плен.

13 сентября 1919 года у станции Мугоджарские горы соединились войска, шедшие навстречу из Актюбинска и Оренбурга. Путь на Ташкент был пробит!..

В Оренбург приехал «всероссийский староста» Михаил Иванович Калинин с агитпоездом «Октябрьская Революция». Он привез подарки героическим защитникам города. Потом вместе с Фрунзе обошел части, направляющиеся на передовые позиции, и наградил группу отличившихся воинов орденами Красного Знамени.

— Я вам в тот раз вручил орден наспех, Михаил Васильевич. Приходите нынче в вагон, хоть почаевичаем по русскому обычаю, Калинин дружески протянул руку.

До сих пор встречались они только в спешной деловой обстановке: на партийных и советских съездах, на пленумах ЦК. Фрунзе с уважением относился к старшему товарищу, и Калинин выделял его среди военных. Но почему-то из их встреч не возникла молниеносно та близость, что связывала его со Свердловым. Конечно, Яков Михайлович лучше знал Фрунзе. В цепкой памяти его Михаил Васильевич надежно ассоциировался с удивительным Арсением, и часто он сам искал встреч с ним.

Но и Фрунзе увидел «всероссийского старосту» в ином ракурсе сегодня утром, когда был созван митинг пленных казаков. Вчерашние колчаковцы не скрывали удивления:

— Гляди-ка, простой мужик, а — верховная власть?! Значит, проспали мы что-то, пока держались за черного адмирала!

Нет, не проспали, а покрыли себя позором, потому что подняли руку против многострадального великого русского народа!

Калинин так и начал говорить с ними: по-мужицки, сплеча; и пересыпал свою речь словами крепкими, солеными, когда корил их и ругал за измену рабоче-крестьянской власти.

— Почему вы, мужики, кинулись с ружьем, с пикой, с шашкой на мужика и на рабочего в красноармейской гимнастерке? Они царя скинули, генералов его, помещиков и буржуев, а вы, значит, за нового царя и за всю его шатию-братию?

— Не, не! — густо прокатился гул по площади.

— Вот вам и «не»!.. Рабочие и крестьяне создали государство трудящихся, и я перед вами — представитель их власти: тверской мужик и питерский пролетарий. Какой же я вам враг? Или — к примеру — командующий товарищ Фрунзе. Какой он вам враг, коли царь дважды подводил его к виселице? И я вам точно скажу: ослепила вас ненависть кулацкая. Значит, сидит у вас под личиной мироед, если Колчак так легко поймал на крючок, пустив слух по округе, что красные порушат казацкое хозяйство и отберут землю. А вот такой думки не было: велик и могуч победивший русский народ, и богатств в руках его не счесть, и зачем ему зариться на вашу землю, коли земли этой теперь столько, что и за сотню лет всю ее не засеешь? И такой вы мысли не допускали, что английский купец не из милости дает вам деньги и пулеметы, чтоб убивать своих братьев по крови, по классу. Нет, он посылает эти пулеметы, чтоб вас, дураков, связать крепкой цепью, а — за вами — нас: всю коренную Россию!..

Потом он откровенно говорил, как трудно сейчас жить рабочему и крестьянину в голоде и в холоде и как они героически отбиваются от страшной своры империалистов.

— Но нет уже такой силы, чтобы убить революционный дух в русском народа, хотя борьба отчаянная и момент острый. Вот вы и думайте, за кем идти: не время лузгать семечки у плетня. Если решите, что место ваше рядом с нами, то приходите с открытым сердцем. Двинемся на контру вместе, и мы примем вас как товарищи!..

Да, никто не говорил так с казаками: начистоту, без окрика и без угрозы, давал понять, что не враги они, а слепое оружие в руках злобной белогвардейщины.

И одним духом заявили они о своем желании в краткой резолюции митинга: «Мы до сего времени были обмануты царскими старыми слугами, которые силой гнали многих из нас в свою разбойничью шайку. Мы клянемся перед всем честным трудовым народом Советской России, перед лицом высшего представителя трудовой рабоче-крестьянской власти председателя ВЦИК товарища Калинина, что отныне с оружием в руках пойдем... со всеми рабочими и крестьянами против богачей и кровопийц мира...»

Калинин был так же прост и в своем салоне и встретил Михаила Васильевича непринужденно, с доброй улыбкой. И — хлебосольно.

— Будем как дома. Вагон мой — дом мой, почти как у вас. Четвертый раз кочую по фронтам, и все неделями да месяцами. Вот уж никогда не думал, что придется так коротать дни на колесах.

Он заметно устал за долгий день: смотр войскам, митинг; да еще два завода, где он долго напутствовал рабочих, как важно для страны немедленно пустить в ход станки. Скинул сапоги, пиджак и остался в синей косоворотке с белыми пуговицами, как мастеровой

в кругу семьи в свят день, когда можно хоть на миг забыть о тяжелой работе. И пригласил гостя к самовару. И достал из походного поставца бутылку «смирновской».

— Вожу на случай простуды, Михаил Васильевич. Бывшему мастеровому хорошо помогает, да и командарму, надо полагать, не во вред. А сегодня обычай нарушу: надо отметить ваш орден чин чином!

— Есть и еще добрый повод, Михаил Иванович!

— Это какой же?

— Стокгольм! Год 1906-й!

— Погоди, погоди! — Калинин нацепил очки и пристально поглядел на Фрунзе, мучительно напрягая память. — Постой, постой, не говори, сам вспомню! Ты же тогда мальчик был, а?

— Ага! Моложе меня не было.

— Бог мой, Арсеньев? От ивановских ткачей?

— Он самый!

— Ну, товарищ Арсений, вот это день у нас! Да как же я тебя вдруг-то не признал?

— Годы, Михаил Иванович! Оставили они много тяжелых следов. Да и бородища, нарочно не стригу перед Ташкентом, там ее старики уважают. И потом — как вы могли подумать, что организатор мирных ткачей станет водить полки Красной Армии?

Стали вспоминать, как ехали на съезд. И Калинин, давясь смехом, рассказал, как он крепко спорил с меньшевиком в каюте, когда пароход сел на мель. Пожалуй, они бы и не заметили в споре этой аварии. Но помог... чемодан.

— Мой чемодан, понимаешь, мой! Книжки там и новая пара ботинок для заграничной экипировки. Вот он и поставил точку в споре: свалился от толчка с полки и этому меньшевику — тят по лысине! Как говорится, не взял словом, так доконал чемоданом. Спорщик тот схватился обеими руками за голову и пулей вылетел на палубу. Мой верх!..

Так и пошло: и смешное вспомнили и грустное. Где да как. И что было. И что стало. И про деникинщину, что чумой навалилась на голодную страну, и про недобитого Колчака, и про Среднюю Азию с хлопком и с нефтью; и про то, сколько годов уйдет, чтоб поднять порушенное хозяйство — заводское и крестьянское. И только под самый конец вспомнили про орден. И допили под него, что осталось на доньшке.

— Трудно дается все, Михаил Васильевич. И с орденом было мороки вдосталь. Покойный Яков Михайлович как-то сказал Ильичу: «Нельзя быть организованному государству без орденского устава! И уже много героев, которых надо награждать за революционную доблесть!» — и Ильич одобрил идею. И Свердлов год назад — шестнадцатого сентября — подписал декрет ВЦИК: «Знаком отличия устанавливается орден Красного Знамени с изображением на нем Красного Знамени развернутого, свернутого или усеченного по форме треугольника»... Насчет знамени все ему было ясно, а как это будет выглядеть, никто толком не знал. Ни крест, ни звезда, а знамя — чтоб горело над сердцем как символ пролетарской отваги... Создали комиссию — провести конкурс среди художников и одобрить лучшее их предложение. Был я в ней да еще Виктор Ногин и Авель Енукидзе. Наташили нам орденов со всего света — из царских кладовых. Мы их и так вертели и эдак, но все не то. А главное — и конкурс проводить некогда: уже много появилось достойных для награды товарищей. Да и художники с осьмушки плохого хлеба живо не сработают. Выручил Виктор Павлович Ногин: «Я, — говорит, — нашел нужного человека — товарища Лопашова. И он присоветовал мне двух Денисовых — отца и сына. Оба они художники, а сын еще и гравер и сейчас работает в Наркомпросе у Луначарского». Ногин с ними встретился. Отец лежал больной. Согласился сделать рисунок сын — Владимир Васильевич. Быстро он набросал шесть эскизов — с пушками, винтовками, шашками и пятиконечными звездами на фоне алого знамени. Остановились на этом варианте, что у тебя. Но Яков Михайлович ни серебра, ни золота не дал, приказал делать из латуни. Фирма братьев Бовзей, что поставляет нам красноармейские звездочки на фуражки, отштамповала штук полтора. Глядим: и бедно очень, и велики ордена, и отделка

низкопробная. Передали заказ в Питер, на Монетный двор. И Владимир Ильич сделал замечание: «Надо бы из серебра, с позолотой!» Ну и начали награждать. Сегодня уже вторая сотня идет. Начали же с Блюхера, первый орден у него...

Михаил Иванович уехал через неделю.

Побывал он в частях на ближних подступах к городу, заглянул к станичникам. И каждый день делился с Фрунзе радостными вестями: какой рудник ожил в крае, какой завод торжественно собрал гудком утреннюю смену, когда выйдут паровозы на линию из ремонта.

Артисты и лекторы из его агитпоезда без передышки выступали на импровизированных площадках, в театре, в цехах заводов. И многие красноармейцы в первый раз смотрели, как играют люди на сцене. А когда школьники вновь пошли в классы, Калинин сказал:

— Ну все, Михаил Васильевич! Гражданская жизнь налаживается, надо мне ехать в Москву, готовить седьмой съезд Советов. Да еще побывать до него на Южном фронте. Ленин стянул туда все силы, каша заваривается крутая, и Деникин скоро побежит, как твой Колчак! До встречи на съезде, товарищ Арсений!..

Михаил Васильевич уехал бы в Ташкент, как только проводил в Москву Калинина. Но крупная и очень подвижная группа уральских казаков под командой генерала Толстова продолжала бесчинствовать на огромных просторах: до Гурьева по реке Урал и от Саратова до Астрахани — вдоль Волги.

И он ограничился тем, что направил в Ташкент своим заместителем Федора Федоровича Новицкого, а сам направился в Астрахань к Сергею Мироновичу Кирову. Там положение 11-й армии вызывало тревогу: части укомплектованы плохо, натиск против них опасный: Толстов — с востока, кавалерия генерала Драценко — с юго-запада. В самый критический момент, в районе Черного Яра, пришлось самому отбивать бешеные атаки врага.

«Был яркий солнечный день, — вспоминал будущий писатель Всеволод Вишневский. — В небе — белые пятна шрапнели... Киров, Куйбышев и Фрунзе идут на передовую линию. Пули поднимают песок под ногами... Слышны протяжные завывания, гиканье. Киров, Куйбышев и Фрунзе с винтовками в руках лежат в цепи и отбивают атаку...»

Не впервой было так: появлялся Фрунзе лицом к лицу с атакующим врагом и приносил этому врагу крушение. Командиры и комиссары вдруг находили самое решающее время и место для удара; молниеносно подтягивались резервы и с ходу шли в лобовую атаку, с флангов действовала кавалерия, самолеты прикрывали ее с воздуха. И перед ужасной решимостью красных теряли инициативу и обращались в бегство самые стойкие части белых.

Так вышло и под Черным Яром. Кавалерия генерала Драценко полегла под огнем пулеметчиков, метких стрелков из винтовок, метателей ручных гранат и бомбовых ударов с борта самолетов. И навсегда откатилась от Волги.

Против уральских казаков Фрунзе действовал и словом и делом. К ним было обращено слово Ленина в первых числах декабря 1919 года. Владимир Ильич именем Советской республики гарантировал «личную безопасность и забвение прежних вин всем ныне оставшимся по ту сторону фронта, вплоть до высшего командного состава бывшего войскового правительства, при условии немедленного изъявления ими покорности Советской власти, немедленной сдачи в полной целостности и сохранности всех запасов оружия, обмундирования, военного снаряжения и сохранения в неприкосновенности всех предприятий, промыслов и заведений, имеющих важное значение как для края, так и всей Республики».

Но казацкие атаманы упорствовали. И, боясь повторения истории с оренбургскими казаками, гнали и гнали в бой мелкие и крупные части, совершали ночные налеты на гарнизоны.

В противовес такой тактике беляков Фрунзе разработал подробную «Инструкцию партизанским отрядам». И создал такие отряды. И теперь у беляков было одно спасение —

искать защиты в степных балках и оврагах, так как партизанским отрядам Фрунзе поставил первой задачей — захват всех населенных пунктов, где бы беляки могли найти пристанища.

Удивительные марши сделали по следам белых казаков части двух армий: 1-й и 4-й. Кавалерия находилась в лучших условиях, пехота несла на своих плечах победу в страшных лишениях: бездорожье, разоренные и покинутые жителями селения, острый недостаток продовольствия и фуража — их не удавалось досылать без перебоев из нyla. Тысячами косил людей тиф; подвалили холода — с ветродуем, валящим с ног, с буранами и снежными заносами.

На предсмертную дикую злобу врага отвечали бойцы лютой революционной ненавистью. И уже повеяло дыханием Каспия, уже был близок конец всякой войне в уральских степях. И 5 января 1920 года Фрунзе телеграфировал Ленину: «Уральский фронт ликвидирован. Сегодня на рассвете кавалерия Н-ской армии, пройдя за три дня 150 верст, захватила последнюю вражескую базу — Гурьев и далее до берегов Каспия. Подробности выясняются. В глубине Киргизской степи между Уилом и Калмыковском взят в плен штакор Илецкого».

Словами летописца Пимена из драмы своего любимого поэта Пушкина мог сказать Фрунзе об итогах на Восточном фронте: «Исполнен долг, завещанный от бога мне, грешному...»

Но надо было еще побывать в Москве на VII Всероссийском съезде Советов и обстоятельно поговорить с Лениным о туркестанских делах.

Направляясь в столицу, был он в мыслях в далеком Ташкенте: там дожидались его и Новицкий и Куйбышев. И, дожидаясь, не бездействовали. Они правильно оценили обстановку: надо спешно бросать силы на разгром белогвардейской группировки генерала Литвинова в районе Красноводска.

Англичане ушли отсюда в августе 1919 года. Но лучшая белая дивизия — Закаспийская — зубами держалась за морской порт: там для белых шла помощь из Ирана и с Кавказа, там была нефть.

Войска Туркестанской республики не раз пытались овладеть Красноводском, но без успеха: англичане снабжали Литвинова оружием, басмачи активно действовали в тылу у красных.

Новицкий и Куйбышев начали с реорганизации раздробленных партизанских частей Красноводского направления. Они создали сильную и мобильную 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, которая стала ударной силой Закаспийской армейской группы Г. В. Зиновьева и Н. А. Паскуцкого. И Куйбышев совершил с ней трудный и смелый бросок по пескам пустыни Каракумы до Казанджика и до станции Айдын. Генерал Литвинов попал впросак: его дивизия сдалась в плен с бронепоездами и артиллерией. К сожалению, сам Литвинов сумел убежать в Иран через отроги Копет-Дага.

И об этом хотел рассказать Фрунзе Владимиру Ильичу Ленину. Но по дороге в Москву набрасывал он приказ № 63, в котором обзоревался путь его армий с того момента, когда сбежали из Самары эсеро-меньшевистские вдохновители Комуча и поспешно отваливался в сторону Уфы мятежный корпус белочехов.

Это был анализ боевых действий за Волгой на протяжении очень трудных пятнадцати месяцев: Советская власть утвердилась до устья Волги, от белых были освобождены губернии Самарская и Оренбургская, область Уральская, вся Башкирия, и установилась надежная связь с Ташкентом. Пленных — 150 тысяч, пулеметов — 600, орудий — 150, миллионы снарядов, 100 тысяч винтовок, аэропланов — 6, шашки, пики, седла, десятки автомобилей, паровозы, вагоны, технические, санитарные и бронепоезда, радиостанции, броневики, мастерские, интендантства, казначейства, запасы нефти! И все это можно было обратить против армий Деникина, угрожающих Москве! И только фронт Фрунзе не знал серьезных поражений в этот критический момент революций!..

«Ленин встретился с Фрунзе накануне открытая съезда Советов. Он был в отличном расположении духа: с Юденичем покончили, Деникин бежал под ударами войск Южного

фронта и Конной армии Буденного; Донбасс очищался от белых; Колчака охватили кольцом, и не сегодня, так завтра могла поступить депеша об его аресте; в Туркестан двинулись первые эшелоны из Самары.

Ленин усадил Фрунзе в мягкое кожаное кресло, сам сел напротив.

Окончился самый критический момент революции. Теперь надо было прокладывать путь к полной победе, и Владимир Ильич подчеркнул значение опыта Фрунзе на Восточном фронте: стремительный фронтальный удар, фланги, фланги. И партизанские действия в тылу противника. Все это теперь Ленин настоятельно рекомендовал использовать в войне с Деникиным.

Мысль его работала молниеносно, и каждый ее поворот сейчас же отражался и в позе и в жесте. И на лучистых морщинах вокруг карих глаз. И в интонации. Но в общем-то Ленин был необычный: умиротворенный, мягкий. Он не ходил по кабинету мелкими, частыми шагами. И даже не порывался к карте, где красная линия флажков уверенно опускалась к югу.

Говорили о всяком и очень доверительно: и о здоровье Фрунзе, и о предстоящей его экспедиции в Туркестан. Владимир Ильич поинтересовался, не приходилось ли Фрунзе бывать в Средней Азии.

— Я уроженец Семиречья. Но уже пятнадцать лет там не бывал. Но помню многое и даже не забыл киргизский язык.

Ленин напомнил о своем письме коммунистам Туркестана, о самом бережном отношении к традициям народа и об активной поддержке передовых сил. И о борьбе с национализмом — великодержавным и местным. Конечно, беспощадная борьба с главарями басмачей и эмиром бухарским заденет английские интересы. Но пора уже стукнуть кулаком по столу.

— Я так и мыслю. Туркестан очистим к осени, да так, что хорошо будет слышно и в Лондоне. — Жду от вас добрых вестей!..

Владимир Ильич отметил на съезде огромное значение победы на Восточном фронте. Впервые выступал съезде Советов и Михаил Васильевич: он передал делегатам братский привет от победителей.

Затем он заехал в Кострому и — к своим землякам — в Шуую и в Иваново-Вознесенск. Старые друзья гордились своим Арсением — талантливым и самоотверженным полководцем Красной Армии. И просили передать бойцам Туркестанского фронта, особенно ивановским ткачам из 220-го полка, что рабочие и крестьяне «Ситцевого края» «пребудут крепкими и твердыми до конца...».

Выехали из Самары 25 января 1920 года двумя поездами. В первом ехал Исидор Любимов с большой группой армейских снабженцев и внушительной бригадой заготовителей хлопка, на вербованной в Ивановском крае. Во втором — Михаил Васильевич с женой и адъютантом, со всем штатом сотрудников и имуществом штаба. Те, кто остался в Самаре, были переданы Авксентьевскому: Фрунзе поручил ему командовать войсками фронта в Заволжье.

Двигались двадцать семь суток, как во времена Пугачева и Разина, и приехали в Ташкент 22 февраля. Картину этого изнурительного переселения штаба отразил Фрунзе в телеграмме Ленину: «6-го февраля прибыли в Актюбинск. Условия передвижения неопишутемы. Поезд два раза терпел крушение. Дорога в ужасном состоянии. Начиная от Оренбурга все буквально замерзает. На топливо разрушаются станционные постройки, вагоны и прочее. Бедствия усиливаются свирепствующими буранами и заносами. Кроме войсковых частей, работать некому, а части раздеты и разуты».

В Актюбинске простояли одиннадцать дней: дожидались состава с дровами из Оренбурга. А когда он прибыл, все вместе с Фрунзе дружно взялись за топоры и пилы. Но дело было не только в дровах: чудовищным оказалось положение больных красноармейцев. И Фрунзе не смог уехать, пока не добился порядка.

Еще при смотре войск он понял, что в гарнизоне беда: вместо двух полков на плац вышли два батальона; и при студеном ветре бойцы дрожали так, что жалко было на них глядеть. Все остальные были поражены «испанкой», воспалением легких, сыпным тифом, дизентерией либо обморожены и истощены голодом. Единственный госпиталь никак не относился к разряду учреждений милосердия: бойцы валялись на койках и на соломе в обмундировании, дрожа от холода и дистрофии. Окоченевшие от мороза мертвые лежали тут же, сея кошмары среди живых, в которых еле держался дух.

Редко кто видел командующего в таком припадке гнева. И все были убеждены, что он сейчас сорвется и подпишет приказ о расстреле главного врача Мамаева.

Но Фрунзе не верил, что по своей воле этот пожилой, бородатый врач, в старой шубе под халатом, в шапке, в валенках, довел госпиталь до развала.

— Почему так? — Фрунзе опустил на табурет.

Врач схватился за голову обеими руками и зарыдал:

— Нет топлива, — слышал командующий. Город вымерз. Мы сожгли все, кроме жилья. Я валюсь с ног от голода. Врачи, сестры, санитары... голодают и мерзнут. Мы не успеваем хоронить своих сотрудников. Казните меня. Но... я не виноват. Истинный бог, не виноват. Михаил Васильевич!..

Фрунзе мобилизовал всех, кто держался в городе на ногах. Все сотрудники его из двух поездов хоронили мертвых, ходили по домам в поисках коек и белья. Разобрали на дрова последние сараи в городе, всех больных обогрели.

Фрунзе писал Ленину, что положение в Актюбинске «способно привести в отчаяние». И требовал самой срочной помощи: топлива, хлеба, врачей, медикаментов. И — добился: первая поддержка пришла из Оренбурга, от начальника гарнизона Каширина; потом из Самары — от Авксентьевского; из Москвы — от Ленина.

Теперь уже шли вести, что бедствуют с продовольствием рабочие и войска в Ташкенте. И Михаил Васильевич заторопился туда. Он оставил в Актюбинске своего старого друга — еще по ссылке в Манзурку — врача Иосифа Гамбурга и приказал ему довершить все дела, связанные с больными красноармейцами, а потом уже следовать дальше.

Как говорят очевидцы, жизнь в двух поездах командующего была ключом. Одно уже присутствие Фрунзе — внимательного и решительного — поднимало дух. Сам он много читал и требовал, чтобы каждый сотрудник готовился понять и воспринять «дух Ташкента».

Ехали без света, ложились и вставали впотьмах, мечтая об огарке. Но — учились. Внимательно вчитывались в письмо В. И. Ленина «Товарищам коммунистам Туркестана». Владимир Ильич далеко и зорко глядел вперед и хотел, чтобы зримую им перспективу хорошо видели другие. Он говорил: надо установить правильные отношения РСФСР с народами Туркестана; и эти отношения будут иметь всемирно-историческое значение, служа примером для всей Азии и для всех колоний мира, доказывая делами искренность желания коммунистов искоренить все следы великорусского империализма и повернуть народы против империализма британского и всемирного.

Конечно, никто еще не предвидел, что именно на положительном опыте Туркестанской комиссии ЦК РКП (б), СНК и ВЦИК РСФСР будет базироваться Ленин на III конгрессе Коминтерна, когда придет к обобщениям огромного значения: экономически отсталые страны могут миновать капиталистический путь развития и пойти по пути социализма, если есть в наличии хоть одна социалистическая страна.

Но по дороге в Ташкент, обогреваясь возле железных «буржук», радуясь обжигающему кипятку, реденькому пшеничному кулешу, куску хлеба и вяленой вобле, читали Ленина вдумчиво, строго. И под руками у них был приказ командующего, в котором излагались ленинские нормы поведения в Туркестане. Красная Армия — освободительница малых народов Азии от векового гнета. «Каждый красноармеец, возбудивший недовольство этих младших наших товарищей по угнетению мировым империализмом, является предателем российской и мировой революции... Каждый красноармеец, который не

остановит своего товарища от каких-либо насилий и обид, им учиняемых, является соучастником в деле уничтожения революции и... сознательным контрреволюционером...

Радостно было, когда появлялся Фрунзе в переполненном вагоне, где собирались слушать реферат Фурманова, спорить или просто посидеть в тесном кругу товарищей. Особенно вечером. Сиротинский приносил свечку, ее держали поочередно, чтобы сидеть ближе к Михаилу Васильевичу и обогревать руки ее пламенем. Фрунзе иногда рассказывал о своем детстве в Семиречье, и забавные истории из жизни босоногого мальчишки делали понятными многие вещи: и пейзаж, и климат, и сложившиеся веками обычаи. Бывали вечера, посвященные расцвету архитектуры в раннем средневековье, астрономическим поискам Улугбека, медицине Авиценны, поэзии и народным сказаниям, знаменитым походам Александра Македонского и Тамерлана. Молодые коммунистки, ехавшие работать в женотделах, на фельдшерских пунктах, в библиотеках, были взволнованы, когда Фрунзе рассказывал о тяжелой доле женщин, оскорбленных многоженством, униженных чадрой. И все близко принимали к сердцу сообщения о таких тяжелых болезнях, как трахома, пеллагра, мальтийская лихорадка и пендинская язва. И о жестоких баях, которые держат в своих руках воду для полива, вдохновляют басмачей и ведут антисоветскую линию под дудку британских советников.

— Я ведь к чему это говорю? — резюмировал Фрунзе. — Едем мы не на месяцы — на годы... А кому-то из вас придется и навсегда остаться в солнечном Туркестане. Будете активом партии и Советской власти. Так знайте и любите новый для вас край, ищите путь к сердцу народа. И пусть будут вашим девизом революционная решимость и умная осторожность!..

Иногда в вагон командующего заваливался Фурманов с ивановскими друзьями. И товарищи не скрывали удивления, что на письменном столе не только Пушкин и Чехов, книги военные, исторические, экономические, но и коран с кумачовой лентой вместо закладки.

— Это умная штука! — посмеивался Фрунзе. — Очень стройная и цельная система угнетения и обмана мусульман их реакционным духовенством. Все религии — вздох угнетенной твари, так сказал Маркс. И каждая религия набрасывает цепь на душу верующих. Но, пожалуй, нет на свете догм более коварных, чем в коране. Если бы все его суры стали уже сказкой, мы ехали бы не на бой, не на подвиг, а к празднику. К сожалению, цепи корана гнетут душу людей сегодня, и нам эти цепи рубить, рубить, рубить!..

Сиротинский записал: «Фурманов затягивал «Ревела буря, дождь шумел» или «Во субботу день ненастный...». Когда Фурманов исчерпывал свой запас песен, Фрунзе, долго откашливаясь и чуть краснея, запевал тенором: «Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь...» Но больше всего он любил петь развеселую шутивную песню «На поповом на лугу потерял мужик дугу, дугу точеную, позолоченную...»»

Так и ехали: вполсыта, вполтепла. Но с радужными планами свергнуть насилие в Туркестане и принести труженикам неугасимый свет ленинской правды.

Ольга Нестерович — она направлялась работать среди женщин в Туркестане — хорошо подметила черты Фрунзе, о которых много велось разговоров в долгом пути.

Занедужив в поезде, она отказалась уйти от товарищей с санитарный вагон. Михаил Васильевич прослышал о ее болезни и прислал две стеариновые свечи из своих скудных запасов. Это было событие! «Вручали мне свечи торжественно и осторожно, словно хрупкую драгоценность. Это не было шуткой молодых людей, ищущих повода позабавиться. И все присутствующие отнеслись к церемонии вполне серьезно, понимая, какой это щедрый подарок».

Так раскрылся перед девушкой Фрунзе как человек чуткий, который «среди множества военных и государственных дел помнил о товарище и, даже его не видев, стремился создать хотя бы минимум удобств в тех исключительно трудных условиях».

Затем она увидела Фрунзе — коммуниста и государственного деятеля. Ведь это он позаботился, чтобы никто не знал в пути вынужденного безделья и чтоб каждый занимался

ежедневно, как в школе, и на стоянках общался, беседовал с местным населением. К тому же он был пионером на любом субботнике, когда заготавливалось топливо для паровозов. И очень круто развернулся, когда спасал от гибели больных красноармейцев в Актюбинске. И запросто приходил в вагон к сотрудникам на любую беседу.

Подкупало то, что ничем он не выделял себя в кругу товарищей, общался с ними как равный. И все понимали, что в командующем раскрываются черты, органически присущие старой гвардии коммунистов. И прежде всего Владимиру Ильичу Ленину. Ведь Ленин в своем письме к коммунистам Туркестана обращался не как глава Советского правительства, а как член партии. И просил их относиться к Турккомиссии «с величайшим доверием... и строго блюсти ее директивы».

«На станции Туркестан я наблюдала Фрунзе в официальной обстановке. Местный гарнизон — несколько десятков красноармейцев — выстроился на перроне встречать командующего. Духовой оркестр играл «Интернационал». Фрунзе спокойно и даже чуть медлительно сошел со ступенек вагона, приблизился к строю, прошел вдоль шеренги солдат. Он приветствовал их официальными словами, но с теплой человеческой интонацией».

А сам командующий уже строил далекоидущие планы. Чем ближе была его ставка, тем аккуратнее выглядели бойцы. И можно было полагать, что сюда доходили руки штабных работников. А как живут воины в отдаленных гарнизонах? И не повторяется ли там печальная актюбинская история?

И чтобы развернуть военные действия в Туркестане, он решил как можно скорее выехать в инспекционную поездку во все основные гарнизоны обширного края.

Перед Ташкентом пахло родным — семиреченским: голубое, с синевой высокое небо с теплым ласковым солнцем; алого бархата первые тюльпаны на песчаных холмах; дехкане с мотыгами на бахче, обрамленной от суховея шелковицей или стройными свечками пирамидальных тополей с набухшими почками. И всюду — нежная прозелень новой травы.

Фёдор Федорович Новицкий постарался: ташкентский гарнизон встретил командующего со всеми почестями. Да и красноармейцы и командиры понимали, как важно не ударить лицом в грязь перед полководцем, имя которого стало самым звонким среди военных. Хорош был караул, четок строй — орлы! И Фрунзе, не погасив лучистой улыбки, с удовольствием обошел замершие ряды.

Да и все товарищи ждали встречи с ним на перроне. Позади стоял высокий, застенчивый Валериан Куйбышев — крутолобый, с кудрями, выбивавшимися из-под кожаной фуражки; и Шалва Элиава — маленький рядом с Куйбышевым, в простой солдатской гимнастерке, борода клином, густые усы с проседью и черные глаза — приветливые, но строгие. И Федор Федорович Новицкий — он себя чувствовал именинником в день прибытия «крестника», держался молодцом и иногда оглаживал ладонью рыжеватую эспаньолку. И — уже совсем нежданно, неожиданно — надвинулся из толпы брат Костя.

— Я до последней минуты не мог верить, что это ты — Михайлов-Фрунзе! — Костя крепко стиснул брата в объятиях. — Полководец! Гром оркестров! Весь город вышел на встречу! Ей-богу, не верил. Ну и ну!

Но это был Миша, друг, давняя надежда семьи. Конечно, годы прошли после той встречи во Владимирском центре, где брат-смертник вышел к нему в кандалах. Теперь и не сравнишь: стал шире в плечах и коренастей. Седина в густом ежике и бравые усы Кузьмы Крючкова. И ладная суконная гимнастерка из добротного сукна, петлицы, поперечные полосы на груди и боевой орден в алой шелковой розетке. И чеканная речь командира.

— Идем, брат, я познакомлю тебя с Софьей Алексеевной. Оставайся у нас, гости, занимай даму разговорами. А наш с тобой час — ближе к ночи: я тороплюсь в штаб...

В тот день появился приказ № 1 войскам Туркестанского фронта:

«Сегодня, 22 февраля, я с полевым штабом прибыл в Ташкент и вступил в непосредственное командование войсками, расположенными в пределах Туркестана.

Первая мысль и слово обращается к вам, красные воины старых туркестанских формирований.

В беспримерно тяжелых условиях, отрезанные отовсюду и лишенные братской помощи рабоче-крестьянской России, отбивая бешеные атаки врага извне и внутри, вы были грозным и стойким часовым революции здесь, в Туркестане.

Совместно с войсками Центральной России вы ликвидировали Актюбинский фронт и восстановили связь с центром. Вы разгромили контрреволюцию Закаспия и разбили грабительские планы английских хищников, протягивающих свои лапы к Туркестану. Вы крепко держали знамя революции в Фергане, разрушая козни врагов трудового народа, работающих здесь на английские деньги.

Вы без различия языка, религии и национальности объединились в братский военный союз рабочих, крестьянской и дехканской бедноты и спасли положение. Вы заслужили величайшую признательность социалистического отечества и пролетариата всего мира.

От имени высшего командования Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, от имени верховного органа ее — Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета я приветствую вас и именем Республики приношу сердечную благодарность за ваши труды на благо трудящихся.

Я приветствую и вас, войска Центра, прибывшие во имя социализма на помощь работникам Туркестана. Приветствую вас как старых боевых соратников и горжусь тем, что и здесь, в долинах и горах Ферганы, в степях и пустынях Закаспия, вы с честью поддержали свою боевую славу...»

В тот же день заседала Туркестанская комиссия, наконец, в полном составе. Определены основные функции членов. Шалва Элиава — председатель. Он же и Глеб Бокий — знакомый Фрунзе еще по Питеру в 1905 году — отвечали за советское строительство. Валериану Куйбышеву и Филиппу Голощекину поручалась партийная работа. У Михаила Васильевича — вопросы военные и политические. К последним относились и дела дипломатические.

Положение оказалось острее, чем мог судить Фрунзе, пользуясь информацией из Москвы, опираясь на деловую переписку с Новицким и на разговоры по прямому проводу с Куйбышевым. В частности, надо было немедленно дать заключение комиссии по сложному национальному вопросу из области партийного строительства.

В Ташкенте работал краевой комитет партии. А за месяц до приезда Фрунзе обочь с ним существовало мусульманское бюро партии: оно проводило разъяснительную работу среди коммунистов местных национальностей. Но часто скатывалось на позиции буржуазного национализма.

Недавно это бюро было ликвидировано. Однако нашлись люди, которые хотели бы возродить его в иной форме и настойчиво предлагали создать в Туркестане «Тюркскую республику» и — соответственно — «Коммунистическую партию тюркских народов».

— Мы пока не приняли никакого решения, дожидаясь вашего приезда, — Элиава обратился к Фрунзе.

Михаил Васильевич, хорошо знакомый с историей народов Туркестана, резко выступил против «теории» единой «тюркской нации».

— Такая нация декларируется голословно, потому что на территории Туркестана существуют несколько наций — узбеки, таджики, киргизы, туркмены. Их сближает родство языков, исключая таджикский, и духовно объединял до сих пор только ислам. Ну и местный национализм, направленный острием против колонизаторской политики царизма. Партии тюркских народов не может быть, потому что нет тюркской нации. И еще потому, что сама мысль о такой партии рождена реакционной идеей панисламизма. Нечего сказать, хороши коммунисты, идущие под флагом Магомета! Этак можно договориться и до греко-армяно-русской нации: ведь все эти народы исповедуют православие!..

Доводы Фрунзе были убедительными. Но он не ограничился критикой «тюркской партии», а высказал и свое мнение о ближайших задачах:

— Надо создавать кадры рабочего класса из местного населения. Они сами решат, какая коммунистическая партия больше выражает их интересы: в масштабе всего края или в рамках каждого отдельного народа. Мы, как я думаю, ограничимся со временем созданием Туркестанского бюро ЦК РКП(б). Разговоры о «тюркской партии» отпадут, как только мы добьемся подлинного братства и интернационального единства народов Средней Азии, включая и русских, и татар, и украинцев, и армян. Важно ликвидировать басмачество и объяснить беднейшим дехканам суть политики Советской власти. А это немыслимо, если мы не нанесем удара по великодержавному шовинизму и по местному буржуазному национализму. Именно так и ориентирует нас Владимир Ильич...

Туркестанская комиссия одобрила предложения Фрунзе. Но потребовалось много времени, чтобы они стали реальностью. Через три месяца Михаил Васильевич в письме к Ленину отметил, что сделаны только первые шаги, потому что очень живуч национализм.

«Основных группировок, выросших на почве самого Туркестана, как Вы знаете, две — одна, представляющая местный «пролетариат» и сильно окрашенная цветом так называемого «колониаторства»; другая — представляемая кучкой мусульманской мелкобуржуазной интеллигенции, выдающей себя за выразителей мнения всей многомиллионной массы туркестанского мусульманства. Все и вся здесь вращается вокруг борьбы этих группировок. «Колонизаторы» (буду их называть этим именем, хотя от него они всячески открещаются), состоя в значительной степени из железнодорожников, считают себя носителями пролетарской диктатуры в крае и претендуют на руководящую государственную роль».

Первый ташкентский день не закончился заседанием Туркестанской комиссии: братья Константин и Михаил бодрствовали далеко за полночь.

Они нежно любили друг друга. Но долгая разлука что-то оборвала в старых семейных связях, да и каждый находился под впечатлением событий дня и не вдруг стряхнул с себя груз огромных забот и отстранился от дел, чтобы с головой уйти в сладкие годы детства и юности.

Ужинали, пили чай и словно расцветали на глазах у Софьи Алексеевны. И превратились в необузданных мальчишек; били по плечу друг друга, толкались локтем, перемигивались и сыпали вопросами: «А помнишь, Мишка?» — «А ты не забыл, Костяра?» И — пошло! Хохотали и называли массу имен и фамилий, от которых что-то отложилось на душе.

Костя переменял два места в Казанской губернии, а когда надвинулся Гайда с Северной армией Колчака, заблаговременно подался в Среднюю Азию и обосновался в Ташкенте.

Мама жива и для своих лет здорова: в Семиречье не знали московского и питерского голода. И помаленьку держались главным образом за счет овощей и фруктов. Да и не замерзали так, как в обеих столицах. С мамой осталась Лида, и по-старому они в Верном.

— О тебе часто спрашивают в письмах. Мама говорит, что ты жив: она верит в твой талант обходить смерть стороною. И уверена, что ты где-то в своем Иванове. Я хоть и не верил, что ты — это ты, но хотел вызвать маму с Лидой в Ташкент. Однако передумал: дай, мол, сам удостоверюсь, что нет ошибки. Да и дорога прескверная и опасная: на каждом перегоне могут наскочить бандиты. Скажи еще, что никто в Верном и не думал, какой сын у Мавры Ефимовны. Сидеть бы ей заложницей у атамана Анненкова. А могла бы и погибнуть — этот атаман прославился зверской расправой с красными. Теперь его прогнали... Впрочем, кому я говорю? Твои же войска и отбросили его к китайской границе. И теперь письма из Верного приходят нормально — на десятый день. Порадуй маму, пошли ей письмо. То-то будет у нее разговоров с кумушками про сына — красного генерала... Я-то уж написал ей нынче...

— А Клава с Людой?

— Клава вышла замуж за Гаврилова, у нее дочь Юлька. Живут в Москве. Там и Люда...

Софья Алексеевна ушла отдыхать. Братья еще пошептались, и Костя сказал на прощанье:

- Мишка, ты теперь дядя. Но к лету будешь отцом, верь слову доктора!
- Шутишь?
- Да какие там шутки! Скажи лучше, кого ждать будешь?
- Сына бы, Костяра!
- Очень хочешь сына — будет дочь! Примета верная, без ошибки!
- Ну спасибо за хорошую весть! И дочурка — прекрасно! А то мы всё как бобыли.

Глядишь, доживем и до сына?

— Все в ваших руках, товарищ генерал! — Костя смешно откозырял и ушел в угольную черноту ташкентской южной ночи.

Долго сидел Фрунзе, думая о словах Кости, которые разбередили сердце.

Сиротинскому надо поручить найти дом: нельзя Соню непрерывно возить в вагоне, — он сделал пометку в блокноте.

«Дорогая мама! — бисерным почерком накидал он на бумаге. — Пишу тебе в первый раз после долгого, долгого перерыва. Ты уже, конечно, знаешь, что я в Ташкенте и состою в роли командующего армиями Туркестанского фронта. Как видишь, я был вынужден силой обстоятельств подвизаться на военном поприще...»

Над картой Туркестана Фрунзе и Новицкий провели не один день. Республика была огромная — больше Европы. Она включала пять областей: Закаспийскую, Самаркандскую, Семиреченскую, Сыр-Дарьинскую и Ферганскую. Иначе говоря, теперешние Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия и часть Казахстана. И до последних дней в центре республики располагались две монархии: Хива и Бухара.

Правда, хивинское ханство было ликвидировано, когда Фрунзе ехал из Оренбурга к Актюбинску: 1 февраля 1920 года. В тот день были разгромлены банды басмачей Джунаид-хана — ставленника англичан в фактического хозяина Хивы. Теперь в Хиве — в центре Хорезма — готовился народный съезд — курултай; он и должен был определить государственный статут в древнем хорезмском оазисе.

А в Бухаре, как и прежде, сидел эмир Сеид-Алим-Тюря-Джан — офицер из свиты его величества, воспитанник пажеского корпуса, фаворит Николая Второго, подарившего ему роскошную виллу в Ялте.

Романова расстреляли на Урале, Колчака — в Иркутске; Деникин продолжал бежать по Кубани к Новороссийску. Юденич спешно убрался в Данию. А тут? Такое не укладывалось в голове у многих! Тут — в окружении голодных дехкан, бок о бок с Красной Армией, почти рядом с Ташкентом — державный эмир с гаремом; сытая его свита; вопли горластых муэдзинов в честь своего повелителя. Великолепие двора, грозные телохранители и покорное смирение черни. Словом, еще не вырванная страница из «Тысячи и одной ночи»!

Конечно, эмир был обречен, но еще не вышел ему срок. Революционная ситуация лишь назревала в его владениях. Он жестоко подавлял всякое проявление освободительной борьбы, и тюрьма его была переполнена коммунистами. Бухарские большевики работали в глухом подполье, но их голос слышали в соседнем Чарджуе товарищи по оружию, которые не могли мириться с монархией в тесном кольце красных знамен пролетарской революции.

Однако у Фрунзе не было оснований для штурма Бухары: эмир формально не вел войны с Советской Россией, хотя под ружьем у него находилось до 40 тысяч солдат, натасканных английскими и афганскими офицерами. И с этой реальной силой контрреволюции в Туркестане надо было считаться.

— Драться будем непременно, — сказал Фрунзе Новицкому. — Но не сегодня. Мы поддержим народное восстание в Бухаре, как только оно вспыхнет. Сейчас же надо зорко охранять железную дорогу и водную магистраль Амударьи, чтобы лишить эмира военной помощи из-за границы... Давайте поглядим, что у нас в Семиречье.

В распоряжении командующего Туркестанским фронтом числились три стрелковые дивизии, железнодорожная охрана, бронепоезд «Красная Роза», небольшой парк

автомобилей и броневиков, радиостанция и два авиационных отряда на пути из Самары: Михаил Васильевич с трудом отбил их у главкома Каменева.

Все это составляло тысяч двадцать, раскинутых по краю от Красноводска до Верного, от Аральского моря до Кушки. 3-я дивизия дислоцировалась в Семиречье, но она была сильно засорена чужаками, наспех мобилизованными в дни крупных боев с бандами атаманов Анненкова и Дутова. Сейчас ее приводили в порядок: чистили от кулаков и подкулачников, сбивали в новые полки и роты и подкрепляли вооружением.

— Первый удар нанесем севернее и восточнее Верного, где белые надеются на объединение с остатками колчаковской армии в Сибири, Срочно подготовьте шифровку Тухачевскому: пусть он немедленно двинет для подкрепления нашей дивизии крупный подвижной отряд от Семипалатинска на Сергиополь. Я с ним договорился, и он это сделает оперативно. И еще одно, Федор Федорович: обратимся к войскам белых через головы их атаманов с предложением сложить оружие.

2 марта 1920 года Михаил Васильевич написал воззвание к семиреченскому казачеству и таранчинскому народу. Как командующий вооруженными силами Туркестана и сам сын Семиречья, он предлагал мирно кончить кровавую тяжбу и гарантировал полную безопасность и прощение всем, кто безоговорочно признает Советскую власть, покорится ей и сложит оружие.

Фурманов со своими политотдельцами перевел воззвание на несколько местных языков и разбросал его над фронтом с самолетов. Семиреченцы стали переходить на сторону Красной Армии и даже сколотили отряды для разгрома белых. 21 марта 1920 года Фрунзе начал решительное наступление против Анненкова и Дутова. И через восемь дней атаманы были отброшены на Китайскую территорию.

Через два месяца Семиречье снова привлекло внимание командующего Туркестанским фронтом. Там начался мятеж. Его спровоцировали белые офицеры, кулаки и эсеры. Поводом послужил отказ некоторых батальонов подчиниться приказу о переводе в Ташкент. К счастью, все дело закончилось в пять дней. И уже 17 июня Михаил Васильевич объявил в приказе, что «части Верненского гарнизона без давления извне вернулись на путь революционного порядка».

Конечно, горячие головы хотели бы обвинить начдива-3 Ивана Белова и председателя Военного совета дивизии Дмитрия Фурманова в том, что они слишком долго митинговали с мятежниками вместо того, чтобы «власть употребить». Но ситуация действительно была сложная: они не хотели кровопролития и сами едва не поплатились жизнью. И победило все же их пламенное слово, а не сила оружия. Фурманов подробно и обстоятельно описал верненские события в большом романе «Мятеж».

Самой трудной оставалась проблема борьбы с басмачеством. Федор Федорович занимался ею четвертый месяц, непрерывно отражал бандитские налеты на гарнизоны и на железную дорогу. И охотно разговаривался, когда Фрунзе спросил его:

— Каково же ваше мнение об этом движении?

— В аспекте чисто военном — это партизанщина, так как в очень редких случаях мы сталкиваемся с крупными формированиями басмачей. Но по всему краю их десятки тысяч. И на вооружении у них английские винтовки, в том числе и одиннадцатизарядные карабины Дисермента. Тактический прием: неожиданность, стремительность, отличная маневренность. И — беспощадная расправа с нашими людьми (они почти не берут пленных!) и с населением, если оно оказывает поддержку Красной Армии.

— Род войск?

— Почти сплошь кавалерия. В местной одежде: тельпек, халат, чуни. Стоит такому басмачу скинуться с седла, спрятать коня и винтовку, и он тотчас же затеряется в массе дехкан с мотыгой. И никто его не выдаст... А кони отличные, особенно ахалтекинцы. Мы недавно отбили с десятков, так загляденье, Михаил Васильевич, честное слово!

— Понимаю! Нам самим придется ставить конные заводы, чтобы пересадить на отличных местных коней пограничную стражу, как только расправимся с басмачеством... Ну, а что применимо в здешних условиях из опыта Восточного фронта?

— Огневой, смелый марш чапаевских отрядов! Бронепоезд хорош лишь для обороны транспортных узлов и для поддержки отрядов, если они действуют в зоне железной дороги. Артиллерия весьма уязвима в песках, и броневики не преодолеют барханов. Не обойтись без самолетов, но будут ли они?

— Непременно!

— Соединение их с летучими отрядами — ключ к победе!..

Но Михаила Васильевича интересовал не только военный аспект борьбы с басмачеством. Он хотел уяснить, почему беднота в аулах и кишлаках так плохо организуется для отпора басмачам? Так ли уж велика ее преданность исламу, шариату и адату, которые подняты на щит басмачами? Или весьма активно действуют в ее среде муллы и баи? Или она глубоко задета бестолковыми, а порой и враждебными Советской власти шагами некоторых «колонизаторов», о которых он писал Ленину? А может быть, плохо дислоцированы красные части, и они своевременно не приходят на помощь тем, кто и желал бы дать отпор бандитам? Ведь в самом названии этих «защитников» ислама и древних устоев азиатской жизни есть неприязненное отношение к вооруженным бандам. «Басмач» — равносильно грабителю, притеснителю. Значит, именно эта сторона «верных сынов Магомета» наиболее бросается в глаза бедноте. Видимо, есть нужда по-иному расставить гарнизоны, закрепить за ними все главные населенные пункты, чтобы реально избавить их от налетов басмачей? А для связи между гарнизонами держать летучие отряды, о которых говорил Федор Федорович? И ведь должны же быть в Туркестане старые солдаты, прошедшие через очистительный огонь Великого Октября в русском народе, в Москве, в Питере? Из них и назначать командиров в местные части. А новых срочно обучать в Ташкенте!..

— Я уезжаю, Федор Федорович. Объеду все наши крупные гарнизоны. А когда вернусь, решим: надо ли бомбить басмачей с самолетов или — на первый случай — раскидать среди них листовки. Это нас выручало повсюду. Пока же прошу вас составить приказ о краткосрочных курсах для подготовки командного и политического состава из аборигенов. И заодно разузнать, нельзя ли очень срочно организовать в университете военный факультет?

— Слушаюсь! Мысль очень интересная. И в штабе есть хорошие преподаватели. Только разрешите заметить: не нравится мне ваш поезд!

— Я проверял: пули его не берут!..

Поезд, о котором говорил Новицкий, был в диковинку даже старым путейцам. Паровоз — почти в середине состава, впереди него две платформы, обложенные кипами спрессованного хлопка. За паровозом — вагон командующего, замаскированный пегими пятнами камуфляжа. Дальше — бронеплощадка с орудиями и пулеметами. В хвосте — снова две платформы с плотными кубами хлопка, перехваченного железными лентами.

О кипах и говорил Фрунзе, что они непробиваемы и из-за них можно вести круговой огонь.

— Я посылал Сиротинского на хлопковый завод. Он выпустил по ним три обоймы из винтовки. Так ведь, Сергей Аркадьевич?

— Так точно! С дистанции в сто, двести и триста шагов. И никакого эффекта!

— Выходит, Федор Федорович, подготовились мы отлично.

— Да я не об этом. Вижу, что это не инспекционная поездка, а разведка боем. И Гамбурга вы взяли с фельдшером и с носилками. Сожалею, что меня нет рядом!

— И не такое бывало, Федор Федорович! Как говорят в народе: «Бог не выдаст, свинья не съест!» К тому же не могу я сидеть в штабе, не зная обстановки в гарнизонах. Да и встреча в пути с толковым человеком дороже сотни бумажек. Вы же человек штабной, вам и

копаться в них. Кстати, вот и еще одна, — Фрунзе достал мелко исписанный лист из кармана гимнастерки. — Прошу вас: разберитесь в моих каракулях сегодня же...

Поезд командующего взял курс на запад. А Новицкий заглянул в бумагу — и ахнул. Десятки дел поручал Фрунзе, и все срочные. Фурманову — готовить агитпоезд и повозки, открывать красные чайханы, налаживать отправку в кишлаки и аулы газет, книг, брошюр и листовок на местных языках. Любимову — срочно начать переброску нефти из Красноводска в Москву, хлопка из Ферганы в Иваново-Вознесенск, Шую, Орехово-Зуево, Кострому, Ярославль, Тверь. Куйбышеву — запросить в Москве 2 миллиона пудов хлеба для голодающих дехкан, металл для кетменей и мотыг, кусковой сахар, бумагу и типографский шрифт. Новицкому — освободить от военной службы всех учителей, знающих местные языки; направить их в начальные школы и в кружки ликбеза; в Ташкентской пехотной школе имени Ленина развернуть специальное отделение для подготовки из аборигенов командиров и комиссаров: беспартийных привлечь двести человек, коммунистов — пятьсот. В самом конце бумаги была наметка учебного плана военного факультета при университете.

— Да, не гуляет наш командующий! — с удовлетворением отметил Федор Федорович. — Убыл на два месяца, а заданий дал на полгода.

А поезд Фрунзе шел по «зеленой улице».

Позади остался Ташкент — с шумным восточным базаром в старой части, неумолчным гомоном торгашей и покупателей, с дразнящими запахами шашлыка, плова, сушеных фруктов. И с прифронтной суетой в новом городе: на площадях, в казармах, на вокзале.

Резкий контраст был между старым и новым, между мирным торговым шумом базара и армейским шумом на станции, откуда ежедневно уходили воинские составы на восток, на запад, на юг. Но горожане свыклись с такой обстановкой. Они почти не знали нужды и постепенно забывали о налетах басмачей: их устоявшийся быт и их покой зорко охраняла военная и гражданская администрация.

Но чем дальше уходил поезд, тем резче ощущалась скрытая и грозная война. Дехкане — медно-черные от неласкового солнца — только в дневные часы копошились на бахче. А ранним утром и поздним вечером, когда работать было легче, сподручнее, поля и огороды вымирали: об эту пору да по ночам орудовали басмачи. Люди искали защиты и, как казалось Фрунзе, с тоской глядели на пронесившийся мимо них необычный военный поезд.

Начальники станций и военные коменданты, встречая командующего, говорили в один голос: извелись они от бессонных ночей, отдыхают редко, не раздеваясь, с винтовками у изголовья. Почти раз в неделю непременно отражают налеты, которые оставляют по себе горькую память: разобранные пути, сломанные стрелки и семафоры, новый могильный холм в пристанционном сквере.

«Как и чем должна вам помочь армия?» — допытывался Фрунзе. И часто слышал такой ответ: «Угнать бандитов прочь от железной дороги — в пески, в горы. А в аулах поставить крепкую охрану, чтоб басмачи не получали провианта и не виделись с семьями. Бедноту надо объединить. Были же в России комбеды? Вот и здесь так сделать. Получит бедняк землю, воду, его от Советской власти не оторвешь!..»

— Да, все тут надо начинать с азов, — отметил для себя Фрунзе. — Война войной, но ведь и она лишь одна из сторон политики. И басмачи наверняка потеряют базу, как только широким слоям бедноты достанутся плоды нашей победы в Центральной России!..

У Самарканда, где ударила в глаза неповторимая синь мечетей и минаретов, и дальше — к Бухаре, что осталась где-то справа, и до широкой, мутной и быстрой Амударьи — в ковыльной и кипчаковой степи — возникали зеленые оазисы и утопающие в садах кишлаки. Потом показался глинобитный Чарджуй. Там произошла встреча с бухарскими коммунистами, которые горели желанием ринуться в бой против эмира.

— Я помогу вам и советом и оружием, — сказал Фрунзе. — Но пока не будет восстания, армия не имеет права нарушить договорные отношения эмира с Москвой. Штурм Бухары — самая крайняя мера. Я пойду на нее по призыву восставшего народа. А до той

поры постараюсь использовать дипломатию: она бывает бескровной и дает отличные результаты.

— Вы хотите вести переговоры с этим подлым деспотом?

— И не только с ним, но и с вождями басмачей. Думаю, что среди них есть и такие, кто уже не верит ни в сон, ни в чох, ни в божью благодать. Иначе говоря, ни в свои бесплодные «идеалы», ни в реальную помощь британцев. Лондонские хитрецы немедленно отшатнутся от «поборников ислама», как только увидят, что у нас перевес — военный и дипломатический. Надо глядеть глубже: не все басмачи — разбойники. Их силу составляют сотни и тысячи тех, кого задела или обидела прежняя власть. Не видя защиты, они ушли к басмачам и принесли им поддержку мусульманского населения. На правильный путь их можно обратить словом да разумно подкрепить его делом. И эмир — если он не последний дурак — должен понять, что дни его сочтены. Помогайте бухарскому подполью. За мной дело не станет. И несите слово нашей правды обманутым дехканам: они вас могут понять лучше, чем меня!

— Но если состоятся переговоры с эмиром, мы ставим одно условие: сохранить жизнь нашему вождю Абдукариму Тугаеву: он уже третий месяц томится в подземной тюрьме! В проклятом зиндане, где полно змей.

— Это я сделаю непременно!..

Михаил Васильевич решил побывать на собрании дехкан в ауле Дейнау. Беднота встретила его восторженно. И очень ей понравились слова кзыл-генерала, которой привез весточку от Ленина. Он говорил, что у них щедро светит солнце и богата на урожай земля, залитая потом тружеников. И вода Амударьи под рукой, а с нею не страшна и засуха. Жить бы и жить, как велит Ленин, Но хозяевами воды, земли и даже солнца все еще считаются баи и беки. Не пора ли взять все блага в свои руки, как это сделали русские крестьяне? А ваш друг — армия красных аскеров — не оставит вас в беде!

— Не верьте ему! — крикнул бай по-туркменски, сложив молитвенно руки. — Не им заведены наши порядки, и не ему их ломать!

— Сразу видно, у кого тут земля и вода! — по-киргизски сказал Фрунзе.

И все его поняли без переводчика.

— Так, кзыл-генерал! Так!..

За Чарджуем необозримо раскинулась слева степь, справа — пески Каракумов. И укрыться-то негде: верблюжья колючка, как зеленые снопы, у границы глинистых такыров, чахлые кривоствольные саксаулы с узкими серебристыми листьями вокруг редких колодцев, волнистые гребни барханов. Но басмачи появлялись на стройных конях, в черных папахах. Гарцевали на холме бархана и скрывались как мираж.

— Видали, Михаил Васильевич? — Сиротинский стоял у раскрытого окна.

— Да. Сейчас по беспроволочному телеграфу пойдет о нас молва по всей Туркмении.

Под вечер потянули стаи дроф с полей в барханы. Стая быстроногих джейранов, будто не касаясь земли, пронеслась по такыру, закрывшись мутным облаком пыли.

— Возьмите бумагу, Сергей Аркадьевич, я продиктую вам небольшой приказ, навеянный раздумьями охотника... «Приказываю во всех стрелковых полках сформировать охотничьи команды в составе начальника команды, его помощника и 18 стрелков. Формирование произвести без расходов от казны, за счет штата полков. Команды предназначаются для производства правильной охоты, строго согласованной с уставом и правилами охоты на всех животных. Убитая дичь должна представляться в полк и идти на улучшение довольствия». Записали?

— Да.

— Укажите в конце, что охоту разрешается проводить в окрестностях полков и только в те дни, когда полку не предстоит выполнять боевые задания...

За полосой барханов возникла обширная и красивая громада парка в Байрам-Али: когда-то тут было большое имение удельного ведомства. И скоро поезд подошел к старому Мерву, перерезанному узкой лентой реки Мургаб.

Полк вышел на смотр. Но впечатление оставил тяжелое: гимнастерки — не первой носки, выцветшие от солнца, в пестрых заплатках; головные уборы — от панамы и фуражки до меховой туркменской шапки; обувь — ниже всякой критики. И винтовки — как в музее трофейного оружия: русские, английские, даже австрийские и японские. Правда, бойцы держались стройно и прошли согласно. И на приветствие ответили дружно. Но — не то, не то!..

Ночью Фрунзе говорил с Куйбышевым по прямому проводу:

— Срочно затребуйте винтовки и обмундирование. Валериан Владимирович! Я глубоко задет видом регулярного войска, похожего на отряд самообороны, наспех набранный в городах и аулах. Тем и отличается армия от аналогичных отрядов, что она едина по виду и сплочена не только духом приказа, но единообразием и, я бы сказал, суровой красотой солдатской одежды. Не виню командиров за невольную расхлябанность, но уверен, что она способна расшатать дисциплину...

Ранним утром, на ровной площадке у подножия Копет-Дага, показался зеленый от тополей Ашхабад.

Это было 21 марта 1920 года.

С раннего утра тянулись в Ашхабад пешком и верхом — на конях, ишаках и верблюдах — делегаты съезда всех туркменских племен. Гости подваливали с дороги к ближайшей чайхане, садились кружком на ковер. И за пиалой зеленого чая чинно вели беседу на разных наречиях. Приезд прославленного командира и ожидание встречи с ним делали обстановку праздничной.

Михаил Васильевич выступил на съезде с большой речью. Впервые ашхабадцы и гости слушали человека с удивительно широким кругозором, который щедро раскрывал перед ними богатство своей души и непреклонную убежденность в правоте своего дела. И вера в великую мудрость партии Ленина, в бессмертие ее идей взволновала даже тех, кто решил не поддаваться агитации красного генерала.

Старый пропагандист, он умел говорить просто; держался на трибуне скромно и выражал только суть дела, не думая о красивой фразе.

Он вышел на сцену — аккуратный, приветливый, с доброй улыбкой — и огладил бороду — сверху вниз, словно выжал ее, как мочалку. И услышал шепот двух стариков, которые следили за каждым его шагом из первого ряда:

— Сакал бар!

— Якши сакал!

Фрунзе понял. И начал речь с... бороды.

— Два почтенных аксакала говорят о моей бороде. Да, борода есть! И что это за мужчина — без бороды, да еще в Туркмении! Я ведь сам из Туркестана и все мечтал прийти ему на помощь с братским словом и с могучей Красной Армией. Со словом дружбы я пришел к товарищам, с оружием пойду к врагам!

Он стоял, опершись правой рукой о край стола, почти не меняя позы, изредка вскидывал левую руку, чтобы подчеркнуть мысль. И это нравилось аудитории: речь была серьезная, обстоятельная; и хорошо, что кзыл-генерал говорил спокойно и не бегал по сцене. А с одного места глядел в глаза каждому, и слова его хорошо укладывались в голове.

Он говорил обо всем, чем жили делегаты съезда в тревоге и волнении, повидав в своем городе за два года и басмачей, и английских сипаев из Индии, и британскую морскую пехоту, и кавалерию шаха персидского. И прежде всего о Советской власти, которая отныне начинает победное шествие по земле Туркестана, неся в своих могучих руках и солнце, и воду, и землю дехканам-труженикам.

— Есть еще люди, которые пускают на ветер плохие, пустые слова: будто туркменскому народу далеко до русского и что лет сто надо ждать, пока на развалинах закопченного азиатского быта даст могучие ростки поколение ленинцев. Пустые, вредные слова! Мы-то видим, как идет по стране очистительный вихрь революции, и никому не

сдержат его натиска!.. Правда, велик и славен русский народ, он могучий орел. Но у орла есть дети, и он поднимает их на крыло. Туркмены, узбеки, киргизы, таджики — наши орлята. Так почему же русскому орлу не научить полетам своих туркменских орлят? Научим, дайте только срок! И вместе поднимемся над просторами Туркестана!.. Только у туркменских орлят много врагов, и главный среди них — басмач! Хотите жить по правде, товарищи, — не давайте жить басмачам!..

О басмачах он говорил долго. Повадал, как недавно один на один встретался с басмачом Мадамин-беком: он был правой рукой главного узбекского басмача Монстрова, что сдался Красной Армии в январе.

— У Мадамин-бека еще недавно кружилась голова от успехов: после Монстрова он стал главнокомандующим у басмачей Ферганы — амир лашкар баши. И за деньги и оружие он обещал англичанам отдать в кабалу на семьдесят пять лет основную житницу Туркестана — Ферганскую долину. Но оказался он человеком дальновзорким, умным, расчетливым: пришел поговорить со мной. Я был с адъютантом и без оружия, и говорили мы, сидя в седлах, лицом к лицу. Я ему сказал просто: «Кончайте, Мадамин-бек! Ну, повоюете вы еще месяц-другой, а потом народ от вас отвернется: мы отдадим ему землю и воду.

Сейчас вас боятся. Но страх — плохой, ненадежный союзник. Да и надо помнить, что мой фронт сокрушил Колчака. И я пришел сюда, чтобы рассеять страх у дехкан и по-братски сказать им: «Уверенно стройте новую, мирную жизнь...» Я обещал ему полное прощение... Не глупый человек Мадамин-бек! Он теперь командует Старо-Маргеланским узбекским красным конным полком. И я его многим ставлю в пример...

Долго говорил командующий: о Москве, где только-только преодолели страшный голод; о своем «Ситцевом крае», где стоят еще фабрики, — нет хлопка.

И старики понесли по аулам добрую весть:

— Якши кзыл-генерал, якши! Слова у него как чистая и прозрачная наша Фирюзинка. И что ни скажет — только про дело. А в делах скорый и смелый. Сказали мы ему про кровных скакунов, которых забрали в армию, так он велел вернуть. И при нас приказ написал: ставить государственный завод для ахалтекинской породы. Любит коня, понимает коня, хороший человек!..

Гостеприимные ашхабадцы показали командующему скачки джигитов. Загорелись у него глаза: давняя любовь к хорошему коню была неистребима!

Подходил он к победителям, жал им руку, говорил с восторгом: «Якши, якши!», хлопал гордого стройного коня по взмыленной шее, заглядывая ему в огненные темные глаза. В них отражался коренастый человек, почему-то по-татарски скуластый, с бородой, сдвинутой набекрень фуражкой и маленьким блюдцем ордена в шелковой розетке.

— Берегите коня, совершенствуйте породу! — говорил он. — Армия на таком коне — вихрь, молния!

Потом был небольшой той в его честь, под тополями, на открытой веранде чайханы. Подавали патрак — жареную кукурузу в масле, шурпу из молодого барашка, сладкий плов и ароматный кок-чай в маленьких пиалах...

Столь триумфальной была встреча в Ашхабаде, что далеко раскатился слух о ней. И Фрунзе намекнул на это в очередном письме к Ленину: «Англичане в Хоросане отчаянно нервничают...»

Он догадывался, что так и будет. И хотя союзниками англичан в хитроумных диверсиях против Советского Туркменистана были афганские офицеры, он не хотел валить их в одну кучу с лондонскими мастерами тонкой дипломатии и откровенной вооруженной антисоветчины.

Афганцы долго были под пятой британского империализма, получили независимость год назад и еще не стряхнули с себя давний гнет британской короны. Но Ленин первым признал независимый Афганистан и дал понять, что только Советская Россия может быть другом и добрым соседом молодого суверенного государства.

И Фрунзе еще перед выездом в гарнизоны подчеркнул, что он целиком разделяет позицию Ленина. И направил чрезвычайному посланнику Афганистана в Ташкенте, его превосходительству Мухамеду Вали-хану, приветственную телеграмму.

Правда, встретиться с посланником он не пожелал. Да к свободной минуты для такого визита не нашлось. И в приветственной телеграмме оказалась вежливая ссылка на недопомогание:

«Нездоровье мешает мне лично принести Вам сердечное поздравление, за что приношу извинение. Искренне уважающий Вас, Командующий войсками Туркестанского фронта — *Фрунзе-Михайлов*».

Граница с Афганистаном внушала тревогу: через нее англичане направляли военную помощь басмачам и эмиру бухарскому. Но демарш Фрунзе с изъятием добрых чувств к афганскому народу сыграл свою роль: в районе Кушки прекратились кровавые инциденты. А вскоре афганская пограничная стража отказалась пропустить в свою страну отряд басмачей, прижатый к горам Паропамиза.

23 марта поезд командующего прибыл в Кушку.

Петербургские колонизаторы возвели эту крепость в самой южной точке России, чтобы связать руки британским колонизаторам, которые с границ Афганистана и Персии зарились на земли Туркестана. Да и после Великого Октября ей было суждено сковывать их действия на туркменской земле.

Средняя Азия была отрезана от России бандами атамана Дутова. Английские интервенты расстреляли в Мерве пламенного большевика Павла Герасимовича Полторацкого, на 207-й версте от Красноводска зверски убили бакинских комиссаров. По всему Закаспию звучала английская речь. А Кушка оставалась единственным красным очагом в кольце интервентов, белогвардейцев и басмачей.

Комендант крепости — генерал старой армии — А. П. Востросаблин отказался сдаться врагам новой России. Казачий полковник Зайцев, у которого было полторы тысячи сабель, в течение месяца день за днем штурмовал крепость. Но безуспешно, хотя в осаде находилась сотня бойцов с маленькой горсткой героев-коммунистов. К счастью, они хорошо были вооружены и располагали запасом воды и продовольствия.

Когда же блокаду крепости прорвал красный отряд С. Тимошкова, кушкинцы пришли на выручку Ташкенту: направили туда восемьдесят вагонов снарядов при семидесяти орудиях, пулеметы и винтовки.

Такие вести порадовали командующего. Но теперь гарнизон захирел, как и соседние с ним отряды — в Иолотани и Ташкепри: людей мало, вооружены плохо, одеты безобразно.

С осадком горечи написал Михаил Васильевич в Кушке доклад главному Каменеву и Владимиру Ильичу Ленину. «Личное ознакомление с состоянием воинских частей фронта, начиная от Ташкента, кончая районами Красноводска и Кушки, дало самую безотрадную картину... Настроение частей неудовлетворительное, главным образом на почве отсутствия обмундирования; все части представляют в этом отношении неопишущий сброд.

Пограничная охрана отсутствует... Вооружение войск разнокалиберное; до сих пор одна четверть вооружена берданками и одна четверть английскими винтовками».

Фрунзе отпустил из рядов войск железнодорожников; отправил по домам стариков, которые были элементом «брожения и разложения»; свел в одну бригаду бывших военнопленных и решил отправить их в Центральную Россию, как им было обещано. Но без них он лишился «трех четвертей артиллеристов и половины всех пулеметчиков». На огромных просторах Закаспия у него оставалось всего 1500 штыков и 500 сабель. «Таким образом, — писал он, — в военном отношении мы сейчас представляем ничтожество».

Он просил не изымать из его подчинения штаб Заволжского округа в Самаре и временно оставить там Авксентьевского — до перевода в Туркестан; просил срочно прислать обмундирование, вооружение, снаряжение и подослать хорошие кадры для работы по формированию частей из местного населения.

Но даже в таких условиях он не терял веры в благополучный исход борьбы. И сообщил Владимиру Ильичу, что «в политическом отношении наше положение в Закаспии в данный момент вполне благоприятно».

По пути в Самарканд Михаил Васильевич сделал остановку на узловой станции Каган, откуда шла ветка в сторону Термеза. От этой станции до Бухары было двенадцать верст. И он высказал пожелание встретиться с эмиром.

Сеид-Алим не приехал: он прислал к Фрунзе своих назиров во главе с куш-беги Усманом. Премьер-министр вел приторно сладкий разговор, с восточными реверансами в сторону кзыл-генерала. И Фрунзе вел беседу в изысканных тонах. Но каждая из сторон отлично понимала, что находится она в положении не только пикантном, но и просто ненормальном. Каган был расположен в центре Бухарского эмирата, который острым клином упирался в афганскую границу, контролировал верхнее течение Амударьи и располагал горными караванными путями для связи с британцами. Советские железные дороги разрезали эмират вдоль и поперек, но за их полотном лежали земли Сеид-Алима. Того страшили гарнизоны как опорные пункты красных и железные дороги — могучие нити новой жизни. А Каганский гарнизон опасался эмира, который всеми способами получал оружие по караванным путям. Части Фрунзе могли перехватывать эти караваны только на железнодорожных путях. Но для такой цели войска были маломощны.

Михаил Васильевич говорил с назирами и куш-беги о двух вещах: надо прекратить подвозку оружия, чтобы не нарушать договорные отношения с РСФСР; надо освободить из зиндана Абдукарима Тугаева и других большевиков — их судьба волнует не только его, но и массы дехкан Советского Туркестана. Сановники эмира просили ослабить гарнизон в Кагане, так как присутствие здесь крупного отряда вызывает обидное недоверие его высочеству. Командующий дал понять, что об ослаблении гарнизона не может быть речи, пока эмир не прекратит расправу с передовыми людьми в своей столице. И что об этом он хотел бы лично переговорить с эмиром. Но Сеид-Алим не приехал и в этот раз.

«Сладкая» беседа не принесла дипломатической победы ни одной из сторон. Но политический резонанс от нее был. Бухарская беднота разнесла весть по округе:

— Кзыл-генерал не дает нас в обиду!..

В Кагане произошла еще одна встреча: к командующему доставили группу индусов, недавно отбитую у бухарских войск на Амударье.

Это были ходоки к Ленину из городов и сел Индии. Во главе их шел молодой Радик Ахмед из города Бхопай. Полгода назад их двинулось человек сто. Неделями и месяцами они шли через заснеженные перевалы, холмы и равнины. Пересекли Афганистан, потеряли двадцать человек от голода и лишений. Но остальные вышли к Термезу и встретили там краснозвездный отряд. Командир приютил гостей, затем отправил их на лодках до форта Керки, на левом берегу Амударьи, откуда изредка ходил пароход в Чарджуй.

На перегоне Чаршанга — Мукры караван лодок задержал какой-то отряд конников в тюрбанах. Гости приняли его за красноармейскую часть, обрадовались встрече. Но успели произнести только три слова — Индия, Москва, Ленин, — как их загнали в сарай и жестоко избили;

Фрунзе узнал об этом и срочно послал им на выручку большой отряд. Из восьмидесяти ходоков успели спасти шестьдесят. Их привезли в Керки в день налета басмачей. И гости помогли красноармейцам провести бой. Затем их доставили на железную дорогу в районе Чаршанги и, как братьев по оружию, отправили к Фрунзе в Каган.

Командующий принял их хлебосольно, сердечно. И вскоре они сыграли интересную роль в Ташкенте, выступая на митингах от лица угнетенного народа, мечтающего о свободной жизни ташкентцев.

Ольга Нестерович отметила в своих воспоминаниях: «Помню их приход на городскую женскую конференцию. Как только открылась дверь и гуськом начали входить наши гости, тотчас в руках узбечек зашелестели черные сетки и закрыли их лица от взора посторонних

мужчин. Масса человеческих фигур без лиц — это производило гнетущее впечатление. Надо же придумать именно такую форму унижения женщины!»

Один из гостей — тоже мусульманин — рассказал «о положении женщин в Индии, о причинах обычая носить паранджу, призывал узбечек покончить с диким предрассудком.

— Есть ли здесь татарские женщины? — обратился оратор к залу и, услышав «есть», опять заговорил с узбечками: — Вот они тоже мусульманки, но своих лиц не закрывают. Татарских женщин мужья к этому не неволят. А мусульманский закон один, и только муллы и ваши мужчины неправильно толковали этот закон, заставляя вас носить паранджу. Так будьте смелее, отвергните ошибки мулл, откройте свои лица свету, людям!

Затем он обратился к русским женщинам, призывая их помочь мусульманкам в борьбе за раскрепощение, в приобщении к знаниям и культуре.

Речь эта вызвала бурный отклик. Выступили две узбечки, татарка и русская. Пожилая женщина говорила быстро, сбивчиво, страстно, она рассказала, как сама сняла паранджу несколько месяцев назад, как ведет теперь работу среди узбечек. Говорила: нам нужны школы, нужна грамота... Гости и делегаты стоя приветствовали друг друга».

Вернувшись в Ташкент, Михаил Васильевич сам выступал на митинге в Старом городе в очередь с гостями из Индии. Он говорил о национальной политике партии, об интернациональном братстве трудящихся. И сказал фразу, которая взволновала ходяков:

— Индия может рассчитывать на помощь революционной России!..

В первых числах августа гости уехали в Москву, к Ленину.

А поездка Фрунзе еще продолжалась.

И впереди поезда летела народная молва: едет кзыл-генерал, человек добрый и бесстрашный, доступный, но и строгий!

В Самарканде, после смотра войск гарнизона и ознакомления с историческими памятниками, увидел он сцену, которая возмутила его до крайности: два красноармейца пытались отнять лепешки у старика, зазывавшего к своему товару покупателей. И приказал немедленно провести открытое заседание ревтрибунала в том квартале, где было совершено преступление.

К Самарканду он стал исподволь подтягивать новые части, потому что принял решение находиться здесь со своим штабом, когда будет решаться судьба эмира бухарского.

Почти месяц ушел у Фрунзе на Ферганскую долину, на Андижан, Наманган, Скобелев, Коканд, Фергану, где было осиное гнездо узбекского басмачества.

С горечью он узнал, что Мадамин-бека схватили бывшие его дружки, отрубили ему голову, надели на пику и таскали с собой по аулам.

Пришлось и самому командующему пережить крупный налет басмачей на перегоне Наманган — Уч-Курган. Бандиты разобрали путь впереди и позади поезда и штурмом хотели пленить ненавистного им кзыл-генерала.

Оборону поезда он взял в свои руки, огнем из орудий и пулеметов прижал басмачей к земле. Но лавина их была велика, и первая цепь почти докатилась до поезда. Удачной вылазкой вместе с бойцами он отвлек внимание басмачей от трех связных, направленных за подмогой. И храбро отражал атаку за атакой, пока не подоспел на рысях конный отряд из Намангана.

18 апреля в Андижан приехал Валериан Куйбышев; они не виделись целый месяц, переговариваясь лишь по прямому проводу. Вместе они провели смотр Казанской татарской бригады: ее Фрунзе отправил сюда еще до своего выезда из Самары. Часть была очень хороша, и ее командира Юсуфа Ибрагимова Михаил Васильевич привлек в свой штаб на правах члена РВС.

Военком бригады Якуб Чанышев хорошо запомнил, как проходил в Андижане митинг. «На площадь Старого города собрались тысячи людей: мужчины в белых и зеленых чалмах, женщины, с головы до ног укутанные в черные паранджи. На крышах сидели трубачи, оглушая все вокруг страшными звуками двухметровых карнаев...»

Фрунзе держал речь о национальной политике Советской власти, и все слушали прославленного батыра «со вниманием и весьма уважительно».

Но, пожалуй, не столько эта яркая речь произвела впечатление на жителей Ферганской долины, сколь уважительное отношение кзыл-генерала к обычаям мусульманской старины.

Из Андижана Фрунзе и Куйбышев отправились в Джелал-Абад и Ош. Чанышев поехал с ними и записал для памяти: «Михаил Васильевич ехал на коне, подаренном ему Чапаевым. Стройный, подтянутый, он выглядел бравым и лихим кавалеристом. Мы на аргамаках, отбитых у басмачей, тоже старались не подкачать».

После большого разговора с военными и с населением Оша решили отдохнуть и двинулись на гору Сулеймана: у правоверных мусульман она считалась священной.

«Существует легенда, — рассказывал Чанышев, — будто сам Али, сподвижник Магомета, молился там по случаю победы над противником, что на каменной плите якобы остались отпечатки его пальцев и головы».

Древние хранители «святого места» рассказали эту легенду красному батыру. «Не желая обижать стариков, мы слушали с серьезным видом. Ни тени насмешки не было на лице и Михаила Васильевича. Больше того, он, к нашему удивлению, склонил колени, положил руки и голову в углубления на камне и некоторое время оставался в этой молитвенной позе. Затем спокойно поднялся, с достоинством подошел к старцам и, приветствуя их по-мусульмански, каждому в руку вложил милостыню.

Когда мы повернули коней в обратный путь, я не удержался и спросил:

— Откуда вы, Михаил Васильевич, так хорошо знаете мусульманские обычаи и обряды?

Он ответил с сердечной улыбкой:

— Все-таки я коренной туркестанец...»

Через месяц Фрунзе снова приехал в Андижан: оживились басмачи под командой Кривого Ширмата, который прикончил Мадамин-бека. Налеты Кривого разлагающе действовали на басмачей, перешедших на сторону Красной Армии.

В Андижане располагался бывший отряд басмачей, преобразованный в кавалерийский полк. Командовал им недавний курбаши Ахунджан — кавалер ордена Красного Знамени. Его джигиты стали притеснять дехкан, но он смотрел на это сквозь пальцы. Разведка донесла о каких-то его недозволенных переговорах с Кривым Ширматом. Наконец он не подчинился приказу выехать со своим полком в Троицкие лагерь под Ташкентом. Назревала ситуация, которая в Семиречье вскоре обернулась мятежом.

Командующий не мог мириться с такой анархической стихией и решил разоружить полк Ахунджана.

Якуб Чанышев хорошо запомнил этот день — 25 мая 1920 года: операцию проводила татарская бригада.

На площади был назначен парад всего гарнизона, ахунджановские кавалеристы оказались в кольце татарских бойцов. Все выходы с площади перекрыли повозками. Самого Ахунджана Фрунзе вызвал в штаб бригады для «последних указаний».

«А мне на площади предстояла своя роль: я должен дать сигнал, по которому красноармейцы отберут оружие у непокорных». Но предусмотрели не все: слишком много праздной публики собралось глядеть парад, и это сковывало действия Чанышева. «Поднимаюсь на трибуну, оглядываю гудящую площадь, а меня тревожит мысль: вдруг ахунджановцы явились с заряженными винтовками?.. Однако надо действовать, что бы там ни случилось!»

Чанышев произнес речь. Он говорил о желании Советской власти поскорее установить спокойствие в Фергане, чтобы народ мог мирно трудиться; о железной дисциплине в Красной Армии, необходимой для разгрома басмачей. Затем зачитал приказ Фрунзе, в котором осуждалось неповиновение Ахунджана и предлагалось его полку сдать оружие. И подал своим бойцам сигнал.

«Секундную тишину разорвал выстрел. Второй, третий. Это ахунджановцы при первой же попытке отобрать у них винтовки открыли пальбу. В ответ со всех перекрестков затрещали наши пулеметы. Ошеломленные конники пытались вырваться с площади, но повсюду наталкивались на заслоны. В конце концов их заставили смириться, хотя не обошлось без жертв.

При начавшейся перестрелке я вскочил на коня и поскакал к клубу, опасаясь, как бы там не случилось чего страшного, — ведь у Ахунджана и его охраны оружие наверняка заряжено.

Фрунзе, взволнованный и бледный, встретил меня на крыльце. Я доложил о происшедшем на площади и ожидал по меньшей мере строгого внушения. Но он ничего не сказал, только укоризненно покачал головой.

Зайдя в клуб, я от товарищей узнал, как разоружили самого Ахунджана и какой опасности подвергался Михаил Васильевич.

По вызову Ахунджан явился с десятком вооруженных людей. Он сел рядом с Фрунзе, остальные — вокруг. Обсудив несколько текущих вопросов, командующий заговорил об отправке кавалерийского полка в Троицкие лагеря.

— Я в Ташкент не поеду, — заносчиво заявил Ахунджан, — и мой полк тоже не поедет.

В этот момент с площади донеслись выстрелы. Догадавшись, что там происходит, Ахунджан, побледнев, вскочил со стула. Сразу поднялись и его спутники. Фрунзе продолжал сидеть, сохраняя спокойствие и зорко следя за басмачами. Находившиеся в комнате командиры и бойцы насторожились.

— Ошибку можно простить, Ахунджан, — твердо сказал Фрунзе, — по предательство — никогда. Потрудитесь сдать оружие.

Басмаческая натура Ахунджана чуть не натворила беды. Он выхватил маузер и вскинул на Фрунзе. Но между ними вмиг встал красноармеец:

— Ни с места! Руки вверх!

Под дулами винтовок оказались все басмачи. Ахунджан, а за ним остальные злобно бросили револьверы на стол, за которым по-прежнему спокойный и молчаливый сидел командующий».

Кривой Ширмат вдруг загорелся желанием встретиться с Фрунзе и отправил с нарочным пакет: «от его превосходительства Курширмата, преемника в управлении Кокандским государством, — его превосходительству кзыл-генералу Фрунзе».

Михаил Васильевич не раз изъявлял желание повидаться с Кривым, но тот не шел на встречу, как и эмир бухарский. Фрунзе прочитал письмо и написал на пакете: «Вернуть. Пусть ждет расплаты оружием».

Кончилась эра переговоров. Командующий принял решение — железной метлой вымести из края грабителей и убийц!

К войскам Туркестанского фронта он обратился с приказом: «С басмачеством пора кончать... Надо помнить вдобавок, что Фергана — главный поставщик хлопка, необходимого фабрикам для того, чтобы одеть население. Эта задача ложится на вас, товарищи красноармейцы. Задача не так проста, как может показаться с первого взгляда. Трудность не в военном преодолении врага — это для нас не очень трудно, — трудность в том, чтобы все многомиллионное мирное трудовое мусульманство поняло, что басмачество и есть враг его, что борьба с ним — священная задача и опора трудового народа. Выполнения этой задачи ждет от вас социалистическое Отечество.

Товарищи, я же, как ваш командующий, требую, чтобы каждым своим действием, каждым поступком как отдельные красноармейцы, так и целые части внушали населению любовь и доверие к Красной Армии; требую, чтобы я не слышал о безобразиях и насилиях и о грабежах чинимых частями рабоче-крестьянской армии; требую чтобы не слезы и горе, а радость и благодарность оставляли вы за собой, проходя селения и кишлаки Ферганы чтобы вами оказывалась всяческая помощь и содействие трудовому населению области без

различия национальности. Только таким путем мы дадим понять мусульманской бедноте, что Красная Армия не враг, а опора и защитник ее».

Тактика, о которой Фрунзе думал с первых дней после выезда из Ташкента, была теперь разработана в деталях. За басмачами не гоняться — они легко укрываются в горах. На всех станциях железной дороги и в волостных центрах поставить сильные гарнизоны пехоты. Связь с ними должны держать летучие кавалерийские отряды, у которых две задачи: очищать горные районы от бандитов и приходить на помощь гарнизонам, когда они втянут в бой басмачей.

При этом Михаил Васильевич особенно подчеркивал, что в высшей степени надо усилить службу разведки и охранения и стойко выполнять все требования полевого Устава...

1 июня 1920 года — черный от загара — он вернулся в Ташкент.

— Ты, Миша, настоящий узбек! — Софья Алексеевна соскучилась по нему, села рядом, прижалась к плечу.

Весь день пробыли вместе, и для Софьи Алексеевны это было событием. Вечером даже погуляли в парке — с Костей, Сиротинским и Куйбышевым. И шутили так, словно все дела и заботы ушли в небытие.

А утром муж ушел неслышно. И закрутился в колесе, которое мчалось без остановки. Митинги и конференции, заседания Туркестанской комиссии; хлопок, нефть, вооружение, обмундирование; встречи и проводы новых частей. И штаб, штаб в белом особняке бывшего князя: Новицкий, Куйбышев, Элиава, Любимов, Фурманов, Ибрагимов, новый начальник штаба Благовещенский. И неизменный Сиротинский.

И снова басмачи, обращение к мусульманскому населению Ферганской области. В стиле лапидарном, с большим нажимом на растущую сознательность дехкан. Конец терзаниям страны! Резкий перелом начинается в политике Советской власти в Туркестане. «Все негодяи, грабители, примазавшиеся к революционной власти для достижения своих личных целей, изгоняются из ее рядов. Начинается привлечение к власти широких кругов мусульманского населения города и кишлака. Устанавливается полное равноправие всех национальностей. Прекращаются все безобразия отдельных представителей власти. В войсках создается с прибытием свежих сил из центра порядок и дисциплина... Дехкане, помогайте искоренить басмачество! Разоружайте бандитов, ловите шпионов! «Ныне чаша терпения иссякла, и с басмачами будет беспощадно покончено вооруженной рукой... Смерть врагам народа — разбойникам и грабителям!».

Теперь у Фрунзе оставалась одна заноза в сердце — самодержавный Сеид-Алим-Тюря-Джан в древней Бухаре.

По данным разведки, возросла его армия за лето двадцатого года: в регулярных войсках 16 тысяч штыков и сабель, 23 орудия; в ополчении — по кишлакам и фортам — 27 тысяч солдат и 32 орудия. У Фрунзе войск было вчетверо меньше, но он полагался на их революционный энтузиазм.

Подтягивая полки и бригады к Самарканду, он и сам перебазировался туда со штабом. И ждал сигнала бухарских коммунистов, до которых дошла весть о казни Абдукарима Тугаева палачами эмира.

Гонцы принесли известие о восстании бухарцев в Сакар-Базаре и Чарджуе 28 августа 1920 года. Они создали Военно-революционный комитет и обратились за помощью к властям Советского Туркестана. В тот же день Фрунзе подписал приказ в Самарканде:

«В ряде местностей Бухары вспыхнуло революционное движение. Настал час решительной схватки подавленных и поработанных трудящихся масс Бухары с кровавым правительством эмира и беков. Полки нарождающейся бухарской Красной Армии двинулись на помощь родному народу. Красные полки Рабоче-Крестьянской России обязаны стать подле них. Приказываю всей нашей вооруженной мощью прийти на помощь бухарскому народу в этот час решения.

Командиры и комиссары! На вас смотрит сейчас вся Советская Россия и ожидает от каждого исполнения его революционного долга!

Вперед, за интересы трудящихся Бухары и России!

Да здравствует возрождающийся бухарский народ!

Да здравствует нарождающаяся Бухарская Советская Республика!»

29 августа красные полки подошли к Бухаре.

Надо было обладать революционной решимостью коммуниста и удивительным даром стратега, чтобы повторить редчайший в истории штурм крепости силами, составляющими одну четвертую сил осажденных! Это был усложненный суворовский маневр под Измаилом в 1790 году, когда прославленный генералиссимус брал крепость почти на равных: 31 тысяча русских на 35 тысяч турок.

Под Бухарой был выполнен охватывающий короткий и стремительный удар. В движение были приведены три группы нападения: с запада — Чарджуйская, с юга — Каганская, с северо-востока — Катта-Курганская. И резервная группа с Самаркандского направления. «Идея операции заключалась в стремительном движении войск с заключительным штурмовым ударом по Бухаре, — писал Сиротинский. — План операции предусматривал также недопущение помощи эмиру из-за границы. Эта задача возлагалась на Амударьинскую флотилию, гарнизоны городов Керки и Термеза и расположенные вдоль границы части 1-й армии».

Кроме войск эмира, кроме крепостных высоких стен города, толщиной в три верблюда, поставленных бок к боку, на пути красных войск были раскаленные зноем пески, удушливая пыль и безводье. А в самом городе — цитадель кремля, знаменитого Арка.

Фрунзе подготовил специальный обоз с водой — в бурдюках, погруженных на лошадей, верблюдов и ишаков. Но запас ее вскоре кончился, а эмир приказал перекрыть оросительную магистраль, чтобы подорвать боевой порыв задыхающихся от жажды красноармейцев.

В ночь на 1 сентября командующий назначил общий штурм крепости. Орудийная канонада, треск пулеметов, винтовочные залпы с обеих сторон, бомбовые удары Фрунзе с самолетов; крики штурмующих, вопли и проклятия осажденных, стоны раненых; дым пожарища, зловещее зарево за стенами крепости — давно невиданный бой в Средней Азии.

На все кидался эмир: перекрыл воду, чтоб изнурить красных от жажды, но сам задышался от удушливого дыма горящего хлопка; высылал против штурмующих крепость бухарцев, узбеков, таджиков, туркмен религиозные процессии, за которыми укрывались его солдаты с пулеметами и с винтовками; рассылал гонцов за помощью к афганской границе. Но уже ничто не помогало!

Стена была взорвана динамитом. В ее брешь лавиной кинулись красные бойцы, завязав бои на улицах и площадях Бухары. Поймали в Арке куш-беги Усмана с назирами, но эмир успел бежать поймой Зеравшана и укрылся в кишлаке Понедельник, по-таджикски — Дюшамбе.

Фрунзе приехал в Бухару 2 сентября. И воочию убедился, как было трудно бойцам вести бой и под мощными стенами крепости и в городе: узкие улочки, где не разбегаться двум арбам, тупики, дувалы, море плоских глиняных крыш, откуда так удобно вести прицельный огонь по штурмующим. И величественная площадь Регистан, куда направлены дула орудий из эмирского Арка.

Неописуемо было ликование народа в связи с крушением последней монархии на необъятных землях Советской России. И эта радость победы отразилась в торжественной телеграмме командующего в Москву:

«Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается *Красное Знамя мировой революции*. Эмир с остатком приверженцев бежал, меры к его задержанию приняты. Вся центральная и северная Бухара уже установила революционный режим. Войска Российской и Бухарской Красной Армии

приветствуют с радостной вестью рабочих и крестьян Туркестана и всей России».

В конце сентября в Иваново-Вознесенском губисполкоме получили с нарочным из Самарканда деревянный ящик, похожий на саркофаг. Там оказался бархатный темно-малиновый халат с узорами из крупного жемчуга и замысловатыми цветами из чеканного золота. И расшитая золотой нитью тюбетейка, и сабля, и кинжалы, инкрустированные зернами бриллиантов и бирюзы. И записка: «Халат эмира Бухарского, оружие Мадамин-бека и других басмаческих вождей, в подарок ивановскому музею. *М. Фрунзе*».

Толпами собирались ткачи поглядеть диковинную вещь. И даже прикинули халат на весах — в нем было три с лишним пуда!..

Самого Михаила Васильевича Бухарский ревком наградил шашкой и кинжалом. На клинке шашки были дорогие слова друзей: «Дана в знак благодарности от имени бухарского революционного народа товарищу Командующему Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе за активное участие в Бухарской революции 5 сентября 1920 года».

На территории бывшего эмирата поднялась Бухарская Советская Народная Республика. Валериан Куйбышев стал в ней полномочным представителем Российской Федерации.

Наступила вдруг какая-то удивительно спокойная неделя. И даже безмятежно счастливая.

В семье появилась дочка, ее назвали Таней. И она уже пыталась осмысленно глядеть на бородатого папу, когда он склонялся над колыбелью: ей шел третий месяц.

На любом собрании в Ташкенте командующего встречали с восторгом. И он всякий раз говорил:

— Не славьте меня, товарищи, отдавайте должное героям Красной Армии!

Войска шли на отдых, на переформирование. Раненых разместили в госпиталях, мертвых с почестями предали земле.

Гражданская война в Туркестане закончилась. И хоть действовали еще отдельные банды басмачей, их с успехом громили гарнизоны вместе с летучими отрядами. Старики дехкане говорили, что ласковей стало солнце над мирной землей. А певцы на базаре и в чайханах пели песни о «кзыл-генерале Прунзе», который всегда был полководцем храбрым, «как джувльбарс».

Еще в конце мая зародилась у Фрунзе мысль о будущем устройстве армии в новой России. И он тогда же изложил ЦИК Туркестанской республики свои соображения по этому поводу:

«К данному времени определенно наметилась для ближайшего будущего организация военных сил Республики вообще и для Туркестана в частности, т. е. постепенный переход к трудовой армии милиционного типа, организация которой воплотила бы в жизнь со всей полнотой идею коммунистического общежития, дала бы незыблемую основу революционным завоеваниям, а также наряду с достижениями военных целей не являла бы ущерба для нового хозяйственного организма страны».

Он предлагал создать под Ташкентом военно-коммунистический городок, жители которого не только бы овладевали военными специальностями, но и на большой площади в 10–12 тысяч десятин вели культурное сельское хозяйство с широким применением ирригации.

Хотелось бы вернуться к этой идее, но пришло известие — готовиться к отъезду из Средней Азии. Да и очень обиделся Валериан Куйбышев, и это потребовало дружеского вмешательства Фрунзе.

Михаил Васильевич еще недавно терпеливо готовил удар по эмиру, составляя досье на Сеид-Алима. Материалы подтверждали, что тот довел дело до состояния необъявленной войны: поддерживал басмачей в Фергане, сносился с русской контрреволюцией в Персии, разжигал антирусскую агитацию мулл. В животном страхе за сохранение деспотической власти он бросался на такие шаги, которые требовали немедленно ответа Фрунзе: убийство

гонца из Хивы, убийство советского летчика, экономическая блокада русских поселений, обстрел ремонтных рабочих на железной дороге и ранение машиниста поезда и т. д.

Куйбышев руководил Туркестанской комиссией, был членом РВС фронта и действовал с командующим в полном согласии.

Нарком обороны Троцкий, далеко не расположенный ни к Фрунзе, ни к Куйбышеву, обвинил их и всю Турккомиссию в том, что они не используют никакой попытки установить дружеские взаимоотношения с Бухарой. В секретариате ЦК РКП(б) нашлись люди, которые подсказали решение о роспуске старой комиссии и назначении новой. Но не соблюли даже элементарного декорума: Куйбышев не был официально снят с поста председателя, а на его место приехал Сокольников с явным желанием заморозить инициативу Фрунзе и Куйбышева в бухарских делах.

Валериан Владимирович разбушевался; и, как это бывает в состоянии аффекта, решил, что ЦК партии ему не доверяет. И написал Фрунзе большое письмо, в каждой строке которого слышен был крик души.

Михаил Васильевич прекрасно понимал, что Куйбышев написал письмо в запальчивости; что дело не в Центральном Комитете партии, а в каких-то отдельных людях, исполняющих волю Троцкого, и что понять Валериана не так уж трудно: его обидели, да еще в такое время, когда он оставался в Туркестане без преданных ему друзей.

И на обороте письма Куйбышева он написал несколько строк в Секретариат ЦК РКП(б) Преображенскому: «Известную часть соображений и предположений т. Куйбышева следует отнести к чрезмерной мнительности, но в общем и целом должен сообщить и со своей стороны, что он попал в обидное и совершенно незаслуженное положение. Прошу вас, т. Преображенский (просьба совершенно частного порядка), обратить внимание на эти обстоятельства и сделать все, что представится возможным, для удовлетворения просьбы Куйбышева.

Р. S. Пересылка письма Вам сделана без согласия и без ведома Куйбышева. *М. Фрунзе*».

В Москве Михаил Васильевич позаботился о своем верном друге. Из Секретариата ЦК Куйбышеву послал извинительное письмо Н. Крестинский. Письмо заключали строки: «Думаю, было бы вполне возможно остаться на работе в Москве, что, по словам Михаила Васильевича, вполне соответствует вашим желаниям...»

Так была отбита атака Троцкого против Куйбышева. Валериан Владимирович приехал в Москву и был избран членом Президиума ВЦСПС.

10 сентября 1920 года Фрунзе получил краткую телеграмму из Совета Труда и Оборона:

«Немедленно выезжайте в Москву, назначаетесь командующим на другой фронт».

В тот же день Михаил Васильевич подготовил прощальный приказ войскам Туркестанского фронта и в последний раз подписал его двойной фамилией «*Михаил Фрунзе-Михайлов*».

«Согласно постановлению Революционного Военного Совета Республики я назначен на другой фронт. Отъезжая из Туркестана, я обращаюсь ныне с прощальными словами ко всем моим старым боевым товарищам, ко всем красноармейцам, командирам, начальникам и комиссарам.

Товарищи! Уже три года бьется рабоче-крестьянская Русь, отстаивая свои права от насильников всего мира. До сих пор всё чаяния наших врагов разбивались о великую стойкость рабочих и крестьян. До сих пор попытки удушения нашей Революции кончались крахом. Иначе и быть не могло, ибо безмерны запасы энергии, таящиеся в недрах народа, борющегося за свою свободу и лучшую жизнь. Но безмерно велики вместе с тем и лишения, которые ныне выпадают на долю трудовой России.

Наша задача — задача рабоче-крестьянских красных полков — сократить эти страдания путем напряжения нашей революционной воли, нашего военного долга. Я рад отметить, что армии Туркестанского фронта до сих пор честно выполняют этот долг. Начав с

разгрома колчаковских, дутовских, толстовских банд, они довершают ныне свою работу, очищая Туркестан от контрреволюционных полчищ местных самодержавных властителей. Уверен, что и впредь красные полки Туркестанского фронта, куда бы их ни поставила рука Революции, сумеют поддержать свою боевую революционную славу.

Мой прощальный привет вам, товарищи!»

...В прекрасном настроении подъезжал Фрунзе к столице, везя в подарок друзьям богатые дары щедрой туркестанской осени: дыни, арбузы, виноград — диковинные для Москвы сладости.

И после победы в Туркестане оставался он человеком скромнейшим и в анкетах на вопрос об основной профессии указывал: «Столярное и военное дело». Когда же его спрашивали, какая область теоретических вопросов особенно близка ему, он отвечал: «Агрономия и военное искусство», — еще оставаясь в тайнике души человеком мирных гражданских профессий.

Но он уже был в действительности всероссийским военным героем. И англичане в своих журналах называли его крупнейшим полководцем эпохи. Только не понимали, в чем его сила, и пытались что-то отыскать в крови его предков. «В возрасте тридцати лет он разбил адмирала Колчака, образованнейшего военного специалиста. В чем секрет успехов Фрунзе? Может быть, в счастливом сочетании молдавской, древнеримской крови его отца и крови воронежских крестьян и донских казаков его матери?»

Троцкий же не считался ни с кровью предков, ни со всероссийской славой полководца. Интриганская его натура не могла смириться с тем, что Фрунзе стал героем гражданской войны вопреки его воле, и вдруг затмил весь сонм старых генералов, которых он держал в своей свите. И приказал произвести обыск в поезде Фрунзе на Казанском вокзале.

Что хотел найти Троцкий? Сокровища эмира бухарского, фамильное серебро баев, золото и древние манускрипты мусульманских мечетей? Или желал недоверием нанести оскорбление командирующему и сотрудникам его штаба?

Это осталось тайной. Но на заседании Оргбюро ЦК РКП (б) Фрунзе заявил резкий протест против обыска, «после которого его сотрудники чувствуют себя морально оскорбленными». Феликсу Дзержинскому и Рудольфу Менжинскому поручили расследовать это дело. И кончилось оно пощечиной Троцкому: Оргбюро уполномочило Михаила Васильевича «выразить его сотрудникам доверие от имени ЦК».

Врангель бежит в Турцию

В сентябре 1920 г. был назначен командующим армиями Южного фронта (против Врангеля). В последних числах ноября закончил операцию по ликвидации южно-русской контрреволюции занятием Крымского полуострова.

М. Фрунзе

Еще до отъезда в Москву Михаил Васильевич день за днем анализировал печальные и радостные события боевой жизни красных полков на юге и на западе Центральной части России. Был момент, когда он ясно видел, что понадобится на Западном фронте, где действовал Тухачевский, и собирал материалы о пане Пилсудском и огневой мощи его армий.

Этого пана откровенно поддерживала Франция. Она передала ему 1500 орудий, 350 самолетов, 2800 пулеметов, грузовики, повозки, больше 300 тысяч винтовок, миллионы патронов и снарядов.

За спиной Франции действовал «дядя Сэм» — главный вдохновитель войны панской Польши против РСФСР. Он отвалил Пилсудскому 20 тысяч пулеметов, 200 броневых автомобилей, 300 самолетов и 3 миллиона комплектов обмундирования. 750 тысяч солдат и офицеров Польши были одеты с иголки, накормлены досыта, вооружены до зубов и начисто оболванены антирусской агитацией.

Откровенный шовинизм белопанской Польши подкреплял ее боевую мощь и в руках Пилсудского был Знаменем оголтелой реакции.

Фрунзе никогда не отделял человека от его дела и пытался понять, кто же этот пан Юзеф, с лозунгом: «От моря — до моря!», то есть от Данцига до Одессы, где должна раскинуться новая Польша?

Выходило, что темная эта личность — пан Юзеф Пилсудский.

В пору, когда Пилсудский захватил Киев, Уинстон Черчилль призывал быстрее прихлопнуть большевиков, чтобы «закрыть от взоров человечества перспективы сияющего нового мира». Это была злая ирония британского колонизатора, который только свой, мир лендлордов и фабрикантов хотел видеть сияющим!

Но с Черчилля и его друзей сбили спесь. Ленинский наказ — создать армию из 3 миллионов революционных бойцов — был выполнен. Да и под ружьем находилась половина состава партии. А цену коммунистам узнали интервенты на своей шкуре в боях Красной Армии против Деникина, Колчака и Юденича.

И теперь они оказались на высоте: пан Юзеф едва унес ноги с Украины. И Фрунзе опоздал на Западный фронт: там дело шло к мирному договору.

Но остался Врангель, Петр Николаевич, барон шведской крови, генерал царской армии, сорока двух лет; судя по страницам заграничной прессы, человек с апломбом. И заласканный в высшем свете у французов и англичан, как последний любимец из стана русской контрреволюции. В Париже недавно выдали ему авансом золотую саблю с красивой вязью: «Дар благодарной Франции». В Лондоне поднесли платиновый орден, осыпанный бриллиантами. И поперек всей газетной полосы напечатали: «Барону Врангелю — освободителю России от ига большевиков».

Адмирал Колчак шел под флагом «верховного правителя». Генерал Врангель сменил вывеску. Он стал «спасителем России», когда перенял от Деникина остатки его разгромленных армий в Новороссийске 4 апреля 1920 года.

Британцы помогли ему перебросить деникинцев с кавказского побережья в Крым, открыли в Феодосии пулеметные курсы. Отгородили на перешейках от Красной Армии, снарядили и экипировали для большой войны, делая упор на технику: самолеты, броневики, дальнобойную артиллерию, танки.

Фрунзе еще не видел танков. Их не было у русских на Западном фронте в 1916 году; первый советский танк сделали сормовичи в июне 1920 года, написав на его броне: «Борец за свободу товарищ Ленин». И литературы о танках под рукой не было. Но ему нравилось, что еще в прошлом году Демьян Бедный сумел подметить, что бойцы называют грозное незнакомое оружие на свой лад — «танька».

Сиротинскому он поручил найти в Москве все, что известно об этом новом виде оружия, и все, что создают в противовес ему наши ученые.

— Направление поиска, Сергей Аркадьевич, — обычные или специальные гранаты, бронебойные снаряды, А может быть, и огонь. Это очень важно — огнеметы!

Разумеется, судить издали, хорошо ли действовал главком, Юго-Западный фронт иди, конкретно, 13-я армия Эйдемана, расположенная севернее Крыма, он не мог. Но стратегический просчет видел ясно: Крым проворонили. Полгода назад, когда Деникина гнали по Кубани, на Крымском полуострове укрывался один генерал Слащев с потрепанными бригадами. Белая армия была в смятении, два корпуса скинули бы Слащева в море с ходу. Но почему-то обратили против него лишь две бригады: стрелковую и кавалерийскую. И их атака захлебнулась у Перекопа и Чонгара.

РВС Юго-Западного фронта — А. Егоров и Р. Берзин — просили подмогу. Но не получили: главное командование день ото дня ожидало удара от Пилсудского. Владимир Ильич 15 апреля распорядился помочь Егорову и Берзину освободить Крым. Но из-за бездорожья не удалось перебросить войска за десять дней. А с 25 апреля Западный фронт начал пятиться под напором войск панской Польши.

Врангель отдохнул основательно — дней пятьдесят. Он укрепил перешейки, заново сколотил казачьи дивизии, сбил несколько ударных полков из одних офицеров. Подтянул танки, самолеты, корабли, и под крылом у него собралось 150 тысяч оснащенных и хорошо обученных бойцов. И 6 июня он вылез из Крыма возле Геническа: 2-й его армейский корпус устремился к Мелитополю. На другой день при поддержке танков перешли в наступление еще два корпуса: 1-й армейский в районе Перекопа, сводный — у Чонгара.

Барон протянул руку Пилсудскому: так образовался еще один фронт.

Оборону держала 13-я армия Роберта Эйдемана. Три корпуса белых численно ее не пугали: войск у нее было больше. Но Врангель ринулся мощными клиньями, а 13-я была раскинута дугой в триста верст на просторах Приазовья и Северной Таврии. Отбивалась 13-я на грани отчаяния и отступала почти двадцать дней.

Правда, выпадали на ее долю и успехи. Так, в ночь на 10 июня 2-я кавалерийская бригада Блинова захватила штаб белочеченской дивизии и ее начальника генерала Ревина. Набег был хитрый: красные конники обмотали копыта своих коней тряпками, свалились на белых неслышно — как ангелы: генерал предстал перед Блиновым в одних подштанниках. И передал комбригу ценную информацию о планах Врангеля: барон рвался к Донбассу, чтобы пробить путь на Москву.

К 24 июня белых остановили. Но напор вражеской конницы и танков в первые дни шел так стремительно, что 13-я оказалась разрезанной Днепром на две части. За Днепром — от Херсона до Никополя — обосновались две дивизии — Латышская и 52-я. Их и возглавил Эйдеман в качестве начальника Правобережной группы. Командовать 13-й армией стал Иероним Уборевич. Главные его силы держались вдоль железнодорожной линии Мелитополь — Александровск. И ему подчинялись группа Эйдемана и конный корпус Городовикова.

Барон рвался к Донбассу, к Александровску. Две недели июля шли ожесточенные бои. Но обе стороны выдохлись, и наступило затишье. Врангель отвел часть своих войск для десантных операций на Кубани. А на левом берегу Днепра оставил против Эйдемана сравнительно слабые войска генерала Слащева.

Врангель не верил в силу Правобережной группы красных — и просчитался. С 6 на 7 августа Эйдеман начал переправу на участке Алешки — Каховка, удачно форсировал Днепр и развил наступление на юго-восток и восток. Слащев побежал, ставя под удар тылы белых войск в Северной Таврии и пути отступления в Крым.

Врангель кинулся исправлять ошибку и обрушил против Эйдемана конный корпус генерала Барбовича. Красная конница попала под сокрушительный фланговый удар и откатилась к Каховке. Но плацдарм на левом берегу Днепра не сдала. Уборевич поручил Д. Карбышеву срочно возводить пояса обороны.

В сентябре Уборевич еще раз попытался отрезать белых от Крыма ударом на Мелитополь и Перекоп. Василий Блюхер со своей 51-й дивизией при поддержке 52-й дивизии почти достиг Мелитополя — до него оставалось двадцать пять верст. Но свежий, сильный заслон Врангеля не дал им развить успех, и они Получили приказ держаться на Каховском плацдарме.

Для обороны этого плацдарма — а он был страшным для белых — в Бериславе, против Каховки, быстро сформировалась 6-я армия под руководством Авксентьевского.

— Уже Авксентьевский там и Карбышев! А мы все тащимся до Москвы! — Михаил Васильевич широким шагом ходил по салону, останавливался у стола, заваленного книгами, делал пометки в блокноте. Подходил к окну, глядел на давно знакомый пейзаж, барабанил пальцами по стеклу. Туркестан был позади. И теперь весь он был в мыслях на полях битвы в Северной Таврии. И ни от кого не скрывал, что его одолевает жажда решительного, смелого дела на юге России.

Ночью он приехал в Кремль. Ленин уже не раз спрашивал о нем.

Сиротинский по свежим следам сделал запись, которая помогает раскрыть отношения Ленина и Фрунзе в те дни.

«Чуть прихрамывая и задыхаясь от волнения, Фрунзе пробежал длинным коридором, потом поднялся по лестнице. Когда он вошел в зал, заседание Совета Труда и Оборона уже заканчивалось. Фрунзе сел на стул в самом конце стола, ближе к дверям. Владимир Ильич что-то читал, делая при этом быстрые заметки в блокноте. Подняв голову, он увидел Фрунзе и молча показал ему на свободный стул неподалеку от себя. Оказавшийся рядом Ф. Э. Дзержинский молча пожал руку Михаилу Васильевичу и передал записку В. И. Ленина.

«Точность для военного человека — высший закон! Почему опоздали?» — писал Ленин.

Ответить на записку Фрунзе не успел. Он даже не заметил, кто выступал, о чем шла речь. Едва выступавший замолчал, Владимир Ильич поднялся, окинул взглядом лица сидевших у стола, словно ища кого-то, и начал говорить о положении на Юге. Речь свою он закончил такими словами:

— ...В целях быстрейшей ликвидации чрезвычайной опасности, грозящей нам со стороны Врангеля, предлагаю утвердить командующим Южным фронтом товарища Фрунзе, Михаила Васильевича...»

Вопрос был решен. Перешли к последним делам. Ленин передал через Дзержинского вторую записку Михаилу Васильевичу: «Сейчас закончим заседание. Если не торопитесь и нет других спешных дел, подождите меня».

Это была памятная ночь в жизни большевика Фрунзе: с Лениным он провел ее с глазу на глаз.

Они погуляли в Тайницком садике Кремля. Было свежо и сухо, и пожухшие листья, подогретые днем на солнце, похрустывали под ногами. Погасли огни в Замоскворечье, и совсем затих огромный город. Но Кремль был освещен, и несколько фонарей высвечивали дорожку вдоль лежавшей внизу южной кремлевской стены.

— Вы чем-то огорчены, товарищ Арсений? Я не помню вас таким.

Фрунзе рассказал о передрыге на Казанском вокзале.

— Вас хотели скомпрометировать! Что за люди! Я вынесу эту историю на заседание Политбюро. Вы же не падайте духом, партия доверяет вам полностью! — Ленин крепко сжал руку Фрунзе.

Потом обстоятельно обсудили кампанию против Врангеля.

— Гусев ваш друг? — спросил Ленин.

— Да.

— Он поедет к вам членом Реввоенсовета. И еще — Бела Кун — стойкий венгерский коммунист. С ним я не говорил подробно, а Сергей Иванович хорошо знает точку зрения ЦК: у нас не хватит сил вести еще одну войну зимой, да мы и не имеем права обрекать народ на ужасы и страдания зимней кампании.

— А зачем же тянуть до зимы?

— Ну, ну? Ваши сроки? — Ленин остановился под фонарем и очень пристально глянул Фрунзе в лицо.

— Можно кончить в декабре, Владимир Ильич.

— В декабре? — как-то сумрачно переспросил Ленин.

— Точнее, к декабрю.

— Ой ли? Ведь сейчас конец сентября.

— Если ЦК решил, что зимняя кампания недопустима, до зимы и кончим. К декабрю. Но при одном условии... — Михаил Васильевич замаялся.

— Говорите начистоту, товарищ Арсений!

— При условии, Владимир Ильич, что я буду иметь дело только с вами. Сергей Иванович писал мне, что всякие неудачи на Юге воспринимаются как «катастрофа» и вызывают панику. Тон этой «системе» задает Троцкий. Частые смены политических

работников и командиров и великокняжеские разъезды наркома по фронту — все это проявление той же «системы» организованной паники... Наконец, эта гнусная история на Казанском вокзале... Словом, мне не нужна опека из кабинета на Знаменке...

— Я согласен, — Ленин задумался и зашагал быстрее. — Так говорите «великокняжеские»?

— Да.

— Не знал, не знал! Но больше этого не будет! К вам приедут Калинин и Луначарский: они даже не удельные князья, а отличные мастера партийной пропаганды. Я сам себя ловлю на мысли, что слушаю Луначарского с восторгом...

Молча прошли до Оружейной палаты, вернулись к Царь-колоколу.

— А ведь мы могли бы прикончить Врангеля в зародыше. Вы думали об этом? — вдруг спросил Владимир Ильич.

— Да, подходящая ситуация была в апреле.

— А теперь он сила, и не обойтись без тяжелых жертв. Ошибка? Просчет? Это куда бы ни шло. Боюсь, что дело сложнее, хуже. Каждой революции приходится бороться не только с открытыми врагами, но и с тайными. — Фрунзе, развивая мысль Владимира Ильича, рассказал о Куйбышеве. — Вот, вот! Все это проделки таинственных людей, действующих за спиной ЦК! Кончим войну, очистим партию от случайных людей и от недругов...

Три звонких удара отбили часы на Спасской башне. Ленин подхватил Фрунзе под руку:

— Ночь на исходе, товарищ Арсений. Вы — мой гость, а я занимаю вас одними разговорами. Не попить ли нам чайку? С огня и — покрепче. Как вы?

— «А какой же русский не любит быстрой езды?» — говаривал Гоголь! — шутливо ответил Михаил Васильевич.

Сиротинский записал: «Владимир Ильич разыскал электрический чайник, включил его. Рядом с письменным столом стояла вращающаяся книжная этажерка, на ней под салфеткой лежали хлеб и сахар.

— Сейчас закатим ужин, — рассмеялся Владимир Ильич, готовя чай. — Пока я хозяйничаю, вы рассказывайте о фронтах, о настроении бойцов, населения. О самых незаметных мелочах говорите. Только, чур, без агитации, меня агитировать не надо. Я за Советскую власть бесповоротно. — Когда Фрунзе начал рассказывать, звякнул телефон. Ленин снял трубку: — Да, да. Скоро приду. Очень важное заседание. Скоро закончим, — разговаривая, Владимир Ильич смотрел на Фрунзе и время от времени лукаво подмигивал ему. Положив трубку, он сказал: — Это домашние. Еще немного, и наша тайная пирушка погибла бы, а!..»

Пять дней ушло у Фрунзе на Москву и Подмоскovie. Два дня он пробыл на IX Всероссийской конференции РКП (б), где решался польский вопрос. Один день провел в Иваново-Вознесенске, выступал на митинге. Ткачи решили послать к нему на фронт группу коммунистов.

Шла работа и в Москве. Согласились побывать в передовых частях Михаил Калинин и три наркома — Анатолий Луначарский, Николай Семашко и Дмитрий Курский. А Демьян Бедный уже прицепил свой вагон к поезду командующего и с нетерпением дожидался отъезда.

Сергей Иванович Гусев был уже в сборе и отдавал последние распоряжения на вокзале, где грузили в поезд литературу, плакаты, бумагу, шрифты, печатные машины и размещали бригаду типографских рабочих.

Главком Каменев согласился передать на Южный фронт В. С. Лазаревича и А. И. Корка: Фрунзе уже видел их во главе армий. Начальником штаба утвердили И. Х. Пауку, который командовал до Эйдмана 13-й армией Юго-Западного фронта.

«Люди, книги, оружие» — три слова занимали первую строку записной книжки Михаила Васильевича. С Сергеем Сергеевичем Каменевым благополучно решили вопрос об артиллерии, самолетах и огнеметах.

Свежая 30-я дивизия эшелонами подтягивалась из Сибири после отдыха и переформирования. Калинин сказал на прощанье:

— Если она отличится в боях, присвоим ей наименование «Имени ВЦИК».

Маленький, юркий Сергей Сиротинский, без лести преданный командующему, рыскал в автомобиле по городу в поисках книг о крымских походах русских армий против татар. Перетряхнул всех букинистов на Арбате, на Сретенке, на Тверской и на Варварке — у Китайгородской стены. Фрунзе похвалил: в одном из книжных развалов оказалась очень нужная монография Байова: «Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны».

После дневной и вечерней суеты командующий оставался в салоне один. Он любил эти ночные часы, когда можно было спокойно склониться над картой на большом столе, и мысленно взором окинуть весь фронт: движение людских масс, пульс боевой жизни, и вычертить зыбкую линию расположения частей по оперативным сводкам дня.

Добрых вестей было мало. Десять суток назад Врангель развернул новое наступление против 13-й армии. Уборевич сопротивлялся упорно, однако отступал к северу и 19 сентября оставил Александровск. Кавалерийские дивизии барона развивали успех в направлениях на Волноваху и на Мариуполь.

В сводках часто мелькали фамилии лиц, которые становились теперь в одну шеренгу с командующим: Городовиков, Корк, Авксентьевский, Эйдеман, Тимошенко, Карбышев. Возле Бердичева сколачивалась в кулак 1-я Конная армия Буденного и Ворошилова, чтобы двигаться в район Каховки.

Кого-то Фрунзе знал лично. С Семеном Буденным разоружал в 1917 году мятежные части генерала Корнилова; Августа Корка видел в деле на Восточном фронте в частях Тухачевского; Авксентьевский и Карбышев — давние знакомые по Ярославскому военному округу. Других не знал. Судя по всему, люди они разные, достойные. Но как-то выходило, что среди них не было нового Чапаева, так необходимого в условиях Южного фронта. Впрочем, вскоре нашелся и он — в лице начальника 51-й дивизии Василия Блюхера.

Еще в Туркестане Михаил Васильевич вживался в немецкую фамилию этого героя, которая никак не вязалась с обликом ярославского мужичка. А теперь Фрунзе заинтересовала справка о легендарном походе Блюхера в августе — сентябре 1918 года. Тогда Блюхер совершил удивительный маневр, чтобы не попасть в лапы к белым: полторы тысячи верст по Среднему Уралу от Белорецка до Кунгура. Да еще по дороге обстрелял поезд, в котором совершали перебег в Уфу присной памяти деятеля Самарского Комуча вместе с Черновым и Брешко-Брешковской. Да и бывал Блюхер на реке Белой, где через год Фрунзе и Чапаев переправлялись к Уфе.

Надо было обладать и железной волей и готовностью к неожиданному маневру, чтобы провести на самой грани беды и отчаяния растрепанную армию, одичавшую от непрерывных налетов белогвардейцев, голодную, разутую, раздетую. Люди почернели от солнца и пыли, шли в лаптях, в изодранной одежонке, перехваченной по случаю, в зипунах, пиджаках, простреленных шинелях. Но они не теряли веру в ум, смелость и безграничную боевую дерзость командира. И несли по Уралу самодельные кумачовые знамена — символ революционной отваги и веры в победу. И было это новое, советское братство, потому что рядом с рабочими и крестьянами из русских сел и городов делили поход башкиры, латыши, украинцы, уральские казаки и китайцы.

Сумрачен был Блюхер, видя страдания товарищей, и «смех у него заменяла улыбка», как позднее писал Константин Паустовский. Только один раз во время похода, уже неподалеку от Кунгура, рассмеялся он от души. «Это было на берегу реки Сарыган. Измученные кавалеристы остановились на привал под черными густыми ивами, разделись, начали купаться. Неожиданно из леса вырвались казаки.

— Кошомники! — успел крикнуть кто-то из бойцов. Нет более обидного прозвища для казаков, чем это малопонятное слово. Казаки спешили и открыли по кавалеристам огонь. Пули с треском распарывали воду. Одеваться было некогда. Голые кавалеристы вскочили на

коней и с громкими криками ринулись на казаков в атаку. Казаки бежали. Блюхер смеялся. Должно быть, впервые в военной истории кавалерия голой ходила в атаку...»

«Блюхер. Дивизия или группа?» — записал Фрунзе и велел Сиротинскому вызвать начальника 51-й дивизии, как только штаб начнет работать в Харькове.

26 сентября 1920 года поезд Фрунзе прибыл в столицу Советской Украины.

Уже на вокзале больно задела харьковская сплетня.

— Все говорят, что на фронте измена, товарищ командующий! — доверительно сообщил комендант. — Не можем мы так постыдно бежать от Врангеля!

— Какая сорока принесла на хвосте эту весть?

— Везут к нам раненых, вот они и рассказывают.

— Советую попридержать язык! — Фрунзе козырнул. — Иначе я отправлю вас искоренять эту самую измену на полях Таврии!..

«26 сентября мы, старшие командиры штаба, находились в просторном зале заседаний и в ожидании очередных сводок обсуждали сложную, во многом неясную фронтовую обстановку, — вспоминал С. Харламов. — За разговорами у оперативных карт не заметили, как в дверях появился неизвестный военный, одетый в простую серую шинель. Взгляд его был открытый и приветливый. Как старший по должности, я пошел ему навстречу, намереваясь спросить, кто он такой. Но он опередил меня.

— Здравствуйте, товарищи командиры! — негромко сказал незнакомец. — Я Фрунзе...»

Михаил Васильевич познакомился с сотрудниками:

— Ну, а теперь давайте вместе посмотрим, что делается у нас на фронте. Прошу садиться.

Что отметили старые кадровые военные в новом командующем? Он не предупредил никого о своем приезде и пришел с вокзала в сопровождении адъютанта. И в первой его речи к работникам штаба доминировала мысль о моральном воспитании войск, о чутком отношении к красноармейцам.

— В любом вашем плане всегда должен быть в фокусе человек — боец! Меньше жертв, меньше случайных решений. Оперативность не показная спешка, а точно выверенный расчет. Кстати, он часто приходит в бессонные ночи, над картой боев.

Его уже с ходу захватила армейская страда: лихорадочно заработала мысль, обожгла решимость. В два часа дня он приступил к формированию штаба. Через сутки штаб работал.

Вечером он сообщил войскам о своем приезде, на другой день обратился к ним в приказе с горячим словом друга и четко определил задачу бойцов и командиров Южного фронта.

«Товарищи! Вся рабоче-крестьянская Россия затаив дыхание следит сейчас за ходом нашей борьбы здесь, на врангелевском фронте. Наша измученная, истрадававшаяся и изголодававшаяся, но по-прежнему крепкая духом сермяжная Русь жаждет мира, чтобы скорее взяться за лечение нанесенных войной ран, скорее дать возможность народу забыть о муках и лишениях ныне переживаемого периода борьбы. И на пути к этому миру она встречает сильнейшее препятствие в лице крымского разбойника — барона Врангеля».

Много крепких, точных слов было посвящено в этом приказе проклятому барону. Он пробивается к царскому трону через горы трупов рабочих и крестьян; он вонзил нож в спину России и сорвал мирные переговоры с панской Польшей, когда красные войска были в предместье Варшавы. Этого разбойника надо разгромить стремительным ударом, не затягивая дела до зимы.

Именем республики он обратился к красноармейцам, командирам и комиссарам с горячим призывом — дружно устранить в частях недочеты, чтобы Южный фронт превратился в грозную, несокрушимую для врага силу. «Обращаюсь ко всем тем, в ком бьется честное сердце пролетария и крестьянина; пусть каждый из вас, стоя на своем посту, выявит всю волю, всю энергию, на которую только способен. Шкурников, трусов,

мародеров, всех изменников рабоче-крестьянскому делу — долой из наших рядов! Долой всякое уныние, робость и малодушие!

Победа армии труда, несмотря на все старания врагов, неизбежна. За работу, и смело вперед!»

Едва ли не через два-три дня Михаил Васильевич лучше знал обстановку на фронте, чем многие сотрудники штаба: те верой и правдой служили, он жил фронтом, был душой его и сердцем. И видел фронт не только по карте или по оперативным сводкам, а в движении огромных масс, в ратном их труде, в их судьбах, как видел это и рядовой красноармеец, и командир полка, и командарм.

В день, когда он приехал, Южный фронт включал три армии: 6-ю, 13-ю и 2-ю Конную.

Доверчивый и весьма деликатный в общении с товарищами, он с трудом разрывал старые привязанности. И хотя в штабе и у Станислава Коссиора — в ЦК КП(б)У — о командарме-6 Константине Авксентьевском сложилось негативное суждение, он заменил его Августом Корком только через месяц, когда для решающего удара по Врангелю понадобился более волевой командарм. И после разгрома Врангеля взял Авксентьевского с собой для ликвидации банд батьки Махно. И через три года хотел сохранить для армии старого боевого товарища, когда возникло его «персональное дело» в ЦКК РКП (б). Михаил Васильевич дал тогда ему лестную характеристику, не умолчав, естественно, и об ошибках. Когда Авксентьевский был рядом с Фрунзе, за ним «не числилось крепких промахов (только в быту иной раз — увлечение выпивкой)». Промах он сделал позднее. «Самым скверным для него фактом считаю его женитьбу на какой-то бывшей актрисе, совершенно чуждом нам человеку». Фрунзе не раз предупреждал его о недопустимом для ответственного работника партии таком сожительстве. «Общее мое мнение о нем: это человек преданный революции и партии. Человек с большими заслугами в прошлом и с возможностями для будущего. Его несчастье — склонность к выпивке. Так как он сравнительно молодой член партии (с 17-го года) и не обладает настоящим революционным запасом и моральной устойчивостью, то легко поддается влиянию среды. Сейчас, насколько мне известно, он совсем не пьет и много работает. Твердо ли это — в этом вся суть...»

Когда Корк принял от Авксентьевского 6-ю армию, Фрунзе сформировал и еще одну армию — 4-ю — во главе с Лазаревичем.

Но это было позднее, когда уже определилось направление главного удара по Врангелю. Сейчас же, на первых порах, он вызвал командармов и о каждом своем шаге, не реже двух раз в неделю, телеграфировал Владимиру Ильичу.

Первая депеша ушла в Кремль 28 сентября: «Прибыл в Харьков 26 утром. В два дня сформирован в основных чертах штаб фронта, с 28 приступивший к работам почти в полном объеме. Положение на фронтах характеризуется упорным сопротивлением противника, очевидно, прекрасно осведомленного о наших планах, которые он стремится разрушить путем ударов в направлениях наших группировок. Движение к Донецкому бассейну рассматриваю именно так. Предполагаю со своей стороны, впредь до окончания подготовки общего наступления, нанести ряд коротких ударов. Завтра вызываю в Кременчуг командармов 6-й, 1-й и 2-й Конной. Настроение частей несколько надломлено. Переход в общее наступление зависит от времени подхода 1-й Конной. Установили связь с ЦК Украинской. Подготавливаем мобилизацию незаможных крестьян. Тыл очень плох. Делаем все, что можем. Прошу ускорить приезд Баранова, а также командировать на фронт тов. Куйбышева».

Перед отъездом в Кременчуг выдался час-другой для встречи с Демьяном Бедным. Михаилу Васильевичу нравилось говорить с поэтом. Плотный, с гладко выбритым облысевшим черепом, с румянцем во всю щеку и маленькими рыжеватыми усами, он был воплощением бодрости для политотдельцев и сотрудников штаба. Газетчики бегали за ним толпой, ожидая от него откровения. Он им рассказывал удивительные байки, щуря маленькие светлые глаза; с полных губ не сходила улыбка. С самым серьезным видом говорил о смешных пустяках и заливался смехом, когда говорил о важном деле. Грохотал его

низкий бас, янтарный мундштук с папиросой беспрерывно торчал между пальцами левой руки.

— Я читал перепалку твоих ребят с беляками, — громыхнул он с порога и сбросил на диван кожаное пальто. — Эту самолетную «дуэль» с помощью листовок. Бьюсь об заклад, что кормишь ты их пасхальной еврейской мацей — без соли, перца и сахара. Именно так пресно они пишут!

— А вы им подбросьте дрожжей. Или бомбочку — зажигательную, чтоб они воспрянули духом.

— Думаю. Но пока не уловил изюминку. Очень это трудная штука — угодить в точку, поймать за хвост жар-птицу. Она где-то рядом ходит, иногда садится на плечо и долбит клювом по лысине, — он хлопнул себя по бритому темени и засмеялся раскатисто.

— Мне говорили, что бойцы сами пишут белякам, и получается у них иной раз в духе запорожского письма турецкому султану. Вот тут и изюминка! Смех убивает; и не мне вам говорить об этом. И красноармейцы пытаются действовать в таком ключе. В одном из писем они благодарили баронское превосходительство за три танка, уступленных Врангелем в бою. Потом подключились к проводу белой дивизии и передали телефонограмму: «Убегайте, гады, быстрее по маршруту Мелитополь — Севастополь — Константинополь!» Ловко, а? — Фрунзе ходил по салону, потирая руки. — Вот и дать бы барону позабористее: мол, чучело гороховое, немчура, а в царьки лезет! Он же чванный и потому в чем-то ограниченный тип: до сих пор не может понять, с какой армией воюет!

Что-то новое и даже удивительное для Фрунзе мелькнуло в глазах у Демьяна. Он сбросил маску протачка, посуровел. И сказал глухо:

— Бумагу и чернила, командующий!

— Садитесь за мой стол, Ефим Алексеевич. Я могу и отлучиться на время, — извинительно сказал Фрунзе и ушел в купе, захватив со стола сводки и карты.

— Сиротинский, чаю! — грохнул Демьян.

Сергей Аркадьевич распорядился, чай подали.

— Да ты, сдурел, Сергей! Чай — это фигурально! Покрепче-то ничего нет?

— Не положено, товарищ Демьян!

— Ну, монахи! Мацееды! Пресноеды! — разбушевался Демьян. Но скоро затих, размашисто водя пером по бумаге. И даже не глянул на Сиротинского, когда тот вышел из салона.

Давид Куманов — политотделец, газетчик, который в те дни состоял в «свите» Демьяна, — отметил в дневнике, что знаменитый «Манифест барона фон Врангеля» был написан в один присест. И первым слушателем-читателем был Михаил Васильевич.

Всегда серьезный, сосредоточенный, с виду даже несколько хмурый, со сдвинутыми накрепко бровями, М. В. Фрунзе буквально заливался хохотом, слушая «Манифест».

Фрунзе то и дело прерывал автора, приговаривая:

— Так... Так!.. Отлично! Замечательно!.. Правильно!..

Товарищ Фрунзе приказал немедленно начать печатать «Манифест» — о тираже разговора не могло быть:

— Печатайте хоть миллионы! Чем больше, тем лучше!

И уже через день-другой по всему фронту летел «Манифест» как песня и снежной лавиной падал с самолетов на голову беляков в Севастополе, Симферополе, Ялте и Феодосии.

«Манифест» казался тарабарщиной: слова немецкие, слова вывернутые; но запомнились они мигом. Михаил Васильевич, к примеру, после второго чтения читал агитку Демьяна наизусть, вплоть до последней строфы:

...Ви будет жить благополучно
И целовать мне сапога.
Гут!

«Подписал собственноручно»
Вильгельма-Кайзера слуга,
Барон фон Врангель бестолковый,
Антантой признанный на треть.
«Сдавайтесь мне на честный слово,
А там... мы будем посмотреть!!»

Демьян попал в точку, поймал за хвост жар-птицу. Беляки стали переходить линию фронта с «Манифестом» в кармане и предъявляли его как охранную грамоту, не желая служить «подлюге Врангелю».

Когда у Фрунзе спрашивали, скоро ли начнется наступление, он отвечал:
— Да, скоро... Я «нашинаю» в ближайшие дни!..

Важным было совещание в Кременчуге: командармы решали вопрос о главном и вспомогательном ударе по Врангелю.

О главном, решающем ударе двух мнений не было. Все сошлись на одном: как только подойдет 1-я Конная, Буденный, Авксентьевский, Эйдеман, Блюхер и Городовиков отсекут войска барона от перешейков, не давая белым прорваться в Крым. В крайнем случае ворвутся туда на плечах отступающего врага, — Зимняя кампания исключается.

— Я дал слово Владимиру Ильичу кончить к декабрю, — сказал Фрунзе.

Споры были о том, чего добивается Врангель в данный момент. При первом взгляде на карту можно было заключить, что он решил овладеть Донбассом. Главные силы его левой колонны шли на Макеевку. И из бассейна поступали тревожные сведения: там начали эвакуацию. Однако барон одновременно замыслил что-то на Кубани и подозрительно передвигал части в районе Александровска.

Командармы решили: остановить Врангеля в ближайшие дни. С Каховского плацдарма нанести серию ударов на северо-востоке и срочно возводить мост для конницы Буденного в окрестностях Никополя. А на северо-запад выдвинуть войска во фланг Врангелю для поддержки Юзовской группы в Донбассе.

— Не дурак же этот барон! — сказал Фрунзе. — Полководец он опытный и, надо думать, не хуже нас понимает, что, пока в тылу у него есть Каховский плацдарм, Донбасса ему не видать. Значит, поход в Донецкий бассейн — широкий отвлекающий маневр. Что бы я сделал на месте Врангеля, у которого хозяин — Антанта и случайный друг — пан Пилсудский? Я бы опрокинул плацдарм в Днепр, перескочил на правый берег и хотя бы символически устремился на помощь Пилсудскому. Это подтверждает и главком. Панская Польша хотела подписать мирный договор восьмого октября, теперь срок отодвинут. Пилсудский дышит на ладан. Неизбежен удар Врангеля по Каховке с выходом на Правобережную Украину!..

Четко определил Фрунзе операции Южного фронта в ближайшие дни. 6-я армия энергичной разведкой непрерывно тревожит противника и собирает данные о его силах против Каховского плацдарма. Она же немедленно строит переправы неподалеку от Никополя. 13-я армия вышибает части барона из Александровска силами двух стрелковых дивизий — 46-й и 23-й и 9-й кавалерийской. А Морскую и 2-ю Донскую дивизии Таганрогской группы М. Левандовского спешно выдвигает во фланг противнику, наступающему на Донбасс. 2-я Конная армия остается на месте, в районе Никополя, и собирает силы в кулак на случай возможного рывка белых на Правобережье.

Командармы спешили к своим штабам. Но Михаил Васильевич с каждым из них успел поговорить с глазу на глаз: в такой обстановке точнее определялись индивидуальные качества любого начальника.

С Уборевичем состоялся разговор о «стрелах». В его армии накопилось до сорока пяти старых самолетов: «ньюпоры», «фарманы» и «вуазены» и несколько тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец». Их перебросили с Западного фронта по указанию

Владимира Ильича. Так как бомб не доставало, смекалистые мастера предложили применять полые, заостренные цилиндры с поставленными под углом лопастями. Падая вниз, эти «стрелы» набирали силу с ужасающим визгом. Очень хороши были они для ударов по скоплению кавалеристов, особенно в комплексе с бомбами. Свист бомбы, грохот разрыва, страшный вой «стрел» — это действовало безотказно. Когда же «стрела» попадала в кавалериста, она прошивала его насквозь вместе с лошадьёю.

— Голь на выдумки хитра! — горько улыбнулся Фрунзе. — Что ж, бросайте «стрелы», пока не снабдят нас бомбами. Но уделите особое внимание разведке с воздуха: я смотрел снимки Турецкого вала — очень плохо.

— Будет исполнено, товарищ командующий! Со своей стороны прошу санкции: когда войдет в дело армия Буденного, я хочу подкрепить ее кавалерийским корпусом от Геническа. Часть я сколочу, и командир есть отличный — Каширин.

— Действуйте, Иероним Петрович! Я даже сам хотел вам сказать об этом...

Был разговор и с Блюхером: первый, но не последний. Михаил Васильевич вызвал его на высокое совещание по той причине, что он оборонял Каховский плацдарм и, как Чапаев на Восточном фронте, командовал дивизией особого состава. У него были четыре стрелковые бригады, два кавалерийских полка, пять артиллерийских дивизионов, тяжелая гаубичная батарея и два авто-бронеполка. Да и хотелось повидать героя, награжденного первым орденом Красного Знамени.

— Вам задача ясна, Василий Константинович? — обратился к нему Фрунзе.

— Да, удерживать Каховский плацдарм, вести активную разведку и с жадностью глядеть на Перекоп.

— Почему же так: с жадностью?

— Очень крепкий орешек, Михаил Васильевич. Да и руки чешутся скорей раздавить его. Устали бойцы, кончать войну надо разом.

— А насколько крепкий? Наши летчики дают очень слабое представление об огневой мощи обороны Врангеля.

— Так то с воздуха! Летчик сидит как кочет на насесте и только об одном думает: как бы не загреметь? А мы — с земли. Посылал я недавно двух ребят — коммунистов, — рискнули разведать укрепления в казацкой одежке... Врангель не зря сидел в Крыму. Турецкий вал еще с древнейших времен — преграда страшная: тянется на одиннадцать верст, подошва — аршин двадцать, высота — пятнадцать. Перед ним беляки отрыли к лету ров: глубокий, человек пять надо поставить друг другу на плечи. Окопы полного профиля и заграждения из проволоки — до пяти кольев. Орудий — близко к сотне, пулеметов и того больше. На случай отступления есть вторая полоса у Ишуньских позиций. В лоб не больно возьмешь. А по Сивашу, на Литовский полуостров — это как бог даст!

— Не понимаю.

— Старики говорят: все зависит от ветра. Ежели он дует от Одессы, Сиваш может обсохнуть. А коли от Бердянска или с Кубани, тогда брод закрыт. И выход только один: в лоб, с суши, на Перекоп.

— Очень ценная информация! А как с танками? Боятся их красноармейцы?

— Поначалу бегали, Михаил Васильевич. Слов нет, страшно. Потом приспособились бить из окопов: то до себя не допустят и швырнут гранату, то под зад танку. Так и останавливают. А экипажи берут голыми руками: беляк в танке очень храбрый, а когда стоп машина — руки вверх без разговоров!

— Я распорядился переслать вам огнеметы: сокрушительное оружие и против живой силы и против танков. Сейчас же создайте ударный огневой отряд и выдвигайте его заслоном впереди пехотных цепей.

Блюхер молодецкато козырнул:

— Не сомневайтесь, Михаил Васильевич, будет сделано!..

Но самой удивительной была встреча с Ворошиловым. Они не виделись четырнадцать лет, со съезда в Стокгольме, да и жили там под вымышленными фамилиями: один —

Володин, другой — Арсеньев. Наконец псевдонимы раскрылись! И оба порадовались, что судьба свела их у самого эпилога гражданской войны.

Климент Ефремович сделал запись об этом дне:

«...Фрунзе? Глазам не верю. Радостная встреча — Арсений и Володя, «перекрещенные» революцией в их собственные имена и фамилии. Пожимаем друг другу руки. Оба возбуждены, рады неожиданной встрече.

Так вот он кто Фрунзе — Михайлов, о котором так много славных, граничащих с легендами, вестей и слухов!

На столе огромная карта, на которой видно, что враг, последний враг русской революции, с удесятеренной наглостью пытается расширить район своих действий.

И вчерашний подпольщик, большевик Арсений, с изумительной ясностью и поражающим авторитетом истинного полководца развивает в деталях предстоящие решительные операции Красной Армии.

...Незначительные замечания, краткий обмен мнений — и план, оперативный план большевика Арсения — Фрунзе утвержден.

Судьба Врангеля предрешена!»

Фрунзе спросил на прощанье:

— Когда тебя и Буденного ждать с Первой Конной?

— Недели через три, не раньше. Идем своим ходом, на поездах не добрались бы и до зимы.

— Придете раньше, — многозначительно сказал Михаил Васильевич.

— Ей-богу, не успеем!

— Ленин вас подстегнет.

Действительно, не успел Ворошилов приехать в Конную, как Владимир Ильич вызвал его и Буденного к прямому проводу.

«Крайне важно, — читали они бегущую из аппарата ленту, — изо всех сил ускорить передвижение вашей армии на Южфронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими. Телеграфируйте, что именно делаете».

— Железная рука у нашего командующего! — только и смог сказать Клим Ворошилов.

Через день, уже в Харькове, Фрунзе получил от разведки точное подтверждение своей догадки: в ближайшие дни Врангель замыслил произвести переправу на правый берег Днепра в районе Александровска.

— Я и говорил: не дурак барон. — сказал он Гусеву.

Дело решали считанные часы. Авксентьевскому и Городовикову он приказал срочно сосредоточить две сильные дивизии северо-восточнее Никополя. Срочно он создал Кременчугский укрепленный район. И на всякий случай распорядился вывезти из Екатеринослава все армейские учреждения, «пребывание коих там не вызывается крайней необходимостью».

Елизавета Драбкина рассказала об одной из ночей того времени, наблюдая за своим отцом и Фрунзе.

С Сергеем Ивановичем и Михаилом Васильевичем — они явились поздно вечером — пришел и Николай Петрович Горбунов — недавний секретарь Совнаркома, теперь член РВС Южного фронта.

«Все были страшно голодны, быстро съели приготовленную мною яичницу, помидоры, потом принялись за арбуз. Они ели большими кусками, не замечая даже, что едят, и продолжали разговор, который велся на заседании Реввоенсовета.

Я то входила в комнату, то выходила: керосинка горела плохо, и чайник никак не хотел закипать. Когда он, наконец, вскипел, я вернулась в комнату и увидела, что скатерть сдернута, Михаил Васильевич расставляет на столе посуду и еду, воссоздавая карту Севёрной Таврии и крымских перешейков. Глубокая тарелка изображала Каховский плацдарм; изогнутая арбузная корка — Арабатскую стрелку; куски сахару — ударные

группы войск; узкий ломтик хлеба — Перекопский перешеек; ножи, вилки, ложки — направление ударов.

О чае никто уже не думал. Куски сахара, ножи, вилки быстро передвигались по столу. Потом в ход были пущены блюдца, стаканы, карандаши, резинка, две пуговицы, чернильница, пресс-папье.

На столе уже не оставалось свободного места, но Михаил Васильевич — то при согласии, то при возражениях отца и Николая Петровича — продолжал передвигать лежавшие на столе предметы и класть на него новые. Все трое были охвачены необычайным возбуждением и, казалось, не видели и не слышали ничего, кроме этой понятной лишь им самим карты».

Запомнились фразы Фрунзе-командующего — энергичные, точные, короткие: ударить по флангам противника всеми силами конницы. Приурочить штурм к ночному времени!

«Михаил Васильевич вытащил из кармана ключ, хотел положить его на стол. И тут раздался удивительный звук — гулкий, звенящий, торжественный, печальный. Это стоявшие в углу старинные часы в узком высоком футляре красного дерева начали отбивать полночь.

Все замерли слушая. Когда прозвучал последний удар, Михаил Васильевич глубоко вздохнул, с недоумением посмотрел на ключ, который держал на весу.

— Во Владимирском каторжном центре, — медленно сказал он, — лежишь, бывало, ночью и считаешь время по каплям дождя, стекающим по водосточному желобу. Эх, сколько часов и минут зазря пропало!

Он обвел глазами стол, подумал, сказал:

— А что, ежели нам нынче не поспать ночь и прикинуть все это на карте? Кажется, мы нашли недурное решение...»

И все трое ушли в штаб.

Обстановка на фронте прояснялась помалу, но радужных надежд не сулила. Перед Лениным он раскрывался весь как на духу и в очередной телеграмме не пытался скрывать огорчений и опасений.

На правом фланге — от Александровска до Херсона — Врангель готовился к развитию каких-то операций. На всем остальном фронте продолжает громить 13-ю армию. Части надломлены и ударов врага не выдерживают. «Среди масс идут разговоры об измене, свежих же резервов нет. Положение усугубляется дезорганизацией тыла... Настроение запасных частей, почти совершенно раздетых и плохо питаемых, определенно скверное. Чувствую себя со штабом фронта окруженным враждебной стихией. Настроение можно переломить только крупным успехом на фронте. Думаю, что, несмотря на все это, до момента общего наступления выдержим, хотя ряд огорчительных неудач на нашу долю еще выпадет».

Но в Донбассе наметился просвет: 9-я стрелковая дивизия временно отпарировала удар белых под Волновахой.

Мысль о главном ударе, которым закончится гражданская война, не оставляла его ни на минуту. И он облагался к командующему морскими силами с просьбой подготовить Азовскую флотилию с плавучими батареями к переходу через месяц — 7 ноября 1920 года — в район Геническа.

Телеграмма датирована 3 октября. Можно лишь удивляться, что в обстановке неразберихи в Харькове, пагубной паники в частях отступающей 13-й армии с такой прозорливостью видел он первый день окончательного штурма. К сожалению, флотилия не подошла: она не смогла вырваться из ледового плена в Таганрогском заливе.

Уже через день Фрунзе понял отчетливо: в Донбасс Врангель не пройдет! Да и нет ему нужды упорствовать в этом направлении. Его путеводная звезда — пан Пилсудский!

В Донбассе отличился начальник 9-й стрелковой дивизии, брат Валериана Куйбышева — Николай. Он правильно оценил значение приказа командующего фронтом, и его бойцы грудью отстаивали «Донецкий бассейн, этот источник света и тепла для всей страны... — отмечал Фрунзе. — Рабоче-крестьянская Россия может гордиться такими своими

защитниками. Пока в рядах Красной Армии будут такие геройские полки, как 77-й, легший костью на поле брани, но ни пяди не уступивший врагу, — она будет непобедима».

Многие воспринимали успех 9-й дивизии как незначительный эпизод в боевой жизни многострадальной 13-й армии. Михаил Васильевич ощутил в нем начало желанного перелома.

Неожиданно он спросил Гусева, который клевал носом от усталости:

— Ты не стрелял из лука, Сергей Иванович?

— Не помню. Кажется, нет.

— Но у тебя богатое воображение, и ты сможешь понять меня. У мальчишки в руках крепкая дубовая ветка. Она согнута дугой, натянутая тетива не дает ей распрямиться. Мальчишка накладывает стрелу, тянет тетиву на себя, дуга пружинит. И со свистом летит стрела. Но вот печальный миг: мальчишка перестарался, хотел стрельнуть дальше, ветка треснула. Она еще может служить, но пружинящий момент ослаблен. И если б могла она говорить, то сказал бы: «Я надломилась, мальчик, не тяни изо всех сил — сломаюсь». Понимаешь?

— Разумеется!

— Вот так и в Донбассе, Врангель еще крепко послужит Антанте. Но в нем уже трещина!

— Ты писал стихи, Михаил? — вдруг спросил Гусев.

— Писал. Плохие. В тюрьме и в ссылке. А что?

— Диву даюсь, как уживается в тебе поэзия с предельной рассудочностью полководца, который публикует по три-четыре приказа в день! Впрочем, и в них бывают поэтические отступления... Ложись спать; на тебе лица нет!..

Теперь уже и сомнений не было, что Правобережье вот-вот станет ареной ожесточенной битвы. Николай Куйбышев захватил эшелон с имуществом и штаб 1-й Донской дивизии белых. И штабисты, совершенно обескураженные пленением, точно подтвердили, что Врангель подтянул к Александровску пехотную Дроздовскую и 1-ю Кубанскую кавалерийскую дивизии и приказал наводить понтонный мост у кондового запорожского острова Хортица.

5 октября Фрунзе приказал Уборевичу сорвать переправу и обрушиться на Донской корпус белых не позднее 7 октября. Но белые, мешая подходу частей Уборевича, 8 октября прорвали его фронт, захватили Синельниково. Создалась сильная угроза Екатеринославу, тылам 6-й армии и Каховскому плацдарму.

— Не дурак барон, ей-богу, не дурак! — с каким-то азартом приговаривал Фрунзе, передвигая флажки по карте. — Взял врасплох и развивает успех: так ему хочется побрататься с паном Юзефом!.. Но ведь и дурак, ей-богу, дурак! Не разведал про Городовикова, бухнул в колокола, не заглянув в святцы! А Городовиков расколотит его при дружной помощи Уборевича и Авксентьевского. И погубит Врангель лучшие свои дивизии: Марковскую, Дроздовскую, Алексеевскую и Корниловскую!

Он приказал собрать все самолеты фронта в две группы: Северную и Южную — и бомбить дивизии Врангеля безостановочно. Сам пропадал в штабе, не покидая его и на ночь. Но и от других требовал почти невозможного. Оке Ивановичу Городовикову он отдал приказ: «Невзирая ни на какие изменения в обстановке в районе Апостолово, Никополь, Александровск, нами не может быть допущен разгром левого фланга 6-й армии и отход ее с линии р. Днепр и, в частности, с Каховского плацдарма. 2-я Конармия должна выполнить свою задачу до конца, хотя бы ценою самопожертвования».

С. Харламов отмечал, что Михаил Васильевич действовал с небывалой решимостью и неиссякаемым оптимизмом. Он направил на Правобережье подкрепления, севернее Александровска создал ударную группу, куда вошли переброшенные из Сибири 30-я стрелковая дивизия, Отдельная бригада и Петроградская бригада курсантов. На помощь войскам были направлены корабли Днепровской флотилии.

Кроме того, удалось склонить Махно к участию в боях против Врангеля. Все это и обеспечило перелом на Южном фронте в сторону Красной Армии.

На исходе 12 октября бои на Правобережье затихли: атака Врангеля захлебнулась. «Доблестными частями 13-й армии лавина донцов и кубанцев, двигавшаяся на Донецкий бассейн, была разгромлена под Юзовкой и Волновахой, — отмечал Фрунзе. — Выход противника на правый берег у Александровска и Никополя окончился поражением его 1-го корпуса и гибелью лучшей конницы, что явилось поворотным пунктом кампании и началом разгрома Врангеля».

Но трубить в фанфары не было смысла. У барона оставались еще две армии — генерала Драценко и генерала Кутепова, большой танковый парк, самолеты, броневые автомобили и артиллерия. Войска его после каждого нового маневра таяли на глазах. Но то, что сбежалось под его знамена, готово было крушить большевиков с дерзостью отчаяния. Конечно, не о солдатах речь: они и сдавались в плен и, как всегда в боях, тысячами гибли от свинца, шашек и рукопашной схватки. Но офицеры все же оставались. И барон сажал их на танки и в самолеты, сбивал в отряды смертников, у которых была альтернатива: либо геройская смерть во славу белого дела, либо постыдное бегство по маршруту Симферополь — Севастополь — Константинополь, как им пророчили в своих письмах красные бойцы.

А ведь это были русские люди, вышколенные в боях под Астраханью, под Ростовом, на Кубани, в Северной Таврии. Им внушили, что они цвет нации, спасители России от беззаконного разгула лапотников. И у них сложилась идея белой России, идея бредовая, мертвая. Но она как бы возвышала их в собственных глазах над неприкрытым бандитизмом шайки Махно и других «батек», и они боролись за нее с самопожертвованием храброго русского воина.

Больше суток не подавал Врангель признаков жизни. «Коварное затишье!» — говорил Фрунзе. Он требовал срочных данных от разведки. Она же работала плохо и не успела предупредить командующего о новом смелом маневре белых. А маневр был страшен: и внезапностью и силой огневой мощи.

Однако Михаил Васильевич уже «вжился» в барона, безошибочно предугадывал возможные направления его поиска. Неминуемым казался ему удар по Каховскому плацдарму: он грозил белым гибелью. И срочно перебросил к Блюхеру Отдельную ударную огневую бригаду.

Василий Константинович острее Фрунзе чувствовал приближение грозы: ведь он каждый день был в гуще бойцов на Каховском плацдарме.

13 октября над Отдельной бригадой, где вместе с русскими служили татары, чуваша, мордвина и марийцы, пролетел вражеский самолет. Он раскидал листовки и «пропуска»: переходите, мол, на сторону Врангеля с оружием.

— Обычный прием барона перед атакой: немецкая педантичность, черт возьми! Сообщите о листовке командующему. Завтра надо ждать хорошего огня! — Блюхер поскакал из штаба дивизии в бригаду.

В Отдельной многие видели его впервой. Только «старики» помнили по Сибири, где он довершал разгром Колчака под Омском. На тачанке, с двумя зачехленными пулеметами, стоял командир — годов тридцати, в самом расцвете сил, подтянутый, черноволосый, с подстриженными усами, чуть сутуловатый. И говорил просто, как на сельском сходе, где решались обыденные мирские дела:

— Новые вы у меня, братцы, и потому говорю вам: трусов не держим! Храбростью тоже не бахвалимся — истинным героям это не к лицу. А в пятьдесят первой — герои все. Даже кашевары. Поглядите, как они строчат из своего «максима», когда в ходе боя обстановка заставляет оторваться от походной кухни. И так — со дня основания дивизии, недаром она Московская! На волосок бывали от смерти, но из всякого страшного боя выходили только с победой!.. Завтра бой, братцы! Покажем белым гадам, как деремся мы за Советскую власть. С предстоящей победой вас, товарищи: нам нужна только она!..

И, уже когда хотел спрыгнуть с тачанки, добавил тихо:

— А между прочим, и отступать некуда — за нами Днепр. Мостов нет, вода студеная. Значит, и думать надо про одно: греться до седьмого пота в жарком бою!..

Блюхер словно в воду глядел — в ледяную, днепровскую: через двенадцать часов загорелась земля под Каховкой.

За ночь сделали все, что успели: с гранатами залегли передовые цепи, выдвинулась на пригорки полевая артиллерия, заправились горючим самолеты и бронеавтомобили, окопались огнеметчики.

Это было первое и последнее сражение в ходе гражданской войны, когда Врангель поставил карту на сокрушительный удар техники. Он шел ва-банк: пан Юзеф вышел из игры и подписал мирный договор, не дождавшись партнера из Северной Таврии. И теперь все свелось у него к одной цели: разгром Каховского плацдарма на левом берегу Днепра.

— С нами бог! — барон махнул перчаткой.

Не порозовело еще утреннее небо 14 октября 1920 года, когда передовые цепи Блюхера услышали грохот танков. Четырнадцать машин, изрыгая огонь и дым, прорвали с ходу первую линию окопов и ринулись к главному оборонительному поясу.

С высоты, с седла на вздрагивающем коне видел Блюхер огромное поле боя — голую осеннюю равнину с редкими хуторами, с неглубокими балками. Двигались танки, огненным валом их прикрывала артиллерия. За танками широким веером напоззали пятнадцать бронированных автомобилей. За ними колыхались серые цепи пехоты.

Все танки метили к переправам, которые велел наводить Фрунзе для переброски частей с правого берега. Но один танк близко напозз к могильнику, где засели огнеметчики. Струя огня в сумерках сделала его на миг золотым. И на его месте вспыхнул яркий факел.

— Эх, хороша струйка, недаром хвалил ее командующий! Жалко, бьет неподалеку. Но она еще покажет себя пехоте и кавалеристам! — сказал Блюхер по дороге в штаб: его вызвал Фрунзе.

Свистели снаряды над головой, фонтаны огня и земли вздымались на всем обозримом пространстве. В штабе доложили, что огнеметчики подожгли еще один танк, два были подбиты снарядами.

Но десять машин прорвали к семи часам утра основную линию обороны. Туда кинулись пехотинцы и казаки корпуса генерала Витковского. Их косили пулеметами и огнеметами. Эскадрон лихо развернулся обратно, когда по нему полыхнули золотой струей огня. Но пехота приняла рукопашный бой. Кляня контру — в бога, душу, мать, — красные бойцы кололи штыками, били прикладами в сытую рожу беляков, сами падали — окровавленные, изуродованные. Бой шел с переменным успехом: одолевали там, где белые бросали в поддержку бронеавтомобили, а красные — артиллерию и огнеметы.

Перевалило за полдень — Витковский проиграл: десять его танков намертво стояли в степи, пять бронеавтомобилей догорали или валялись на боку. Остальные, оторвавшись от пехоты и кавалерии, попали под губительный перекрестный огонь орудий и один за другим пошли наутек.

— Как идет бой, Василий Константинович? — запрашивал Фрунзе из Харькова.

— Ожесточенно, товарищ командующий... Первый случай, что так много танков и бронемашин бросил Врангель. Но ребята не оробели, дерутся великолепно.

— Есть надежда, что продержитесь до вечера? Подкрепление к вам двинуто.

— Вечер не за горами, продержусь. А подкрепление весьма кстати: я стою с дивизией против корпуса.

— Передайте мой привет славным воинам. Они сейчас решают судьбу кампании...

Одиннадцать часов не отходил от аппарата Фрунзе. Он хотел представить себе каждую балку, каждый могильник или хуторок, где зацепилась пехота, каждую цепь окопов, где шел бой.

Радостнее пошли к вечеру донесения Блюхера: техника умолкла, артиллерию белых удачно накрыли дальнебойными, пехота генерала Витковского, наконец, «вошла в сознание»

и пятится по всей полосе плацдарма в двадцать семь верст. Словом, Врангель встал с разгона, как взмыленный конь на краю пропасти.

Шли приказы командующего во все концы фронта. Блюхеру — с рассвета развивать успех, но не зарываться на Мелитополь, куда завтра побегут в смятении правобережные части Врангеля. Фрунзе не сомневался, что так и будет: он рассчитал все и приказал 6-й армян Авксентьевского начать на рассвете 15 октября такое наступление, чтобы к исходу дня очистить Правобережье от белых войск. В этот бой он втянул главный кулак маневренной кавалерии Городовикова и полки правого крыла армии Уборевича.

Командармы выполнили задачу блестяще. Был убит в бою командующий кавалерией Врангеля генерал Бабиев, «Войска отступали в паническом беспорядке, — получил донесение Врангель. — Командиры растерялись, распорядительности не было никакой... Красные и белые кавалеристы выхватывают шашки и уже бросаются друг на друга, но в последний момент белые не выдерживают... За ними несется конница противника. Жуткий момент, особенно для пехоты. Целыми ротами, бросая винтовки, они сдаются в плен. Большевики продолжают преследовать. По дороге, без остановки, в три ряда двигалась лента людей, лошадей. Поломанные экипажи, орудия, пулеметы. Конница топтала пехоту. Пехота, прорываясь к переправам, старалась отеснить конницу. А красные отрезали тыл...»

Блюхер же выстоял героически и вернул все свои исходные позиции на внешнем оборонительном поясе Каховского плацдарма. Из этой отбитой атаки зарождался последний могучий удар по Врангелю.

Барон теперь крепко задумался в своей ставке на станции Джанкой. Сильной его воле и большому мастерству генерала противостоял полководец более волевой, прекрасно понимающий любой армейский маневр идвигающий свои голодные и оборванные части в бой с какой-то одержимостью.

На войне как на войне! — это барон понимал отлично. Надо и наступать, надо бегать, надо и обороняться. Бегство из Донбасса он пережил без потрясений: просто не удался тактический обман того, кто только принял Южный фронт красных и тотчас же понял, что главный интерес белых на Правобережной Украине. Но бегство с правого берега Днепра — это уже крушение всей задуманной кампании. О Москве и думать нечего: отныне она за семью замками. Осталась Северная Таврия — маленький ломоть от вожделенного российского пирога. Но тот — красный из Харькова — способен загнать белых в Крым. Разумеется, там можно отсидеться до весны, переживая лишения и горечь разгрома. Но страшнее всего то, что подорван кредит у Антанты и англичане уже ищут торговых сделок с Кремлем.

— Кто такой Фрунзе? Что за фамилия? И почему его досье не заполнено? — угрюмо спросил Врангель у генерала Слащева.

— Агитатор. Бывший каторжанин. Кажется, состоял в земгусарах на Западном фронте.

— Повезло большевикам! — вздохнул барон. — Но мы достаточно мобильны, чтобы бить красных по частям. И будем готовить такой мощный удар, что фронт этого земгусара Фрунзе перестанет существовать!..

А в штабе Южного фронта настроение было более светлое: подходили свежие части из России, кое-что перепало и старым воинам — обмундирование и вооружение. Михаил Васильевич из отдельных частей Авксентьевского создал новую, 4-ю армию во главе с Лазаревичем и передал ей от Уборевича 7-ю кавалерийскую дивизию, 9-ю стрелковую дивизию Куйбышева и только что сформированный Конный корпус Каширина.

Вся страна обратилась лицом к Южному фронту. Центральный Комитет РКП (б) прислал большую группу коммунистов и комсомольцев, и они добивали отсталые настроения в частях, заражали их пафосом последнего и решительного боя с Врангелем. По корпусам и дивизиям проехали с докладами три наркома: Луначарский, Семашко и Курский. Калинин 15 октября выступал на митинге в 1-й Конной армии с горячим призывом ускорить движение к Бериславу и Каховке, где ее ждал с нетерпением Фрунзе. Со своим ревтрибуналом действовал Владимир Потемкин.

Эшелонами подходили орудия — питерские, московские, уральские; пулеметы и винтовки — тульские, ижевские; сабли — златоустские. Своим ходом шли бронепоезда — сормовские, брянские. Хуже было с теплой одеждой, обувью, питанием. И Фрунзе рассылал депеши по России и Украине, прося поддержки.

Тем временем назревал конфликт в 6-й армии между строптивым и беззаветно храбрым Блюхером и довольно вялым Авксентьевским. Конфликт достиг накала, и Михаил Васильевич счел за благо пожертвовать командармом-6. Он взял его к себе в штаб, а в армию направил волевого, исполнительного Августа Корка.

Теперь дело шло к последнему штурму белой армии. Врангель оседлал дугу: Александровск — Мелитополь — Серогозы. Можно было резать путь его отхода в Крым ударом на Перекоп и Геническ. Но это была, так сказать, теория нанесения удара. Практика с ней расходилась, и Фрунзе — на виду у всей страны — не мог подвергать неоправданному риску жизнь десятков тысяч бойцов. И увидеть крушение заветного своего плана.

У барона сложилась очень сильная ударная группа конницы и пехоты возле Серогоз — между Мелитополем и Каховкой. Даже свежий Конный корпус Каширина был против нее слаб, надо было дожидаться подхода 1-й Конной армии. Другие части и соединения последний месяц почти не выходили из атак: их надо было расположить на отдых, одеть и накормить. К тому же третий день беспрерывно лил дождь, перемежаясь по ночам с мокрым снегом, многим бойцам негде было укрыться в голой степи и обсушить одежду.

Приходилось ждать. И Фрунзе умел это делать, не теряя бодрости духа. Во всех приказах и директивах фронту ясно выражалась его уверенность в победном исходе предстоящей операции.

В радужных тонах он с Гусевым направил телеграмму Владимиру Ильичу, в которой сообщалось о полном крушении стратегического плана Врангеля. Тот хотел с Правобережья стать хозяином у Черного моря. Но это оказалось ему не по силам. В семидневных последних боях барон потерпел полное поражение.

Ленин решил охладить их пыл: «Получив Гусева и Вашу восторженные телеграммы, боюсь чрезмерного оптимизма. Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма».

— Ты что-либо понимаешь? — Михаил Васильевич явно был удручен тоном этой телеграммы. — Меня не было два дня в Харькове, в чем дело, Сергей Иванович?

Гусев пожевал мясистые губы, снял и протер пенсне.

— Видимо, виноват я. Елене Дмитриевне Стасовой я подсказал, что о телеграмме Ильичу не плохо бы сообщить в газеты. Она вот и пишет мне, что Троцкий в бешеной злобе потребовал срочной инспекции и полного переворота в нашем штабе: ты и я — мы с ним — антиподы. Но его атаку отбили в ЦК. Разумеется, Владимир Ильич рассердился и окатил нас холодной водой.

Чтобы развеять у Ленина какие-либо сомнения в успехах Южного фронта, Михаил Васильевич 18 октября направил депешу в Кремль:

«Наш успех на фронте 6-й и 2-й Конной армий, несомненно, имеет значение перелома. Операция, предпринятая Врангелем, имела очень широкий размах и при удаче грозила нам фактическим уничтожением всех живых сил фронта. Таким образом, крушение этого плана означает и начало стратегического крушения Врангеля. Что касается наших тактических успехов, то и они очень значительны. Помимо взятых нами крупных трофеев, мы окончательно обеспечили возможность дальнейших ударов с нашей стороны».

В тот день с Каховского плацдарма Василий Блюхер прислал в Харьков танки, отбитые у барона, для срочного ремонта. На одном из них славянской вязью было выведено слово «Сфинкс». Впереди башни, над левой гусеницей, ремонтники поставили скамью и попросили Фрунзе и Гусева сфотографироваться с ними на память.

— Что ж, на первом танке можно! — согласился Михаил Васильевич. — А когда еще отобьем у барона, зовите Сергея Ивановича: он будет печатать их снимки в газетах! — поддел Фрунзе своего старого друга.

По дороге в Апостолово, куда главком Каменев прибыл 25 октября на совещание командармов и членов РВС трех армий — 1-й, 2-й и 6-й, — Михаил Васильевич известил войска фронта, что он подписал приказ о переходе в общее наступление против Врангеля. Барон надломлен, от надвигающейся гибели он будет искать укрытия в Крыму. «Надо разгромить его живые силы и на плечах бегущих белогвардейцев ворваться в Крым».

На совещании мнение было единодушное: разгром в Северной Таврии завершить в четыре дня, крымскими перешейками овладеть 29 октября. Командармы согласовали действия и разъехались в наилучшем настроении.

Но Фрунзе не мог сомкнуть глаз всю долгую ночь. Иногда ему казалось, что он в плену иллюзий. Иногда он отчетливо видел, что победа уже в руках. Не было никаких сомнений, что каждый красноармеец пойдет в бой с самым пылким желанием кончить разом «всю эту волынку с Врангелем». Всем непомерно осточертела эта несусветная буча. И любой боец революции кинулся бы с голыми руками рвать на части офицерье и казару, гореть в огне, вброд стыть в Гнилом море, лбом биться в крепостную стену, чтобы скорее оправдались слова его приказа: «Да сгинет последний очаг контрреволюции и да здравствует наша победоносная Рабоче-Крестьянская Республика!»

Ведь прошел один месяц с его приезда в Харьков, все переломилось в частях, в каждом сердце бойца появилась вера в желанную, близкую победу.

Но чем больше думал Фрунзе о рядовых тружениках войны, о товарищах — живой, главной силе предстоящей победы, — тем суровее спрашивал он себя: «А все ли сделано для нее? Самое страшное — напрасная гибель людей. На руку врагу — бездорожье, холод и голод. Да и надо подпереть порыв в степи и прорыв на перешейках тяжелой артиллерией, а она безнадежно застряла в пути: мосты взорваны, и ей не подойти к сроку. Но и ждать нельзя: всякая отсрочка на пользу барону! И у красноармейцев не безграничен предел терпению. Бить Врангеля, бить! Очистить от него Северную Таврию — эта задача будет выполнена блестяще. Но как с перешейками? Идеальное решение — проскочить их на плечах белых. Но нужна невероятная мобильность фронта, безукоризненная согласованность частей, как в часовом механизме. А ее не добиться: взорваны все переправы, пехота вязнет в липкой грязи, передовые отряды конницы отрываются так далеко, что в безлюдной степи теряется связь с ней».

— Поглядим в деле! Доброе дело лучше любых раздумий! — сказал он себе, направляясь в салон к главкому.

Сергей Сергеевич тоже не спал. В благодушном настроении сидел он за огромным столом, накинув шинель на плечи, отхлебывая горячий чай из стакана, и просматривал сводки: 6-я и 13-я армии уже завязали ночной бой с арьергардами барона.

— Дисциплина отменная, Михаил Васильевич! Я полагал, что наступление начнется на рассвете, а они уже бьют Врангеля с трех сторон. Молодцы! А чем вы удручены? Все идет по плану. Да и справку подготовили мне в вашем штабе, которая внушает надежду.

Михаил Васильевич знал о ней. В двух столбиках на листе бумаги аккуратно были выписаны данные о противоборствующих силах в Северной Таврии:

	<i>Фрунзе</i>	<i>Врангель</i>
Штыки	99500	23000 (вне Крыма)
Сабли	33600	12000
Орудия	527	213
Пулеметы	2664	1663
Бронеавтомобили	57	45 танков и бронеавтомобилей
Бронепоезда	17	14
Самолёты	45	42

— Ну, батенька, у вас такой перевес, что сомнений в победе нет! — Сергей Сергеевич допил чай и расправил усы.

— А я и не сомневаюсь: в поле мы разобьем Врангеля за четыре дня! Памятую даже о стихах Льва Толстого времен Севастопольской кампании.

— Гладко вписано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить, — подхватил Каменев.

— Да. Но с Таврией вопрос решен. Меня беспокоит судьба перешейков. Половина орудий Врангеля там. Местность для наступающих невыгодная — чистое поле. И фортификационные сооружения куда сложнее, чем говорил Блюхер.

Каменеву не нужно было доказывать — он понял с полуслова.

— Следовательно, вам рисуются две операции главного удара: Таврическая и Перекопская? Так они могут растянуться до нового года. Это исключено категорически!

— Кончим к декабрю, как я обещал Владимиру Ильичу. Но ценой больших жертв. Вам говорю об этом и ему сейчас же пошлю телеграмму.

— Стоит ли, Михаил Васильевич? Надо испробовать в бою и доложить после первого удара.

— Не могу, Сергей Сергеевич! Перед Лениным я ничего не утаиваю...

На рассвете 26 октября Владимир Ильич получил телеграмму. Он был обрадован началом решающего наступления и сообщением, что не позднее 1 ноября будут разгромлены главные силы противника перед перешейками. Но его весьма неприятно задела фраза Фрунзе: «На немедленный захват перешейков считаю не более 1 шанса из 100».

Ленин ответил в раздражении: «Возмущаюсь Вашим оптимистическим тоном, когда Вы же сообщаете, что только один шанс из ста за успех в главной, давно поставленной задаче. Если дела так безобразно плохи, прошу обсудить архиспешные меры подвоза тяжелой артиллерии, постройки линий ее подвоза, саперов и прочее».

Решительное сражение началось 28 октября. В тот день 1-я Конная армия на рысях проскочила Берислав, на рассвете переправилась через Днепр на Каховку, вынеслась в степь, стремясь перерезать Врангелю пути отхода в Крым. Следом за нею пошел в наступление Блюхер.

Через сутки Михаил Васильевич телеграфировал Ленину: к полудню 29 октября атакованы и разбиты все номерные пехотные дивизии Врангеля, кроме Дроздовской. Уцелела пока основная масса его конницы, но и ее не будет через день-другой, если теперь же она не бросится в стремительное бегство к Геническу, на Сальково, так как пути на Перекоп отрезаны. Судьбу битвы к северу от перешейков можно считать уже решенной в нашу пользу. «Мною отданы распоряжения по выполнению второй и последней задачи фронта — овладению Крымским полуостровом».

Фрунзе еще не знал, что Блюхер в этот час достиг Перекопского перешейка, но не смог с налета взять его укрепления. 51-я дивизия заняла город Перекоп, до основания разрушенный артиллерией, но перед окопами третьей линии и перед огнедышащей крепостью Турецкого вала залегла.

Но командующий предвидел это и закончил телеграмму словами: «Если не так много шансов овладеть Перекопом с налета, что, несмотря на это, будем делать обязательно, то таковых довольно много на возможность переправ бродом или на плотках через Сиваш, пользуясь паническим настроением, которое будет создано фактом разгрома главных сил врага. Во всяком случае, будет сделано все для разрешения задачи в кратчайший срок».

Паника началась в ставке у Врангеля на исходе 29 октября, когда части 1-й Конной вышли к Салькову и вся группировка белых в Северной Таврии попала в мешок.

Армии генерала Драценко была разбита. Радиограмму барона получил генерал Кутепов: объединить все силы в ударный клин и любой ценой пробиваться в Крым.

Кутепов нащупал слабое место в 1-й Конной. В ходе броска по Северной Таврии она вихрем прошла от Каховки до Салькова. Но разделилась на две части и еще не успела сомкнуться. И буденновцы, готовясь к штурму Крыма, не рискнули взорвать мост через Генический пролив.

На руку Кутепову была и нерасторопность частей 2-й Конной армии. Городовиков не проявил должной энергии и решительности, чего и опасался Фрунзе.

30 октября, когда была еще возможность изрубить кутеповцев, командарм-2 не сумел стянуть своих конников в ударную массу и потратил почти весь день возле Большой Белозерки, отражая бешеную атаку двух конных полков, которые прикрывали отход главных сил.

Случилось так, как и предвидел Фрунзе. На рассвете 31 октября густые колонны конницы и пехоты генерала Кутепова обрушились на 14-ю кавалерийскую дивизию Александра Пархоменко, на Особую кавбригаду и даже на штаб 1-й Конной у села Отрада. В рукопашный бой кинулись и Буденный и Ворошилов. И только их личное мужество и мощная поддержка пришедших на выручку конников предотвратили повторение лбищенской трагедии. Озверевший текинец с пикой наперевес бросился на Ворошилова. Пика запуталась в бурке, подоспевший ординарец застрелил беляка из револьвера.

Не получив поддержки Городовикова, Уборевича и Лазаревича, 4-я Конная двое суток дралась в ужасных условиях. Об этом Буденный и Ворошилов доносили Фрунзе 2 ноября: «Первая Конная выполняет вашу директиву в тяжелых условиях отсутствия в армии автоброневиков и авиации. Несмотря на все усилия, просьбы, техника не была доставлена до сих пор, и борьба проходит в неравных схватках. Теперь у противника огромное количество автоброневиков и аэропланов. Топографические условия и погода благоприятствуют для пользования авточастями. Бесперывное курсирование автоброневиков противника лишает кавдивизии возможности выполнять боезадачи; бомбометание с аэропланов группами, летающими над конными массами, ничем не парализуется с нашей стороны. За всю операцию вашим расположением не появился ни один наш аэроплан...»

Городовиков прискакал 2 ноября во главе 6-й кавалерийской дивизии. И ворвался с ходу на Чонгарский полуостров. Вслед за ним ринулись к Чонгарскому мосту конники Буденного. Но беляки успели поджечь мост. И по этому пылающему коридору едва спаслись кавалеристы Городовикова, встреченные страшным огнем чонгарских укреплений.

Кончился день 2 ноября. То, что спас Кутепов дерзким маневром, все откатилось в Крым. Михаил Васильевич отдал должное белому командованию:

— Поражаюсь величайшей энергии сопротивления, оказанного противником. Он дрался так яростно и так упорно, как не могла бы драться никакая другая армия. Только этим и можно объяснить, почему он вырвался из наших тисков. Но дни его сочтены!..

Еще 30 октября Фрунзе телеграфировал Владимиру Ильичу, что до разгрома основных сил в Таврии он не может форсировать перешейки «с большой вероятностью на успех». Одновременно он просил верить, что все «могущее обеспечить скорый и верный успех фронтом будет сделано. Надеюсь в ближайшие дни порадовать вас и Республику известием о нашей решительной победе».

Теперь он мог сообщить, что генерал Кутепов заплатил за свое бегство в Крым большой ценой: 20 тысяч пленных, свыше 100 орудий, до 100 паровозов и 2000 вагонов, почти все обозы и огромные запасы снабжения с десятками тысяч снарядов и миллионами патронов. Особенно воспрянули духом красные артиллеристы: по расчетам командующего, у них на каждое орудие приходилось по сотне снарядов. Теперь эта норма увеличивалась почти вдвое. А пушечный огонь был незаменим при штурме укреплений.

Завершилась первая операция главного удара по Врангелю. Фрунзе начал немедленно готовить вторую, последнюю.

— Быстрее, быстрее!.. — торопил он своих командармов. — Не дадим барону опомниться, оглядеться, привести в порядок надломленные бегством войска. Не теряя ни одного лишнего дня — на штурм перешейков!

Были веские основания решать всю кампанию в считанные дни. Определяли позицию командующего два диаметрально противоположных потока информации, бьющие в одну точку.

Врангель сам объехал всю линию обороны и написал в приказе: «Я осмотрел укрепление Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих». Барон сделал для себя роковой вывод: перешейки неуязвимы; Фрунзе будет штурмовать их всю зиму и положит свою армию под Перекопом!

Намереваясь отсиживаться в Крыму до весны, Врангель задумал широкую реорганизацию своих частей. И не торопился вывести из портов Черного моря в Каркинитский залив дредноут «Генерал Алексеев», крейсера «Генерал Корнилов», «Алмаз» и «Георгий», которые могли бы громить на первых же порах наступающие части Южного фронта с запада.

С другой стороны, обнадеживали Фрунзе донесения о моральном надломе солдат Врангеля. Их все чаще преследовала контрразведка барона, находя у них в сумках «Манифест» Демьяна Бедного, газеты Южного фронта: «Красный стрелок», «Дело победы», «На Крым». Издания московские: «Бедноту», «Правду» и «Известия». И прокламации Гусева и политотдельцев: «К солдатам армии Врангеля», «Кто наш враг?»

Важную информацию из Крыма принес молодой коренастый моряк Иван Папанин. Он на фелюге контрабандистов с превеликими трудностями совершил через Турцию переход к Фрунзе и рассказал, с каким радушием ждут Красную Армию крымские партизаны. У Врангеля, с подкреплениями кубанскими и грузинскими, набралось до 30 тысяч войска. Из них более 8000 брошены на подавление партизан, которые создали повстанческую армию в тылу барона. Эта армия взрывает мосты, пускает под откос эшелоны с продовольствием и снаряжением.

— Недавно я сам участвовал во взрыве Бешуйских копей. Подорвали крепко: лишили барона угля для железных дорог.

— А как же устраивались со взрывчаткой, с оружием? — спросил Фрунзе.

— В основном на подножном корму: из подорванных эшелонов, из трофеев после очередного налета на гарнизон. Переходили к нам целые роты беляков. Да и морем ездили.

— Куда же?

— К вам, на советский берег. Рыбаки помогали добираться до ваших частей, братки делились с нами чем могли. Теперь через Каркинитский залив путь отрезан: французы и англичане несут на кораблях неусыпную вахту...

— Ну, а какие разговоры в народе?

— Народ помалкивает, товарищ командующий: за всякое лишнее слово — петля! Но настроение сильно переломилось, когда поползли слухи, что Врангель потерял больше

половины личного состава под ударом Красной Армии в Северной Таврии. Запестрели в печати бодрые интервью генералов. К примеру, Слащев сказал так: «Население полуострова может быть вполне спокойно. Армия наша настолько велика, что одной пятой ее состава хватило бы для защиты Крыма. Укрепления Сиваша и Перекопа настолько прочны, что у красного командования не хватит ни живой силы, ни технических средств для их преодоления. Войска всей красной Совдепии не страшны Крыму». Слащев — большой красной. А между прочим, к черноморским портам уже сбегаются людишки, которые побогаче. Мечтает захватить место на корабле в случае эвакуации. В Ялте и по всему Южному берегу на каждом заборе объявления о спешной продаже дачи... Так что ждут вас все: одни — с добром, другие — со страхом!..

«Великое передвижение» армий Южного фронта закончилось к 3 ноября. В тот день остатки войск генерала Кутепова разорвали кольцо и по Чонгарскому перешейку ушли в Крым. В тот же день Фрунзе выехал из Харькова, чтобы не возвращаться туда до полной победы.

Все, что отложилось в его сердце на опыте трех кампаний — в Заволжье, в Туркестане и в Северной Таврии; все, что было найдено в сотнях книг о военном искусстве, бросил он на разгром Врангеля.

Теперь он не опасался случайностей, потому что собрал войска в страшный для врага кулак, втиснул стотысячную армию со всеми службами на небольшое пространство севернее перешейков и расположил ее тремя эшелонами.

В первом эшелоне стояли две армии: 6-я — на Перекопском направлении, 4-я — на Чонгарском. Во втором эшелоне, подпирая 4-ю армию Лазаревича, держались две Конные армии: 1-я и 2-я. Эта подвижная группа фронта предназначалась для развития успеха. Позднее Фрунзе поставил ее позади 6-й армии Корка и бросил в прорыв на Перекопском перешейке вслед за 51-й дивизией Блюхера. В третьем эшелоне — возле Мелитополя — находился Уборевич с 13-й армией, составляя главный резерв командующего.

Схема великого боя за Крым, который затмил славу Ватерлоо и Аустерлица, удивительно проста, как все, что признается истинно гениальным.

С 3 ноября 1920 года почти две трети войск Фрунзе были нацелены на Чонгар. Сюда хотел нанести он главный удар силами 4-й армии и устремить в прорыв конницу Буденного и Ворошилова. Решить эту операцию можно было комплексно: обойти одновременно основные вражеские укрепления по длинной (до 120 верст) и узкой (до 3 верст) Арабатской стрелке. Русские армии знали дорогу по стрелке еще с 1737 года, когда фельдмаршал Ласси успешно зашел в тыл крымскому хану. Но тогда фельдмаршала активно поддерживал с Азовского моря адмирал Бредаль. У Фрунзе не было флота, и маневр Ласси не годился.

Уже в полевых условиях, под грохот пушечной канонады на перешейках, Михаил Васильевич «с величайшим сожалением отказался от намерения использовать для удара Арабатскую стрелку».

Теперь он решил начать главный штурм в полосе 6-й армии. И тоже комплексно: ударная группа делает прорыв на Литовский полуостров через Сиваш; Блюхер в лоб атакует бастионы Турецкого вала у Перекопа; 30-я стрелковая дивизия 6-й армии прорывает оборону Врангеля на Чонгарском направлении.

Этот план родился потому, что тот самый «бог», от которого, по словам местных стариков, зависела погода, вдруг протянул руку помощи Красной Армии в решающий час. Свежий ветер с запада погнал воду Сиваша на восток, к Геническу, и обнаружил броды.

В условиях нечеловеческих — в чистом поле, при морозе и ветре, без огня и топлива, без теплой одежды и горячей пищи, даже без махорки, как в самом бедном цыганском таборе, — с неопишуемой радостью отметили герои предстоящей битвы третью годовщину Великого Октября. Митинги, клятвы: «Победа или смерть!», возгласы: «Даешь Крым!», восторженные встречи с командующим, который вместе с ними делил вся тяготы и лишения.

И в ночь на 8 ноября Фрунзе двинул войска — действительно, в последний и решительный бой!

Ударная группа 6-й армии Августа Корка пошла первой: две дивизии — 15-я и 52-я, две бригады из дивизии Блюхера — Отдельная кавалерийская и 153-я пехотная. И тридцать шесть орудий. В кромешной тьме, по вязкой рапе и скользкой глине группа прошла восемь верст поперек Сиваша. С ходу завязала ожесточенный бой и овладела Литовским полуостровом. Генерал Фостиков доносил Врангелю: «Неизвестными, но крупными силами красные перешли вброд Сиваш... Стремятся выйти к Караджанаю, Армянску — в тыл Турецкому валу».

Блюхер уже трижды штурмовал эту твердыню, но без успеха. Белые оправились от паники и в ночь на 9 ноября потеснили ударную группу к берегу Сиваша. И «бог» перестал быть великодушным: ветер потянул с востока, Сиваш заполнился водой. Сложным оказалось положение ударной группы. В помощь ей Фрунзе срочно отправил 7-ю и 16-ю кавдивизии. Кони шли по брюхо в воде, но вынесли конников на берег. И они тотчас же ринулись в бой. Одновременно был послан приказ Василию Блюхеру:

«Три часа бить по Турецкому валу из орудий всех калибров. После артиллерийской подготовки взять вал ценою любых жертв!»

9 ноября, в половине четвертого утра, 51-я дивизия пошла на четвертый смертельный штурм. Часть войск Блюхер направил в обход вала, с моря. Смелчаки — по грудь в ледяной воде — прорвали цепи проволочных заграждений в Перекопском заливе и лавиной навалились с тыла. В этот же час возобновила наступление ударная группа на Литовском полуострове. Белые поняли, что попадают в кольцо, и начали пятиться к полосе ишуньских укреплений. Блюхер поднял Красное знамя на Турецком валу.

Командующий Южным фронтом поставил вторую ногу на землю Крыма, и уже не было такой силы, чтобы повернуть его вспять.

Но бои не глохли — яростные, кровопролитные. 6-я армия к исходу 9 ноября, сплошь занимая перешеек от Каркинитского залива Черного моря до южного берега Сиваша, подвалила к Ишуню и изготовилась к штурму. Перед рассветом она взяла первую линию укреплений, к десяти часам — вторую. В полдень в Каркинитском заливе появились корабли белых и начали жесточайший обстрел побережья. Врангель бросил «бронированную» конницу — корпус Барбовича с танками и автомобилями. Она потеснила 10 ноября 6-ю армию и стала заходить в тыл ударной группе. Две дивизии Фрунзе — 7-я и 16-я — с трудом остановили конницу барона.

А командующий уже мобилизовал поголовно жителей Владимировки и Строгановки для предохранительных работ на бродах против Чонгара. И в ночь на 11 ноября послал на штурм чонгарских укреплений 30-ю Сибирскую стрелковую дивизию. Врангель разрывался теперь на три фронта: Ишунь, Литовский полуостров, Чонгар. Силы его были на исходе, но с тем большим остервенением кидались на сибиряков офицерские батальоны, сеча была чудовищная. Но к утру 12 ноября, когда был готов пешеходный мостик на сваях сгоревшего Чонгарского моста, последние роты 30-й дивизии перебрались через Сиваш. Дивизия взяла станцию Таганаш и открыла дорогу в Крым бешеным рывком в сторону Джанкоя. Перепуганные ишуньцы стали срывать с позиций. Армия Корка вышла на Евпаторию и Симферополь. 1-я конная — на Севастополь, 2-я конная, а за ней 4-я армия и 3-й Отдельный кавалерийский корпус — на Феодосию, Керчь. 15 ноября Блюхер и Буденный освободили Севастополь, Каширин и Куйбышев — Феодосию. С 16 ноября 1920 года на всей территории Крымского полуострова восстановилась Советская власть. Пятьдесят дней титанической работы Фрунзе на Южном фронте принесли желанную победу!..

Эта гениально простая схема великой битвы за Крым есть лишь свидетельство умной стратегии и тактики замечательного полководца.

Но Михаил Васильевич не только полководец. Он богато одаренная личность, со своим душевным настроем; человек удивительно простой и скромный, стойкий ленинец и

подлинный друг боевым товарищам, которые на глазах у всей страны, всего земного шара решали революционную задачу исторической значимости. И все, чем богата была его личность человека нового мира, — все это раскрылось в самом пекле напряженных боев.

Бойцов подкупало, что все дни битвы он был с ними на северном берегу Сиваша — без нормального сна и пищи, без крова. На ночь он останавливался в полуразрушенных помещениях, где не давала покоя непрерывная суэта штабной жизни. Раза три или четыре видели его спящим на деревенской лавке, под стрекотню телеграфных аппаратов, хлопанье дверей и громкие донесения связных. И только то отличало его от бойцов, что был он не в рваной обуви, и в шинели, не пробитой пулями, и в серой папахе, вывезенной еще из Туркестана. На любом биваке в голой степи он был своим среди своих, и его любили восторженно — за простоту и солдатскую обыденность.

Но он был командующим, и его воле подчинялась армия в 100 тысяч бойцов. Однако он берег каждого. И уж когда не было иного выхода, со страшной болью посылал их на верную смерть. Даже в те минуты, когда он не слышал своего голоса от пушечной стрельбы вокруг, когда один час, один миг решал исход боя, мысль его всегда была обращена к рядовым труженикам войны. И наркома здравоохранения Николая Семашко он залучил на фронт не зря. Казалось бы, в хаосе передвижения масс по фронту, при отсутствии повозок и лошадей, при том, что мало было медицинских сестер, фельдшеров, врачей и лазаретных коек, трудно областать бойца, искалеченного пулей, саблей, осколком снаряда. Но ни один не остался без помощи: нарком подвозил медицинский персонал, командующий немедленно отправлял раненых в Мелитополь, Александровск, Харьков.

Доброе сердце определяло каждый его шаг. Когда он еще добирался из Харькова к Сивашу на перекладных — в поезде, пешком, в автомобиле, — не мог он скрыть горечи, вызванной у него чадно горящим зерном в пристанционных складах и невиданным ранее зрелищем конских трупов. «Вся степь, и особенно вблизи дороги, буквально была покрыта конскими трупами, — вспоминал он в статье «Памяти Перекопа и Чонгара». — Я помню, несколько раз принимался считать, — сколько трупов проедем мы в течение 2–3 минут, — и всякий раз получал цифры, начинавшиеся десятками. При виде этих кладбищ ближайших друзей нашего пахаря как-то особенно больно становилось на душе, и перед сознанием вставал вопрос: каково-то будет впоследствии и как будем справляться мы с фактами такой колоссальной убыли конского состава».

Его потряс вид войск: полураздетые и разутые, без укрытия от ветра и холода, без горячей пищи и питья. Полетели его телеграммы по всем тылам фронта: дрова, продовольствие, одежда, обувь; в Харьков и в Москву — любой ценой нужна срочная помощь фронту! И все, что могла дать республика, было прислано в считанные дни. Но и это была капля в море.

И там, где нельзя было помочь делом — вещами, довольствием, — обращал он к бойцам честное и душевное слово старого рабочего агитатора. Десятки раз слышали его командиры, комиссары, бойцы на митингах. Он нес им пламенные призывы партии, ее боевые лозунги, ее веру в неизбежное крушение южнорусской контрреволюции.

Ленину он писал часто, всегда откровенно. Получал от него советы. И в день, когда замышлялся первый переход через Сиваш, возле знаменитой высоты 9,3, где был штаб Василия Блюхера в Чаплинке, Фрунзе написал телеграмму Владимиру Ильичу в присутствии Ворошилова и Буденного. Втроем сидели они в нетопленной хате: Ворошилов — в черной бурке, Буденный — в синей венгерке с меховой оторочкой, Михаил Васильевич — в серой солдатской шинели. Момент был торжественный, и телеграмма, написанная в один присест, отразила взволнованность ее авторов:

«Сегодня, в день годовщины рабоче-крестьянской революции, от имени армий Южного фронта, изготовившихся к последнему удару на логовище смертельно раненного зверя, от имени славных орлов Первой Конной армии — привет! Железная пехота, лихая конница, непобедимая артиллерия, зоркая стремительная авиация дружными усилиями освободят последний участок советской земли от всех врагов».

— Не телеграмма — присяга! — задумался Буденный. — Подписать — жизнь отдать!
— Самый подходящий день для присяги, — улыбнулся Фрунзе. — Новому миру три года!

— А старому — последний вздох, товарищи! — подхватил Ворошилов.

И три подписи легли под клятвенной телеграммой Владимиру Ильичу.

Был Фрунзе добр, правдив. Но и суров. Не по капризу, а только в интересах революции.

После этой телеграммы в Кремль был у него серьезный разговор с Блюхером. Василий Константинович даже опешил: не слыхал он раньше такого металла в голосе командующего.

Сам Михаил Васильевич рассказал об этом эпизоде глухо, мало: «7 и 8 ноября мы провели в расположении 6-й армии, 8, около 4-х часов дня, захватив с собой командующего 6-й армией, мы приехали в штаб 51-й дивизии, на которую была возложена задача штурма в лоб Перекопского вала. Штаб стоял в селе Чаплинке. Настроение в штабе и у начдива было приподнятое и в то же время несколько нервное. Всеми сознавалась абсолютная необходимость попытки штурма и в то же время давался ясный отчет в том, что такая попытка будет стоить немалых жертв. В связи с этим у командования дивизии чувствовалось некоторое колебание в отношении выполнимости приказа о ночном штурме в предстоящую ночь. В присутствии командарма мною было непосредственно, в самой категорической форме, приказано начдиву штурм произвести».

Они остались после этой сцены наедине: Фрунзе и Блюхер.

— Вы же не сомневаетесь в боевой готовности моей дивизии, товарищ командующий?

— Нисколько не сомневаюсь!

— Но мне жалко людей, Михаил Васильевич: они лягут костями, но не возьмут вала без мощной артиллерийской поддержки. Часов бы шесть поиграть артиллеристам из всех калибров!

— Меня потрясает не менее вас каждая неоправданная смерть бойца. Но сегодня мы ставим на Врангеле крест, вы понимаете, крест! Спасение революции — высшее благо. Гибель одних — жизнь и счастье других. Точнее: всех — и армии и страны! — Фрунзе быстро зашагал по хате, глубоко засунув руки в карманы брюк.

Сиротинский запомнил его в этот день: «с бледным лицом, глубоко, как у тяжело больного, запавшими глазами».

— Вот об артиллерии вы напомнили кстати: я сейчас же дополнительно дам вам десять стволов. Однако огонь будем вести три часа: пока переправятся те, кто сегодня идет через Сиваш. Их штурм согласован с вашим... Я в вас не сомневаюсь, Василий Константинович! — сказал он мягко. — А выход один: увижу вас или на валу, или не увижу вовсе...

Очень волновала Фрунзе переправа через Сиваш. Еще накануне, 7 ноября, пробыл он долгий вечер в Строгановке, в штабе 15-й Инзенской дивизии. Был митинг: душевный, громкий. Потом на совещание пригласили местного старожила Ивана Оленчука, давно промышленявшего добычей соли в заливе. Михаил Васильевич спросил его:

— Беретесь, Иван Иванович, провести наши войска по Сивашу? Не собьетесь? Ведь идут лучшие люди.

— Совесть не позволит сбиться, товарищ командующий. Как потом детям да внукам в глаза глядеть буду? Нет, не собьюсь, выведу куда надо.

— Кто еще пойдет проводником?

— Да вот Ткаченко, пастух здешний, он не хуже моего дорогу знает. И еще есть человек двадцать. Так-то оно сподручнее: Ткаченко со мною в голове, а иные — по бокам, рядом с вешками, — мы их вчерась поставили. И скажи, туман подфартил: беляки про эти вешки и не пронюхали.

— Спасибо, Иван Иванович! А кто из командиров пойдет с передовым отрядом коммунистов?

Неожиданно раньше других вышла вперед комиссар Шура Янышева:

— Я, Михаил Васильевич!

— Вода ледяная, товарищ Шура. Для женщины это...

— Так я не как женщина иду, Михаил Васильевич. Я как начальник политотдела, — сказала она чеканно. Но увидела сомнение на лице Фрунзе и добавила по-женски ласково: — Ну разрешите, ей-богу!

Михаил Васильевич махнул рукой.

— Назвались бы вы десятой, двадцатой — не пустил бы. Но как не пустить первую?..

Он знал Шуру: у нее выходила в дивизии одна из лучших армейских газет, и редактировал ее толковый молодой писатель Леонид Леонов. И давно-давно, еще со времен Талки, знал ее мужа Михаила Петровича Янышева — он работал проборщиком на фабрике Бакулина. Потом он уехал за границу; кочевал по странам, обосновался в Америке, сдружился с Джоном Ридом и Альбертом Рис Вильямсом, у которого был в России переводчиком, когда вернулся домой после Февраля; ехал домой он с Яковом Петерсом и Моисеем Володарским, и все трое стали выдающимися работниками партии после Октября. Михаил Петрович был комиссаром 15-й Инзенской дивизии и погиб полгода назад неподалеку от Новороссийска, под Гохгеймом, когда Деникин уже дышал на ладан. Шура отвезла его тело в Москву и похоронила на Красной площади — так хотел Ленин, которому Янышев был преданным другом.

Теперь же ставила себя под удар жена Михаила Петровича. Она вышла провожать командующего. И он спросил ее:

— Шура, это порыв? Или вполне осознанное решение?

— Не спрашивайте, Михаил Васильевич! Это железное решение коммуниста!..

Даже в эти часы любил он шутку: со значением, с подтекстом. А ближайшие товарищи говорили: «с подковыркой». Шутка действовала безотказно, лучше любого окрика. Поднимала настроение. А то и вызывала здоровый дух соревнования: смотря по обстоятельствам.

Когда дивизия Блюхера в последний раз штурмовала Турецкий вал, а ударная группа отбивала очередной наскок белых на Литовском полуострове, Михаил Васильевич приехал к начдиву-30 И. К. Грязнову. Молодой, бравый прапорщик времен Керенского, он очень гордился, что ему, беспартийному, доверили генеральскую должность, да еще в такой дивизии, где много было бывших колчаковцев, плененных в Сибири или сдавшихся с оружием. Он хорошо продумал план удара на Чонгар: его саперы понатащили все, что смогли, — доски, жерди, ворота, плетни. Даже ухитрились доставить из Геническа несколько лодок. И в хорошем аврале, не боясь слететь в холодную воду, облепили сваи сгоревшего Чонгарского моста, строя переходы и перелазы для пехоты. И береговые батареи, изредка посылавшие снаряды к белым, обосновались капитально. Виден был деловой хозяин в дивизии.

Михаил Васильевич остался доволен работами в полосе штаба и против Арабатской стрелки, где он осматривал оборонительные сооружения.

— Все очень недурно, товарищ Грязнов! Но я вас не хвалю!

— Что так, товарищ командующий? — насторожился начдив.

— Вы тут копошитесь, а ведь Блюхер-то вас обогнал, Иван Кенсоринович!

— Быть не может! — козырнул тот и убежал. Немедленно вызвал начальника штаба и командиров бригад. На коротком совещании осветил окончательную задачу. И так проявил себя в чонгарской битве, что первым открыл дорогу в чистое поле Крыма.

Памятью давний разговор с председателем ВЦИК М. И. Калининым, Фрунзе послал ему депешу:

«Т(оварищ) Председатель! Вам было угодно предложить мне назвать именем ВЦИК ту из дивизий фронта, которая проявит наивысшую степень доблести в боях с неприятелем. Прежде Вы надеялись, что такую должна стать 30-я стрелковая дивизия. Ныне я рад доложить, что надежды Ваши дивизия оправдала в полной мере».

Никто не сомневался в личной храбрости командующего. Бесперывно снаряды белых били по тем дорогам, по которым он ездил из дивизии в дивизию, и не раз свистели у него

осколки над головой. Дважды он порывался в самую кровавую бучу — к войскам Блюхера и Грязнова, но его не пустили. И был такой момент, когда он с адъютантом и маленькой кучкой сотрудников штаба остался без охраны перед отрядом махновцев, задумавших «канитель». Об этом рассказал Аркадий Осинкин — один из помощников Гусева.

Когда ударной группе на Литовском полуострове требовалась срочная поддержка конницы, кавалерийский отряд махновца Каретникова начал волыннить. И создалась опасная ситуация: Фрунзе в кольце «друзей», от которых можно ждать любого подвоха. Но командующий не уронил достоинства. Он вызвал к себе Каретникова, тот вел себя вызывающе и отказывался идти в бой, потому что его «армия» чего-то не получила.

«Фрунзе осадил его и заставил изменить тон.

— Скажите, — спросил Михаил Васильевич, — как поступают в войсках Махно с тем, кто отказывается выполнять распоряжение вышестоящего начальника?

— Этого у нас не бывает, — заносчиво ответил Каретников. — В нашем войске революционная дисциплина и все приказы обсуждаются с начальниками частей.

— Ну, а если кто после обсуждения не выполняет приказа? — настаивал Фрунзе.

Каретников замаялся, потом сказал:

— Смещают или судят.

— Вот видите, — подхватил Михаил Васильевич. — Почему же вы решили, что в Красной Армии можно обойтись без строгой дисциплины?.. Вот что. Если вы в точности не выполните боевой приказ, я сделаю вывод, что вы со своими помощниками трусите, и тогда с вами пойдет разговор, как с трусами. Даю вам пятнадцать минут — начинайте переправу».

Внушение подействовало. Две тысячи конников Каретникова начали переправу на Чонгар. За ними пошла 7-я Кавалерийская дивизия...

Перед концом битвы пытался Михаил Васильевич прекратить кровопролитие в Крыму. Еще 11 ноября, когда войска Московской дивизии Блюхера прорвали последние ишуньские укрепления, послал он радиogramму барону Врангелю.

От имени Центральной Советской власти он великодушно гарантировал всем сдающимся, включая и генералов, полное прощение и обещал беспрепятственный выезд за пределы страны тем, кто под честное слово откажется от дальнейшей борьбы против Советской власти.

Не питая иллюзий относительно Врангеля, он обратился по радио к его офицерам, солдатам, казакам и матросам. Он говорил им: великая революция победила, великая страна отстояла свою цельность. Бессмысленно проливать русскую кровь. Сдавайтесь! Мы не жаждем мести и дадим каждому искупить вину перед народом честным трудом. «Одновременно с этим нами издается приказ по Советским войскам о рыцарском отношении к сдающимся противникам и о беспощадном истреблении всех тех, кто поднимет оружие против Красной Армии».

И это не была уловка победителя. К войскам фронта в тот же день Фрунзе обратился с приказом о гуманном отношении к сдающимся. «Революционный Военный Совет Южного фронта приказывает всем бойцам Красной Армии щадить сдающихся и пленных. Красноармеец страшен только для врага. Он рыцарь по отношению к побежденным».

Но ни Врангель, ни его офицерский корпус не вняли голосу гуманного командующего Южным фронтом. И последовал строжайший приказ Фрунзе: «Преследовать врага до полного уничтожения!» Офицеры стрелялись. Солдаты выкидывали белый флаг. Партизаны пускали под откос обозы белых, орудия, автомобили. Красные конники рубили сопротивляющихся. Барон закончил свою преступную деятельность последним приказом, удирая в Константинополь на крейсере «Генерал Корнилов»: «У нас нет ни казны, ни денег, ни родины. Кто не чувствует за собой вины перед красными, пусть остается до лучших времен...»

Но в Крыму уже никто не интересовался постыдным приказом убежавшего барона. На устах были слова Фрунзе, обращенные Председателю Совета Труда и Оборона товарищу Ленину и Центральному Комитету РКП (б): «Свидетельствую о высочайшей доблести,

проявленной геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнем на проволоку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три четверти своего состава. Общая убыль убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 тысяч человек.

Армии фронта свой долг перед Республикой выполнили. Последнее гнездо российской контрреволюции разорено, и Крым вновь станет Советским».

Это было 12 ноября в Джанкое, куда триумфально прибыл Фрунзе и где еще позавчера была ставка барона. С таким чувством щедрой радости встретили войска своего вождя, какого не помнила русская армия со времен Суворова и Кутузова.

Теперь победные реляции летели в Москву ежедневно. Наконец 15 ноября доскакала конница Буденного до Графской пристани в Севастополе. А на другой день Владимир Ильич получил самую желанную и самую краткую телеграмму Фрунзе: «Сегодня нашей конницей взята Керчь. Южный фронт ликвидирован».

В середине этого знаменательного дня Михаил Васильевич добрался до Ялты. С волнением оглядел домик Антона Павловича Чехова — он был цел. Проехал мимо красивой виллы эмира бухарского, которого так и не поймал в прошлом году, когда штурмом брал Бухару.

Море дышало у ног — спокойное, неповторимо красивое: с палевым отсветом от заката на сине-седом просторе.

— Если нам суждено отдыхать, Сергей Аркадьевич, после трудов праведных, то непременно приедем сюда, — сказал он устало.

Фронт был ликвидирован, но боевые товарищи ждали его прощального слова. Он возвратился в Симферополь и целый день писал приказ № 226 (00105) от 17 ноября 1920 года, которому суждено было стать конспектом исторического абриса славных боев в Приднепровье, в Донбассе, в Северной Таврии, в Крыму.

Приказ стал достоянием героической истории Красной Армии. Но его концовка и сегодня звучит гимном ратному труду победителей:

«Боевые товарищи красноармейцы, командиры и комиссары, ценою ваших героических усилий, ценою дорогой крови рабочего и крестьянина взят Крым. Уничтожен последний оплот и надежда русских буржуа и их пособников — заграничных капиталистов. Отныне красное знамя — знамя борьбы и победы — реет в долинах и на высотах и грозным призраком преследует остатки врагов, ищущих спасения на кораблях. 50 дней прошло с момента образования Южфронта; за этот короткий срок благодаря вашей стойкости и энергии была ликвидирована угроза врага Донбассейну, очищено все Приднепровье и занят весь Крым.

Честь и слава погибшим в борьбе за свободу, вечная слава творцам Революции и освободителям трудового народа!

Особенно отмечаю исключительную доблесть 51-й и 15-й стрелковых дивизий в упорных боях под Юшунем, героическую атаку 30-й стрелковой дивизией чонгарских переправ, лихую работу 1-й и 2-й Конармий, выполнивших задачу вдвое скорее поставленного срока, и всех многих героев, давших новую великую победу нашей Советской Республике.

Да здравствует доблестная Красная Армия!

Да здравствует конечная мировая победа коммунизма!»

Эпилог

Те, кто жил в нашей партии, по-настоящему жил в ней, те, конечно, не умирают целиком, лучшее, что в них было, остается бессмертно, бессмертно тем же бессмертием, которым бессмертна сама партия.

А. Луначарский

Отгремела гражданская война, в эшелонах — с песнями тех лет — разъехались по домам живые и раненые. А Михаил Васильевич так и остался человеком военным, и его «домом» стала Красная Армия.

За разгром Врангеля его наградили почетным революционным оружием — шашкой с орденом Красного Знамени и надписью: «Народному герою Михаилу Васильевичу Фрунзе. ВЦИК РСФСР». Одновременно он был причислен к Генеральному штабу. Такого еще не бывало: не закончив академию, он как бы приобретал высшую военную ученую степень.

Думать о выборе иной профессии — уже не было смысла: сжился он с солдатским бытом, не мыслил себя вне кочевой жизни командира и говорил иногда в кругу друзей, что вагон с салоном — желанный походный его дом. Да и партия возлагала на него огромные надежды именно на армейской стезе.

Троцкий уже не годился для руководства Красной Армией — превеликий путаник и фразер, окруженный раболепствующей перед ним свитой из старых полковников и генералов, не понимал он природы Вооруженных Сил Советского государства и отрицал творческое партийное начало в многосторонней жизни армии. Ленин уже видел в Михаиле Фрунзе будущего руководителя РККА нового типа, всей душой преданного партии.

Остались в рядах РККА и многие его боевые товарищи: Новицкий, Каменев, Зиновьев, Авксентьевский, Кутяков, Тухачевский, Баранов, Буденный, Ворошилов, Блюхер, Уборевич, Корк, Грязнов, Эйдеман. Фурманов ушел в литературу, Любимов вскоре стал наркомом легкой промышленности, но и они не порывали старой дружбы ни с армией, ни с Фрунзе. Даже строптивый и безудержно храбрый Иван Плясунков далеко пошел бы на военном поприще, но при подавлении антоновского мятежа на Тамбовщине в 1921 году попал в окружение со своей частью и врагам не сдался, пустив себе пулю в сердце.

Вскоре появились и новые друзья — Котовский, Якир, Гамарник, Примаков, Уншлихт. И когда развернулась борьба с Троцким, все они оказались в лагере Фрунзе и помогли ему создать новую систему руководства Вооруженными Силами.

С легкой руки Михаила Васильевича многие из них окончили Военную академию и стали выдающимися командирами. И из них выросла плеяда первых маршалов Советского Союза. Были они разными, иногда «трудными». Фрунзе был суров к их ошибкам и промахам. Но доверял им, старался не дать их в обиду. Так было с Авксентьевским, когда его дело слушалось в ЦК РКП (б), так было и с Тухачевским, когда у него возник конфликт с партийной ячейкой штаба войск Западного округа в Смоленске.

Тухачевский оправдал доверие старшего друга. Он развернулся как выдающийся штабист и написал ряд книг о новых методах управления армией: «Вопросы высшего командования» и «Вопросы современной стратегии».

Многогранной была деятельность Михаила Васильевича в последние пять лет жизни. Три с лишним года он работал на Украине: командовал войсками на территории Украинской Советской Республики и был заместителем председателя Совета Народных Комиссаров в Харькове.

На его плечи легла ликвидация махновских банд. Борьба была упорная, она стоила многих жертв. Но кончилась тем, что «батя Махно», растеряв все свои «армии», с небольшим отрядом бежал в боярскую Румынию.

Руководители Советской Украины — Станислав Коссиор, Григорий Петровский, Дмитрий Мануильский, Влас Чубарь, Николай Скрыпник и Владимир Затонский оказывали Фрунзе большую помощь.

Михаил Васильевич неоднократно ввязывался в бои с махновцами и однажды едва не был схвачен ими. На Полтавщине, неподалеку от Миргорода, попал он в западню: убил пятерых, но и сам был ранен. И Политбюро ЦК КП(б)У вынуждено было принять специальное решение по этому поводу. Оно отметило мужество и личную отвагу Фрунзе, но категорически высказалось против его непосредственного участия в боях с бандитами.

Был страшный момент в 1921 году. Только что подавили Кронштадтский мятеж, как страна стала задыхаться без соли, в Поволжье возник невиданный голод из-за засухи. Хлеб

Украины и ее соль, скопившаяся в Бахмуте и в Евпатории, должны были спасти республику. И Владимир Ильич назначил Фрунзе чрезвычайным комиссаром по хлебу и соли. «Урожай на юге превосходный, — писал Ленин Михаилу Васильевичу 18 мая 1921 года. — Теперь главный вопрос всей Советской власти, вопрос жизни и смерти для нас, — собрать с Украины 200–300 миллионов пудов.

Для этого главное — соль. Все забрать, обставить тройным кордоном войска все места добычи, ни фунта не пропускать, не давать раскрасить...

Поставьте по-военному...

Вы — *главком* соли.

Вы отвечаете за все». Соль была в то лето главной разменной монетой.

Надо ли говорить, что Фрунзе выполнил это поручение Ленина с присущей ему решительностью. Соль пошла по железной дороге и морем — из Евпатории в Одессу на буксире у военных судов. Пошел и хлеб. Более того, по инициативе командующего Украина дала приют голодающим: 200 тысяч взрослых и 50 тысяч детей получили братскую поддержку украинских крестьян.

И еще два дела чрезвычайной важности легли на плечи Фрунзе в Харькове.

Первое — дипломатическая миссия в Турцию на рубеже 1922 года. Новый год встречали в Анкаре.

В конце декабря Михаил Васильевич появился в меджлисе. Депутаты Великого Национального собрания шумно приветствовали Фрунзе: его боевая слава давно перешагнула через Черное море. Он приветствовал турецкий народ, который тогда вел под руководством Мустафы Кемаль-паши, прозванного Ататюрком, то есть «отцом турок», борьбу за национальную независимость. И пожелал скорой победы новой Турции. Потом он говорил о дружеских чувствах советских республик к стране, сбросившей ярмо колониального гнета, и о том, что она может рассчитывать на дружескую помощь не только России, но и Украины.

Мустафа Кемаль послал телеграмму в Москву и в Харьков: «Речь Фрунзе ничем не походила на искусственные, полные лжи и лицемерия речи представителей империалистического строя... Это событие дало нам возможность констатировать ту глубокую взаимную симпатию, которой связаны оба народа, и представило зрелище, оказавшее на всех членов Национального собрания самое глубокое впечатление. Уже один факт, что правительство Украинской Советской Республики для заключения договора дружбы, чтобы еще больше закрепить политические и экономические связи, существующие между обоими народами, выбрало Фрунзе, одного из выдающихся политических деятелей, являющегося в то же время одним из самых доблестных полководцев и героических вождей победоносной Красной Армии, вызвал особую признательность со стороны Национального собрания».

Михаил Васильевич расположил к себе руководителей новой Турции, и они открыто показали ему страну.

Он наблюдал и первые ростки нового и тяжелейшие последствия власти султана и затяжной войны с англичанами и греками за независимость. В дневнике он отметил и неравенство племен, в частности курдов и армян, и слабую подготовку турецкой армии.

Ему дали возможность побывать на передовой, в действующих отрядах, и он высказал ряд ценных замечаний о командирах и солдатах в боевой обстановке.

Возвратившись в Харьков, он имел право заявить украинскому правительству:

— Могу заверить, что общее представление о турецкой вооруженной силе я имею почти такое же, как и об украинской армии. Из этого факта вы можете сделать заключение о том доверии, с каким турецкое правительство отнеслось к представителям Советской Украины.

Он подписал в Анкаре договор о дружбе и братстве новой Турции с Украиной: черноморский сосед стал другом, хотя всегда был извечным врагом царизма.

Встретили и проводили добрую миссию Фрунзе с почестями. Но не обошлось и без забавных инцидентов, которые развеселили Михаила Васильевича.

В охране посла находился смысленный и любознательный Лука Колядко, который оставил интересные воспоминания о поездке в Анкару.

По дипломатическому ритуалу полагался заключительный ужин со стороны Фрунзе. Разумеется, подумали о нем заранее и еще в Тифлисе и в Баку захватили с собой припасы. «Приглашенных собралось около ста человек. Среди гостей члены правительства во главе с Мустафой Кемалем. Мы обратили внимание на то, что все они пришли в повседневной рабочей одежде. У начальника военной академии китель был даже с обтрепанными рукавами. Видимо, гости хотели подчеркнуть, что их страна переживает большие трудности.

Общество состояло из одних мужчин. В те времена турок не водил свою жену в чужой дом, да еще в большевистский. Ужин сопровождался питьем чистой, родниковой воды. Другие напитки за столом запрещались кораном. Но узкий круг лиц был конфиденциально предупрежден не уходить после ужина. Они согласились и ждали. И тут перед нами возникла новая помеха. Ярый приверженец корана председатель совета министров Февзи-паша никак не уходил домой. А пока он сидел у нас, не смели уйти и другие гости, хотя ужин уже кончился. Выручили молодые азербайджанские дипломаты. Они очень ловко устроили Февзи-паше торжественные проводы, а следом за ним ушли и остальные, не посвященные в наш план.

Тогда на столе появились кавказские вина и коньяки. Настроение у гостей вскоре поднялось, языки развязались, и полились речи. Один из ораторов, хлебнув лишнего похвалялся: если турецкий народ не пойдет за ним, он отрежет народу голову и донесет ее до цели. Мы мысленно пожелали храбрецу такого конца в его личной политической карьере.

Зазвучали песни, русские вперемешку с турецкими. Один из гостей, маленький и вертлявый, пустился в пляс. Он танцевал так стремительно и неистово, что не выдержал и упал на ковер. Конвойные аскеры завернули его превосходительство в бурку и отправили домой».

Дело второе: уже не международное, а внутреннее, правда, с огромным резонансом в мировом масштабе.

Владимир Ильич Ленин был озабочен государственным устройством всей страны, на территории которой возникло несколько советских республик. Он выдвинул план: братски объединить их в единый могучий союз и тем навсегда решить вопрос национальный — самый жгучий в истории государства Российского.

Михаил Васильевич и его украинские товарищи с энтузиазмом подхватили мысль учителя и вождя. Весной 1922 года они предложили всем советским республикам обсудить вопрос об их взаимоотношениях. Осенью того же года VII Всеукраинский съезд Советов телеграфировал В. И. Ленину: «Сейчас под звуки «Интернационала» Всеукраинским съездом Советов единогласно принята по докладу правительства резолюция о немедленном создании нового государственного объединения под названием «Союз Советских Социалистических Республик».

И Михаил Васильевич имел право сказать:

«...рабоче-крестьянское правительство Украины, а равно и рабочий класс и крестьянство всей Украины может гордиться тем, что по их инициативе, по нашей воле, по нашему почину мы стали приступать к этому строительству нового нашего государственного советского социалистического здания».

Украину поддержали Белоруссия и Закавказские советские республики, затем РСФСР. И от их имени Михаил Васильевич на I Всесоюзном съезде Советов 30 декабря 1922 года предложил утвердить Декларацию и Союзный договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

Он теперь часто бывал в Москве: случались в столице и радости и огорчения. Но самой страшной, самой горькой была поездка в январе 1924 года: много раз стоял он в почетном карауле у гроба Владимира Ильича Ленина, и фотографии запечатлели его в великой скорби,

с глазами, полными слез. Он и не скрывал своей тоски, своего горя: без Ленина было пусто, страшно...

Но страна жила, ею надо было управлять коллективно, опираясь на самые стойкие кадры партии. В марте 1924 года ЦК РКП(б) отозвал Фрунзе в Москву.

Партия высоко ценила Михаила Васильевича — полководца и государственного деятеля. На X съезде РКП(б) его избрали членом ЦК, позднее — кандидатом в члены Политбюро. С 14 марта 1924 года он был назначен заместителем наркома по военным и морским делам. Через месяц — начальником штаба РККА и руководителем Военной академии. А с 26 января 1925 года стал во главе Вооруженных Сил СССР.

— Есть в буржуазных государствах полководцы, которым воздаются формальные почести и воскуривается фимиам славы. Но нет полководца, равного нашему Фрунзе, нет и не может быть во всем мире, ибо нет и не может быть во всем буржуазном мире полководца, с которым связаны органически мысли и чувства миллионов. Нет и не может быть полководца в буржуазных государствах, на которого были бы обращены взоры угнетенных, где бы эти угнетенные ни находились: в соседней Германии, Китае, Индии или в других местах земного шара, — говорила Клара Цеткин. — В чем же сила, в чем же мощь этого великого вождя? Он — сын, он — воспитанник великой Российской Ленинской Коммунистической партии...

Дальновидные люди уже с весны 1924 года поняли, что военной карьере Троцкого пришел конец: не могли ужиться под одной крышей в особняке на Знаменской улице стойкий ленинец и случайный для большевизма человек, картинно всплывший на гребне революционной волны.

Они были антиподами во всем: в отношении к партии и ее истории, к Ленину и ближайшим его ученикам, к народу, к армии и ее пролетарскому командному составу. И если Троцкий при жизни Владимира Ильича вел свою антипартийную линию приглушенно, отлично понимая, что у него нет ничего за душой, что он мог бы противопоставить величю идей и дел Ленина, то после смерти его он сбросил маску и пошел в наступление на партию. Так появились его «Уроки Октября» — неприкрытая и жалкая философия троцкизма.

Чуждые партии взгляды он неустанно развивал и в отношении Красной Армии. Он носился с идеей расширения рамок революции путем войны; это было враждебно ленинскому тезису о мирном сосуществовании Страны Советов с капиталистическими государствами и строительстве основ социализма в СССР. Он считал, что для его «революционной войны» нужна армия бездумная, слепо исполняющая волю «вождя». И как-то обронил по этому поводу очередную «крылатую» фразу: надо готовить толкового отделенного командира, убить вошь и научить красноармейца смазывать сапоги. Он отрицал заслуги комиссаров и командиров — коммунистов в гражданской войне, зато непомерно восхвалял заслуги старых военных специалистов. Наконец, он утверждал, что военное дело не более чем ремесло и нелепо применять к нему марксистский диалектический метод; что нет и не может быть военной науки и военного искусства. И, отрицая смелый маневр и внезапность наступления, тривиально утверждал, что в конце концов побеждает всегда тот, кто оказывается более сильным в момент борьбы.

Огромная заслуга Фрунзе в том, что от этих порочных и вредных взглядов страна начисто освободилась на протяжении полутора лет его работы в наркомате.

Начал Михаил Васильевич утверждение ленинских, партийных позиций по вопросам армии и обороны еще в 1921 году, когда была опубликована его дискуссионная статья «Единая военная доктрина и Красная Армия». Сущность его предложений сводилась к пересмотру всех вопросов военной науки и искусства с позиций пролетариата и к установлению основ пролетарского учения о войне на опыте империалистической и гражданской войн в двадцатом столетии.

Все его помыслы были обращены к армии: к практике ее строительства, к теории, определяющей роль Вооруженных Сил в социалистическом государстве.

Федор Федорович Новицкий вновь встал рядом с Фрунзе и записал для памяти: «Не знаю, в чем секрет человеческого обаяния Михаила Васильевича, но было очень легко работать с ним. В академической среде старых военных лет мне не приходилось встречать людей такого типа. Фрунзе был удивительно восприимчив и отзывчив. Он не боялся принимать оригинальные решения, нарушать то, «что принято» в военном деле. Меньше всего он был похож на генштабистов, для которых военная карта — шахматная доска. За каждой боевой операцией он видел людей. Он буквально впитывал в себя военные знания, однако не с тем, чтобы коллекционировать их, а для того, чтобы как можно скорее пустить их в дело».

Троцкисты ополчились против военной доктрины Фрунзе. И даже в кругу единомышленников кипели горячие споры. Одни пытались «увязать» советскую военную доктрину с французской теорией позиционной войны, другим был по душе «блицкриг» германского генерального штаба. Но истина была не на полярных позициях спорщиков.

Михаил Васильевич утверждал, что Красная Армия — армия нового типа и она не может следовать слепо образцам буржуазной стратегии. Защищая завоевания социалистической революции, она может использовать опыт прежних войн. Но не надо забывать, что она не какая-либо вооруженная каста захватчиков или колонизаторов, не оружие генералитета и не просто отрасль хозяйства. Красная Армия — детище революционного народа, она его опора, она его надежда. Вся народная энергия должна подпирать армию. И для создания и оснащения такой армии надо иметь четкую военную политику и строить армию, как и всю жизнь в стране, по определенному государственному плану. «Все военное дело, — говорил Фрунзе, — вплоть до его учения, на основе которого строятся вооруженные силы, является отражением его жизни и, в конечном счете, его экономического быта, как первоисточника всех сил и ресурсов». В корне изменился характер современных войн. Раньше воевали только отряды и армии, теперь в войну втягивается весь народ на огромном пространстве боя. Изменились и средства войны: кроме огнестрельного оружия появились авиация, химия, танки. В такую войну неизбежно вовлекается все население страны, ее промышленность, ее народное хозяйство. Для ведения такой войны нужны единый хозяйственный план и единая наука о войне и армии. Наука побеждать в схватке с классовым врагом на полях сражений. И в этой науке определяет все — активный дух смелых и энергично проводимых наступательных операций, ибо одна оборона равносильна смерти.

Кто-то даже заявил в ходе дискуссии:

— Так ведь это же идеи Суворова!

— А кто отрицает его великое наследие? — спросил Фрунзе. — Это высокая честь — воевать, как Суворов! Разумеется, я не призываю слепо следовать его опыту. Его опыт надо совершенствовать на новой основе, что-то принимать, что-то отбрасывать. Но его мысль о победе «малой кровью» близка нам уже потому, что в ней заложена глубокая озабоченность жизнью солдата.

Новой основой суворовской науки побеждать «малой кровью» он считал все меры по реорганизации управления армией, по пересмотру устаревших ее уставов; пролетарский командный и политический состав, которому надо было доверить единоначалие в частях, и воспитание солдата новой формации, понимающего не только свой маневр в ходе боя, но и свои классовые задачи в отношении окружающего СССР мира врагов.

Новые командиры и политработники Красной Армии геройски показали себя на полях гражданской войны. Они, а не офицеры старой армии, пришедшие на службу к большевикам, проводили операции, которые направлял ЦК партии и лично Владимир Ильич Ленин.

— Я утверждаю без всякой идеализации, — говорил Фрунзе, — что в армии нас за нос никто не водил, ибо Коммунистическая партия и рабочий класс держали и держат армию крепко в своих руках.

Новым стал и солдат-красноармеец. Он блестяще выполнил свою роль, будучи голодным, разутым, раздетым. И не в том теперь дело, чтобы он только исполнял волю отдаленного командира и умел ваксить сапоги. Да, его надо экипировать, вооружить, взять в рамки строгой дисциплины. Но еще важнее сделать его сознательным защитником социалистической Родины. Грамотный красноармеец, умеющий сознательно и отчетливо прочитать текст торжественного обещания, знающий, за что он воюет, и максимально квалифицированный в военном отношении, — первый и очевидный залог победы в любой войне. Надо окружить бойца и его семью вниманием, заботой. Об этом и говорил Михаил Васильевич то на съезде учителей, то на съезде комсомола, то на учредительных заседаниях добровольных обществ, созданных в помощь РККА.

И, понимая, что «война будущего в значительной мере, если не целиком, будет войной машин», ни на миг не упускал он из виду, что решающая роль по-прежнему будет принадлежать человеку, с его умом, волей, энергией, овладевшему передовой техникой.

Некоторые сторонники единой военной доктрины в острой полемике с троцкистами хватили через край и утверждали, что настало уже время создать свою «пролетарскую военную доктрину», «пролетарскую стратегию» и т. д. Это были ошибочные суждения. И Владимир Ильич Ленин так же подверг их критике, как в свое время осудил позицию сторонников теории «пролетарской культуры».

Об этом и напомнил Михаил Васильевич в речи на заседании литературной комиссии при ЦК РКП(б) 3 марта 1925 года, ссылаясь на свой разговор с Лениным:

— Я изложил ему свою точку зрения, и он ответил мне так же, как и Бухарину, а именно: «Вы (коммунисты военные) здесь не правы. С точки зрения перспектив ваш подход, конечно, правильный. Разумеется, вы должны готовиться к задаче полного овладения военным делом и соответствующую работу вести. Пожалуйста, учитесь, выдвигайте молодые силы, но ежели вы сейчас станете выступать с теорией пролетарского искусства, то впадете в опасность комчванства. Мне кажется, что наши военные коммунисты еще недостаточно зрелы для того, чтобы претендовать на руководство всем военным делом». Вот приблизительно что говорил мне тогда товарищ Ленин.

Ко времени, когда Михаил Васильевич произнес эту речь, многие положения его единой военной доктрины, с учетом замечаний Владимира Ильича, уже были осуществлены. Работа особенно развернулась после апрельского Пленума ЦК РКП(б) в 1924 году, когда был заслушан доклад специальной комиссии, которая всесторонне обследовала состояние РККА. Комиссия пришла к неутешительным выводам: «Красной Армии, как организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы, у нас в настоящее время нет. В настоящем своем виде Красная Армия небоеспособна».

Требования единой военной доктрины помогли Фрунзе ухватить решающее звено. Им оказалась военная реформа во всех звеньях Вооруженных Сил — сверху донизу.

Он начал с реорганизации центрального военного аппарата. Этот аппарат разросся невероятно, потому что армия к концу гражданской войны насчитывала под ружьем более пяти миллионов бойцов. Теперь она сократилась численно в восемь раз, и громоздкий бюрократический аппарат, сильно засоренный ставленниками Троцкого, действовал на холостом ходу.

Первый аспект реформы — перестройка главного штаба РККА. Фрунзе четко определил его функции в новых условиях. Он должен разрабатывать планы войны, мобилизации и строительства Вооруженных Сил в точном соответствии с экономическими ресурсами страны. А подготовка войск в мирное время — обучение, комплектование и материальное снабжение — изымалась из функций штаба и возлагалась на самостоятельные органы управления.

Второй аспект реформы — перестройка планов развертывания Красной Армии и Флота с реальным учетом данных о возможных противниках и о театрах будущих сражений. Эта работа требовала ликвидировать диспропорцию в развитии отдельных видов войск,

сократить тыловые учреждения и согласовать сеть военно-учебных заведений с общим планом комплектования РККА командным составом. При этом пехоте уделялось особое внимание, как одному из основных родов войск.

Но в ходе реформы Михаил Васильевич не ослаблял внимания и к работе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), и к поискам Дегтярева, предложившего ручной пулемет, и к опытам молодых конструкторов в области моторостроения, самолетов, танков, артиллерии, и к командной и научной деятельности старых военных специалистов.

Одновременно началась и новая полоса в жизни Военной академии. Направление поиска Фрунзе состояло в том, чтобы превратить это высшее учебное заведение Вооруженных Сил в большевистскую кузницу командных кадров, в центр военно-научной мысли. Академия должна отбросить рутину, поддерживать все живое, новое, подняться на уровень передовой военной науки, обобщить и использовать богатый опыт мировой и гражданской войн, опираться на учение Ленина во всей своей творческой работе.

Кроме того, Фрунзе старался привлечь к армии, к ее быту и героике внимание писателей, художников, композиторов. Он вдохновил и Дмитрия Фурманова, и Александра Серафимовича, и Юрия Либединского.

Всю жизнь Михаил Васильевич любил книгу: читал много, учился непрерывно и все знания отдавал партии, товарищам, их борьбе.

Однако обстоятельства складывались так, что был он больше практиком, нежели теоретиком. Теперь же, когда он встал во главе Вооруженных Сил Советского государства, на его плечи легла и огромная военно-теоретическая деятельность. Он был подготовлен к ней всем предшествующим опытом партийного боевика и организатора, полководца и непримиримого борца за единство партии.

Не потеряли актуальности и в наши дни его замечательные статьи и высказывания о принципах стратегии и тактики Красной Армии, о всемирно-историческом опыте гражданской войны, о характере будущих войн: «Реорганизация Красной Армии» (1921), «Единая военная доктрина и Красная Армия» (1921), «Регулярная армия и милиция» (1922), «Памяти Перекопа и Чонгара» (1922), «В добрый час» (1923), «Будем готовы» (1923), «Фронт и тыл в войне будущего» (1924), «Европейские цивилизаторы и Марокко» (1925), «Ленин и Красная Армия» (1925), «Кадровая армия и милиция» (1925).

В ближайших его планах были и другие работы, связанные с советской военной наукой и строительством могучих Вооруженных Сил Советского государства. Товарищи отмечали его огромный интерес к обучению и политическому воспитанию личного состава армии, к расширению военной промышленности, к развитию Военно-Морского и Военно-Воздушного Флота, к организации тыла.

Сергей Миронович Киров говорил:

— Никогда не забуду, как год тому назад, когда зашел однажды к Фрунзе, я поразился тем, что увидел на его столе. Книжки, казалось бы, ничего общего с военным делом не имеющие. Эти книжки касались инженерного искусства по части моторостроения. Товарищ Фрунзе с горячностью высказывался о том, как мы должны поднять военную технику, пользуясь мирным состоянием нашего государства, как нам необходимы все виды той самой современной военной техники, которой располагают наши противники. Одной из областей этой техники является, несомненно, авиация, и Фрунзе, оказывается, к этому времени успел достаточно изучить все системы аэропланов. С горячностью юноши он рассказывал, какие системы моторов существуют, говорил о том, что главная задача в деле создания военной техники — аэропланые моторы, которые можно получить пока только из-за границы и которых, к великому сожалению, пока не могут осилить наши заводы. Он внимательнейшим образом изучал все эти системы, следил за каждым инженером и техником, который работает в этой области, часто вызывал и советовался с ними, всячески поддерживал их.

Но неожиданно наступила смерть и оборвала его кипучую деятельность.

В сорок лет умер любимец народа, его признанный герой.

Осталось о тех днях свидетельство Иосифа Гамбурга, врача по профессии, влюбленного в Фрунзе еще с далеких лет манзуркской ссылки.

«Летом 1925 года Фрунзе дважды попадал в автомобильные аварии, получил значительные ушибы руки, ноги и головы. Это повлияло и на желудок: началось кровотечение. Тогда, несмотря на его возражение, он был в сентябре направлен в Крым, в Мухалатку. Там его уложили в постель, приставленные к нему врачи занялись лечением. Временами он чувствовал себя хорошо, охотился в предгорьях Ай-Петри, был радостен и оживлен. Но затем у него снова открывалось кровотечение и начинались головные боли. Вызванные из Москвы врачи-консультанты настояли на его возвращении в столицу для госпитализации.

Михаила Васильевича положили в Кремлевскую больницу. Лежа в палате, он много читал. К нему приходили близкие друзья: А. С. Бубнов, И. Е. Любимов, В. В. Куйбышев, И. С. Уншлихт и другие. Я у него тоже часто бывал и подолгу беседовал.

Пока шло исследование больного, он был спокоен, шутил и смеялся. Но вот прошедшие один за другим консилиумы видных врачей установили, что налицо явная картина язвенного процесса в области двенадцатиперстной кишки. Было решено прибегнуть к операционному вмешательству. С этого момента бодрое настроение покинуло Михаила Васильевича. На людях он держался спокойно, расспрашивал о делах и давал советы. Но когда посторонних не было, он становился озабоченным, задумчивым.

Незадолго до операции я зашел к нему повидаться. Он был расстроен и сказал мне, что не хотел бы ложиться на операционный стол. Глаза его затуманились. Предчувствие чего-то непоправимого угнетало его. Он попросил меня в случае неблагоприятного исхода передать Центральному Комитету партии его просьбу — похоронить его в Шуе, где он провел свои лучшие молодые годы на революционной работе. Он любил этот небольшой провинциальный город с какой-то нежностью, и мягкая улыбка озаряла его лицо, когда он рассказывал о жизни среди шуйских рабочих.

Я убеждал его отказаться от операции, поскольку мысль о ней его угнетает. Но он отрицательно покачивал головой: мол, с этим уже решено. Ушел я из больницы в тот день с тяжелым чувством тревоги. Это было мое последнее свидание с живым Фрунзе».

27 октября Михаила Васильевича перевели в Солдатенковскую больницу. Через два дня профессор Розанов сделал операцию. Наркоз действовал тяжело, Михаил Васильевич долго не засыпал. Пришлось увеличить дозу хлороформа. Сердце не выдержало. 31 октября 1925 года в пять часов сорок минут Михаил Васильевич скончался.

Страна была в трауре: четвертая смерть за последние годы потрясла ее — Свердлов, Ленин, Ногин, Фрунзе...

Но светлый его образ остался бессмертным. Именем его был назван далекий Пишпек, другие населенные пункты, корабли, фабрики, колхозы, школы.

Встали в память о нем бронзовые изваяния лучших скульпторов страны в Иваново-Вознесенске и Шуе, в Пишпекке и Каховке.

Михаил Иванович Калинин сказал над его могилой на Красной площади:

— Сотни и тысячи большевиков беззаветно погибали в борьбе с царизмом, сотни и тысячи отпадали по слабости от партии, и только одна небольшая часть большевиков уцелела, закалилась, выработала в себе волю. К такой категории закаленных, выработавших в себе волю принадлежит и Михаил Васильевич Фрунзе.

Товарищи, как бы ни была коротка биография Фрунзе, но для меня не подлежит никакому сомнению, что жизнеописание Фрунзе должно быть настольной книгой для воспитания, для подготовки, для закалки большевизма нашей коммунистической молодежи.

Мы можем сказать: товарищ Фрунзе честно, беззаветно прошел свой жизненный путь. Пусть его жизнь послужит примером для молодых товарищей.

Иосиф Гамбург не раз отмечал, что Михаил Васильевич очень любил семью, домашний уют. Случалось, приходил он усталым и раздраженным, но скоро становился спокойным, приветливым.

Дома у него на столе всегда лежала груда новых книг и журналов. Когда кончался ужин, он «облачался в любимый туркестанский халат, садился за стол, и тогда его нельзя было оторвать от чтения». Он засиживался до утренних сумерек, изредка выпивая стакан горячего крепкого чая из термоса и похрустывая сухарями.

Но даже при самой спешной работе, которая ожидала его дома в ночные часы, никогда не забывал он о жене и детях. «Постоянно играл с детьми Таней и Тимуром. Был исключительно заботлив к жене, здоровье которой медленно подтачивал туберкулез. Михаил Васильевич несколько раз посылал ее на лечение в Крым и Финляндию, но всегда тосковал, когда ее не было дома. Софья Алексеевна помогала, как могла, мужу в работе, постоянно заботилась о нем и детях, но быстро уставала из-за болезни».

Дети были без ума от отца: горячо любили его, старались во всем подражать ему.

Жизнь отца прежде всего стала эталоном для Тимура Михайловича Фрунзе, сына Михаила Васильевича, погибшего под Старой Руссой 19 января 1942 года. В девятнадцать лет он окончил Качинскую военную авиационную школу. В день боя, приведшего к смерти, он вместе с командиром самолета Шутовым атаковал тридцать вражеских бомбардировщиков, сломал их порядок и сбил несколько самолетов. И был убит в неравном бою. 16 марта 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, и он навечно зачислен в списки своего авиационного истребительного полка.

Софья Алексеевна скончалась от туберкулеза через год после похорон любимого мужа и друга.

Единственным хранителем семейных традиций Фрунзе осталась его дочь — Татьяна Михайловна, доктор химических наук. Она скромна, как и ее отец. Но любознательная наша молодежь находит дорогу к ее дому. И тогда Татьяна Фрунзе рассказывает ей о своем отце и о своем брате.

Основные даты жизни и деятельности М. В. Фрунзе

1885, 21 января (2 февраля) — родился в городе Пишпекке Семиреченской области Туркестанского края (ныне Фрунзе — столица Киргизской ССР), в семье фельдшера.

1896 — окончил Пишпекское городское училище.

1896–1904 — учился в гимназии в городе Верном (ныне Алма-Ата); окончил с золотой медалью.

1904 — поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института. Начал революционную деятельность в студенческих и рабочих кружках. В конце ноября арестован и выслан из столицы в Петровск. Вступил в РСДРП. Работал агитатором-пропагандистом в Петровске, Ливнах, Екатеринославе.

1905, 9(22) января — ранен в руку во время расстрела мирной демонстрации рабочих в Петербурге. Май — июль — поселился в Иваново-Вознесенске; был одним из организаторов грандиозной стачки текстильщиков.

29 октября (11 ноября) — арестован в Иваново-Вознесенске, выслан в Казань, нелегально возвратился в Шую. Декабрь — сражался на баррикадах Пресни с отрядом ивановских и шуйских дружинников.

1906 — делегат IV (Объединительного) съезда РСДРП в Стокгольме; первая встреча с В. И. Лениным.

1907, март — избран делегатом V съезда РСДРП, из-за ареста на съезде не присутствовал. Отправлен из Шуи во владимирскую тюрьму.

1909, январь — обвинен в покушении на полицейского урядника. Приговорен к смертной казни. Под давлением общественности приговор отменен.

1910, февраль — приговорен к четырем годам каторжных работ по делу Иваново-Вознесенского союза РСДРП. **Сентябрь** — при вторичном рассмотрении дела о покушении на урядника вновь приговорен к смертной казни. Из-за широких протестов

общественности смертная казнь заменена шестью годами каторги.

Октябрь — 1914, март — отбывал заключение во владимирской и николаевской каторжных тюрьмах. Отправлен на вечное поселение в Восточную Сибирь.

1914, апрель — 1915, август — находился в александровской пересыльно-каторжной тюрьме и отбывал ссылку в Иркутской губернии. За революционную работу среди ссыльных отправлен в Иркутск.

1915, август — 1916, март — прибыл в Читу, бежав с этапа. Введен в состав городского комитета РСДРП. Под угрозой ареста выехал в европейскую Россию.

1916, май — 1917, февраль — находился на нелегальном положении, вел революционную работу среди солдат Западного фронта.

1917, март — сентябрь — начальник городской милиции Минска, председатель Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, член фронтового комитета Западного фронта.

Сентябрь — 1918, март — работает в Шуе. Избран председателем исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

1918, март — декабрь — возглавляет Иваново-Вознесенский губисполком, губернский комитет партии, комиссариат Ярославского военного округа.

26 декабря — приказом Реввоенсовета Республики назначен командующим 4-й армией Восточного фронта.

1919, март — июль — в качестве командующего Южной группы войск руководит контрнаступлением против Колчака. Проводит Бугурусланскую, Белебеевскую, Уфимскую операции.

8 июля — награжден орденом Красного Знамени.

13 июля — назначен командующим войсками Восточного фронта.

15 августа — назначен командующим войсками Туркестанского фронта.

8 октября — утвержден членом комиссии ВЦИК и Совнаркома РСФСР по делам Туркестана.

1920, февраль — сентябрь — руководил операциями по ликвидации басмачества и армии эмира бухарского. **Сентябрь — ноябрь** — назначен командующим войсками Южного фронта. Руководит операциями по разгрому Врангеля.

3 декабря — назначен командующим всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма и уполномоченным Реввоенсовета Республики.

Декабрь — избран членом ВУЦИК и членом Политбюро КП(б)У.

1921, 8–16 марта — участвовал в работе X съезда РКП(б), избран членом Центрального Комитета партии.

5 ноября — 1922, 31 января — возглавлял чрезвычайное посольство УССР в Турцию.

1922, 15 января — постановлением ВУЦИК назначен заместителем председателя Украинского экономического совета.

27 марта — 2 апреля — участвовал в работе XI съезда РКП (б), выступал на совещании военных делегатов. Избран членом Центрального Комитета РКП (б).

18 декабря — пленум ЦК РКП (б) включил М. В. Фрунзе в состав комиссии по подготовке I Всесоюзного съезда Советов.

1923, 17–25 апреля — участвовал в работе XII съезда РКП (б), избран членом Центрального Комитета партии.

1924, 14 марта — утвержден в должности заместителя председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам СССР.

6 апреля — назначен по совместительству начальником штаба РККА.

19 апреля — назначен по совместительству начальником Военной академии РККА.

6 мая — за ликвидацию бандитизма на Украине награжден вторым орденом Красного Знамени.

23–31 мая — участвовал в работе XIII съезда РКП (б), избран членом Центрального

Комитета партии.

1925, 26 января — Президиум ЦИК СССР принял постановление о назначении М. В. Фрунзе председателем Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам.

10 февраля — назначен членом Совета Труда и Оборона СССР.

20–27 июня — участвовал в большом заграничном походе кораблей Красного Балтийского флота.

31 октября — скончался в Москве.

3 ноября — похороны М. В. Фрунзе на Красной площади, у кремлевской стены.

Краткая библиография

- В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, тт. 9, 12, 24, 30, 31, 35.
В. И. Ленин, Военная переписка (1917–1920). М., 1956. Ленинский сборник XXXIV.
«О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания (1900–1920)». М., 1963.
Н. Кузьмин, В. И. Ленин во главе обороны Советской страны. М., 1958.
М. В. Фрунзе, Избранные произведения, тт. I и II. М., 1957.
«М. В. Фрунзе. Полководческая деятельность». М., 1951.
«М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны». М., 1941.
«М. В. Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников». М., 1965.
«История КПСС», тт. II и III.
«История гражданской войны в СССР», т. V.
«Очерки истории Московской организации КПСС». М., 1968.
«Октябрь в Москве». М., 1967.
«Герои Октября», тт. I и II. Л., 1967.
«Реввоенсовет нас в бой зовет». М., 1967.
«Полководцы гражданской войны». М., 1960.
«Комиссары». М., 1967.
«Посланцы партии». М., 1967.
О. Варенцова, М. Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1906–1907 гг. «Пролетарская революция», 1925, № 12.
Ф. Самойлов, По следам минувшего. М., 1954.
С. Борисов, Фрунзе. М., 1940.
Н. Вигилянский, Повесть о Фрунзе. М., 1957.
И. Гамбург, П. Хорошилов, Г. Санович, М. Струве, Г. Брагилевский, М. В. Фрунзе (Жизнь и деятельность). М., 1962.
В. Лебедев, К. Ананьев, М. В. Фрунзе. М., 1957.
С. Сиротинский. Путь Арсения. М., 1959.
И. Стрелкова, Меч полководца. М., 1968.
Арк. Васильев. Смело, товарищи, в ногу. Иваново, 1955.
Дм. Фурманов, Собр. сочинений, т. III. М., 1927.
Александр Исбах, Фурманов. М., 1965.
Г. Горбунов, Дмитрий Фурманов. М., 1965.
Н. Хлебников, П. Евлампиев, М. Володихин, Легендарная чапаевская. М., 1968.
В. Савостьянов, П. Егоров, Командарм первого ранга. М., 1966.
П. Березов, Валериан Владимирович Куйбышев. М., 1958.
Ирина Бразуль, Демьян Бедный. М., 1967.
А. Толмачев, Калинин. М., 1963.
Г. Марягин, Постышев. М., 1965.
Николай Равич, Молодость века. М., 1967.
С. Зарницкий, А. Сергеев. Чичерин. М., 1966.
С. М. Буденный, Пройденный путь. М., 1958.

- К. Е. Ворошилов, Рассказы о жизни, кн. I. М., 1968.
О. И. Городовиков, Воспоминания. М., 1957.
И. А. Козлов, Ни время, ни расстояние. М., 1968.
П. Мальков, Записки коменданта Кремля. М., 1967.
Г. Гапоненко, Революционная деятельность М. В. Фрунзе на Западном фронте в 1917 году. «Вопросы истории», 1949, № 2.
П. Гусятников, Деятельность петербургских большевиков среди демократического студенчества (1903–1904 гг.). «Ученые записки Петрозаводского государственного университета», т. XIII, выпуск IV, 1966.
Б. Штейн, Некоторые вопросы истории Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР в освещении зарубежной историографии периода 1917–1924 гг. Сборник: «Из истории Великой Октябрьской социалистической революции». Издание МГУ, 1957.
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, фонды 79, 87, 124, оп. 1.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1235, оп. 54.
Центральный государственный архив Советской Армии, фонд 185, оп. 8.

Иллюстрации



М. Фрунзе с сестрой Клавдией. 1889 год.